

Семь искусств 11/2015



Журнал
Редактор Евгений Беркович

СЕМЬ ИСКУССТВ

Наука

Культура

Словесность

11/2015

Журнал

**«Семь искусств»
№ 11 (68) 2015**

Редактор и составитель
Евгений Беркович

Художник
Дорота Белас



Семь искусств
Ганновер 2015

Журнал «Семь искусств» № 11 (68)/2015 — Ганновер:
Семь искусств. 2015. — 369 с., 19,3 а.л.

«Семь свободных искусств – основа воспитания, которое надлежит
давать не для практической пользы, но потому, что оно достойно
свободнорожденного человека и само по себе прекрасно».
Аристотель. "Политика".



Семь искусств
Ганновер 2015

Оглавление

<i>Евгений Беркович</i> Томас Манн глазами математика	5
<i>Константин Томилин</i> Теория относительности в научно-популярной литературе 1910-20-х гг.	30
<i>Василий Демидович</i> Интервью с Милоицей Ячимовичем	49
<i>Павел Нерлер</i> «Посмотрим, кто кого переупрямит и на кого работает время...»: Н.Я. Мандельштам в зеркалах этой книги	66
<i>Мина Полянская</i> Оттепель — фальшивый ренессанс. По страницам романа Фридриха Горенштейна «Место»	91
<i>Нина Шустрова</i> Все повторятся? Современные раздумья над книгами, написанными полвека назад: А. Белингов. «Юрий Тынянов» и «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеся»	105
<i>Эдуард Бормашенко</i> Благословение и Проклятие Творчества	150
<i>Сергей Носов</i> Гримасы пустоты	154
<i>Александр Кунин</i> Люди и убеждения	164
<i>Сергей Баймухаметов</i> Они придумали «Эхо Москвы»	173
<i>Борис Тененбаум</i> Политические качели на английский лад. Глава из книги "Черчилль"	180
<i>Генрих Иоффе</i> За Русь святую. «Белое дело» в эмиграции	193
<i>Игорь Юдович</i> История Четвертой (самой очевидной, самой противоречивой и самой игнорируемой поправки к Конституции США)	204
<i>Елена Кушнерова</i> Mission: impossible –2	232
<i>Борис Кауфман</i> Мой Арбат	246

<i>Галина Гампер</i> Стихи последнего года. Из неопубликованного. Предисловие и публикация <i>Гриты Шальман</i>	270
<i>Анатолий Добрович</i> Из ранних стихов	277
<i>Юлиан Фрумкин-Рыбаков</i> Позвоночник алфавита. Подборка 2015/3	282
<i>Яков Лотовский</i> Татэ и печёный гусь. Рассказ	287
<i>Моше Гончарок</i> Макраме. Рассказы	292
<i>Игорь Гельбах</i> Марция. Римская комедия с голосами	306
<i>Михаил Юдсон</i> Приглашение на малину (Марк Розовский. Папа, мама, я и Сталин — М.: Зебра Е, 2013 — 768 с.)	346
<i>Виктор Каган</i> Перья белого ворона. Стихоживопись	351
<i>Игорь Ефимов</i> Закат Америки. Саркома благих намерений	358

Евгений Беркович

ТОМАС МАНН

ГЛАЗАМИ МАТЕМАТИКА

(продолжение. Начало в № 7/2015)

Часть пятая. «История на еврейскую тему», или Скандал в благородном семействе

«Ваши занятия я ни во что не ставлю»

То, что Томас Манн не слишком разбирался в математике, мы уже видели. Но и к художественным коллекциям, которые со страстью охотника собирал Альфред Прингсхайм, писатель относился равнодушно. Достижения тестя в деле коллекционирования Томаса интересовали мало. А ведь в этой области, столь далекой от его основной профессии, академик и профессор математики весьма преуспел, его уважали знатоки-собиратели, по материалам коллекций с его участием издавались серьезные каталоги, писались научные статьи и монографии ^[1].

Свои сокровища Прингсхайм охотно показывал желающим, не раз передавал экспонаты для различных выставок, являлся членом и первым заместителем председателя «Баварского общества друзей искусств», известного также как «Музейное общество»^[2].



Альфред Прингсхайм

В уже упомянутой краткой автобиографии Альфред без ложной скромности говорит о своих достижениях в этой области:

«В кругах искусствоведов я считаюсь знатоком и успешным собирателем предметов искусства Ренессанса. Особенное значение имеет мое собрание итальянской майолики, представляющее собой самую значительную частную коллекцию такого рода.»

С моим участием Отто фон Фальке подготовил издание монументального каталога, который специалистами оценивается как одно из важнейших пособий для изучения истории искусства майолики» (Mendelssohn, 544).

Внук Альфреда Прингсхайма Клаус Манн сравнивал дом деда с музеем:

«Он собирал картины, гобелены, майолику, предметы из серебра и бронзовые статуэтки — все в ренессансном стиле. Его коллекция была столь значительной, что кайзер Вильгельм II за его заслуги наградил орденом Короны второго класса. Дворец на улице Арси действовал как музей»^[3].



Столовая во дворце Прингсхайма.
В шкафу — собрания серебра и майолики

С этим орденом у мюнхенского профессора возникли проблемы. Дело в том, что орден Короны являлся не общегерманской наградой, а прусской, и Вильгельм II выступал при награждении не как император Германии, а как прусский король. С точки зрения баварского королевского двора, эта награда считалась иностранной, и государственный служащий, каковым являлся любой профессор университета, не имел права выходить с ней на публику. Пришлось изрядно потрепать нервы и потратить немало времени и сил, пока Прингсхайм не получил все-таки право носить этот орден в Баварии.

Хедвиг Прингсхайм записывала в дневнике, кому и когда ее муж показывал свои коллекции. Среди посетителей были знатные персоны: принц Рупрехт Баварский (20 марта 1900 и 11 декабря 1910), Юлиус Лессинг, директор берлинского музея декоративно-прикладного искусства (22 февраля 1888), американский автомагнат Генри Форд (26 сентября 1930), итальянский кронпринц с супругой (5 августа 1933)...



Собрание серебра Альфреда Прингсхайма

О страсти, с которой отдавался Прингсхайм своему увлечению, Хедвиг высказалась в дневнике: *«Вечная мономания Альфреда»* (Bilski, 24-25).

Таким же увлеченным коллекционером «стекла» представлен в романе *«Королевское высочество»* и Самуэль Шпёльман. Описанная Клаусом Манном столовая Прингсхаймов, *«богато украшенная гобеленами, прекрасными серебряными приборами и длинными рядами переливчатой майолики Офея»* (Klaus Mann, 49), превратилась в романе в зал дворца «Дельфиненорт», купленного миллиардером за два миллиона марок:

«Прекрасные витрины в стиле всего дворца, пузатые, с выпуклыми застекленными дверцами, были расставлены вдоль всех четырех стен, а в промежутках стояли нарядные стульчики. В витринах помещалась коллекция господина Шпёльмана» (II, 232).

Томас Манн подробно и со знанием дела описывает богатейшую коллекцию, так похожую на собрание Прингсхайма. Наблюдательный рассказчик отмечает даже упомянутый Клаусом *«переливчатый цвет»* разных *«вещиц, которые были покрыты парами благородных металлов»* (II, 232).

Хозяин дворца вместе с принцем Клаусом-Генрихом медленно проходили «по коврам вокруг зала, и господин Шпёльман скрипучим голосом рассказывал историю отдельных предметов, и, при этом бережно брал их с

обитых бархатом полок своей худощавой рукой, наполовину прикрытой некрахмальной манжетой, и поднимал к электрическому свету» (II, 232-233).



Изделия итальянской средневековой майолики



Бокал Гольбейна, 1521/22 гг.

Принца коллекция совсем не интересовала, в данный момент все его мысли занимала дочь Шпёльмана, загадочная Имма. Но он «был приучен обозревать, расспрашивать и высказывать лестные похвалы», думая совсем о другом. В этом состояли его «высокие обязанности» при дворе: представи-

тельствовать, председательствовать, принимать участие, делая вид, что находишься в курсе дела.

Опытный Шпёльман сразу понял, о чем говорит принц:

«Церемонии, празднества. Все для зевак. Я в этом смысла не вижу. И скажу вам once for all^[4], ваши занятия я ни во что не ставлю» (II, 227).

Возвращаясь к прототипам героев романа, то же самое можно сказать и об отношениях Томаса Манна и Альфреда Прингсхайма, каждый из них «ни во что не ставил» занятия другого.

Томас, совсем недавно введенный в высшее мюнхенское общество, изо всех сил старался произвести хорошее впечатление, и это ему удавалось. Он знал эту свою способность и откровенно писал брату Генриху:

«У меня есть, в сущности, какой-то царский талант представительства, когда я более или менее свеж» (Manns, 73).

При этом он оставался холодным наблюдателем, который все увиденное старался использовать в своих работах. Коллекция тестя интересовала молодого писателя только с литературной точки зрения, как яркая деталь его нового текста и примета времени.

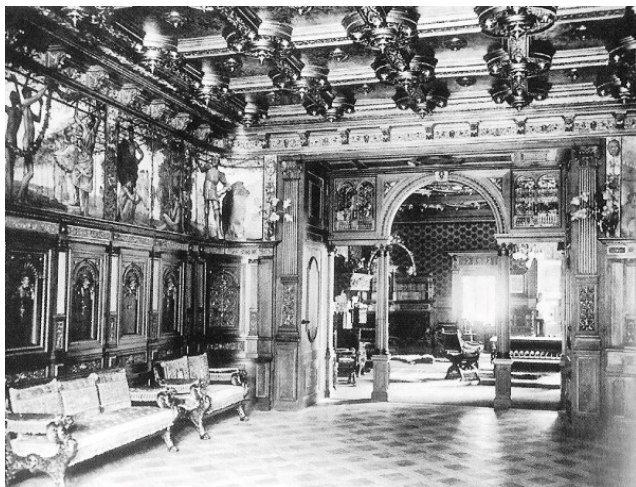
В дошедших до нас дневниках писателя коллекция майолики, главный предмет гордости тестя, первый раз упоминается лишь в записи от 14 июля 1920 года:

«К ужину на улицу Арси, где впервые снова выставлены майолика и бронза. Хорошая еда, на десерт фрукты и шампанское»^[5].

Закончилось смутное время Баварской Советской республики, ужасы «красного террора» остались в прошлом, и Томас Манн старательно фиксирует в дневнике все приметы возвращения к нормальной жизни. Прингсхаймы в своем дворце на улице Арси, в целом, благополучно пережили время анархии и революционного произвола. Им удалось вернуть конфискованные драгоценности на общую сумму не меньше 300 000 марок (Tagebücher 1918-1921, 201). Теперь профессор достал из потаенных мест предметы своей бесценной коллекции и снова расставил их по привычным местам — в шкафы и стеллажи, стоявшие в столовой и прихожей.



Томас Манн



Музыкальный зал во дворце Прингсхайма

С художественной стороны лучшая в мире частная коллекция средневековой итальянской керамики Томаса совершенно не интересует. То, что она снова украшает дворец Прингсхаймов, для писателя лишь свидетельство возвращения «старого, доброго порядка».

Безусловно, писатель знал материальную ценность коллекции тестя, ведь она была заметной частью ожидавшегося Катиного наследства. И читая дневники Томаса Манна, невольно задумываешься, так ли уж неправ был его язвительный критик Теодор Лессинг, который в книге *«Томи доит моральную корову. Писателю-психологу»* высмеивает литературного врага:



Теодор Лессинг

«Томас Манн не похож ни на Ньютона, ни на Наполеона. На первого он не похож потому, что он проявляет к математике в образе миллионов его тестя лишь вычитающий интерес»^[6].

Справедливости ради нужно отметить, что и для профессора Прингсхайма литература не считалась серьезным занятием. Искусство для хозяина дома на улице Арси сводилось к музыке, живописи и работам эпохи Ренессанса. В этих областях он разбирался гораздо лучше простого любителя. Серьезную же литературу он не понимал и не признавал. Его сын Клаус Прингсхайм отмечал, что отец во время путешествий читает только детективные романы, а беллетристику не считает профессией, заслуживающей уважения. В послесловии к новелле *«Кровь Вельзунгов»* Клаус писал:

«Во всяком случае, университетский профессор мечтал о муже для своей дочери с более солидным общественным положением, обеспечивающим достойное существование»^[7].



Хедвиг Прингсхайм (Дом) в молодости

Совсем иначе относилась к литературе и литераторам жена профессора Хедвиг Прингсхайм-Дом (Hedwig Pringsheim-Dohm, 1855-1942). Она выросла в семье, не чуждой писательству. Отец - Эрнст Дом (Ernst Dohm, 1819-1883) - руководил популярным берлинским сатирическим журналом *«Кладдерадач»* и сам обладал острым пером. Мать — Хедвиг Дом, урож-

денная Шлезингер (Hedwig Dohm, geb. Schlesinger, 1831-1919) — писала романы из жизни высшего общества и книги о правах женщин. Ее труды выходили в том же издательстве С. Фишера, в котором печатались и работы Томаса Манна.

Хедвиг едва исполнилось девятнадцать лет, когда она стала артисткой знаменитого Мейнингенского придворного театра. Под покровительством просвещенного герцога Саксен-Мейнингена Георга II этот театр во второй половине девятнадцатого века стал явлением культуры европейского масштаба. После многочисленных гастролов по миру, в том числе, и в России, у театра появилось много поклонников и последователей. Одним из них считается К.С. Станиславский, первые постановки которого критики называли «мейнингентством».

Дочка редактора *«Кладдерадач»* попала в театр случайно: ее заметила жена и консултант герцога в театральных делах, бывшая пианистка и актриса театра Эллен Франц, ставшая баронессой фон Хельдбург (Helene von Heldburg, 1839-1923). Эллен училась игре на фортепьяно у знаменитого Ганса фон Бюлова, музыкального директора театра, и была дружна с его супругой, ставшей впоследствии женой Рихарда Вагнера — Козимой. Через них она познакомилась и с Эрнстом Домом, страстным поклонником Вагнера, председателем берлинского вагнеровского общества. Эллен нередко бывала его гостьей. Увидев красоту его повзрослевшей дочери, она уговорила мужа-герцога пригласить ее в придворный театр. Родители, скрепя сердце, согласились. В воспоминаниях *«Как я попала в Мейнинген»*, опубликованных в берлинской газете *«Фоссише цайтунг»* (Vossische Zeitung) 3 января 1930 года, Хедвиг так описывала начало своей театральной жизни:

«До этого времени я редко бывала в театре, не имела ни малейшего театрального опыта, теперь со мной были только моя юность, красота, прекрасный грудной голос, интеллект и ничем не подавленная естественность»^[8].

Надо думать, именно эти качества привлекли внимание молодого математика Альфреда Прингсхайма, чье предложение руки и сердца в 1878 году прервало карьеру артистки.

Всего три года работала она в труппе театра и теперь вынуждена была его покинуть. Хедвиг выбрала надежную роль жены обеспеченного ученого вместо романтической, но рискованной судьбы актрисы. С высоты почтенного семидесятипятилетнего возраста она с грустью вспоминает о несбывшемся:

«С тех пор осталась я „со своим талантом“ и нигде не могла его применить. Даже излить свою ярость в декламации стихов я не имела права. Мой супруг ничего не понимал в искусстве и находил мою манеру исполнения стихов отвратительной»^[9].



Альфред Прингсхайм в молодости

Зато в новой роли хозяйки гостеприимного дома и матери пятерых детей талант Хедвиг раскрылся в полной мере. Она стала душой и украшением дворца Прингсхаймов на улице Арси. Клаус Манн попытался раскрыть секрет привлекательности своей бабушки:

«Хозяйка — обольстительная смесь венецианской красоты а-ля Тициан и загадочной гранд дамы а-ля Генрих Ибсен — владела столь редким в наш век искусством совершенной беседы, при этом ее яркая речь часто сопровождалась каскадами искристого смеха. Она умела всегда быть веселой и оригинальной — рассуждала ли она о Шопенгауэре или Достоевском или о последнем приеме в доме кронпринцессы. К ее поклонникам принадлежали такие художники, как Франц фон Ленбах, Каульбах и Штук, которым она позволяла писать свои портреты, и такие писатели, как Пауль Хейзе и Максимилиан Гарден, которые преподносили ей восторженные клятвы верности» (Klaus Mann, 18).

Хедвиг участвовала в различных литературных вечерах в Мюнхене, охотно принимала писателей и поэтов у себя дома, обменивалась с ними книгами, обсуждала новинки. Интерес к литературе у нее был неподдельный.

Именно Хедвиг стояла на стороне Томаса, когда он сватался к ее дочери, именно мать сделала все возможное, чтобы уговорить Катю согласиться на его предложение. Не случайно и Томас обращался к Хедвиг за советом, когда решался на публикацию рискованной новеллы *«Кровь Вельзунгов»*. Правда, совет тещи, увы, не спас семейство от скандала.

Литературные скандалы

Профессор Прингсхайм не интересовался художественной литературой, но она сама время от времени напоминала о себе громкими скандалами, затрагивавшими его семью.

Первый удар он ощутил в 1896 году, когда в издательстве Самуэля Фишера, в том самом, в котором, начиная со следующего года, будут напечатаны все работы Томаса Манна, вышел роман «Сибилла Дальмар» тещи Альфреда Прингсхайма Хедвиг Дом. Хедвиг прославилась, прежде всего, борьбой за права женщины, ей принадлежит знаменитый лозунг «права человека не имеют пола». Но и в литературной деятельности она была активна, писала пьесы, театральные рецензии и даже романы. При этом, будучи женщиной, хотя и умной, но достаточно наивной, без зазрения совести вставляла в свои тексты фрагменты писем дочери, тоже Хедвиг, в замужестве ставшей Прингсхайм, благо дочь писала матери длинные послания два-три раза в неделю. Дочь жила в Мюнхене, в знаменитой вилле Прингсхаймов на улице Арси, 12, а ее родители — Хедвиг и Эрвин Дом, в Берлине, так что переписка была в то время основным способом их общения.



Хедвиг Дом

Роман «Сибилла Дальмар» содержал такие характеристики членов мюнхенского общества, в целом, и дома Прингсхайма, в частности, которые высказывают обычно с глазу на глаз только близким друзьям и очень доверенным лицам. Кроме того, в романе подробно описана любовная интрижка героини, в которой все узнали Хедвиг Прингсхайм, с неким юным прибалтийским бароном.

В личной жизни Хедвиг и Альфред Прингсхаймы давали друг другу достаточно большую свободу. Альфред, например, открыто жил как бы «параллельным браком» с известной хорватской певицей Милкой Тернина, примадонной основных опер Вагнера. Эта связь не скрывалась даже от детей, Милка официально считалась другом дома. Но сделать любовные похождения жены предметом пересудов всего города — было слишком даже для любвеобильного профессора. Хедвиг Прингсхайм, которая к литературным вольностям матери относилась более снисходительно, чем ее взрывоопасный муж, удалось погасить скандал только спустя несколько месяцев.

Еще одно вмешательство литературы в личную жизнь Прингсхаймов произошло в 1904 году, когда Томас Манн терпеливо и настойчиво добивался руки Кати. Осада продолжалась почти год, письма, которые писал будущий лауреат нобелевской премии по литературе, могли растрогать каменное сердце, но упрямая девушка не говорила ни «да», ни «нет». В ожидании окончательного ответа Томас закончил рассказ «*У пророка*», в котором бегло описал внутренность роскошного дворца и красоту его хозяйки:

«И вдруг вошла богатая дама, великая охотница посещать подобно рода сборища. Она приехала сюда в собственной обитой штофом карете, покинув великолепный свой особняк с гобеленами и дверными рамами, облицованными желтым нумидийским мрамором, поднялась на самый верх по темной лестнице и впорхнула в дверь — красивая, благоухающая, обворожительная, в синем суконном платье с желтой вышивкой, в парижской шляпке на рыжевато-каштановых волосах — и усмехнулась одними глазами, будто украденными с полотен Тициана» (VII, 288-289)^[10].

Стоит отметить, что с образами Тициана сравнивает свою бабушку и сын Томаса Манна Клаус, говоря о ней, что она «*обольстительная смесь венецианской красоты а-ля Тициан и загадочной гранд дамы а-ля Генрих Ибсен*»^[11].

На одной из встреч в доме по улице Арси, 12, Томас прочитал Хедвиг рассказ «*У пророка*», и Хедвиг сразу узнала себя. Каково же было удивление и разочарование молодого автора, когда его восхищенный портрет вызвал откровенное недовольство и раздражение будущей тещи. В письме другу Курту Мартенсу от 13 июня 1904 года Томас жалуется:

«“У пророка“ я для надежности предъявил госпоже проф. П.[рингсхайм] и не мог поверить, что она из-за моих невинных похвал так рассердится»^[12].

К счастью, этот эпизод не дошел до вспльчивого Альфреда Прингсхайма, и этим дело ограничилось. Зато через год разгорелся такой скандал, что потушить его удалось только с большим трудом, благодаря, в основном, женщинам с обеих сторон конфликта, проявившим терпение,

такт и находчивость. И все равно последствия «военных действий» ощущались еще долго.

Причиной нового скандала стала новелла Томаса Манна «*Кровь Вельзунгов*», законченная в 1905 году. Ее публикация планировалась на январь следующего года в берлинском журнале «*Нойе Рундшау*».

Вкратце содержание новеллы сводится к следующему. Неразлучные близнецы, девятнадцатилетние брат и сестра Зигмунд и Зиглинда, сибаритствуют в роскошном доме своего отца, предпринимателя-богача Ааренхольда. За восемь дней до свадьбы Зиглинды и чиновника фон Бекерата, которого девушка не принимает всерьез как мужчину, брат и сестра решают в последний раз сообщанасладиться оперой Рихарда Вагнера «*Валькирия*». Музыка приводит их в эротически-томное состояние, и по возвращении из театра они вступают в кровосмесительную связь, как бы повторяя сцену incestа, которую только что видели на сцене. Первый опыт такого рода не только не порождает в них чувства неловкости друг перед другом или вины перед незадачливым женихом, которому наставили рога еще до свадьбы, но, напротив, больше сближает близнецов. А Бекерату они обещают с этих пор «*менее тривиальное существование*»^[13].

Хотя действие в новелле происходит в западной части Берлина, в районе Тиргартена, читателям не составляло никакого труда узнать в действующих лицах членов семьи профессора Прингсхайма, которого хорошо знали в Мюнхене. Мало того, что хозяин и хозяйка дома показаны весьма неприятными людьми с карикатурно выделенными еврейскими чертами, рассказ заканчивается откровенно предосудительной сценой сексуальной близости брата и сестры, близнецов Зигмунда и Зиглинды. В семье Прингсхаймов младшими детьми тоже были близнецы Клаус и Катя, которая как раз в эти дни готовилась стать матерью — их браку с Томасом Манном не исполнился еще и год. Получалось, что писатель, недавно вошедший в семью Прингсхаймов, бросает тень на свою молодую жену, ее брата, их мать и отца.

Слухи о скандальном содержании еще не опубликованной новеллы распространились в городе и, в конце концов, дошли до Альфреда Прингсхайма. Тот пришел в ярость и потребовал запретить издание новеллы. И хотя его требование было исполнено, отношения между зятем и тестем испортились на долгие годы. Новелла официально увидела свет только в 1921 году в одном специальном эксклюзивном издании с ограниченным числом нумерованных экземпляров. Больше при жизни автора новелла в Германии не публиковалась.

Версия Клауса Прингсхайма

Ни одна новелла Томаса Манна не обсуждалась так горячо в последние годы, как «*Кровь Вельзунгов*». Много дискуссий вызвал вопрос, можно ли считать содержание новеллы антисемитским или нет. Не вполне ясно и

загадочная история ее издания, начавшаяся с отказа от публикации уже готового текста в 1906 году. Кроме Клауса Прингсхайма, никто из участников конфликта не оставил подробных письменных свидетельств о происшедшем, да и то «Послесловие к „Крови Вельзунгов“» Клаус выпустил в свет лишь в 1961 году, спустя более полувека после описываемых событий. Автору «Послесловия» в том году исполнилось 78 лет.



Клаус Прингсхайм

Вот как Клаус описывает свое знакомство с текстом новеллы Томаса Манна:

«Однажды в конце лета 1905 года после обеда — Томас пришел к нам один — у него был короткий разговор с моей матерью; я сидел рядом, вопрос, сказал он, касается и тебя. Он говорил о своей новой новелле, которая зимой должна выйти в «Нойе Рундшау». Но в этом рассказе есть нечто особенное, заявил он, и он не хотел бы отсылать рукопись, не показав ее нам — мне в том числе — и не заручившись нашим согласием. В назначенное время мы втроем сидели в комнате моей матери. Мысль о том, что отец тоже захотел бы послушать, никому не приходила в голову; литература интересовала его меньше всего на свете. После того, как Томас закончил чтение, первой заговорила мать. Она поздравила автора, нашла его работу „превосходной“, при этом деликатная тема разработана на таком высоком художественном уровне, так тонко и ненавязчиво, что против публикации, действительно, нет никаких возражений»^[14].

Время чтения новеллы в доме Прингсхаймов, указанное в этом отрывке, — конец лета 1905 года - вызывает сомнение, о чем мы еще поговорим. Сейчас же интересно мнение самого Клауса, который мог бы обидеться, что списанный с него герой новеллы совершает неблагоприятный поступок со своей сестрой. Но ничего подобного. Он пишет:

«Я чувствовал себя даже немного польщенным, когда в некоторых поступках и оборотах речи юного героя рассказа узнавал себя — скорее, польщенным, чем смущенным — и присоединился к оценке матери без всяких оговорок» (Klaus Pringsheim, 257).

После этого Томас Манн с легким сердцем отослал рукопись новеллы в Берлин и на время забыл о ней, так как на него навалились другие проблемы и переживания.

Далее, по словам Клауса, произошло следующее. Поздней осенью 1905 года в один книжный магазин на Бриннерштрассе, что в двух шагах от виллы Альфреда Прингсхайма на улице Арси, привезли большую партию книг из издательского дома Самуэля Фишера, тогда располагавшегося в Берлине. Книги предназначались для грядущей рождественской распродажи и были упакованы в пачки, оберточной бумагой, как обычно, служили испорченные или ненужные печатные листы от других книг и журналов. Молодой человек, которого Клаус называет *«литературный юноша из Вены»*, помогал продавцам распаковывать товар и обратил внимание, что на оберточной бумаге напечатан какой-то художественный текст. Собрав все нужные листы вместе, он понял, что перед ним неизвестная ему новелла Томаса Манна *«Кровь Вельзунгов»*. Текст должен был выйти в январском номере журнала *«Ное Рундшау»*, тираж которого уже начал печататься в типографии. Прочитав еще не опубликованный рассказ, юный волонтер понял, что в его руках оказалась сенсация. Долго такую находку держать втайне от друзей он не мог, и скоро по городу поползли слухи:

«Автор „Будденброков“, который в феврале взял в жены единственную дочку известного математика, вагнерианца, коллекционера произведений искусства Альфреда Прингсхайма, описывает в некоторой новелле греховную связь близнецов из еврейской семьи, Зигмунда и Зиглинды, а также жалкую роль, которую должен был играть в ее семье жених девушки, позорно обманутый фон Бекерат. Кто послужил автору моделью для близнецов и из какой они семьи, было очевидно. Ясно, что речь идет о месте писателя; с разоблачением юной супруги он мстил за все унижения, которые пришлось ему претерпеть в ее родительском доме» (Klaus Pringsheim, 254).

Вскоре в гостиных, кафе и пивных баварской столицы начались разговоры о скандальном инциденте в некогда уважаемом доме. Ведь когда-то, по словам Бруно Вальтера, часто там бывавшего, *«в гостеприимном доме на улице Арси в большие вечера можно было встретить „весь Мюнхен“»* [15].

Дом на улице Арси, 12 служил городской достопримечательностью. Коллекции художественных ценностей, прежде всего, средневековой итальянской майолики, собранные Альфредом Прингсхаймом, приходили осмотреть интересующиеся любители и знатоки со всего мира, американские миллионеры и члены королевских фамилий...

Нетрудно себе представить, какой гнев должны были вызвать у хозяина дома слухи, задевающие честь семьи и его честь, первоклассного ученого, тонкого знатока музыки и искусства, гостеприимного хозяина...

Отметим еще одну слабость в версии Клауса. Выходит, что новеллу Томаса Манна еще до появления слухов все же напечатали в Берлине. Но далее пойдет речь о том, чтобы автор дал команду не печатать и вернуть рукопись назад. Если новелла уже напечатана, то команда должна была бы быть иной. К этому мы еще вернемся.

О слухах в городе Хедвиг Прингсхайм узнала от своей близкой знакомой, порекомендовавшей запретить публикацию новеллы, чтобы не было хуже. Хедвиг поняла, что обязана немедленно все рассказать мужу. Пережив скандал с тециным романом «Сибилла Дальмар», получить теперь такой удар от зятя — это было бы слишком для впечатлительного и вспыльчивого профессора. Его реакция могла быть непредсказуемой.

Как и следовало ожидать, Альфред был взбешен. Он захотел немедленно встретиться с зятем, чтобы потребовать отчета. Но так получилось, что Томас Манн именно в этот день находился в отъезде. Возвращение писателя в Мюнхен планировалось на следующий день утром, а во второй половине дня профессор собирался навестить зятя и во всем разобраться. Все предвещало семейную катастрофу. Впоследствии ходили слухи, что старший Прингсхайм ворвался в квартиру Томаса с револьвером в руке, но Клаус утверждал, что, насколько ему известно, револьвера в доме никогда не было (Klaus Pringsheim, 258).

В «Послесловии к „Крови Вельзунгов“» Клаус рассказал, что произошло на следующий день:

«Я стоял перед спальным вагоном только что подошедшего ночного экспресса. Зять поблагодарил меня за то, что я оказал ему внимание и пришел встретить, мы обменялись парой сердечных слов. Когда мы расставались, я сказал, что хотел бы еще раз увидеть его до обеда, если это ему подходит. Речь идет об очень спешном деле, которое я хотел бы с ним обсудить. Почему нет, около одиннадцати; после того, как он немного освежится и отдохнет, он будет ждать меня. Там, в его комнате, я рассказал, что произошло. Он слушал, качая головой, потом, не дав мне закончить, заявил: „Естественно, я телеграфирую немедленно Фишеру, чтобы новеллу забрать назад“. Срочная телеграмма — телеграфное подтверждение, которое, в общем, и не нужно было, — пришла в тот же день» (Klaus Pringsheim, 258).

Клаус вернулся домой немного успокоенным. За обедом царил грозная обстановка, все молчали. Профессор с мрачной решительностью ел суп. Наконец, кто-то робко спросил, а что будет, если «Томми» откажется отозвать новеллу из журнала? Клаус решил, что настал его момент:

«“Этого не будет, он уже телеграфировал в издательство, что он свою историю забирает“. - Я сказал это приглушенным тоном, думая ослабить шоковое действие, которое вызовет мое открытие. Однако то, что последовало, было похоже на взрыв бомбы» (Klaus Pringsheim, 258).

Клауса поразило, что мать сидела с таким видом, будто не она пару месяцев назад одобрила публикацию новеллы в журнале. Отца выступление сына так задело, что, похоже, весь накопленный со вчерашнего дня гнев вырвался наружу. Альфред чувствовал себя обманутым, его отцовская честь была запятнана, а тут еще его младший сын захотел снять напряжение, считая, что инцидент исчерпан. Высказывание Клауса словно придало профессору новые силы, он вскочил, чтобы немедленно идти к мужу своей дочери и сказать ему все, что он о нем думает.

Разговор тесня с зятем прошел без свидетелей, с глазу на глаз. Что сказал Прингсхайм Томасу Манну, точно не известно. Писатель ответил на следующий день письмом, но примирение не было достигнуто.

Размолвка продолжалась долго, и потребовалось много женской мудрости с обеих сторон, чтобы восстановить мир в семье.

Немного хронологии

В августе 1905 года Томас с Катей отдыхали в Сопоте под Данцигом. Вернувшись домой, писатель в письме от 3 сентября 1905 года рассказывает романистке Иде Бой-Эд, хозяйке знаменитого литературного салона в Любеке, как прошел отдых:

«Так мило и бодро, так прекрасно и трогательно было пребывание тут в начале, так мрачно и отвратительно стало оно в конце; барометр колебался между дождем и бурей, но в наличии было все, и дождь, и буря, море смешано с грязью, дорожки превратились в пюре, в Данциге — сплошная холера, все в целом — серость» (Briefe I, 323).

Плохая погода иногда помогает творчеству — не дает писателю отвлечься, и Томас Манн успел за короткий отпуск написать большую часть новеллы «*Кровь Вельзунгов*». В том же письме Иде Бой-Эд, помогавшей молодому писателю добиться известности, он докладывает о проделанной работе:

«Начата большая новелла, история принца, кроме того, я написал небольшую, очень независимую новеллу, действие которой происходит в Западном Берлине» (Briefe I, 323-324) [16].

Окончание новеллы пришлось на октябрь или начало ноября. В письме брату Генриху от 17 октября 1905 года Томас пишет:

«Поскольку погода прояснилась, я кончу в ближайшие дни свою тиргартеновскую новеллу, которая будет напечатана сперва в январском номере «Нойе Рундшау» и потом не посрамит том с «Крл. [Королевским] Высочеством»^[17].

Как видно, в это время «Королевское высочество» рассматривалось как название еще одной новеллы и сборника рассказов, мыслей о романе тогда не возникало. Так часто случалось с Томасом Манном — начиналась писаться новелла или рассказ, а получался роман, иногда в нескольких томах.

То, что новелла «Кровь Вельзунгов» занимала в творчестве Манна особое место, свидетельствует еще одно место из цитированного письма брату:

«Слава богу, я постепенно опять становлюсь художником. Последний мой год, год помолвки и свадьбы, был мучительно непродуктивен. Теперь я вжился и работаю регулярно» (Манны Г.-Т., 82).

Но именно новый семейный статус писателя, свежее испеченного супруга, стал причиной серьезных осложнений и в личной, и в творческой жизни. Использование в новой новелле впечатлений времен сватовства — роскошной виллы Прингсхаймов на улице Арси, еще более шикарного дворца родственников Кати в Берлине, — несомненно, бросало тень на его новую родню, заставляло думать, что рассказ — про них.

Подспудно это чувствовал и сам писатель. Не случайно он настойчиво подчеркивает, что его новелла «очень независима» (см. приведенное выше письмо Иде Бой-Эд от 3 сентября 1905 года). Еще раз этот эпитет использовал Томас Манн в письме брату Генриху от 17 января 1906 года:

«Так вот, коротко и холодно: вернувшись из декабрьской поездки, я застал здесь слух, будто я написал какую-то резко «анти-семитскую» (!) новеллу, где страшно компрометирую семью своей жены. Что мне было делать? Я окинул внутренним взором свою новеллу и нашел, что при всей своей невинности и независимости она не очень-то способна подавить этот слух. И должен признать, что в человеческо-общественном смысле я уже не свободен. Я послал, стало быть, несколько властных телеграмм в Берлин и добился того, что январский номер «Рундшау», который был уже совсем готов, вышел без «Крови Вельзунгов». Фишер взял на себя (из страха перед Лангеном^[18]) расходы по новому тиражу, вероятно, вовсе не такие уж озорчатые» (Манны Г.-Т., 87-88).

По поводу расходов на новую печать номера Томас Манн, скорее всего, лукавит перед братом — потери должны были быть вовсе не маленькими. По слухам, Самуэль Фишер получил от Альфреда Прингсхайма около 6000 рейхсмарок. Об этом написал в своем дневнике 25 января 1906 года австрийский писатель Артур Шницлер^[19].

Не совсем ясно, когда поползли по Мюнхену слухи о клевете Томаса Манна на родню своей жены. Верить воспоминаниям Клауса Прингсхайма в этом вопросе не приходится — слишком много ошибок и натяжек они содержат, слишком предвзят автор, желающий снять с автора новеллы подозрения в желании мести и антисемитизме. Другие участники конфликта — Томас и Катя Манн — не оставили каких-либо развернутых воспоминаний о событиях вокруг «антисемитской новеллы». В своих *«Неписанных воспоминаниях»* Катя просто оценила тот скандал как *«Много шума из ничего»* [20].

Томас Манн высказался о том же много лет спустя, когда в 1931 году появился французский перевод новеллы и журналисты не упустили случай вспомнить револьвер в руках Альфреда Прингсхайма, с которым тот якобы прибежал к Томасу для выяснения отношений. Назвав выдумки журналистов блажью и враньем, писатель ничего не сказал ни о реальной последовательности событий после его возвращения в Мюнхен, ни о разговоре с тестем, ни об источнике слухов [21].

Последовательность событий постараемся восстановить по косвенным данным. Окончательно структура новеллы стала ясна автору в середине октября, когда он написал брату уже цитированную фразу: *«я кончу в ближайшие дни свою тиргартеновскую новеллу»* (письмо от 17 октября 1905 года). Поэтому чтение новеллы для Хедвиг и Клауса Прингсхаймов состоялось, скорее всего, в начале ноября. Слова Клауса, что чтение произошло *«в конце лета»* (Klaus Pringsheim, 257) нужно признать aberrацией памяти, ибо тогда новелла еще не была готова.

Некоторые биографы Томаса Манна полагают, что он послал рукопись в Берлин без предварительного чтения в доме Прингсхаймов, а когда получил назад текст с замечаниями редактора, то писателя одолели сомнения и он решил заручиться согласием родственников жены. Так считают, например, Инге и Вальтер Йенс, авторы серии биографических книг о Маннах и Прингсхаймах. В книге *«Фрау Томас Манн»* они пишут:

«Издательство С. Фишера с радостью согласилось опубликовать это вполне удавшееся автору художественное произведение в ближайшем номере «Нойе Рундшау». Однако во время чтения корректуры Томасом Манном овладели сомнения, не истолкуют ли превратно его рассказ, поэтому он решил проверить свои опасения, прочитав его шурина и теще» [22].

Думается, что такое предположение маловероятно. У Томаса Манна был уже неудачный опыт публикации рассказа *«У пророка»*, вызвавшего раздражение Хедвиг Прингсхайм. Вряд ли писатель осмелился второй раз рисковать, тем более, содержание его новой «независимой» новеллы давало куда больше повода для обид и огорчений со стороны Прингсхаймов. Об этом же пишет Клаус Прингсхайм в уже цитированном «Предисловии»: *«он не хотел бы отсылать рукопись, не показав ее нам — мне в том числе — и не заручившись нашим согласием»*.

Итак, можно с большой долей уверенности утверждать, что к началу ноября, когда состоялось чтение нового произведения Томаса в комнате Хедвиг Прингсхайм, еще никаких слухов и сплетен о скандальном содержании новеллы не было.

Шестого декабря Томас Манн слушал в королевской мюнхенской опере вагнеровскую *«Валькирию»*, звучавшую и в его новелле, а 9 декабря отправился в недельную поездку в Прагу, Дрезден и Бреслау с лекциями и чтением своих произведений. Как и планировалось, в Мюнхен он вернулся 15 декабря^[23]. Здесь, на перроне, его и встретил Клаус Прингсхайм с известием о слухах, заполнивших город.

Значит, слухи появились в промежуток времени со дня чтения новеллы в доме Прингсхаймов до начала декабря. Кто же был источником слухов? Кто сделал содержание новеллы достоянием толпы? Здесь возможны только предположения, точно сказать мы вряд ли сможем. Вполне вероятно, что на чтении в комнате Хедвиг Прингсхайм присутствовал еще какой-то третий слушатель. Нельзя исключить также, что сам автор показал кому-то рукопись или рассказал о содержании — ведь он охотно рассуждал в письмах о своей «независимой новелле». Как бы то ни было, но к возвращению Томаса Манна в Мюнхен 15 декабря 1905 года положение накалилось, от разгневанного Альфреда Прингсхайма можно было ждать чего угодно.

Рассказу Клауса Прингсхайма о случившемся дальше можно верить. Он предупредил зятя о возможной семейной буре и посоветовал забрать новеллу из журнала, чтобы избежать разговора с отцом. Несмотря на то, что Томас сделал все, что от него требовалось, беседы с разгневанным профессором избежать не удалось. Письмо, которое написал на следующий день Томас, не помогло снять напряжение в отношениях с родственниками жены.

Об обстановке в доме Прингсхаймов красноречиво свидетельствует письмо Хедвиг ее близкому другу Максимилиану Гардену 26 декабря 1905 года, во второй день рождественских праздников:

«О, Гарден, у меня плохое Рождество! Кроме моего Эрика, о котором я думаю с горькой болью, виновато кое-что иное, от зятя Томми, что я Вам как-нибудь позже расскажу. Он нам сильно отравил праздник. Моя бедная маленькая Катя все еще весьма бледна, весьма слаба, весьма несчастна, и она принимает все близко к сердцу»^[24].

Однако Альфред Прингсхайм слишком любил свою единственную дочь, чтобы бесповоротно рвать отношения с ее мужем. Постепенно все утряслось, и через месяц в доме уже царил мир. Хедвиг Прингсхайм с облегчением сообщает Гардену 23 января 1906:

«С Томи и его семьей все в порядке. Эрика хорошо растет у материнской груди, и небольшие неувязки с зятем улажены» (Hedwig, 42).

Однако на этом скандал с «историей на еврейскую тему» не закончился. В феврале 1906 года появились новые обстоятельства. Шестого февраля Томас Манн написал довольно резкое письмо своему издателю, Самуэлю Фишеру:

«Вот тебе раз! Мне сообщают, что один местный книжный торговец получил от С. Фишера партию книг и заметил, что на одном оберточном листе бумаге напечатана часть «Крови Вельзунгов». Так не пойдет! Тем самым запрет на печатание становится иллюзорным. Вы не поверите, с какой жадностью тут набрасываются на эту историю. Если Вы хотите, чтобы я оставался спокойным в обстановке глупости и злости, которая меня окружает с тех пор, как я занимаю заметное положение в обществе, то потрудитесь, чтобы эта неосторожность больше не повторялась. Пошлите мне имеющиеся оттиски или уничтожьте их сами, это, пожалуй, лучше всего» [25].

А произошло то, что Клаус Прингсхайм описал как повод для скандала, хотя описанное ниже случилось после того, как первые страсти по злосчастной новелле уже улеглись. Юного волонтера в книжном магазине, которого Клаус назвал «литературным юношей из Вены», звали Рудольф Бреттшнайдер (Rudolf Brettschneider). Он сам впоследствии описал случившееся в своих воспоминаниях. Среди макулатуры, которую издательство Самуила Фишера использовало как оберточную бумагу, он нашел странные оттиски какой-то статьи. На оттисках не было ни автора, ни названия, но продвинутый в литературе юноша распознал стиль Томаса Манна. Вскоре от литераторов и художников, которых объединил в Мюнхене австрийский литератор, редактор журнала «Инзель» («Остров») Франц Бляй, Рудольф узнал о недавнем скандале, связанном с новой новеллой Манна. Поняв, что в его руки попала неслыханная литературная редкость, он стал ждать новых посланий из издательства С. Фишера. В конце концов, ему удалось собрать все листы новеллы, публиковать которую автор запретил. Примерно пятнадцать лет спустя Бреттшнайдер признавался:

«Сохраненные, сброшюрованные и переплетенные листы долгое время были, без сомнения, самым ценным владением в моей довольно скромной библиотеке» [26].

О том, что он пустил текст неопубликованной новеллы «по рукам», Бреттшнайдер ничего не пишет. Скорее всего, он понимал, что поступает незаконно, нарушая авторские права Томаса Манна. Однако точно установлено, что этот текст в машинописных копиях разошелся среди читателей. Один экземпляр такой копии хранится в архиве Томаса Манна в Швейцарии¹[27]. Возможно, что именно этот экземпляр попал в руки какого-то берлинского книжного торговца, предложившего Томасу Манну издать новеллу. Об этом есть запись в дневнике от 10 июня 1919 года:

«Один берлинский торговец книгами сообщил мне, что у него есть машинописная копия «Крови Вельзунгов», и он хотел бы ее издать. Я потребовал ее выдачи» [28].



Журнал "Ди Бюхерштубе", в котором появились воспоминания Р. Бреттшнайдера

Появление копий неопубликованной новеллы снова обострило отношения в доме Прингсхаймов. Даже через полгода после письма Томаса Манна Самуэлю Фишеру происшедшее еще живо обсуждается в переписке Хедвиг Прингсхайм и Максимилиана Гардена. Первого августа 1906 года Хедвиг возмущается:

«Подумайте только, дело, связанное с публикацией «Крови Вельзунгов» на оберточной бумаге имеет еще больший размах, чем мы думали. Один клерк из книжного магазина Яффе собрал таким образом полный экземпляр новеллы и пустил ее в свет. Так как речь может идти только о мошенничестве какого-то сотрудника издательства Фишера, то мне кажется абсолютно возмутительным то, что такое вообще могло произойти. Неужели наш любимый Мюнхен — трущоба?» (Hedwig, 51).

Скандал вокруг новеллы «Кровь Вельзунгов» — один из крупнейших в немецкой литературе XX века. Он так сильно подействовал на писателя, что он до конца жизни воздерживался от публикации новеллы для широкого читателя. Только один раз в 1920 году, когда стало казаться, что все «быльем поросло», он согласился на предложение своего мюнхенского знакомого издателя Георга Мартина Рихтера (Georg Martin Richter, 1875-1942) выпустить новеллу для узкого круга ценителей прекрасного. Всего должно было быть издано 530 нумерованных экземпляров на роскошной бумаге в сафьяновых

переплетях с иллюстрациями художника Томаса Теодора Гейне (Thomas Theodor Heine, 1867-1948), близко знакомого с семьей Прингсхаймов.

Работа у художника продвигалась медленно, им сделано в общей сложности тридцать иллюстраций, из них десять — на целую страницу. Книга увидела свет только в 1921 году.

Публикация новеллы вновь вызвала раздоры внутри семьи. Правда, Альфред Прингсхайм против ограниченного издания для библиофилов не возражал. Об этом Томас оставил запись в дневнике 25 января 1920 года, как только поступило предложение от Рихтера:

«Тайный сов.[етник] Пр.[ингсхайм] не ставит препятствий для частного издания „Вельзунгов»» (Tagebücher 1918-1921, 373).

Однако через год старые раны снова дали о себе знать. В понедельник второго мая 1921 года Томас пишет в дневнике:

«Вечером нервный срыв в противостояниях с К.[атей] о новелле «Кровь Вельзунгов» и еще об одной бестактной замечке, которая разозлила ее отца. Высказались и помирились. Давление на меня растет» (Tagebücher 1918-1921, 512).

«Бестактная замечка», о которой идет речь в этой записи, — это как раз опубликованные в 1920 году воспоминания Рудольфа Бреттшайдера «Открытие „Крови Вельзунгов“».



Фрагмент иллюстраций Т.Т. Гейне

Художник нового издания Т. Т. Гейне писал своему другу Альфреду Кубину (Alfred Kubin, 1877-1959):

«Скоро вышлю тебе книгу (как только печать будет готова), которую я иллюстрирую. Это первые литографии, которые я делаю. Я не очень доволен, литографии все же это не мое. Это книга о Прингсхаймах Томаса Манна» ^[29].

Гейне без колебаний называет новеллу «*Кровь Вельзунгов*» книгой о Прингсхаймах. Для всех, кто бывал в доме на улице Арси, 12, это было очевидно. Убедимся и мы, что такое мнение имело под собой серьезные основания.

(окончание следует)

Примечания

[1] См., например, *Bode Wilhelm von*. Die Majolikasammlung Alfred Pringsheim in München. In: *Zeitschrift für Bildende Kunst*, 1915, S. 307 f. *Falke Otto von*. Die Majolikasammlung Alfred Pringsheim. Neuausgabe, 3 Bde. Beltriguardo Arte, Ferrara 1994.

[2] Bilski Emily D. „Nichts als Kultur“ — Die Pringsheims. Jüdisches Museum München, München 2007, S. 22. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слова Bilski и номера страницы.

[3] Mann Klaus. Der Wendepunkt. Ein Lebensbericht. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 1984, S. 17. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слов Klaus Mann и номера страницы.

[4] Раз навсегда (англ.).

[5] *Mann Thomas*. Tagebücher 1918-1921, herausgegeben von Peter de Mendelssohn. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1979, S. 453. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слов «Tagebücher 1918-1921» и номера страницы.

[6] Lessing Theodor. Tomi melkt die Moralkuh. Ein Dichter-Psychologem. In: *Lessing Theodor*. Theater-Seele und Tomi melkt die Moralkuh. Schriften zu Theater und Literatur. Donat Verlag, Bremen 2003, S. 286.

[7] *Pringsheim Klaus*. Ein Nachtrag zu „Wälsungenblut“. In: *Wenzel Georg* (Hrsg.). Betrachtungen und Überblicke. Zum Werk Thomas Manns. Aufbau-Verlag, Berlin, Weimar 1966, S. 256. В дальнейшем ссылки на эту работу будут даваться в круглых скобках с указанием слов «Klaus Pringsheim» и номера страницы.

[8] Pringsheim-Dohm Hedwig. Häusliche Erinnerungen. 11 Feuilletons der Schwiegermutter von Thomas Mann in der „Vossischen Zeitung“- 1929-1932. Nikola Knoth, Berlin 2005, S. 78.

[9] Там же, стр. 88.

[10] Здесь и далее в круглых скобках с указанием римскими цифрами номера тома и, через запятую, номера страницы или номеров страниц даются ссылки на следующее издание: *Манн Томас*. Собрание сочинений в десяти томах. Государственное издательство художественной литературы, М. 1959-1961.

[11] *Mann Klaus*. Der Wendepunkt. Ein Lebensbericht. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 1984, S. 18.

[12] *Mann Thomas*. Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Werke — Briefe — Tagebücher. Briefe I, 1889-1913. Band 21. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 2001, S. 284. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слов «Briefe I» и через запятую номера страницы.

[13] Манн Томас. Кровь Вельсунгов. В книге: *Манн Томас*. Ранние новеллы. АСТ: Астрель, М. 2011, стр. 522. Перевод Е. Шукшиной. Переводчица использует скандинавский вариант написания «Вельсунги». В некоторых энциклопедиях и в научных работах придерживаются нашей транскрипции «Вельзунги». В дальнейшем ссылки на русский перевод новеллы будут даваться в круглых скобках с указанием слов «Кровь Вельсунгов» и номера страницы из этого сборника. В другом переводе новеллы на русский язык, сделанном Елизаветой Соколовой и опубликованном в журнале «Ясная Поляна», №2 1997, стр. 265-281, используется вариант «Кровь Вельзунгов». Так же пишет название новеллы Игорь Эбанонидзе в статье «О новелле „Кровь Вельзунгов“», опубликованной в том же журнале, стр. 283-286.

[14] *Pringsheim Klaus*. Ein Nachtrag zu „Wälsungenblut“. In: *Wenzel Georg* (Hrsg.). Betrachtungen und Überblicke. Zum Werk Thomas Manns. Aufbau-Verlag, Berlin, Weimar 1966, S. 257. В дальнейшем ссылки на эту работу будут даваться в круглых скобках с указанием слов «Klaus Pringsheim» и номера страницы.

[15] *Walter Bruno*. Thema und Variationen. Erinnerungen und Gedanken. S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 1960, S. 273.

[16] «Большая новелла» через пару лет превратится в роман «*Королевское высочество*», вышедший в свет в 1909 году, а небольшая, «очень независимая» новела — это и есть «*Кровь Вельсунгов*».

[17] *Манн Г., Манн Т.* Эпоха; Жизнь; Творчество. Прогресс, М. 1988, стр. 82. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слов «Манн Г.-Т.» и номера страницы.

[18] Альберт Ланген (Albert Langen, 1869-1909) — немецкий издатель, основатель журнала «Симплициссимус».

[19] *Vaget Hans Rudolf*. «Von hoffnungslos anderer Art.» In: *Dierks Manfred, Wimmer Ruprecht* (Hrsg.). Thomas Mann und das Judentum. Vittorio Klostermann, Frankfurt a. M. 2004, S. 35.

[20] *Mann Katia*. Meine ungeschriebenen Memoiren. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1974, S. 74. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слова Katia и номера страницы.

[21] *Mann Thomas*. Noch einmal „Wälsungenblut“. In: *Mann Thomas*. Rede und Antwort: Über eigene Werke; Huldigungen und Kränze: Über Freunde, Weggefährten und Zeitgenossen. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1984.

[22] *Йенс Инге и Вальтер*. Фрау Томас Манн. Перевод с немецкого И. Солодуниной. Издательство Б.С.Г.-ПРЕСС, М. 2007, стр. 99.

[23] *Heine Gert, Schommer Paul*. Thomas Mann Chronik. Vittorio Klostermann. Frankfurt a. M. 2004, S. 40-41.

[24] *Pringsheim Hedwig*. *Meine Manns. Briefe an Maximilian Harden*. Aufbau Verlagsgruppe, Berlin 2008, S. 40. В дальнейшем ссылки на эту работу будут даваться в круглых скобках с указанием слова «Hedwig» и номера страницы. Эрик — старший сын Прингсхаймов, который за недостойное поведение был сослан отцом в июне 1905 года в Аргентину, где через несколько лет умер при странных обстоятельствах (известие о смерти пришло в начале 1909 года).

[25] *Wysling Hans* (Hrsg.) *Dichter über ihre Dichtungen*. Thomas Mann. Teil I: 1889-1917. Heimeran/S. Fischer 1975, S. 227. Подчеркнутое предложение выделено Томасом Манном. В дальнейшем ссылки на эту работу будут даваться в круглых скобках с указанием слова «DüD» и номера страницы.

[26] *Brettschneider Rudolf*. *Die Entdeckung des „Wälsungenblut“*. Die Bücherstube. Buchhandlung Stobbe, München, Oktober 1920, S. 110-112.

[27] *Reed Terence J.* *Kommentar zu „Wälsungenblut“*. In: *Mann Thomas*. *Frühe Erzählungen*. 1893-1912. *Kommentar*. Band 2.2. S. Fischer Verlag Frankfurt a. M. 2004, S. 323. В дальнейшем ссылки на эту работу будут даваться в круглых скобках с указанием слова «Kommentar» и номера страницы.

[28] *Mann Thomas*. *Tagebücher 1918-1921*, herausgegeben von Peter de Mendelssohn. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1979, S. 262. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слов «Tagebücher 1918-1921» и номера страницы.

[29] *Ralf Thomas* (Hrsg.). *Du nimmst das alles viel zu tragisch*. *Briefe von Th. Th. Heine an Alfred Kubin*. 1912-1947. München 2009, S. 21.



Константин Томилин

ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
в научно-популярной литературе
1910-20-х гг.^[*]

Восприятие теории относительности в российской научной среде детально исследовалось В.П. Визгиным и Г.Е. Гореликом [1]. Помимо восприятия интерес представляет процесс популяризации научного знания, учитывая то большое научное значение, которое приобрела специальная, а затем и общая теория относительности. Она осуществлялась через лекции и доклады, которые физики читали для учащихся, ученых других специальностей и, вообще, для широких масс, а также через книги и научно-популярные статьи, которые они публиковали. В начале 1910-х годов в России была осознана необходимость выпуска научно-популярного журнала и научно-популярной литературы. Такую роль в России, а затем и в СССР, играл научно-популярный журнал «Природа» (см.: [2]), а также книги и статьи отечественных ученых и переводы научно-популярных книг западных ученых.

Теория относительности в «Природе»

В 1912 г. в России начал издаваться журнал «Природа», ежемесячный популярный естественно-исторический журнал для самообразования. Первыми редакторами его были профессора В.А. Вагнер и Л.В. Писаржевский. В журнале публиковались обзоры, написанные научно-популярным стилем, научные новости и библиографические ссылки на новую научную литературу. Задачей журнала «в возможно более популярной форме, но не принижая научности изложения, знакомить читателя со всем, что появляется нового, важного и интересного в области естествознания». Создатели журнала увидели «необходимость по возможности вывести науку из-за закрытых дверей лабораторий и ученых кабинетов, и, разрушая заблуждения и ложные представления, распространить широко знание завоеванных истин».

В первом номере «Природы» была помещена речь проф. И.И. Боргмана «Последние успехи в физике», произнесенная при открытии отдела физики Второго Менделеевского съезда 21 декабря 1911 г. [3] Боргман от-

[*] Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (09-08-00246)

мечает важнейшие экспериментальные открытия последних лет — получение жидкого гелия Каммерлинг-Оннесом в 1908 г. и открытие резкого уменьшения сопротивления металлов (позже это получило название сверхпроводимость), открытие в 1909 г. Э. Резерфордом, что альфа-частицы, образуемые при распаде радия, есть атомы гелия, опыты Милликана по определению «величины электрона» (так тогда, следуя Дж. Стони, называли заряд электрона), исследования Ф. Перреном броуновского движения и определения постоянной Авогадро, исследования П.Н. Лебедева давления света на газы, Вуда в области абсорбции и флуоресценции, Томсона каналовых лучей и др. Также Боргман ссылается на опыты Кауфмана, Бухерера и Гупки с бета-лучами («потoki атомов отрицательного электричества», ныне — электроны) как доказывающие, «что масса каждой составной частички этих потоков является функцией скорости движения этой частички, что масса, следовательно, не может быть такая, какая свойственная материи, но представляет собою лишь массу электромагнитную» [3, с.33] (в указанных опытах определялись релятивистские зависимости энергии и импульса от скорости, понятие релятивистской массы ныне не используется как эквивалентное энергии). Развитие теоретической физики Боргман не упоминает, но ссылается на речь Н.А. Умова, произнесенную пленарном заседании съезда. В конце своей речи Боргман затрагивает вопрос о теории относительности: «Я кончаю свой краткий обзор. Я оставил в стороне все то, что в последнее время было высказано относительно принципа релятивности, природы излучения и сущности света. Все это касается самого фундамента теоретической физики и возбуждает необычный интерес. Но, мне думается, что по этим вопросам еще не время принимать окончательное решение. Недостаточны весьма остроумные спекуляции, весьма изящные сопоставления, нужны факты, нужны данные непосредственных опытов, чтобы раз навсегда отказаться от того, чем жила наша наука в течение всего времени ее необыкновенного развития. Идея об эфире, идея о роли среды в передаче действий на расстояние руководила изысканиями всех крупнейших исследователей в области физики. Эта идея принесла пользу; мы знаем к каким блестящим результатам привела она. Вероятно и в будущем она послужит нам» [3, с.35-36].

В этом же первом номере «Природы» в отделе научных новостей был помещен краткий обзор Л. Писаржевского Второго Менделеевского съезда [4], в котором он перечислил основные доклады на съезде и привел выдержки из пленарного доклада Н.А. Умова «Характерные черты и задачи современной естественнонаучной мысли». На съезде присутствовало 1700 человек, как ученые, так и студенты (в том числе будущий академик С.И. Вавилов, что он отметил в своем дневнике). Касаясь речи Умова, Писаржевский привел фрагменты, связанные с теорией относительности. Он писал: «Затем оратор перешел к разъяснению принципа относительности, гласящего, что законы явлений в системе тел для наблюдателя, с нею связанного, представляются одинаковыми, будет ли эта система оставаться в

покое или двигаться равномерно и прямолинейно. На чрезвычайно простых примерах в мастерской и понятной форме лектор объяснил слушателям сущность этого принципа и важность его». Писаржевский также отмечает, что Умов в докладе рассматривал изменение понятия времени в связи с теорией относительностью и появление четырехмерного многообразия (пространства-времени).

В февральском номере «Природы» за 1912 г. в разделе «Библиография» публикуется краткая рецензия П.П. Лазарева на издание русского перевода доклада Г. Минковского «Пространство и время», сделанного им на съезде естествоиспытателей и врачей в Кельне в 1908 г. [5]. В рецензии Лазарев отметил: «Последние годы в физике ознаменовались пересмотром тех основных принципов, на которых была построена вся наука и этот пересмотр показал, что целый ряд новых фактов, открытых опытом и не укладывавшихся в старую теорию можно уложить в стройную и ясную систему, если принять как допущение, как гипотезу, особый принцип относительности, связывающий те явления, которые могли бы наблюдаться в теле во время его движения с тем, что действительно должно происходить в нем». Лазарев, в частности, отметил, что именно Минковский внес «наиболее крупный и ценный вклад» со стороны математиков в разработку теории относительности.

В номере за июль-август 1912 г. публикуются две рецензии на переводы книг О. Лоджа [6] и Э. Кона и А. Пуанкаре [7]. Рецензент на первую книгу (имя его в журнале не приводится) отмечает, что Лодж в своей «чрезвычайно интересной книжке», проводит мысль о мировом эфире как основном веществе, совершенной жидкости, непрерывной, несжимаемой и недвижимой, а также указывает, что есть и другие точки зрения: «Редактор русского перевода указывает в своем предисловии, что "точка зрения Лоджа не является единственной и общепризнанной в науке... что новое физическое мировоззрение, основанное на принципе относительности, совершенно отрицает существование эфира... но Лодж далек от этих новых воззрений... и в настоящей книге излагает то представление об эфире, которое создалось у него в результате многолетнего и настойчивого труда"». Касаясь второй книги, Л.П. (вероятно — Писаржевский) указывает, что «авторы сделали все возможное, чтобы разъяснить не специалисту сущность принципа относительности и новой механики. Но усвоение этих новых идей трудно и для специалиста. Только тогда, когда идеи эти войдут в плоть и кровь научного мировоззрения, они станут вполне доступными для мало подготовленного к их восприятию читателя. Теперь же даже читателю с университетским образованием по физике потребуется значительное напряжение мысли для проникновения в глубину идей, о которых трактуется в этой книжке двумя известными учеными и популяризаторами». В рецензии П. Бельского на второй выпуск сборника статей переводов ведущих западных ученых «Успехи физики», выпущенный редакцией одесского журнала «Вестник опытной физики», отмечается содержательность,

ясность изложения и полная научность статей, опубликованных в сборнике (М. Планка, А. Риги, Э. Резерфорда, Дж. Томсона и др.). Из семи статей пять излагали «сущность теоретической разработки различных наиболее интересных вопросов физической науки», а две — «о применении на практике успехов физики». Однако теория относительности осталась, как отметил Бельский, вне этого сборника: «Подбор статей дает яркую картину современного состояния физики. В сборнике совсем не затронут «принцип относительности». Редакция объясняет этот пропуск тем, что нельзя было отыскать ни одной статьи, дающей о нем действительно ясное представление не специалисту» [8].

Редакция журнала «Природа» восполняет этот пробел. В ноябрьском номере «Природы» появляется первое в России обширное популярное изложение теории относительности, написанное О.Д. Хвольсоном [9]. Статья Хвольсона открывала этот номер «Природы». В 1912 г. О. Хвольсон опубликовал в 4 томе своего фундаментального «Курса физики» пятую главу, посвященную целиком целиком принципу относительности. Редакция Журнала Русского Физико-Химического Общества обратилась к Хвольсону с просьбой о перепечатке этой главы в виде отдельной журнальной статьи, что и было осуществлено [10]. Сравнение текстов показало, что для читателей «Природы» Хвольсон написал новый текст, концептуально соответствующий публикации в «Курсе физики» и в ЖРФХО, но с минимальным количеством формул, причем их он выделил мелким шрифтом, оговорив, что они «могут быть пропущены читателями, незнакомыми с алгеброй». По этим же причинам (незнакомство читателей журнала с $\sqrt{-1}$ и мнимыми числами) Хвольсон вынужден был сократить почти все, связанное с Минковским, однако упомянув, что это «еще более смелое учение», в котором два понятия — пространства и времени — связываются «в одно нераздельное и однородное целое», и этим Минковский «дал самым основам принципа относительности новое толкование» [9, с.1278]. Хвольсон также отмечает «несчетное число (Хвольсон, очевидно, имел в виду западные публикации — *К.Т.*) попыток популярного изложения принципа относительности во всевозможных журналах, а также отдельных брошюрах и на всех культурных языках величайшего научного переворота, на котором ныне сосредоточено внимание ученых специалистов, и которые занимает и волнует их и разделяет их на враждующие между собою группы». В статье Хвольсон отмечает, что в сущности теория Эйнштейна это «расширение принципа относительности старой механики»: «прямолинейное и равномерное движение в пространстве ни при каких условиях и никакими наблюдениями не может быть обнаружено». Несмотря на некоторые неточности (Хвольсон распространяет не вполне правильные представления о росте массы со скоростью) обзор Хвольсона — это первый популярный обзор теории относительности, написанный на высоком научном и педагогическом уровне. Заключение в обеих статьях Хвольсона были аналогичны, он указал, что существуют и противники теории относительности:

«Картина современного (1912) положения теории относительности была бы неполною, если бы мы не указали, в заключение, на разногласие, существующее между учеными по вопросу о значении, которое эта теория имеет и о физической реальности ее выводов. Многие ученые считают ее окончательно установленной, не вызывающей никаких сомнений и навсегда включенной в сокровищницу науки. Но не малое число ученых относятся к ней скептически и даже безусловно отрицательно, считая ее смешною шуткою (*ein drolliger Witz*). Строго говоря, все ученые, не отрицающие существования эфира, не могут *полностью* стоять на почве вышеизложенной теории относительности. От будущего следует ожидать решения спорных вопросов и выяснения истинного, *физического* значения принципа относительности» [9, с.1315].

Отметим также, что С.И. Вавилов, как это следует из его дневников, находясь в действующей армии в период первой мировой войны, получил в 1915 г. этот том Хвольсона и изучал именно главу, связанную с принципом относительности, что завершилось публикацией С.И. Вавиловым небольшой заметки в одесском журнале, в которой он пытался предложить другое объяснение опыту Майкельсона [11, 12].

В феврале 1913 г. «Природа» печатает речь Умова «Физические науки в служении человечеству», в которой он также упоминает принцип относительности: «Мы высоко ценим поэтому всякую новую мысль, как бы колоча и остра она ни была. Ей представляется возможность свободного развития. Воздвигая ему препятствия, мы нанесли бы ущерб тому освещению, которое необходимо разуму, ищущему истины. Физические науки не знают страха перед мыслью. Этому бесстрашию мы обязаны разработкой представления об электромагнитной массе и теории относительности, коренным образом противоречащих установившимся воззрениям на вещи и совершающееся» [13].

В 1913 г. в «Природе» Ф. Соколов помещает рецензию на лекции А. Майкельсона 1899 г., опубликованные в виде книги «Световые волны и их применения». Соколов напоминает, что «ни одно изложение «принципа относительности» — самого жгучего вопроса современной физики — не обходится без упоминания опыта Майкельсона» [14, с.264]. В этих лекциях, прочитанных еще до статьи Эйнштейна 1905 г., Майкельсон опирается на концепцию эфира, однако отмечает, что «все попытки проверить гипотезу, согласно которой эфир не принимает участия в движении земли вокруг солнца (гипотеза неподвижного эфира — *K.T.*), дали отрицательные результаты, на основании чего мы можем сказать, что весь вопрос пока еще находится в неудовлетворительном состоянии». Соколов также отмечает, что Хвольсон написал примечания и 5 дополнительных статей к этому изданию, в том числе «Современное положение вопроса об эфире».

В октябрьском номере «Природы» за 1913 г. О. Хвольсон публикует статью «О числе мировых агентов», в которой кратко анализирует эволюцию различных гипотез о первоосновах материи (вещество, теплород, маг-

нетизм, электричество, эфир). Он, в частности, отмечает: «Мы переживаем период великой эволюции научной мысли. Старое рушилось, новое еще не построено» [15, с.1143] — очевидно, он имел в виду еще и квантовую «революцию», которая как раз происходила в этот период. Далее он пишет: «Современной науки по отношению к основным чертам картины мира не существует. Мы имеем дело с разнообразнейшими гипотезами выдающихся ученых, с хаосом противоположных взглядов, в котором разобратся нелегко» [15, с. 1150]. «Эфир сейчас науке не нужен, он бесполезен (в силу своей непродуктивности — прим. К.Т.), — пишет в заключение Хвольсон. — К этой же идее о не существовании эфира приводит и принцип относительности, играющий большую роль в современной науке. Здесь не место его рассматривать. Отказываясь от эфира, мы должны приписать квантам самодовлеющую реальность». Вывод Хвольсона звучит актуально и сегодня: «Итак: эфира нет, но существуют кванты».

В 1915 г. теория относительности упоминается только в статьях, посвященных Н.А. Умову в связи с его смертью. О.Д. Хвольсон в некрологе отмечает: «В особенности замечательны были его исследования, относившиеся к так называемому принципу относительности, которому была посвящена также значительная часть третьей из вышеуказанных его речей (1911)» [16, с.154] (Речь о докладе Н.А. Умова «Характерные черты и задачи современной естественно-научной мысли» 21 декабря 1911 г. на II Менделеевском съезде). А.И. Бачинский в более развернутой статье, посвященной Н.А. Умову пишет: «Н.А. с юношеской восприимчивостью следит за новыми идеями, которые в таком изобилии возникают в физике XX века, изучает появляющиеся во множестве работы и сам берется за перо, чтобы со своей, всегда оригинальной и носящей общий характер, точки зрения осветить смысл воззрений, еще не вполне кристаллизовавшихся. Сюда относятся его статьи о принципе относительности (1910-1912) и теории квант (1913)» [17, с.304].

В 1916 г. в «Природе» появляются две статьи П.П. Лазарева, посвященные волнам в природе и электромагнитной природе света [18, 19]. В первой статье есть специальный раздел, посвященный «волнам в эфире», где он указывает, что световые явления, происходят «в особой мировой среде — эфире» (ст. 549), при этом Лазарев ни словом не упоминает о Майкельсоне, Лоренце и Эйнштейне. То же касается второй статьи, в которой Лазарев упоминает Максвелла и Герца, но не упоминает Лоренца и Эйнштейна.

В отдельные годы в «Природе» не публиковалось никаких статей и научных новостей, связанных с теорией относительностью (1914, 1916, 1917, 1930 и др.). В 1920 г. из-за гражданской войны и разрухи журнал вообще не выпускался.

В 1921 г. издание журнала было возобновлено, вышло четыре строчных номера (1-3, 4-6, 7-9, 10-12). Журнал выходил под ред. проф. Н.К. Кольцова, проф. Л.А. Тарасевича и акад. А.Е. Ферсмана. Статей по теории относительности и, вообще, по физике также не было, в основном в статьях и научных новостях была представлена биология и медицина, химия и мине-

ралогия, геология, а также немного радиотехника и астрономия. Наоборот, в статье Г. Зелигмана «О ритме в природе» [20] автор воспроизводит дорелятивистские воззрения на свет, как волны в эфире: «Носителем звука служит воздух. Для света, пробегающего огромные пространства в самые малые промежутки времени, мы вынуждены предполагать среду до того подвижную и эластичную, что опыт не в состоянии проследить за ней. Эта среда есть гипотетический эфир, а свет есть, как предполагают, не что иное, как волнообразное движение в эфире» [20, с.15].

Однако в конце последнего номера за 1921 г. была помещена библиография немецкой научной литературы по физике и химии за 1919 г., написанная М.А. Блохом. Он указал ряд новых немецких книг по атомной теории и теории относительности и отметил происходящее кардинальное изменение физической картины мира. Среди книг по теории относительности — книги Э. Кона, В. Блоха, А. Брилля, издание Г. Вейлем лекции Римана об основаниях геометрии, том «Физика», коллективного труда «Kultur der Gegenwart», в котором глава по теоретической атомистике и теории относительности написана А. Эйнштейном, а другие главы — М. Планком, Г. Лоренцем и др., три лекции В. Вина, вторая из которых была посвящена физике и теории познания (сопоставление теории относительности и гипотезы квант Планка и взглядов Э. Маха). Он отмечает также, что в Германии наряду с абстрактными работами «о строении атомов, изотопов и теории относительности», наблюдается значительное оживление литературы по истории науки и техники. [21]

В 1922 г. в «Природе» появляются еще три заметки М.А. Блоха [20-24]. В первой заметке он пишет о конкурсе на наиболее понятное изложение принципа относительности, который был организован в Нью-Йорке журналом “New Scientist” и в котором приняло участие более 300 человек. Интересно, что победил в конкурсе участник из Англии той же, что и Эйнштейн, профессии — служащий патентного бюро.

Во второй заметке Блох описывает содержание бесед немецкого журналиста А. Мошковского (он называет его «гетевским Эккерманом в XX столетии») с Эйнштейном, опубликованных на русском языке в виде отдельного издания [25], в которых затрагивались такие вопросы, как наследование гениальности, взгляды Эйнштейна на педагогику, на литературу и др. В третьей заметке Блох приводит оценки размеров мира, сделанные Эйнштейном и другими учеными на основе общей теории относительности [24].

В дальнейшем явный крен в «Природе» в химико-биологическую и геолого-минералогическую сторону был преодолен (ясно, что такой крен был вызван научными интересами Н.К. Кольцова и А.Е. Ферсмана) и в журнале в конце 1920-х годов печатаются статьи о работах выдающихся западных физиков и астрофизиков и переводы их научно-популярных статей (П.А.М. Дирак, Дж. Джинс, В. де Ситгер).

В 1928 г. в «Природе» публикуется заметка «Памяти А.А. Фридмана» (автор скрыт за инициалами Л.Б.) [26], в которой указывается, что в 1927 г.

был опубликован 1-й том V Геофизического сборника (1927, 63 с.), содержащий биографию Фридмана, список его научных трудов, статьи о работах Фридмана В.А. Стеклова, И.В. Меццерского и М.А. Лорис-Меликова, а также одну из статей Фридмана по теории движения сжимаемой жидкости. Статья М.А. Лорис-Меликова была посвящена работам А.А. Фридмана в области теории относительности. В заметке в «Природе» автор Л.Б. кратко отмечает основные результаты А.А. Фридмана по развитию теории относительности — открытию нестационарных решений уравнения Эйнштейна, доказательство возможности существования мира с постоянной отрицательной кривизной, и указывает на популярную книгу Фридмана «Мир как пространство и время» (1923, Пгр., изд. «Academia»). В №12 в разделе «Новости. Физика» была помещена заметка А.Д. (автор скрыт за инициалами) о новых экспериментальных подтверждениях общей теории относительности, полученных американскими и др. учеными — искривления прямолинейного пути светового луча и смещения спектральных линий к красному концу спектра под действием гравитационного поля, соответствующих в пределах точности теории Эйнштейна [27].

В 1929 г. в «Природе» публикуется статья Н.В. Белова о единой теории Эйнштейна (гравитации и электричества) [28] и рецензии Т.П. Кравца на книгу О.Д. Хвольсона «Физика наших дней» [29] и «Исследования по оптике» А.А. Майкельсона [30].

В первом номере за 1931 г. в журнале «Природа» публиковалась статья В.Г. Фридмана «Принцип эквивалентности Эйнштейна и учение Ньютона о массе и тяготении» [31]. В этом же году в журнале была опубликована статья В. Де Ситтера «Раздвигающаяся Вселенная» в переводе Н.В. Белова [32], в разделе «научные новости» были помещены заметка М. Савостьяновой о новом воспроизведении опыта Майкельсона-Морли [33], заметка Н.В. Белова о расширяющейся Вселенной [34], а в разделе «научная хроника» — некролог А.А. Майкельсона, написанный также Н.В. Беловым [35].

Как видим, журнал «Природа» сыграл важную роль в пропаганде теории относительности, поместив превосходный обзор О.Д. Хвольсона и публикуя эпизодически различные актуальные материалы. Однако интересы членов редколлегии, далекие от физики, а также тяжелая ситуация, связанная с гражданской войной в России, когда журнал вообще перестал выпускаться, привели к неравнозначному освещению достижений в области физики и других наук.

Обзоры и рецензии научно-популярной литературы по теории относительности

В 1910-20-е годы было издано несколько десятков научно-популярных книг как отечественных, так и зарубежных ученых, в том числе появились три разных перевода статьи А. Эйнштейна «О специальной и общей теории относительности», вышедшей в виде отдельных изданий [25, 36-64,

81-84]. В 1921-23 годах было опубликовано несколько обзоров этих книг — А.К. Тимирязева, А.А. Максимова и В.А. Базарова [65-68], а также ряд рецензий разных авторов в журналах [69-79]. Во всех обзорах анализировалась сама статья Эйнштейна, а также дополнительно несколько книг. Обзор и рецензии А.К. Тимирязева охватывали 7 книг, А.А. Максимова — 18, В.А. Базарова — 22 книги и статьи.

Обзору Тимирязева предшествовали его рецензии в журнале «Печать и революция» на оригинальные немецкие издания [71-75]. Поскольку он был механицистом и противником теории относительности, его воодушевила книга антирелятивиста Ф. Ленарда. В конце рецензии он сделал такой вывод: «Книгу необходимо перевести на русский язык, как здоровый противовес к тем неумеренным, почти истерическим восторгам, которые теперь широкой волной заливают почти всю популярную литературу по принципу относительности» [73]. А вот книгу М. Шлика он оценил отрицательно, как пропаганду идеализма: «Конец книги пестрит цитатами из Канта, Юма и Маха. Вообще книга является образцовым примером того, какую опасность представляет теория Эйнштейна, когда она попадает в руки людей, стоящих далеко от производства самой науки, от живой текущей лабораторной работы, от непосредственных опытных исследований. Читателю такая книга принесет гораздо более вреда, чем пользы, изображая новые приобретения науки в заведомо ложном свете. Переводить подобного рода книги не следует.» [74]. Отметим, что обе книги были вскоре переведены и изданы на русском языке. (Книга Ленарда была переведена под редакцией А.К. Тимирязева, который написал к ней и примечания, а книга М. Шлика переведена П.С. Юшкевичем и издана в сборнике [64], см. подробнее [80]. В рецензии на книгу О.Д. Хвольсона Тимирязев с сожалением отмечает, что «именно теорию относительности проф. Хвольсон считает абсолютной истиной, об очень многих веских доводах против учения Эйнштейна просто не упоминается, как, например, об опытных исследованиях «тонкой структуры» спектральных линий». Тимирязев в заключение делает такой вывод: «Как изложение, фактических успехов науки за пятьдесят лет, книжка проф. О.Д. Хвольсона очень хороша; выводы же автора, его взгляды на современные теории крайне односторонние: он считает все новое уже законченным и как бы не подлежащим дальнейшему развитию. Все это вместе может основательно сбить с толку читателя — неспециалиста» [77]. Тем не менее, Тимирязев, несмотря на свое неприятие теории относительности, рекомендовал перевести и книгу А. Эйнштейна «О специальной и общей теории относительности»: «Во всяком случае, книжку Эйнштейна можно рекомендовать всякому вдумчивому читателю, желающему познакомиться с этим новым учением из первых рук. Хорошо было бы, конечно дополнить чтение этой книги чтением остроумных возражений, сделанных Ленаром (О принципе относительности, эфире и тяготении. Ф. Ленар[д], Лейпциг. 1921 г.). Книгу Эйнштейна безусловно необходимо перевести на русский язык.» [72]. Эти возражения Ленарда А.К. Ти-

миряев воспроизвел в обзоре этих же книг, уже изданных к этому времени на русском языке [36, 40, 41, 47, 48].

Обзор А.А. Максимова был опубликован в двух номерах журнала «Под знаменем марксизма», он охватывал 18 книг [25, 36, 39, 42-57]. Максимов признает, что принцип относительности Эйнштейна является «революцией в науке», а Эйнштейн — «глубокий и серьезный мыслитель», но стоящий на «точке зрения идеалистической философии». Из этих книг «нет ни одной, которая бы представляла хоть в какой-нибудь степени пролетарскую идеологию» [67, с.138]. Книги Морозова, как отмечает Максимов, представляют мысли и теории самого автора, а брошюра Ленарда — чуть ли не единственная на русском языке, «посвященная критике теории относительности и ознакомление с ней нужно особенно рекомендовать» [68, с.182].

В 1923 г. был опубликован обзор научно-популярной литературы по теории относительности, написанный В.А. Базаровым [68]. В своем достаточно содержательном обзоре В.А. Базаров охватил 22 книги и статей, изданных на русском языке с 1914 по 1923 гг. — Г. Шмидта, Ш. Нордмана, О.Д. Хвольсона, П.П. Лазарева, Е.С. Лондона, Б. Дюшена, лекция С. Лифшица, М. Борна, статьи М. Лауэ, Э. Гётингтона, Р.Д. Кормикаэля в сборнике «Новые идеи в математике», три разных перевода книги А. Эйнштейна «О специальной и общей теории относительности», книги Ф. Ленарда, Н.А. Морозова, П.А. Флоренского, А.В. Васильева и Э. Кассирера [36-38, 46-63].

В.А. Базаров прежде всего формулирует задачи популярной литературы: «во-первых, она должна помочь профану разобраться в теоретическом и фактическом фундаменте принципа относительности, показать, что в нем действительно и солидно обосновано; во-вторых она должна вскрыть внутреннюю связь теории Эйнштейна с той грандиозной перестройкой, которой с разных сторон подвергаются в настоящее время основы естествознания, и в результате которой уже вырисовываются архитектурные линии мощной монистической концепции, объединяющей в одно стройное целое механику, электродинамику и теоретическую химию» [68, с.325].

С точки зрения сформулированных им задач популярной литературы Базаров разделил ее на четыре части: 1) работы, которые по тем или другим причинам вовсе не достигают той цели, ради которой они написаны, 2) работы, в которых изложена сущность теории относительности, 3) работы, в которых критикуется теория относительности, 4) работы, посвященные философскому анализу принципа относительности.

По мнению Базарова, совершенно неудачными попытками популяризации являются лекция проф. С. Лифшица, книги Б. Дюшена и Е.С. Лондона. В лекции С. Лифшица Базаров указал на правильный вывод им преобразования длины, но обнаружил ошибку в выводе Лифшицем формулы преобразования времени, из которой следует убыстрение хода времени в движущейся системе (т.е. противоположный вывод, чем в СТО), а также непонимание автором эквивалентности систем отсчета и ошибочный вы-

вод о нарушении причинности явлений. Книга Дюшена относится к «беллетристической» литературе, для которой характерна «внешне изящная, но поверхностная трактовка предмета», в книге «связь между Эйнштейном и другими реформаторами современной физики нигде не устанавливается сколько-нибудь отчетливо, и в гиперболических характеристиках автора гениальный германский ученый вырастает в сверхчеловеческое существо, одаренное божественным всемогуществом» [Там же, с.326]. В книге Е. Лондона, как указывает Базаров, ни один опыт не описан правильно, «все формулировки словно нарочно подобраны так, чтобы затемнить понятия читателя», а комментарии автора «вообще не поддаются никакой характеристике». Отметим, что Е.С. Лондон был профессором Института экспериментальной медицины и его книга была нацелена на то, чтобы дать какое-то представление о теории относительности медицинским работникам. Отметим, что в 1923 г. Е.С. Лондон переиздал свою книгу, оставив без изменения основной текст, но сделав многочисленные пояснения.

К «доброкачественной» литературе по теории относительности В.А. Базаров относит книги Ш. Нордмана, Г. Шмидта и О.Д. Хвольсона. «Все эти три работы являются не только бесспорно компетентной, но и талантливой популяризацией, и притом талантливой в двух отношениях: и в смысле увлекательности изложения, и по существу, — в смысле умения выбрать из обширного материала науки самое существенное для данной цели и осветить это небольшое существенное так, чтобы необходимое упрощение понятий не приводило к их искажению» [Там же, с.329]. Хорошим дополнением к книге Хвольсона, по мнению Базарова, служит книга П.П. Лазарева, вместе с которой опубликованы переводы лекции А. Пуанкаре и статьи М. Планка. «Все перечисленные работы излагают теорию Эйнштейна, не прибегая к математическим доказательствам, хотя бы и самым элементарным», — отмечает Базаров. Однако «место теории относительности в *системе* современного естествознания остается недостаточно выясненным». Это, как считает Базаров, восполняется книгой М. Борна. Для выяснения «логической и теоретико-познавательной стороны принципа относительности» Базаров рекомендует помимо книги Борна статьи Гёттингтона, Р.Д. Кармикаэля и М. Лауэ из сборника «Новые идеи в математике», №5.

Базаров также сравнивает и три перевода известной работы А. Эйнштейна «О специальной и общей теории относительности», опубликованные в 1922 г. разными издательствами: 1) под ред. Н.А. Морозова и Б.С. Бычковского, 2) под ред. проф. С.Я. Лифшица, 3) под ред. А.П. Афанасьева. Навзгляд Базарова «первые два перевода ближе к подстрочнику, а последний (под ред. А.П. Афанасьева) более литературен». Отметим, что этот перевод был сделан С.И. Вавиловым.

Среди антирелятивистской литературы Базаров выделяет книги Ф. Лернара, который «в качестве физика» принимает следствия ТО, а «в качестве философа он — *принципиальный* противник принципа относительности». Также дискуссии Эйнштейна с французскими антирелятивистами, как от-

мечает Базаров, были отражены в книге Ш. Нордмана «Эйнштейн в Париже». К антирелятивистской литературе Базаров относит и две книги «талантливого автора» Н.А. Морозова. «К теории Эйнштейна все это имеет довольно отдаленное отношение», — отмечает Базаров.

В конце своего обзора Базаров анализирует книги, в которых рассматриваются философские интерпретации теории относительности. В книге А.В. Васильева автор подробно останавливается как на философских предшественниках «релятивизма», так и дает «очень содержательные очерки геометрий Римана, Лобачевского, четырехмерного мира Минковского, в связи с основными положениями эйнштейновской теории». «Общий вывод проф. Васильева сводится к тому, что эйнштейновский принцип относительности органически связан с философским «релятивистическим эмпиризмом» в духе Маха», — отмечает Базаров.

«Блестяще написанная» книга Э. Кассирера «Теория относительности Эйнштейна» (Базаров читал ее в оригинале, а русский перевод характеризует как «неуклюжий»), направлена, как отмечает Базаров, чтобы показать, что «разрушение идей абсолютного пространства и времени не только не противоречит философии Канта, а, напротив, служит к вящему ее торжеству». На самом деле, как считает Базаров, Кассирер вкладывает в слова Канта современное содержание (ныне это называется презентизмом), а «исторический Кант несомненно стоял в тесном идейном родстве с абсолютизмом Ньютона и Эйлера».

Относительно брошюры П. Флоренского «Мнимости в геометрии» В.А. Базаров указывает на ошибки автора в применении формул теории относительности и изобилие вносимых автором «метафизических трудностей», но одновременно отмечает «чрезвычайно своеобразное философское освещение эйнштейновской теории». Базаров выразил надежду, «что к следующему изданию талантливый автор исправит многочисленные дефекты своего построения и придаст ему теоретически безупречную форму».

В заключение Базаров дал классификацию трех «непримиримых позиций» с точки зрения воззрений на научную истину на примере отношения ученых к картинам мира Коперника и Птолемея: 1) «Коперник и Птоломей дают логически равноправное, но научно далеко не равноценное истолкование одного и того же реального факта», — точка зрения А. Эйнштейна и его сторонников; 2) на стороне Коперника реальная физическая истина; построение Птолемея фактически ошибочно, а потому его математическое истолкование есть «логически недопустимый эксперимент», — точка зрения Ленар[д]а, Морозова и мн. других; 3) концепция Птолемея есть абсолютная истина; теория Коперника есть логически соблазнительный, но метафизически недопустимый эксперимент, — позиция Флоренского». Базаров отмечает, что между сторонниками этих позиций «не может быть разумного спора, а возможны лишь аргументы внелогического порядка» [68, с.343].

В дополнение содержательного обзора В.А. Базарова укажем рецензии на книги из журнала «Печать и революция», выходившего в Москве с 1921 по 1930 гг. [69-79]. В этих рецензиях проявились и личные воззрения авторов на теорию относительности.

С.И. Вавилов в рецензии на книге А. Гааза оспаривает его мнение о простоте новой физики: «Едва ли это так, — о единой картине вообще говорить еще преждевременно. Слишком много осталось неразрешенных противоречий почти во всех областях физики; новая физика пока сложное и непримиренное нагромождение уцелевших «классических» принципов, эмпирических постулатов теории квантов и утверждений теории относительности, претендующих на всеобщность, практически же еще очень ограниченных. С другой стороны, новая картина мира и не проста, она значительно запутаннее старой классической картины» [76].

Я.Н. Шпильрейн выделяет книгу Фрейндлиха, как с содержательной стороны хорошего популярного изложения основных представлений общей теории относительности, так и качество перевода Г.С. Ландсберга: «Перевод выполнен внимательно и хорошим языком. Это обстоятельство, равно как и аккуратное издание, выгодно выделяет разбираемую книгу из числа русских изданий по теории относительности.». Шпильрейн также отмечает спад «моды» на теорию относительности в обществе: «Волна интереса к теории относительности в широких кругах значительно спадает. Еще в прошлом году можно было встретить статьи о теории относительности в самых разнообразных журналах; доклады и диспуты о теории относительности привлекали громадное количество слушателей, при чем рассуждения о теории относительности напоминали споры начетчиков: в качестве аргументов цитировались фразы из книг Борна, Фрейндлиха, Бауэра, реже Лауэ и еще реже Вейля и самого Эйнштейна. Часто при этом цитированные мысли искажались, и потому у нас было сказано и написано не мало вздора по поводу теории относительности. Объясняется это увлеченьем, по-видимому, открывшейся возможностью порассуждать о новой материи, достаточно непонятной, чтобы казаться интересной. Ибо в нашем рабочем государстве, как и до революции, точное мышление не пользуется пока большим распространением, и нередко можно встретить весьма образованных по части словесности людей, поражающих своим невежеством в области наук физико-математических. Однако, из такого философического рассматривания физических проблем редко выходит что-либо путное.» [78]

Н.Н. Андреев в рецензии на книгу Н.А. Морозова, характеризует и всеобщее значение теории относительности: «Однако принцип относительности ставит и разрешает вопросы, близкие не одним только физикам. С одной стороны — это физическая теория, с другой — критическая оценка основных элементов нашего познания и, наконец, это — венец, завершение стройного здания строго физического мировоззрения, развивавшегося в течение всего XIX века, с его отказом от абсолютного с его релятивированием нашего опыта, с его непреклонным стремлением к монистическому позна-

нию мира. Отсюда вытекает значение идей А. Э[й]нштейна для всякого, кто интересуется развитием научной мысли и вопросами познания вообще, и легко понятным становится то внимание, которое все более и более привлекает к себе теория относительности за границей. Она там уже далеко шагнула за порог лабораторий и кабинетов. Сотни книг и тысячи статей в различных научных, философских и общих журналах написаны для разъяснения и популяризации принципа относительности, еще больше в опровержение и защиту его, и можно сказать, что в наше время А. Э[й]нштейн является едва ли не самым популярным человеком в интеллигентных кругах Западной Европы. К сожалению, у нас знакомство с этим поистине революционным учением ограничивается пока весьма узким кругом лиц, занимающихся физикой, математикой или философией, и даже среди ученого мира многие знакомы с ним лишь понаслышке. Это несомненно ненормально. Принцип относительности имеет колоссальное значение для эволюции нашего мышления». [70]. Книгу Морозова Андреев оценивает критически. На его взгляд такого рода книги, нацеленные спасти классические физику и механику, «к сожалению, роковым образом постигает одна и та же участь: играть роль воды на мельнице теории относительности».

В заключение упомянем три книги, которые были опубликованы в 1920-е годы позже указанных обзоров. Прежде всего, это книга А.А. Фридмана «Мир как пространство и время» [81]. Интересно, что он в предисловии охарактеризовал принцип относительности как «совершенно не поддающийся популяризации», поскольку «эта популяризация достигается или ценой полного затемнения идей, лежащих в основе принципа относительности, или же, что, пожалуй, еще хуже, ценой извращения этих идей» [82, с.245]. Фридман опирается целиком на математическое изложение общей теории относительности и космологии, основанной на этой теории. Он также отказался приводить и дополнительную литературу, поскольку «популярная литература ничего не разъясняет» [Там же, с.247]. Еще две книги — С.Ю. Семковского и Б.М. Гессена — содержали популярное изложение теории относительности и были направлены на обоснование, что эта теория соответствует диалектическому материализму [83, 84].

Таким образом, популяризация теории относительности развивалась по нескольким направлениям — более или менее удачные попытки популяризации теории относительности (А. Эйнштейн, О.Д. Хвольсон и др.), популяризация в сочетании с различными философскими направлениями (М. Шлик, Э. Кассирер и др., при этом русская религиозная философия почти полностью проигнорировала теорию относительности), популяризация с целью идеологической адаптации теории относительности в СССР (Б.М. Гессен, С.Ю. Семковский), попытки на популярном уровне выдвигать контраргументы против теории относительности (Ф. Ленард, А.К. Тимирязев) и принципиальное отрицание возможности её популяризации в сочетании с её изложением чисто дедуктивно-математическим методом (А.А. Фридман).

Литература

1. *Визгин В.П., Горелик Г.Е.* Восприятие теории относительности в России и СССР // Эйнштейновский сборник 1984-85, М.: 1988. С.7—70.
2. *Андреев А.Ф.* Журналу «Природа» — 100 лет // УФН. 2012, №1. С.105-110.
3. *Боргман И.И.* Последние успехи в физике // Природа, 1912 (1). С.23-35.
4. *Писаржевский Л.* Второй Менделеевский съезд по Общей и прикладной химии и физики // Природа, 1912 (1). С.121-124.
5. *Лазарев П.П.* Рец. на кн.: Минковский Г. Пространство и время. СПб.: Physice, 1911. 93 с. // Природа, 1912. С.293.
6. [Без автора] Рец. на кн.: Лодж О. Мировой эфир. Перевод под ред. прив.-доц. Хмырова. Изд. «Матезис», 1911. 216 с. // Природа, 1912 (июль-август). С.1010.
7. *Л.П.[исаржевский]*. Рец. на кн.: Кон Э., Пуанкаре Г. Пространство и время с точки зрения физики. Пер. под ред. «Вест. Опыт. физики». Одесса: «Матезис», 1911. 81 с. // Природа, 1912 (июль—август). С.1011-1012.
8. *Бельский П.* Рец. на кн.: Успехи физики. Сб. Статей о важнейших открытиях последних лет. Под ред. «Вестника опытной физики». Одесса: «Матезис», 1911. 203 с. // Природа, 1912 (сентябрь). С.1144.
9. *Хвольсон О.Д.* Принцип относительности // Природа, 1912 (ноябрь). С.1275-1315.
10. *Хвольсон О.Д.* Принцип относительности // ЖРФХО. Ч. физ. 1912. Т. 44, вып. 10Б. С. 377; 1913. Т. 45, вып. 1А. С. 42.
11. *Вавилов С.И.* Дневники. Т.1. М.: Наука (в печати).
12. *Визгин В.П., Томилин К.А.* С.И. Вавилов и теория относительности // Годичная научная конференция ИИЕТ РАН, 2009. М.: 2009. С.258-261.
13. *Умов Н.А.* Физические науки в служении человечеству // Природа, 1913 (февраль). С.150-159.
14. *Соколов Ф.* Рец.: А.А. Майкельсон. Световые волны и их применения // Природа, 1913 (февраль). С.264-265.
15. *Хвольсон О.Д.* О числе мировых агентгов // Природа, 1913 (октябрь). С.1141-1152.
16. *Хвольсон О.Д.* Н.А. Умов (некролог) // Природа, 1915. С.153-154.
17. *Бачинский А.И.* Николай Алексеевич Умов // Природа, 1915. С.285—306.
18. *Лазарев П.П.* Волны и их роль в природе // Природа, 1916, №5/6. С.531-558.
19. *Лазарев П.П.* Электромагнитная теория света // Природа, 1916, №11. С.1235-1252.
20. *Зелигман Г.* О ритме в природе // Природа, 1921, №7-9. С.9-18.
21. *Блох М.А.* Среди иностранных книг // Природа, 1921, №9-12. С.84-87.
22. *Блох М.* Конкурс на наиболее понятное изложение принципа относительности // Природа, 1922, №8-9. С.116-117.
23. *Блох М.* Разговоры с Эйнштейном // Природа, 1922, №8-9. С.127-128.
24. *Блох М.* Размеры и величина мира по Эйнштейну // Природа, 1922, №10-12. С.69-71.

25. *Мошковский А.* Альберт Эйнштейн. Беседы с Эйнштейном о теории относительности и общей системе мира. Пер. с нем. Румер. М.: «Работник просвещения», 1922. 209 с.
26. *Л.Б.* Памяти Фридмана // *Природа*, 1928, №9. С.839.
27. *А.Д.* Новые подтверждения теории относительности // *Природа*, 1928, №12. С.1071-1073.
28. *Белов Н.В.* О новой теории Эйнштейна // *Природа*, 1929, №3. С.201-210.
29. *Кравец Т.* Рец. на кн.: О.Д. Хвольсон. Физика наших дней. Новые понятия о современной физике в общедоступном изложении. Госиздат, 1928. 344 с. // *Природа*, 1929, №2. С.186-187.
30. *Кравец Т.* Рец. на кн.: А.А. Майкельсон. Исследования по оптике // *Природа*, 1929, №5. С.473.
31. *Фридман В.Г.* Принцип эквивалентности Эйнштейна и учение Ньютона о массе и тяготении // *Природа*, 1931. С.3.
32. *de Ситтер В.* Раздвигающаяся Вселенная. Пер. Н. Белова // *Природа*, 1931, №5. С.423-436.
33. *Савостьянова М.* Новое воспроизведение опыта Майкельсона-Морлея // *Природа*, 1931 (№8). С.797.
34. *Белов Н.В.* Раздвигающаяся Вселенная // *Природа*, 1931, №9. С.903.
35. *Белов Н. А.А.* Майкельсон (1852—1931) // *Природа*, 1931, №9. С.928.
36. *Эйнштейн А.* О специальной и общей теории относительности. (Общедоступное изложение). Имеется три перевода: 1) под ред. проф. С.Я. Лифшица, М.: Госиздат, 1922. 2) под ред. Н.А. Морозова и Б.С. Бычковского. П.: Госиздат, 1922 и 3) пер. С.И. Вавилова под ред. А. П. Афанасьева. 3 изд. П.: Научн. книгоизд-во, 1923.
37. *Эйнштейн А.* Диалог о возражениях против теории относительности. — См. *приложение III* к переводу популярной работы Эйнштейна под ред. А.П. Афанасьева.
38. *Эйнштейн А.* Эфир и принцип относительности. Пер. А.П. Афанасьева. Пгр.: Научн. книгоизд-во, 1921. 27 с.
39. *Эйнштейн А.* Геометрия и опыт. П.: Научн. книгоизд-во, 1922. 28 с.
40. *Шлик М.* Пространство и время в современной физике. Берлин: Шпрингер, 1920 (третье издание) 65 с. Рус. пер. в [64].
41. *Леммель Р.* Пути, ведущие к теории относительности. Штутгарт: «Космос», 1921. 76 с.
42. *Ферсман А.* Время. П.: «Время», 1922. 71 с.
43. *Ферсман А.* Пути к науке будущего. П.: Научное химико-техн. изд-во, 1922. 51 с.
44. *Ауэрбах Ф.* Пространство и время. Материя и энергия. Пер. с нем., с дополнениями С.И. Вавилова. М.: Госиздат. 158 с.
45. *Леман И.* Теория относительности. Пер. Румера. М.: «Работник просвещения», 1922. 48 с.

46. *Ленар[д] П.* (правильно: Ф. - ред.) О принципе относительности, эфире и тяготении (критика теории относительности). Пер. с 3-го нем. изд. под ред. проф. А.К. Тимирязева. М.: Госиздат, 1922. 57 с.
47. *Лазарев П.* Физические основания принципа относительности. М.: «Северные дни», 1922. 85 с.
48. *Лифшиц С.* Принцип относительности А. Эйнштейна. (Лекция, прочитанная на объединенном заседании всех научных студенческих кружков Московского Университета). М.: Изд-во «Печатник», 1922. 36с.
49. *Дюшен Б.* Теория относительности Эйнштейна. «Всеукр. гос. изд-во», 1922. 68 с.
50. *Борн М.* Теория относительности Эйнштейна и ее физические основы. Пер. с нем. под ред. А.П. Кудрявцева. П.: «Наука и школа», 1922. 222с.
51. *Хвольсон О.Д.* Теория относительности Эйнштейна и новое миропонимание. П.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1922. 128 с.
52. *Морозов Н.* Принцип относительности в природе и математике. П.: Издание «Культурно-просвет. коопер. т-ва» «Начатки знаний», 1922. 40 с.
53. *Морозов Н.* Принцип относительности и абсолютное. Этюд из области проявлений волнообразного движения. П.: Госиздат, 1920. 88 с.
54. *Лондон Е.* Принцип относительности. П.: Научное хим.-техн. изд-во, 1922. 61 с.
55. *Шмидт Г.* Теория относительности и наше представление о вселенной. М.: Гос. техн. изд-во, 1922. 160 с.
56. *Нордман Ш.* Эйнштейн в Париже (Изложение теории и дискуссии). Пер. и биогр. заметки Ф. Ге. М., 1922. 32 с.
57. *Нордман Ш.* Эйнштейн и вселенная. (Из серии научных романов). Москва — Петроград, 1923.
58. *Лауэ М.* Принцип относительности. // «Новые идеи в математике». Сборник № 5. 1914 г.
59. *Гёттингтон Э.* Новое приближение к теории относительности. // Там же.
60. *Кормикаэль Р.Д.* О теории относительности: анализ ее постулатов// Там же.
61. *Флоренский П.* Мнимости в геометрии. М.: Поморье, 1922.
62. *Васильев А.В.* Пространство, время, движение. Исторические основы теории относительности. — М.: Образование, 1923. 135 с.
63. *Кассирер Э.* Теория относительности Эйнштейна. Пер. с нем. Е.С. Берловича, И.Я. Колубовского. — П.: Наука и школа, 1922.
64. Теория относительности Эйнштейна и ее философское истолкование. М.: Мир, 1923.
65. *Тимирязев А.К.* Обзор популярной литературы по принципу относительности // Красная новь, 1921, №4. С.285-289.
66. *Максимов А.А.* Популярно-научная литература о принципе относительности // Под знаменем марксизма. 1922, №7-8. С.170-182.

67. *Максимов А.А.* Еще о популярно-научной литературе о принципе относительности // Там же. 1922, №11-12. С.123-141.
68. *Базаров В.А.* Обзор научно-популярной литературы по теории относительности // Вестник Социалистической Академии, 1923, кн.3. С.322-343.
69. *Конобеевский С.* Рец. на кн.: Н. Морозов. Принцип относительности и абсолютное. Этюд из области проявлений волнообразного движения. Петербург: Госиздат, 1920 // Печать и революция, 1921, кн.1. С.136-139.
70. *Андреев Н.Н.* Рец. на кн.: Эйхенвальд А. А. Акустика и оптика. (Конспект, лекций). Изд. третье. М.: Госиздат. 1921 // Печать и революция, 1921.
71. *Тимирязев А.К.* Рец. на кн.: P. Lämmel. Die Grundlage der Relativitätstheorie Populärwissenschaftlich dargestellt. Berlin: Springer, 1921 (Леммель Р. Популярное изложение принципа относительности) // Печать и революция, 1921, кн.2. С.177-178.
72. *Тимирязев А.К.* Рец. на кн.: Einstein A. Ueber die Spezielle und die Allgemeine Relativitätstheorie (gemeinverständlich). Zwölfte Auflage (51-55 Tausend) Vieweg. 1913. (Эйнштейн А. Специальная и всеобщая теория относительности (общедоступное изложение). 12-е изд.) // Печать и Революция, 1921, кн.3. С.242.
73. *Тимирязев А.К.* Рец. на кн.: Lenard P. Ueber Relativitätsprinzip, Aether, Gravitation. Dritte Auflage. Leipzig Hirzel, 44. 1921 (Ленар Ф. О принципе относительности, эфире и тяготении. 3-е изд. Лейпциг, Гирцель, 1921) // Печать и Революция, 1921, кн.3. С.242-243.
74. *Тимирязев А.К.* Рец. на кн.: Schlick M. Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik. Dritte Auflage. Berlin. Springer, 1920, 89 S. (Шлик М. Пространство и время в современной физике. 3-е изд. Берлин, Шпрингер, 1920, 89 с.) // Печать и Революция, 1921, кн.3. С.243.
75. *Тимирязев А.К.* Рец. на кн.: Лазарев П.П. Физические основания принципа относительности. Изд. «Северные дни», М. 1922. 74 с. // Печать и Революция, 1922, кн.7. С.267-269.
76. *Вавилов С.И.* Рец. на кн.: Гааз А. Физическая картина мира по данным новой физики. Перевод Я.И. Рамм, под редакцией проф. Н.Н. Андреева. — Москва — Ленинград: Изд-во Л. Д. Френкель, 1924, 108 с. // Печать и революция, 1924, кн.4. С.238.
77. *Тимирязев А.К.* Рец. на кн.: Хвольсон О.Д. Характеристика развития физики за последние 50 лет. — Ленинград: Госиздат, 1924, 218 с. // Там же. кн.5. С.253-256.
78. *Шпильрейн Я.* Рец. на кн.: Фрейндлих Э. Основы теории тяготения Эйнштейна. С предисловием А. Эйнштейна и с добавлением статьи В. Вина «Принцип относительности с точки зрения физики и теории познания». «Современные проблемы естествознания». Перевод Г.С. Ландсберга, под редакцией В.К. Фредерикса. Л.: Госиздат, 1923-24. 99с. // Там же. кн.5. С.257-258.
79. *Тимирязев А.К.* Рец. на кн.: Проф. Р. Мизес. Основные идеи современной физики и новое мирозерцание. Пер. под ред. Я. И. Френкеля. Книгоизд-во «Сеятель» Е.В. Высоцкого. Петроград 1924. 61 с. // Там же, кн. 6. С.204-206.
80. *Визгин В.П.* Русские позитивисты о теории относительности и ее философском истолковании (1910-1920-е гг.) // Вопросы философии. 2011, №12. С.93-105.

81. *Фридман А.А.* Мир как пространство и время. Пг., 1923. 130 с.
82. *Фридман А.А.* Избранные труды. Под ред. Л.С. Полака. — М.: Наука, 1966. 467 с.
83. *Семковский С.Ю.* Диалектический материализм и принцип относительности. М.-Л.: Госиздат, 1926. 216 с.
84. *Гессен Б.М.* Основные идеи теории относительности. — М.-Л.: Московский рабочий, 1928. 176 с.



Василий Демидович

ИНТЕРВЬЮ

С

МИЛОИЦЕЙ ЯЧИМОВИЧЕМ

С профессором Университета Черногории (Univerzitet Crne Gore) в Подгорице (бывшем Титограде), академиком Черногорской академии наук и искусств (Crnogorske akademije nauka i umjetnosti), Милоицей Ячимовичем (Milojica Jaćimović) я познакомился на Мехмате МГУ в 2009 году по случаю его приезда на конференцию, посвященную 75-летию Владимира Михайловича Тихомирова. Поэтому в 2011 году, будучи в командировке в Белграде, я позвонил Милоице по телефону, и он пригласил меня приехать на пару дней в Подгорицу для встречи с черногорскими математиками. Понятно, что я охотно принял это приглашение, сообщив, что прибуду в Подгорицу после выполнения своей «белградской командировочной программы».

Но далее случилось вот что. В намеченный срок, вечерним поездом «Белград-Подгорица», я отправился в Черногорию. Ночью, когда я спал, воры «вскрыли» каким-то образом моё (двухместное) купе и вытащили, из кармана висящего на вешалке моего пиджака, бумажник с заграничным паспортом, деньгами и обратным билетом в Белград. На границе между Сербией и Черногорией меня разбудила «объединённая группа из пяти человек» (как я понял, состоящая из пограничника и таможенника Сербии, пограничника и таможенника Черногории, а также кондуктора вагона) с требованием предъявить паспорт. Тут я и обнаружил пропажу своего бумажника. Объяснив, как смог, этой «объединённой группе» кто я, и как сложилась моя ситуация, в ответ я услышал, что мне надлежит «сойти с поезда (ночью!) на данном пограничном пункте, вернуться утренним поездом в Белград и обратиться там в Российское консульство для восстановления соответствующего «документа» о моём Российском гражданстве». Я же возразил, что за воровство в поезде, наверное, должен отвечать кондуктор, и что если они настаивают на своём «предложении», то пусть они, хотя бы, дадут мне справку о происшедшей краже и деньги на билет до Белграда. Посоветовавшись, они сказали, что «вошли в моё положение» и решили «пропустить меня» в Черногорию, где мне следует, приехав в Подгорицу, обратиться уже там «с моей проблемой» в Российское консульство.

К счастью, мне сопутствовали два благоприятных обстоятельства. Во-первых, воры не украли мой мобильник (естественно, он был не в бумажнике). Во-вторых, в это время в городе Бар (расположенном на Адриатическом побережье, в сорока километрах от Подгорицы) отдыхал на своей даче мой приятель по МГУ, физик, Владимир Артемьевич Хаймин, с гос-

тившим у него сыном подруги жены, молодым экономистом, Сергеем Владимировичем Свиридовым. Поэтому, сойдя с поезда в Подгорице, я сумел позвонить и Милоице, и Володе с Сергеем. Все трое с пониманием отнеслись к моей беде, велели никуда с вокзала не уходить и ждать их, куда они подъедут примерно через час на машинах. Ну а далее - поездки с ними в полицию с заявлением о случившемся, в фотоателье для фотографирования на «восстановительные» мои документы, в Российское консульство, где мой приятель и его гость «заверили моё Российское гражданство». Эти хлопоты, наконец-таки, позволили консулу выдать мне «Свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию». И на следующее утро, заняв у Володи деньги на билет, я выехал поездом обратно в Белград, куда благополучно прибыл как раз перед моим отлётом в Москву (слава Богу, свой авиабилет до Москвы я оставил у друзей в Белграде).

Конечно, в этих «форс-мажорных обстоятельствах», ни о каком моём докладе в Университете Черногории уже речь тогда не шла. Хорошо хоть то, что восстановление моего загранпаспорта в Москве прошло довольно «гладко».

А весной 2013 года Милоица Ячимович любезно устроил мне (предварительно согласовав удобный срок) официальное приглашение быть гостем Природно-математического факультета Университета Черногории в конце мая и выступить там со своим докладом. Во время этой поездки я и взял у него интервью.

Беседа наша происходила в офисе Милоицы — а именно в 111-ой комнате корпуса технических факультетов Университета Черногории, расположенного по адресу бульвар «Džordža Vašingtona, bb». Расшифровка её приведена ниже.

ИНТЕРВЬЮ С МИЛОИЦЕЙ ЯЧИМОВИЧЕМ

В.Д.: Мне очень приятно, дорогой Милоица, что ты согласился на нашу беседу! Сначала расскажи, пожалуйста, немного о своей семье. Я прочел в Интернетовской справке, что ты родился 1-го марта 1950 года в маленькой деревушке Костиница /Kostinica/ близ небольшого — всего пятнадцать тысяч жителей — Черногорского города Бело Поле /Bijelo Polje/. А кто были твои родители и имели ли они какое-либо отношение к математике?

М.Я.: Действительно, я родился в Костинице. Это маленькая деревня, где почти все жители — мои родственники. Несколько таких деревень образуют уже селение, которое называется Быстрица /Bistrica/.

В.Д.: И по фамилии все родственники — Ячимовичи?

М.Я.: Там примерно пятнадцать домов Ячимовичей. Так что в Костинице почти все мои родственники или однофамильцы, как и моя мать.

А в Бело Поле, я думаю, теперь уже двадцать — двадцать пять тысяч жителей. Это город на севере Черногории, сравнительно маленький. Но в рамках Черногории — это достаточно солидный город.

Мои родители были простыми крестьянами. Мать вообще не имела никакого образования, даже в начальную школу не ходила...

В.Д.: И расписываться она не умела?

М.Я.: Не умела...

В.Д.: Что, кресты вместо росписи ставила?

М.Я.: Да.

Её родители не пустили её в школу, потому что много работать надо было по дому...

А отец закончил начальную школу. Четыре года проучился...



Милоица Ячимович

В.Д.: Так что немножко математику он знал?

М.Я.: Математику он хорошо понимал в том смысле, что очень быстро «подсчитывал». Даже откуда-то он знал, например, как складывать дроби... или как посчитать площадь поверхности. И всем было известно, что он хорошо разбирается, сколько там квадратных метров, кубических метров, и так далее... Кроме того он, в общем, ещё в магазине торговал одно время...

Так что в этом смысле он имел какое-то отношение к математике, но не как к науке...

В.Д.: То есть, его не обсчитаешь, да и сдачу он умел правильно дать...

М.Я.: Да-да. Он очень быстро и правильно считал. Я никогда не умел считать так быстро, как он. Он, например, скажет покупателю: три метра двадцать сантиметров по сто восемьдесят — итого платить столько-то. В уме сразу считал сумму...

В.Д.: Здорово.

В той же Интернетовской справке написано, что ты учился в школе не в Костинице, а в Быстрице. Видимо, в Костинице школы просто не было, и каждый будний день тебе приходилось идти пешком по несколько километров на учебу в Быстрицу. Так?

М.Я.: Да, это так. Но, как я уже говорил, Быстрица объединяет несколько сёл, и Костиница — одно из них. В Быстрице существовала торговля, были магазины...

В.Д.: Школа одна была там?

М.Я.: Одна школа, восьмилетняя. И мне приходилось пешком ходить три километра от моей деревни до этой школы... Но я был такой не единственный, таких было много...

В.Д.: И никакой телеги не было? Чтобы подъехать на лошадях?

М.Я.: Нет, всё только пешком. С книжками. Но это не было страшно. Нас было несколько детей в деревне, которые вместе ходили в эту школу.

В.Д.: Хорошо.

Потом ты стал учиться в Белградской гимназии. Это была гимназия с математическим уклоном? И был ли при зачислении в неё какой-нибудь отбор, собеседование?

М.Я.: Да, был отбор.

Но до этого я один год проучился в гимназии в Бело Поле. И лишь после окончания первого года гимназии в Бело Поле я уехал продолжать учиться в Белград.

В.Д.: Значит, в Бело Поле была гимназия?

М.Я.: Была гимназия, да. Я там начал учиться и закончил первый класс. А как раз в это время была открыта математическая гимназия в Белграде. Профессор Воин Дайович своими усилиями сумел, как-то, её открыть. И откуда-то... мой учитель математики в Бело Поле узнал об этом и сказал мне... Потому что я какое-то математическое образование уже получил и неплохо зарекомендовал себя по математике...

В.Д.: А-а, в Бело Поле в гимназии уже заметили, что тебе математика нравится...

М.Я.: Да, что мне математика нравится, и что я способен на дополнительное образование.

В.Д.: И тебя к этому порекомендовали...

М.Я.: Да, порекомендовали. Давай, сказали, попробуй в Белград ехать учиться, но это достаточно серьёзная вещь: ведь, может, я не смогу там проявить себя, как здесь.

Вот я и решился. Мой отец пошёл поговорить с учителем. Тот сказал, что неизвестно, что выйдет, но посоветовал дать возможность попробовать мне поступить в эту математическую гимназию.

И я приехал в эту гимназию на собеседование. Вопросы, которые мне там задавали, для меня были «не очень обыкновенными». Этим я никогда не занимался...

В.Д.: То есть, вопросы были «нестандартные»?

М.Я.: Нестандартные, да. Я этого просто не ожидал. Не такое у меня было образование. Но, всё-таки, я справился неплохо. Неплохо отвечал... И, в конце концов, мне сказали: «Пожалуйста, можете приезжать к нам учиться».

В.Д.: Скажи, пожалуйста, а где надо было жить в Белграде? Там что, общежитие для вас было?

М.Я.: Да, там было общежитие для приехавших в Белград из других городов. В этом общежитии неплохо можно было жить, и я этим воспользовался.

Я там даже получал небольшую стипендию. Профессора, которые работали в этой гимназии, старались, чтобы мы нормально жили...

В.Д.: Эту же гимназию кончал и Влада Янкович?

М.Я.: Да-да. Он тоже кончал эту гимназию, но через год после меня.

В.Д.: По окончании гимназии ты поступил на природно-математический факультет Белградского университета, верно?

М.Я.: Да, верно.

В.Д.: И в каком году это было?

М.Я.: Это было в 1969-ом году.

В.Д.: И с первого курса ты там стал учиться на математическом отделении? Там как, математическое отделение было уже с первого курса, или со старших курсов?

М.Я.: Сразу, с первого курса.

В.Д.: Это было небольшое отделение? Человек сорок?

М.Я.: Нет, побольше: человек двести сорок — двести пятьдесят.

В.Д.: Да ну?!

М.Я.: Да, приличное отделение. Мне кажется, в две смены на нём учились.

В.Д.: Понятно. А природно-математический факультет был большим?

М.Я.: Да. Там были ещё другие отделения: и биологии, и химии...

В.Д.: Они были меньше математического?

М.Я.: Ну, можно сказать, что значительно меньше, но, всё равно, и они были достаточно большими.

Дело в том, что в то время в Югославии было просто мало других университетов. А в тех, которые и были, готовили не по всем естественно-научным специальностям. Например, в Черногории университета тогда вообще ещё не было. И даже когда он потом там появился, отделения математики в нём, по началу, не было. В Сербии, кроме Белграда, был ещё университет и в Новом Саде, но, всё равно, и там отдельного математического отделения не было... В общем, все, кто хотел учиться на математика, могли это сделать лишь либо в Белградском, либо в Загребском университете...

В.Д.: А Загребский университет уже существовал?

М.Я.: Да, он уже был.

В.Д.: Помнишь ли ты своих первых лекторов в Белградском университете? В частности, кто читал лекции по математическому анализу? Например, когда я задал такой же вопрос нашему Белградскому другу Владимиру Янковичу, то он ответил, что на 1-ом и 2-ом курсах лекции по математическому анализу ему читал Воин Дайович. А тебе не он ли тоже?

М.Я.: Нет, не он. Математический анализ мне читал Джуро Курепа.

В.Д.: Я не помню — он ещё жив сейчас?

М.Я.: Нет, к сожалению, умер. Он был одним из самых известных югославских математиков в то время.

Он читал нам математический анализ на первом и на втором курсе. Кроме того, он читал нам ещё курс под названием «Линейная алгебра и теория полиномов».

В.Д.: Интересно! На Мехмате МГУ читается объединённый курс «Линейная алгебра и геометрия», а в Белградском университете был объединённый курс «Линейная алгебра и полиномы».

М.Я.: Да, полиномы. В общем, он читал нам три курса: на первом и втором курсе по математическому анализу и ещё такой объединённый курс по алгебре.

В. Д.: В известном Интернетовском «Математическом генеалогическом проекте» указано, что твоим научным руководителем по диссертации, по существу PhD, под названием «Итеративная регуляризация метода минимизации», защищенной в 1980-ом году в Белградском университете, был сын Воина Дайовича — Слободан Дайович. С какого курса ты стал учеником Слободана Дайовича, если это правда? Иногда в этом проекте бывает путаница.

М.Я.: Это правда. Сейчас расскажу.

Слободан Дайович не работал на природно-математическом факультете. Он работал на факультете, обучавшем общим принципам «научной организации труда и управления» — точное название этого факультета уже не помню. И когда я заканчивал свой факультет, то у меня возник естественный вопрос — чем мне стоит заниматься в математике дальше? Тут мне и рассказали, Воин Дайович и другие математики, что есть такая новая математическая теория под названием «Оптимальное управление», разрабатываемая Понтрягиным и его учениками. Что это очень интересная вещь. И что подробности об этой теории я могу узнать у Слободана Дайовича.

Я познакомился со Слободаном Дайовичем. Он мне рассказал подробнее об этой теории, указал, какие книги для её изучения мне следует почитать, дал мне некоторые из этих книг... Сам он, как я понимаю, активно ею занялся во время своей стажировки в Москве у Болтянского, книгу которого он мне тоже дал....

В общем, вскоре я занялся этой теорией, став учеником Слободана Дайовича.

В.Д.: А тебе геометрия нравилась? Ведь книги Владимира Григорьевича Болтянского во многом «геометричны».

М.Я.: Немного нравилась. Хотя, согласен, книги Болтянского написаны в особой манере по сравнению с другими книгами из этой области.

Но ведь Слободан Дайович, кроме книги Болтянского, дал мне, прежде всего, знаменитую монографию четырёх авторов — Понтрягина, Болтянского, Гамкрелидзе и Мищенко — под названием «Математическая теория оптимальных процессов». Вот по этой книге я и стал основательно изучать оптимальное управление. Правда, сначала очень трудно было мне её читать...

В.Д.: Я тоже считаю, что эта классическая монография «трудно читаемая». Скажем, книга Алексева, Тихомирова, Фомина по оптимальному управлению читается значительно легче.

Скажи, обучение в Белградском университете было платным? И получал ли ты стипендию?

М.Я.: Нет, было бесплатным. К тому же все хорошие студенты получали стипендию. Маленькую, но все-таки...

В.Д.: Кстати, жил ты в студенческом городке?

М.Я.: Да, я долгое время жил в общежитии...

В.Д.: Значит, умеешь сам готовить?

М.Я.: Нет, не умею. Только чуть-чуть (*смеются*).

В.Д.: В Интернетовской справке сказано, что после окончания обучения в Белградском университете, в 1973-ем году, ты стал ассистентом экономического факультета университета Черногории. Но в Википедии говорится, что университет Черногории создан лишь весной 1974-го года. Так что, преподавательский коллектив будущего университета формировался ещё до его официального открытия?

М.Я.: Насколько я знаю, становление этого нового университета было постепенным. И с чего-то надо было начать — нельзя же было все факультеты сразу открыть. Так что начали с формирования лишь нескольких факультетов — в частности, экономического факультета. И, если мне не изменяет память, он стал формироваться уже в 1973 году...

В.Д.: Здание университета первоначально было не это, да?

М.Я.:... Да, здание тогда было другое, в центре города...

А ещё в городе Никшиче существовало... педагогическое училище... Оно тоже стало частью формирующегося Университета, где до того готовили учителей по математике, географии, литературе, иностранным языкам под патронажем Белградского университета... В 1974-ом же году произошло официальное открытие Университета Черногории как государственной организации... Кроме экономического факультета в нём уже были сформированы юридический факультет и некоторые другие подразделения...

В.Д.: Так что, в 1973-ем году ты начал преподавать в этом педагогическом училище?

М.Я.: Нет, в 1973-ем году я стал работать на формирующемся в Университете Черногории экономическом факультете, где несколько математиков там уже работали...

Ещё в Белграде мне сказали, что в будущем в этом Университете будет оформлен и математический факультет, а сейчас надо набрать для него кадры. И меня уговорили приехать сюда для работы на экономическом факультете с перспективой перейти на математический факультет, как только он сформируется... В общем, так всё и произошло.

В.Д.: Кстати, это здание когда построено? После 1973-го года?

М.Я.: После. Это было, наверное, в 1978-ом году. Или в 1979-ом году — я точно не помню.

В.Д.: А здание ректората?

М.Я.: Здание ректората недавно — совсем недавно. Пять-семь лет тому назад.

В.Д.: Ну, а теперь немножко об МГУ.

Если я не ошибаюсь, ты с 1976-го года пару лет стажировался на ВМиК МГУ. Правильно?

М.Я.: Мне помнится, с 1977-го года это было.

В.Д.: А, с 1977-го года, понятно!

Там ты стал участником спецсеминара Фёдора Павловича Васильева, по методам решения экстремальных задач. Я окончил кафедру вычислительной математики Мехмата МГУ в 1965-ом году, и аспирантуру по этой же кафедре в 1968-ом году. Так что Фёдора Павловича, работавшего тогда на этой кафедре до создания в 1970-ом году на её базе факультета ВМиК, хорошо знаю и помню. Его лекции и книги мне всегда нравились своей «понятностью». Но на экзаменах он был очень требовательным, и мы, студенты, его побаивались. А твоё воспоминание о нём каково? Добрый он был руководитель, или жестковат?

М.Я.: По-моему, он очень добрый человек и руководитель!



Федор Павлович Васильев

Я приехал в 1977-ом году на ВМиК МГУ и пошёл прямо к нему. Дело в том, что я его ранее видел: он приезжал в Белградский университет в 1973 году, когда я уже окончил факультет, и там примерно месяц читал лекции. И один из профессоров — помнится, это был Слободан Дайович — мне сказал: «Послушайте эти лекции». Я послушал две-три его лекции, и мне они понравились. Но я тогда уже жил в Подгорице и не мог дальше их слушать. И, всё-таки, я успел с ним тогда познакомиться. После этого я нашёл и его книги, по которым готовился к аспирантским и магистерским экзаменам...

Потом сам Слободан Дайович мне посоветовал «идти в этом направлении». Он знал Фёдора Павловича....

Кроме того, к нам, уже в Университет Подгорицы, приезжал профессор Мехмата МГУ Зорич Владимир Антонович. Он мне также рассказывал о Фёдоре Павловиче много хорошего. Они подружились, когда их поселили жить вместе в одном блоке общежития МГУ...

Вот так и произошло, что в Москве я пошёл прямо к Фёдору Павловичу. Он был очень хорошим руководителем, всегда готовым мне помочь.

В.Д.: То, что он великолепный учёный и педагог, я знаю. Но у нас он считался строгим экзаменатором... Получить у него пятерку было трудно.

М.Я.: Трудно?... Я не знаю! Потому что экзамен я ему не сдавал (*смеются*).

В.Д.: Понятно.

Кстати, Владимир Антонович хорошо говорит по-сербски?

М.Я.: Хорошо говорит. Совсем нормально говорит. Он же лекции здесь читал.

В.Д.: На сербском?

М.Я.: Да, на сербском языке. Точнее, на сербско-хорватском.

В.Д.: Да, ясно.

Насколько я понимаю, на ВМиК МГУ ты стал активно изучать теорию регуляризации по Тихонову? А с самим Андреем Николаевичем Тихоновым, тогда деканом факультета ВМиК МГУ, тебе доводилось общаться? Или он был для тебя «недостижимым»?

М.Я.: Да, можно сказать, что он был для меня «недостижимым». Я его редко встречал...

Впервые я встретился с ним на кафедре, где он был заведующим и где Фёдор Павлович работал. Мы немножко поговорили, Фёдор Павлович представил ему меня, рассказал, чем я занимаюсь...

На самом деле я там был на стажировке только девять месяцев... Даже, может, поменьше — семь-восемь месяцев 1977-го — 1978-го года... И за это время я виделся с Андреем Николаевичем ещё два или три. Немножко разговаривали... О математике, правда, мало говорили — Фёдор Павлович ему уже рассказал, чем я занимаюсь. Ему было больше интересно, как я в Москву попал...

В.Д.: Ну, я думаю, в отношении математики Андрей Николаевич Тихонов сразу успокоился, когда услышал слово «регуляризация», и что ты ею занимаешься! (*смеются*)

М.Я.: Но я там не только регуляризацией занимался. А вообще методами решения экстремальных задач.

В.Д.: Познакомился ли ты в Москве с Анатолием Борисовичем Бакушинским и Владимиром Алексеевичем Морозовым, активно занимавшимися тогда методом регуляризации? И знаком ли ты с Геннадием Михайловичем Вайникко, работавшим по той же тематике, кажется, в Воронежском университете, а в 1990-ые годы уехавшим в Тартуский университет в Эстонию?

М.Я.: С Бакушинским официально я никогда не знакомился. Но на одной конференции по методам регуляризации... куда я приехал уже после окончания моей стажировки в Москве... я слушал его доклад.

Но, на самом деле, Бакушинский во многом повлиял на то, чем я занимаюсь. Мне Фёдор Павлович показал одну его статью 1976-го, или 1977-го, года из «Журнала вычислительной математики и математической физики», в которой он говорил о так называемом принципе итеративной регуляризации... Он такое название сам придумал, и оно теперь применяется... На идее из этой его статьи основано многое, над чем я потом работал.

Морозова я тоже видел. Но его тематикой я мало занимался. Его интересовала регуляризация уравнений, в основном, линейных уравнений, а у меня рассматривалась регуляризация на экстремальных задачах...

Об уравнениях Бакушинский также писал работы, но мне, прежде всего, были интересны его результаты, относящиеся к экстремальными задачам... В частности, я много использовал небольшую книгу Бакушинского — его книги были не очень толстыми, но серьёзными — написанную в соавторстве с Гончарским, про итеративную регуляризацию...

В.Д.: Гончарский, кажется, кончал кафедру математики на Физфаке МГУ?

М.Я.: Да-да, Это так.

В.Д.: А знаешь ли ты моего приятеля Анатолия Яголу, тоже ученика Тихонова?

М.Я.: Знаю.

В.Д.: Я не знал, что вы знакомы...

М.Я.: Да-а, и хорошо знакомы.

В.Д.: Тогда, при встрече с ним, я могу передать ему от тебя привет?

М.Я.: Обязательно передай...

В.Д.: Хорошо.

Теперь расскажи про Вайникко.

М.Я.: Вайникко я тоже однажды встретил — он приезжал на кафедру, на семинар Фёдора Павловича, немножко поговорить с ним... Я эту фамилию знал раньше, потому что существует одна книга...

В. Д.: Не про приближённое решение операторных уравнений? В зелёной обложке?... Там пять авторов: Красносельский, Вайникко, Забрейко, Рutiцкий, Стеценко...

М.Я.:... Да-да-да... Именно эту книгу я и имел в виду. По ней я и запомнил фамилию Вайникко...

А потом в Москве я купил книгу... Вайникко с кем-то ещё... про регуляризацию... В общем, я его книгами также пользуюсь, но не так много, как книгами Бакушинского...

В.Д.: Ясно.

После пребывания на ВМиК МГУ ты уехал на стажировку в институт прикладной математики университета Карлсруэ в Германию. Ты знал немецкий язык, или общение там происходило по-английски?

М.Я.: Нет, немецкий я не знал, и общался там на английском. Но я был там недолго, всего лишь тридцать дней...

В.Д.: А-а, я думал — целый год!

М.Я.: Нет-нет, тридцать дней...

Наш университет немного сотрудничал с университетом Карлсруэ... И я воспользовался этим для своей поездки. Прочитал там несколько лекций, рассказал, чем я занимаюсь... Они рассказали на семинарах, чем они занимаются...

В.Д.: Значит, это всё было кратковременно...

В 1980-ом году, как я понимаю, после защиты PhD, ты стал в университете Черногории доцентом. В 1986 году — вице-профессором (я думаю, так переводится с сербского языка указанная в Интернетовской справке твоя тогдашняя должность «vanredni profesor»)...

М.Я.: Да-да

В.Д.:... А в 1991 году — ты уже стал «redovni profesor» (то есть, по нашему, просто профессором) факультета естественных наук и математики...

М.Я.: Правильно.

В.Д.: И какие лекции тебе приходилось читать в Университете?

М.Я.: На факультете нас, математиков, было сравнительно мало, так что пришлось читать разные курсы лекций...

В.Д.: Был ли среди них курс по оптимальному управлению?

М.Я.: Да-а, был. И даже годовой.

В.Д.: О, больше, чем на Мехмате МГУ!

М.Я.: Да, годовой. Правда, теперь он читается только полгода. А раньше это был годовой курс. И мне было очень приятно читать такой курс. Очень интересно... В нём я комбинировал книгу Алексева-Тихомирова-Фомина с книгами Васильева.

В.Д.: Да, к тому времени книги Фёдора Павловича уже были изданы «высокой печатью» — ведь в моё студенческое время они издавались лишь «ротاپринтным способом»... Мне очень нравятся его книги, в частности, за то, что в них подробно разбираются примеры.

М.Я.: И очень хорошие примеры.

В.Д.: Я постараюсь передать ему от тебя привет по возвращению в Москву.

Твой дальнейший научно-административный рост был очень успешным. В 1996-ом году ты избираешься вице-академиком (по-нашему, членом-корреспондентом) Черногорской Академии наук и искусств (Crngorske akademije nauka i umjetnosti — сокращённо, CANU). В 2002-2007 годы ты — декан своего факультета. В 2003-ем году ты становишься уже академиком CANU. С 2004-го года ты — президент Общества математиков и физиков Черногории. А, кроме того, ты входишь в редколлегии ряда математических журналов. И, наверное, занимаешь и другие посты.

При всём при этом ты успеваешь заниматься научной работой и вести преподавательскую деятельность.

Видимо, чтобы всё это выдержать, нужно очень четко планировать свои дни. Когда же ты, при этом, успеваешь отдохнуть? И как ты отдыхаешь?

М.Я.: Просто я такой человек, который не планирует сразу много. Но то что запланировал сделать — я делаю. И если запланировал отдохнуть — то отдыхаю...

В.Д.: Я знаю, что на работу ты приходишь уже в восемь утра. У нас никто так рано не приходит на факультет!

М.Я.: Ну, это у нас такая привычка приходиться рано на работу... Но, всё-таки, я не всегда рано прихожу...

У нас просто система... немножко другая по времени. У нас всё начинается в восемь утра, а заканчиваем в два — три часа дня. Мы не работаем до шести как у вас...

В.Д.: Во сколько же ты ложишься спать?

М.Я.: Спать? Ну, обычно в двенадцать.

В.Д.: То есть, тебе семь часов на сон хватает?

М.Я.: Этого хватает всем.

В.Д.: Просто такой же вопрос я недавно задал болгарскому математику, академику Благовесту Христовичу Сендову. Дело в том, что, как мне рассказывал нынешний руководитель Мехмата МГУ Владимир Николаевич Чубариков, однажды Сендов назначил ему, в Софии, встречу на пять часов утра. Владимир Николаевич даже, на всякий случай, переспросил: «В пять часов утра?». Впрочем, Благовест Христович, улыбнувшись, так прокомментировал это моё напоминание: «Помнится, всё-таки, встреча была назначена не на пять, а на шесть часов утра»...

М.Я.: Да-да, система другая у нас по сравнению с русской!

В.Д.: Гуляешь много?

М.Я.: К сожалению, у меня нет такой привычки.

В.Д.: Ну а поплавать любишь?

М.Я.: Плавать-то я люблю, но не так сильно. Занимаюсь этим мало.

В.Д.: По состоянию здоровья?...

М.Я.: По состоянию здоровья мне, как раз, надо было бы побольше гулять и плавать... Но не получается! Постоянно возникают какие-то неотложные дела... Начну, думаю, потом — через несколько дней,... через месяц,... через год...

В.Д.: С твоим отдыхом мне всё понятно...

В вышеуказанной интернетовской справке твоими соавторами упоминаются Изедин Крнич, Анджелия Геари и Предраг Обрадович. Расскажи немного про них.

М.Я.: Сейчас расскажу.

У меня в соавторах есть и Фёдор Павлович, но тебя интересуют именно эти наши математики...

Предраг Обрадович является отцом Олега Обрадовича. А Олег Обрадович, Анджелия Недич (по мужу Геари) и Изедин Крнич - в некотором смысле мои ученики: я им читал курс оптимального управления. И мне очень приятно сказать, что мой курс им понравился. Они мне говорили, что, послушав разные курсы, заинтересовались именно моей тематикой, и определились работать в этом направлении...

У меня хорошие связи с Фёдором Павловичем, и я рекомендовал к нему на стажировку Анджелию Недич и Олега Обрадовича... Олег теперь стал профессором нашего Университета и занялся другими вещами, в том числе и «не связанными с математикой»... Анджелия уехала в США, где теперь также является профессором...

В.Д.: Анджелия уехала под фамилией Геари?

М.Я.: Нет, снова под фамилией Недич.

Она теперь работает в университете в Иллинойсе. Очень успешно там работает. Я думаю, пишет несколько статей в год. И хорошие статьи пишет, в хороших журналах публикуется... Она ведь, во-первых, закончила кандидатскую диссертацию у Фёдора Павловича Васильева в Москве, а, во-вторых, закончила ещё и докторскую диссертацию в США у известного математика Димитрия Бертсекаса. У меня есть одна его книга...

В.Д.: Он родом не из Югославии?

М.Я.: Нет, думаю, он грек по происхождению. Он работал в «MIT — Massachusetts Institute of Technology» (Массачусетский технологический институт). Анджелия защитила там у него докторскую диссертацию и осталась работать в США... Через несколько дней она приезжает сюда в Подгорицу.

В.Д.: Она бывает в Подгорице?

М.Я.: Да, заезжает, потому что её родители здесь живут...

А с Изединым Крничем, насколько я понимаю, ты уже познакомился. Да и здесь в деканате ты его видел: там был наш декан, физик Предраг Станишич, и, как раз,

Изедин Крнич. Он теперь профессор и заместитель декана...

В.Д.: Он, кстати, очень хорошо говорит по-русски.

М.Я.: И очень любит Сталина...

В.Д.: Да-да, он мне говорил, что для победы над коррупцией нужен «ОН»...

М.Я.: Так вот, Изедин Крнич тоже защитил докторскую диссертацию...

У него, правда, биография отличается от биографий Олега Обрадовича и Анджелии Недич. Но и он, на мой взгляд, очень талантливый человек...

А Предраг Обрадович, которого ты упомянул, был первым деканом нашего факультета, и, кроме того, был ректором нашего университета. Вообще, самая большая его заслуга — установление наших дружеских отношений с Московским Университетом. Обладая большим авторитетом, он это сотрудничество начал. Он мог это сделать — и сделал!

В.Д.: Отлично! У тебя очень достойные соавторы.

М.Я.: Да. И я написал с ними одну книгу, не научную. Могу показать...

В.Д.: Хорошо, с удовольствием посмотрю.

Разреши еще личный вопрос: кто по профессии твоя супруга? И, если можно, назови её имя.

М.Я.: Ее имя Анджела. Она учительница начальных классов. Преподаёт там и «азы» математики.

В.Д.: Есть ли у вас дети... Правда, я уже знаю, что у тебя есть сын Владимир...

М.Я.: И дочь Елена.

В.Д.: А что окончил Владимир?

М.Я.: Владимир окончил факультет ВМиК МГУ. Его научным руководителем был профессор Арам Владимирович Арутюнов.

В.Д.: Замечательно!

А Елена?

М.Я.: Елена окончила природно-математический факультет нашего Университета. По математике.

В.Д.: То есть, в принципе они оба связаны с математикой. Отлично! Последний же мой вопрос, буквально, философский, но я его многим задаю. А именно, доволен ли ты своей судьбой и не жалеешь ли ты о чем-нибудь?

Над этим вопросом часто задумываются. Некоторые отвечают, что, мол, жалеют, что я мало общался с родителями. Некоторые сожалеют, что упустили возможность наладить сотрудничество, скажем, с таким-то математиком... А у тебя всё нормально в этом смысле, и не сожалеешь ты ни о чём?

М.Я.: Как сказать? Трудно точно сформулировать своё мнение по этому вопросу... когда кажется, что жизнь проходит так, как надо...

В.Д.: Ну вот некоторые так и говорят — всё нормально и не о чем жалеть!

М.Я.: Не о чем, потому что зачем жалеть?.. Да я и не знаю, в какой момент я мог бы что-то сделать по-другому...

В.Д.: Вот, например, Реваз Валерианович Гамкрелидзе мне сказал в ответ на этот вопрос, что, в принципе, он мог бы быть неплохим пианистом... Он хорошо играет на пианино...

М.Я.: Пианистом уж точно я не мог бы быть (*смеются*). Никакого таланта в этом у меня нет. Но, может быть, я мог бы...

В. Д.: Что, ещё чем-то заняться помимо математики? Что-то ещё тебе нравилось?

В.Я.: Разные вещи — нравится и заниматься профессионально.

Вот я, например, любил литературу. Любил читать разные книги — общего уровня, философские, социологические, политические, исторические. Но стать профессионалом в этих областях вряд ли смог бы. Просто меня интересуют такие вещи...

В.Д.: Стихи не писал?

М.Я.: Стихи не писал, нет. А вот роман — может быть, ещё напишу, кто знает?

В.Д.: С воспоминаниями?

М.Я.: Никогда не знаешь, может, и с воспоминаниями.

В.Д.: Хорошо! Заранее записываюсь в читатели твоего романа.

М.Я.: Отвечу кратко на твой вопрос так: человек делает то, что может. И это есть его судьба.

В.Д.: Ну что ж, меня этот ответ вполне удовлетворяет: человек делает то, что может делать.

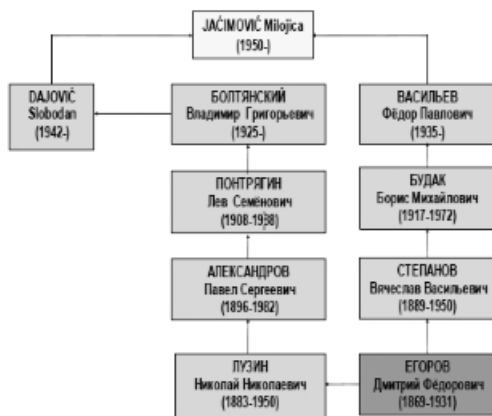
Вот и закончились мои вопросы, дорогой Милоица. Ещё раз хочу поблагодарить тебя за интересную беседу, и пожелать тебе всего самого хорошего. Начиная со здоровья и кончая выполнением всех твоих задуманных планов.

М.Я.: Спасибо и тебе, Вася, что ты приехал к нам в Черногорию. И что затратил время на эту беседу со мной.

В.Д.: Да нет, Милоица, это тебе спасибо за это интервью. В Москве я его «обработаю» и вышлю тебе его «расшифровку».

М.Я.: Отлично...

Май 2013 года



Павел Нерлер
«ПОСМОТРИМ, КТО КОГО
ПЕРЕУПРЯМИТ
И НА КОГО РАБОТАЕТ ВРЕМЯ...»:
Н.Я. Мандельштам в зеркалах этой книги

Настоящие заметки открывают собой составленную мной книгу: «Посмотрим, кто кого переупрямит...». Надежда Яковлевна Мандельштам в письмах, воспоминаниях, свидетельствах. (М.: АСТ (Редакция Елены Шубиной), 2015. 733 с.) и дают представление о структуре и наполнении сборника.



1

31 октября 2014 года исполнилось 115 лет со дня рождения Надежды Яковлевны Мандельштам. К этой дате в екатеринбургском издательстве «Гонзо» вышло новое двухтомное собрание сочинений, в которое входят практически все ее мемуарные и литературоведческие произведения (редакторы-составители С.В. Василенко, П.М. Нерлер и Ю.Л. Фрейдин).

Основой собрания явились три крупных мемуарных текста Н.Я. Мандельштам — «Воспоминания», «Об Ахматовой» и «Вторая книга», работа над

которыми происходила поочередно и последовательно — соответственно, в 1958-1965, 1966-1967 и 1967-1970 гг. Текст «Об Ахматовой» являлся, по сути, как бы первой редакцией «Второй книги», но в любом случае он занимал промежуточное место между «Воспоминаниями» и «Второй книгой».

Книги «Воспоминания» и «Об Ахматовой» составляют основу первого тома собрания (его хронологические рамки: 1958-1967), а «Вторая книга» — основу второго тома (1967-1979). По сравнению с предыдущими публикациями в текстологию книг внесены существенные изменения, основанные на учете всех доступных источников текста.

Настоящий сборник, названный нами — «Надежда Яковлевна» — до известной степени продолжает линию сборника «Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников», составленного О.С. и М.В. Фигурновыми и выпущенного в 2002 году издательством «Наталис».

Ядром этой книги — стенограммы замечательных дувакинских аудиointервью об О.Э. и Н.Я. Мандельштамах (называть их воспоминаниями, как это делают составительницы, все же неточно); их корпусу предшествует вступительная заметка составителей, а за ним следует небольшая подборка писем Н.Я. и документов к ее биографии (по всей книге разбросаны избранные стихотворения О. Мандельштама и других поэтов).

Основными отличиями нашего сборника от фигурновского являются сосредоточенность именно на Надежде Яковлевне (о чем говорит и название), бóльшее жанровое разнообразие (впрочем, есть и аудиointервью) и неизмеримо более сложная архитектура книги.

Составительская концепция несколько раз менялась по ходу работы. Поначалу казалось, что удастся задать и выдержать именно жанровую структуру: воспоминания — публикации (эпистолярные и документальные) — переписки. Вскоре, однако, начался «бунт» на корабле: жанры стали цепляться друг за друга и друг с другом слипаться, особенно мемуары с переписками одного и того же лица. Авторские тексты Н.Я. Мандельштам тоже «требовали» себе адекватного сопровождения или окружения. Некоторые материалы буквально просились в своеобразные «циклы», со своей уже внутренней структуризацией, и в нескольких случаях такие циклы действительно сложились.

В итоге, книга устроилась следующим образом.

Помимо вступительной статьи, иллюстраций и стандартного аппарата, в ней пять неравновесных, но архитектурно сбалансированных разделов. Открывают ее стихи Осипа Мандельштама, посвященные или обращенные к Надежде. Встречный порыв, — он же второй раздел, — письма уже Надежды Мандельштам, обращенные к Осипу.

В третий — самый обширный — раздел вошли те самые материалы или циклы, о типической эволюции которых было сказано выше. Это смесь из текстов самой Надежды Мандельштам (ее очерки, аудиointервью и письма) и текстов о ней самой (воспоминания, письма, документальные материалы к биографии). Внутренним рычагом их структуризация послу-

жила элементарная хронология: первый подраздел — это «Вместе: годы с Осипом Манделштамом», затем по два подраздела, посвященных кочевым годам (объединенным сороковым и пятидесятым и, отдельно, первой половине шестидесятых) и годам оседлым (шестидесятые и семидесятые). В особый раздел вынесен 1980 год — последний год жизни Н.Я., вобравший в себя ее смерть, а с захватом 2 января 1981 года — и ее похороны.

Четвертый раздел — это «Венок»: его составили, во-первых, несколько статей, в сущности, хронологических и посвящены жизненному пути Н.Я. Манделштам в целом, а, во-вторых, стихи, ей посвященные, но не манделштамовские.

И, наконец, пятый раздел — «Труда и дни» (биохроника) Н.Я.

Следует подчеркнуть уникальность большинства публикуемых материалов — доля републикаций в сборнике невелика, и захватывает они малодоступные или основательно переработанные источники.

2

Мое личное знакомство с Надеждой Яковлевной Манделштам было недолгим, но ярким. Познакомил нас зимой 1977 года на своем концерте в Гнесинском училище мой друг, пианист Алексей Любимов. Пришла на концерт и Надежда Яковлевна, ценительница Алешиных репертуарной широты и исполнительского мастерства (а их, в свою очередь, познакомил Валентин Сильвестров).

Стояла зима, и Н.Я. с трудом натягивала высокие зимние сапоги, не позволяя сопровождавшему ее лицу (кажется, это был фотограф Гарик Пинхасов) себе помогать. Я же как раз только что закончил статью о композиции «Путешествия в Армению», где сравнивал эту прозу с фугой. Надежда Яковлевна в присутствии Любимова царственно и благосклонно выслушала меня и назначила день и час, когда я могу занести ей свою работу.

В точности в назначенный час я, волнуясь, позвонил в ее дверь. Она открыла сама и почти без промедления, как если бы ждала моего прихода. В глубине крохотной квартиры, точнее, на кухоньке сидели какие-то люди и разговаривали друг с другом, даже не посмотрев в нашу сторону. Не приглашая пройти, Н.Я. взяла у меня из рук коричневый крафтовый конверт со статьей, и, улыбнувшись, произнесла забываемые слова: «Павел, мы тут все свои, так что до свиданья! Позвоните через неделю».

Я позвонил и был приглашен (статья понравилась), и с той поры начались мои все учащавшиеся хождения на Большую Черемушкинскую улицу, благо мы жили друг от друга всего в одной остановке метро. Несколько раз она звонила сама и произносила примерно следующее: «Павел, я очень старая. У меня нет хлеба».

Это вовсе не означало голую утилитарность, как и ее фраза про «так что до свиданья» вовсе не была оскорбительной. Она означала скорее следующее: «Дайте я почитаю, что вы там понаписали про О.Э., а там посмотрим, приглашать мне вас в дом или не приглашать».

А звонок и слова про хлеб означали примерно вот что: «Я сегодня вечером свободна. Заходите, но захватите с собой хлеб и что-нибудь к чаю».

И я тотчас срывался к ней, благо булочные тогда работали, если не изменяет память, до десяти.

3

Итак, первый раздел составляют стихи Осипа Мандельштама, посвященные или обращенные к Наде Хазиной или Надежде Мандельштам. Эта подборка охватывает практически весь период их знакомства и совместной жизни — с 1919 по 1937 годы — и составляет своего рода поэтический цикл, который, сугубо условно, назовем «Надины стихи». Здесь тоже есть свои этапы и своя эволюция — и свой сюжет!

Первомайская 1919 года «Черепаша» — это самый настоящий тетеревиный ток, беззаботное любовное вожделение и простоволосое брачное торжество, чью упоительную медовую суть не затмить никакому лирнику и не остудить никакому «высокому холодку». Все, что не это, — прочь!

Но «все, что не это», можно прогонять, но нельзя прогнать. Спустя год Эпир и те острова, «где не едят надломленного хлеба», уже далеко позади. В самый разгар затянувшейся разлуки со своей суженой, на самом пике тоски по ней 30-летний Иосиф вдруг ощутил их отношения — смесь любовнических и братско-сестринских — как своего рода «инцест», таящий целый ворох явных и неявных угроз. Среди семантических слоев «Черепаша» есть и буквальный: поэт, вынужденно крестившийся в двадцать лет под административным гнетом российского антисемитства, предупреждает свою невесту — еврейку из семьи кантонистов, крещенную с рождения, о том, что ей еще предстоит — полюбить иудея, исчезнуть и раствориться в нем и, пока он жив, забыть про все остальное.

И годом позже, когда растворение фактически уже произошло, перспектива не меняется: только Мандельштам вдруг ощутил и воспел всю нагруженность, всю усталость и всю ответственность того, в ком «исчезает» его Лия-Европа, как и самопожертвование той, что в нем исчезает. (И не помеха, что образы, которые для этого используются, в основном, античные: Илион, Елена, Европа, Зевс).

В том же 1922-м «холодок» — не тот ли самый «холодок высокий»? — вдруг скользнул по темени рано начинающего лысеть поэта, открыв собой целый фестиваль признаков уходящей молодости. И задолго до Дантовых подошв мерою времени и своего рода квантом старения впервые у Мандельштама всплывает обувь — сносившийся и скосившийся каблук жены!

Тифлисское стихотворение 1930-го года — бесспорно кульминационное в «Надиных стихах» Мандельштама. Обращение к жене здесь исключительно в мужском роде — «товарищ большеротый мой», «щелкунчик, дружок, дурак»: это знак новой, неслыханной близости и как бы отождествляющего единства. Отныне у них общие не только табак, стол и ложе, но и судьба: выбор сделан, и никакой «ореховый пирог» уже не в силах его отменить. Оторвать Осипа и Надежду друг от друга отныне уже никому не дано, разве что ОГПУ с НКВД (так оно и случилось дважды — в мае 34-го и в мае 38-го).

Поэтому в дальнейшем, обращаясь к жене, О.М. обходится и вовсе без ненужных атрибутов, ограничиваясь скупыми «ты» или «мы», словно вытекающим друг из друга. Оттого-то в словах «Мы с тобой на кухне посидим...» и «Я скажу тебе с последней прямокой...» — столько отчаяния и изгойства, что в одном только «мы» еще и видишь последнее спасение, точнее, надежду на него.

И если местоимению «мы» в стихах еще вольно представлять не только О.М. с Н.Я., но и других и даже всех («Мы живем под собою не чуя страны...»), то «ты» уже прочно закрепляется преимущественно за Н.Я. Не монопольно, разумеется, но аналогичные обращения к самому себе, щеглу или к виртуальным Батюшкову, Державину, Некрасову, Андрею Белому, Ольге Ваксель или Рембрандту — явно не в счет. И даже подлинные исключения из этого правила — Мария Петровых, Галина Баринова, Еликонида (Лиля) Попова да еще Москва с Воронежем (тем, что «ворон, нож») — все они одноразовы.

Попытки раствориться — или обрести себя? — в столичной толпе, спрятаться за «извозчичью спину» или повиснуть «трамвайной вишенкой» на поручнях «курвы-Москвы» обречены, но знаменательно, что попытки эти не одиночные, а парные — попытки вдвоем («Мы с тобою поедем на “А” и на “Б”...»). Даже в страшном карабахском полубреду, на пиру со смертью, сидя за спиной уже не московского ваньки, а шушинского оспенного фэзтонщика (он же чумный председатель), спасение обреталось лишь в сцепленных и сжатых ладонях и в сразу же заявленном «мы»: тут уже не до риска сказать другому «ты как хочешь»!

В московских белых стихах феноменальны именно переходы между «ты» и «мы». Сначала — «Ты скажешь — где-то там на полигоне / Два клоуна засели — Бим и Бом...», потом — «Мы умрем как пехотинцы, / Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи», и сразу вослед: «Есть у нас паутинка шотландского старого следа. / Ты меня им укроешь, как флагом военным, когда я умру...».

Преобладающим в «Надиных стихах» является именно второе лицо — «ты» и его производные. Но изредка встречаем в них Н.Я. и в третьем лице. Например, в «Каме» («А со мною жена пять ночей не спала, / Пять ночей не спала, трех конвойных везла...»), в «Нищенке» («Еще не умер ты, еще ты не один, / Покуда с нищенкой-подругой») или в «Киеве» («Как по

улицам Киева-Вия / Ищет мужа не знаю чья жинка...»). Еще реже встречаются стихи внеличные — без обращений или описаний (та же «Черепаха» или «На меня нацелились груша да черемуха...»).

Б. Кузин однажды больно ранил Н.Я., отказав ей в признании монополии на общее горе. Защищаясь, Н.Я. воскликнула — что она все же единственная вдова и что *«и за нищенку, и за тень я заплатила кровью»*^[1].

Завершающими в цикле — не хронологически, а сюжетно — являются два стихотворения начала 1937 года — «О, как же я хочу...» (из условной третьей «Воронежской тетради») и «Твой зрачок в небесной корке...» (из второй).

Первое из них — о зажженном поэтом световом луче, загорающемся от творческой энергии и сулящем счастье, — о луче, которому он готов вручить и доверить свою любимую, — невольно заставляет вспомнить о финале «Мастера и Маргариты» и даже задуматься, а не «читал» ли Мандельштам, полгода проживший с Булгаковым в одном подъезде, соседский роман? ^[2] «И ты в кругу лучись, — наказывает Мандельштам Н.Я. — ...И у звезды учись / Тому, что значит свет».

Второе — об уже побывавшем на небе зрачке, «обращенном вдаль и ниш». Да ведь это не что иное как благословение и программа для всей будущей жизни Надежды Яковлевны — жизни после Осипа Эмильевича! Жизни без него, вместо него и ради него!

Будет он обожествленный
Долго жить в родной стране —
Омут ока удивленный, —
Кинь его вдогонку мне.

Для этого и за это ей, «полюбившей иудея» и без звука «исчезнувшей в нем», будет и разрешено, и дано снова стать самой собой счастливо исполнить — «на мимолетные века» — земное свое предназначенье.

4

Предназначение это заключалось в спасении, сбережении и доведении до читателя стихов Мандельштама. Все это ей удалось, но было это истинным подвигом, и совершался он Надеждой Яковлевной двояко — фиксацией в собственной памяти и заботой об архиве поэта.

Каждый из способов имел свои «узкие места», каждый был чреват потерями и неизбежно сопряжен с ними. Письма Осипа Мандельштама жене (82 письма!) шли в его архиве наравне с творческими рукописями, и заслуга их спасения принадлежит «Ясной Наташе» — Наталье Евгеньевне Штемпель, у которой они хранились: собираясь в эвакуацию, она уложила их в жестяную коробку из-под чая и вынесла из Воронежа буквально под

немецкими снарядами. Письма же О.Э. к себе самой она не взяла, и они погибли. Почти та же участь и у писем Надежды Яковлевны к мужу: их подавляющее большинство было оставлено и погибло в Калининне, откуда бежала от немцев уже сама Н.Я. со своей старушкой-мамой^[3].

Поэтом письма и телеграммы Н.Я. к О.Э. — раритет из раритетов. Все те из них, о которых мы хоть что-то знаем, собраны во втором разделе этой книги. Таковых набралось пока лишь двенадцать, хотя надежда на обнаружение еще нескольких писем воронежского периода основательна.

Первые четыре письма — из Киева, от сентября-октября 1919 года. В них, да еще в известном письме самого О.М. из Феодосии в Киев от 5/18 декабря того же года^[4] — драма влюбленных людей, разлученных вихрями Гражданской войны, истово рвущихся друг к другу, но боящихся, каждый, рисков своего первого шага навстречу. Взамен жизнь предложила им полторалетнюю разлуку — испытание, которое они выдержали.

Столь старинные письма, к тому же весьма плохо сохранившиеся, хранились, по-видимому, отдельно от остальных: они — единственные письма Н.Я., сохранившиеся в АМ. Ввод их в научный оборот начал А.Г. Мец, поместивший всю подборку — в качестве приложения — в третий том «Полного собрания сочинений и писем» Осипа Мандельштама^[5]. По всей видимости, он пользовался микрофильмом Принстонской коллекции, что не позволило ему прочесть эти письма в большем объеме и с большей точностью. Так что для нашего издания эти письма подготовлены заново.

Спустя десятилетие — следующий эпистолярный след. Это сохранившаяся у Павла Лукницкого телеграмма от 27 мая 1929 года — одно из бесчисленных звеньев той грандиозной «Битвы под Уленшпигелем», что разразилась над поэтом в 1928-1930 годах и разрешилась «Четвертой прозой». По ходу этой битвы Н.Я. оказалась в Ленинграде, где поднимала на бой питерских друзей-писателей.

Шестая эпистолярная — письмо Н.Я. мужу от 19 ноября 1931 года, написанное из Боткинской больницы — в ответ на его письма этих дней^[6]. Как и письма 1919 года, оно сохранилось в АМ, видимо, затерявшись среди писем самого О.М. Это письмо как таковое публикуется впервые.

Следующие пять писем Н.Я. к О.М. написаны на стыке 1935-1936 гг., когда оба корреспондента были вне Воронежа: О.Э. — в Тамбове, в нервном санатории, а Н.Я. — в Москве, хлопоча по делам мужа. Эти письма, как никакие другие, манифестируют те удивительные равенство и взаимозаменяемость, которые стали нормой для этой пары, видимо, еще с конца 1920-х гг. Приводятся, однако, не сами письма целиком, а лишь цитаты из них, содержащиеся в написанной по их поводу статье Р. Тименчика^[7]. Местонахождение оригиналов писем при этом не раскрывается, а время раскрытия этой тайны, согласно воле владельца, тоже. Так что, хотя аутентичность писем сомнений не вызывает, их происхождение — с легким привкусом загадочности.

Самое последнее письмо — написанное еще при жизни О.М., но так и не отправленное ему в лагерь. С объяснением всех обстоятельств оно помещено Н.Я. во «Вторую книгу» в качестве заключительной главы («Последнее письмо»). Оригинал — в АМ, в Принстоне.

5

В третий — самый обширный — раздел вошли как тексты самой Надежды Яковлевны^[8], так и различные тексты — воспоминания, переписки, документы — о ней.

Вообще-то большинство воспоминаний о Надежде Яковлевне возникли как реакция на книги ее собственных воспоминаний, в особенности на «Вторую». Среди них немало «мемуаров—ответов», написанных теми, кого Н.Я. несправедливо, по их мнению, задела или обидела (например, Лариса Глазунова, Наталья Эфрос и др.). Выделяются — и объемом, и тоном, и пафосом — воспоминания Эммы Герштейн и Лидии Чуковской: обе оппонентки вступаются не только за себя (а Чуковская — и вовсе не за себя), но и за других «фигурантов». Часть мемуаристов (например, Эдуард Бабаев, Валентин Берестов и др.) стараются проявить максимум понимания обеих сторон диалога и, по возможности, уклониться от необходимости определиться в нем и давать оценки. А некоторые (и в первую очередь — Иосиф Бродский) бросаются на защиту уже самой Надежды Яковлевны от несправедливостей уже в ее адрес. Маятник, гирьку которого Н.Я. сама завела в сторону, разогнался, качнулся и с тех пор — не хочет останавливаться.

Большинство воспоминаний, собранных в этой книге, окрашены несколько иначе — в них почти нет не только инвектив, но и критических нот в адрес Н.Я.^[9] Объяснения этому разные: иные авторы — преданные Н.Я. люди и последовательные адепты ее линии, часть мемуаров были написаны непосредственно после смерти и похорон Н.Я. и под их впечатлением. Иные же были знакомы с нею довольно поверхностно или коротко (во время стажировок или случайных, иногда единственных, встреч).

Не менее интересна внутренняя типология эпистолярной Н.Я., и при жизни О.Э. нередко представляющую обоих официальную переписку вел не он, а она: примерами могут послужить письма Н.Я. В. Молотову и С. Гусеву (1930) или же Магазинеру (1936)^[10]. А нередко и дружескую (письма Н. Грин). В 1930-е гг. типичными для них стали двойные или совместные (с припиской) письма самым близким людям, например, отцу поэта или Б. Кузину.

После смерти О.Э. кочевая судьба Н.Я. хорошо позаботилась об ее географическом отрыве ото всех близких людей, а стало быть и о гигантском объеме корпуса ее переписки Н.Я. Уже опубликованы столь значительные (не только по объему) эпистолярные массивы, как ее письма Б.С. Кузину (за

1938-1947), А.Г. Усовой (1943-1951), И.Г. Эренбургу (1944-1963), Е.М. Аренж (1946, 1964), В.В. Шкловской-Корди (1952-1954)^[11], А.А. Суркову (1955-1969), Л.Я. Гинзбург (1959-1967), М.В. Юдиной (1960-1963), П. Целану (1962), А.В. Македонову (1962-1966), Д.Е. Максимова (1962-1972), А.К. Гладкову (1963-1964), Е.К. Лившиц (1967), Р. Лоуэллу (1967-1971)^[12], А. Миллеру и И. Морат (1968-1973). Кроме того, выходили и обоюдные переписки Н.Я. — с Н.И. Харджиевым (1940-1967), Б.Л. Пастернаком (1943-1946), А.А. Ахматовой (1944-1964), Н.Е. Штемпель (1952-1976) и В.Т. Шаламовым (1965-1968)^[13]. Из писем, односторонне адресованных Н.Я., опубликованы лишь два письма А.А. Любичеву^[14].

Уже в этих подборках мы встречаем удивительное типологическое разнообразие. Эпистолярное поведение Н.Я. напрямую зависело от корреспондента, от его «профиля» и от его реальной роли и значимости в ее жизни: переписка со старыми друзьями и вообще со «своими»^[15] — это одно, с неслучайными и тем более со случайными знакомыми — другое, а с начальством и разными конторами — третье и т.д.

Большинство писем Н.Я. — априори бытовые по содержанию: Н.Я. всегда интересовали текущие дела и будничные проблемы корреспондентов, их здоровье, их быт, их близкие. При этом письма исполняли не только свою прямую — информирующую — миссию, но и создавали вокруг Н.Я. своего рода атмосферу простого человеческого двухстороннего общения, столь необходимого каждому человеку на Земле, а в условиях СССР — вдвойне.

Письма служили заменой и телефону, и походам друг к другу в гости, почти недоступным Н.Я. в ее провинциальных служениях. Заглянуть в собственный почтовый ящик (роскошь, актуальная для кочевницы Н.Я. разве что в собственной квартире в Москве да еще в Тарусе), сбегать на главпочту, бросить в напольный ящик с гербом письмо, выстоять очередь в окошко «до востребования», а в другое окошко другую очередь для отправки перевода или телеграммы — было для Н.Я. само собой разумеющимся, рутинным делом каждого божьего дня. Она писала и отвечала на письма весьма аккуратно, дорожа и своими корреспондентами, и, разумеется, самой почтой как каналом коммуникации.

В оседлые годы, когда у Н.Я. появилась не только крыша над головой, но и почтовый ящик на двери и телефон в квартире, пусть и прослушиваемый, когдмногие из тех, с кем она иначе переписывалась бы, могли собраться вечером на кухне и поболтать за чаем, ни объем, ни характер переписки Н.Я. не изменился. Во-первых, в Воронеже, Ульяновске, Ленинграде, Пскове оставались еще старые друзья, а во-вторых завелись новые друзья и знакомые издалека — из США, Англии, Франции, Италии, Голландии и т.д., а стало быть — и новые корреспонденты!

Взятые как целое, письма Н.Я. никогда не сводились к быту и дружеской социальности, в них встречались — и довольно часто — интересные наблюдения и глубокие размышления. А иные можно считать про-

возвестниками ее нераскрытого еще прозаического дара: превосходные тому примеры — письмо Н.И. Харджиеву от 1940 года или вся, от начала до конца, переписка с Б.С. Кузиным.

В некоторых случаях в нашем распоряжении оказывались и чьи-то воспоминания о Н.Я., и, одновременно, переписка с нею.

Конечно, накал и характер переписки зависел в первую очередь от личности корреспондента. Уникальны страсть и напор, что встречаем в письмах Кузину, как уникальны и та внутрисемейная открытость или сестринская нежность и доверчивость, которыми отмечены письма Н.Я. к Василисе и Варваре Шкловским-Корди или к Наташе Штемпель. Но ей никогда бы не пришло в голову обсуждать с «ясной Наташей» вопросы философии Владимира Соловьева или Тейяра де Шардена, как и природу мемуаристской несостоятельности Эмиля Миндлина, что она делает с другими — в письмах к Македону, Лотманам или Любищеву.

Объем эпистолярный, вводимых в оборот в этой книге, соизмерим с предшествующим. И он не только подтверждает обозначенную типологию, но и значительно расширяет ее. Так, во многих переписках 1960-х и 1970-х годов мы впервые встречаем Н.Я. в роли образцовой вдовы, терпеливо отвечающей даже на глупые вопросы глобальных исследователей или переводчиков, связанные с биографией и творчеством О.М. Справедливости ради стоит сказать, что в книге немало и писем, не написанных Н.Я., а адресованных ей; есть даже письма третьих лиц друг другу, где роль Н.Я. еще скромней — персонажная (например, в письмах О.В. Андреевой-Черновой, матери Ольги Андреевой-Карлайл, дочери).

До сих пор Н.Я. была замечена в персонажах лишь немногих дневников современников, в частности, А. Гладкова, Л. Левицкого и М. Левина. Дневник В. Борисова существенно расширяет границы этого жанра как источник ее биографии.

Еще одним типом материалов, нашедшим себе в этой книге свое место, следует счесть своего рода «геобиографические» очерки — обзоры того, что нам известно о происходившем с Н.Я. в годы ее скитаний по провинции (Струнино и Шортанды, Ульяновск, Чита, Чебоксары, Таруса, Псков). К ним примыкает подборка, посвященная перипетиям защиты диссертации: это же надо — заняться языкознанием одновременно со Сталиным!

Большинство материалов книги было написано специально для нее — это касается всех жанров^[16]. Но некоторые материалы в книге публикуются (нередко в сокращенном виде). Отчасти — потому, что их первопубликации малодоступны, но главный мотив — в качественно ином, обновленном контексте^[17].

Внутренним принципом и рычагом структуризации третьего раздела послужила элементарная хронология: первый подраздел — это «Вместе: годы с Осипом Мандельштамом», затем по два подраздела, посвященных ее кочевым годам (объединенным сороковым и пятидесятым и, отдельно, первой половине шестидесятых) и годам оседлым (шестидесятым

и семидесятым). В особый раздел вынесен 1980 год — последний год жизни Н.Я., вобравший в себя и ее смерть, а с захватом 2 января 1981 года — и ее похороны^[18]. Нередко видишь, как смежные материалы начинают взаимодействовать друг с другом, подхватывать уже прозвучавшую тему и продолжать ее.

Первый — для О.М. прижизненный — подраздел представлен двумя обрамляющими материалами: обзором киевского периода жизни Н.Я., начавшегося со знакомства с О.Э., и тех восьми месяцев после ареста мужа в Саматихе, что Н.Я. прожила — в основном, в Струнино — до его смерти.

Второй, охвативший сразу две декады (1940-е и 1950-е годы), — представлен письмами (Э. Герштейн к Н.Я. и Н.Я. к С.И. Бернштейну, Шкловским-Корди и Р.Р. Фальку) и геобиографическими очерками об Ульяновске, Чите и Чебоксарах.

Еще пять кочевых лет — до получения ключей от квартиры — пришлось на первую половину 1960-х годов и прошли под знаком двух городов — Тарусы и Пскова. Таруса — это еще и воспоминания Р. Орловой и А. Сиимонова. Псков же — это и суммирующий очерк, и письма псковского периода — как к Н.Я. (А. Морозова), так и ее (к москвичкам Н. Глен и Ю. Живоной, приезжавших в ней во Псков, и к псковичам Майминым, переписка с которыми пришла на послепсковское время). Здесь же — и последнее письмо Н.Я. «наверх» (Хрущеву), и первая переписка с иностранцем (П. Целаном). Завершает подраздел рассказ о первом в СССР вечере памяти Осипа Мандельштама на мехмате МГУ — вечере, триумфальном и для Н.Я.

Два подраздела посвящены оседлой полосе жизни Н.Я. — второй половине 1960-х и 1970-м годов.

С появлением у Н.Я. своего жилья — завязались новые знакомства и дружбы среди москвичей, запечатлевшиеся скорее в мемуарах, чем в письмах (Е. Мурина, Л. Сергеева и многие другие, не удосужившиеся написать мемуары). Появились и первые живые гости из-за рубежа, с которыми, в пору их нахождения у себя дома, установился и поддерживался как раз эпистолярный режим общения: К. Браун, О. Андреева-Карлайл, К. Верхейл, Дж. Смит (Бейнз), чуть позже П. Тroupин (Браун переплюнул всех, догадавшись записать ответы Н.Я. на магнитофон, но его самого «переплюнул» К. Верхейл, организовавший единственное, как оказалось, киноинтервью с Н.Я.). Аналогично установились контакты и с новыми знакомыми не из Москвы — киевлянином Г. Кочуром, вильнюсцем Т. Венцловой, ереванцем Л. Мкртчяном или ростовчанином Л. Григорьяном. Летом 1967 года, в Верее, разгневанная на Харджиева и только что, в мае, отбравшая у него поэтический архив мужа, но недовольная и западными издателями Мандельштама, Н.Я. сама села за комментирование его стихов: этап этот задокументирован различными записями Вадима Борисова.

Еще один подраздел — о семидесятих годах. Главные ее книги были уже написаны в предыдущие годы, а выходили они все теперь, и Н.Я., глубоко выдохнув и наслаждалась сделанным, охотно занялась такими развле-

чения, как чтение хороших книжек, одаривание подруг гостинцами из «Березки» и попытками устройства чужих судеб.

Жизнь ее, ослабевающая, протекала в семидесятые поначалу между московской квартирой и летним отдыхом на даче ^[19]. Дальние поездки — в Псков или Прибалтику — предпринимались из чистого удовольствия почитать кого-то из друзей и были нечастыми. Если начало декады было отмечено эмиграционными настроениями и даже усилиями в этом направлении (по еврейской линии), то конец — глубоким погружением в православие, чему немало способствовала и харизма ее духовника — отца Александра Меня.

Последний — 82-й год — своей жизни она болела. Дружеский ее круг организовал дежурства, ни на минуту не оставлял ее без заботы. Смерть застигла ее во сне, и только тут советская власть решилась не то на демарш, не то на реванш, «арестовав» покойницу, доставив ее — без гроба — в казенный морг, опечатав, в интересах возможных наследников, ее квартиру и запретив погребение на Ваганьковском.

В четвертый раздел книги — «Надежда Мандельштам: попытки обобщения» — вошли короткие эссе Д. Быкова, М. Чудаковой и А. Битова ^[20] и статья Д. Нечипорука: все это тексты, дающие синтетическую характеристику и интегральную оценку личности и творчества Н.Я.

Завершает же книгу ее пятый раздел, в который включены биохроника Н.Я. Мандельштам. Традиционные «Труды и дни» несколько восполняют отсутствие в книге биографического очерка.

6

При всем своем разнообразии, многочисленные авторы сборника сходятся в одном — в том, что Надежда Яковлевна Мандельштам — плоть от плоти и дух от духа Осипа Мандельштама, их судьбы сплавлены в одну общую, и ее голос, ее высказывания и даже ее оценки опираются на это такое горькое и такое счастливое единство. Но при этом она не бессловесная ипостась и не бесплотная тень, — она сама отбрасывает тень и, если надо, за словом в карман не полезет.

Вот этапы ее противостояния времени, ее собственного — Надежды Яковлевны, а не вдовы Осипа Эмильевича, — подвига.

Когда в 1938 году погиб он, то главным ее делом стало сохранить его стихи, а это значит — не погибнуть самой! Инстинкт не погибнуть приводил ее и в Струнино, и в Шортланды, и снова в Калинин, и в Ташкент, и в Ульяновск — он же, в нужный момент, и уводил ее из этих, по-своему опасных, мест. Нужно было обязательно дожидаться, дотерпеться до смерти тирана. И ее прощание с Ульяновском совпало с этой неслыханной радостью — со всенародным «прощанием» с Сосо, и 1953 год посему — важная

веха в ее выяснениях отношений со временем. Оно перестало охотиться за ней и заняло шипящий, но нейтралитет.

Следующий этап и новая веха — 1955 год, когда на Западе вышел первый посмертный однотомник Мандельштама: в нем были почти исключительно уже публиковавшиеся стихи, но он как бы обозначил и закрепил позиции противоборствующих «сторон». И после этого, Н.Я. перешла в контрнаступление: вешками тут первая реабилитация (1956), образование Комиссии по литературному наследию Мандельштама (1957) и, самое главное, попадание неизданного Мандельштама в самиздат (1958-1959). В 1962 и 1964 годах — с публикацией в «Воздушных путях» и выходом первого тома Собрания сочинений — подтянулся и тамиздат, со временем заменивший самиздат в его дико-бродячем виде. Наконец, первые робкие журнальные публикации в СССР и, в особенности, триумфальный вечер в МГУ в мае 1965 года обозначили необратимость возвращения стихов Мандельштама к читателю и на родине.

В 1965 году — следующая веха — Н.Я. впервые вздохнула не просто спокойно, но и победительно. Провинциальные вузы были уже все позади, а в своей кооперативной квартире она вольна была теперь делать все что угодно. То, чем она занялась там, в Тарусе и Пскове, здесь, на Большой Черемушкинской, она закончила, перепечатала и передала в испуганные, но надежные руки Кларенса Брауна.

И приступила к следующим своим делам — к переживаниям за «Разговор Данте» и к написанию любящей книги об Ахматовой; к извлечению мужниного архива у Харджиева и собственному припоминающему погружению в этот архив, в поэзию и в творческую стихию Мандельштама; к отказу от книги об Ахматовой и написанию совсем другой книги — книги о времени и о себе. Если эта «Вторая книга» и сведение счетов, то все же не с упоминаемыми в ней людьми, а со временем, в котором и ей, и упоминаемым людям выпало вместе жить.

Следующая и, кажется, уже последняя прижизненная вешка в поединке со временем — 1973 год. И вовсе не потому, что Мандельштам вышел, наконец, и в «Библиотеке поэта», а потому, что в 1973 году, переправив на Запад остатки архива, Н.Я. освободилась и от этой — последней — ответственности перед памятью мужа.

Время, конечно, стачивало ее, скашивало, как каблук, но отныне оно работало не против, а за нее. Свободный выход на родине его и ее книг, величания по случаям юбилеев и открытия ему (а однажды и ей вместе с ним!) памятников и мемориальных досок по всему миру — все это было подготовлено ею, а происходить могло, происходило и будет происходить уже без нее.

Вот так Надежда Яковлевна переупрямила и время!

I.

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ —

Надежде ХАЗИНОЙ и Надежде МАНДЕЛЬШТАМ: СТИХИ

*И холодком повеяло высоким
От выпукло-девического лба...*

Черепаша

На каменных отрогах Пиэрии
Водили музы первый хоровод,
Чтобы, как пчелы, лирники слепые
Нам подарили ионийский мед.
И холодком повеяло высоким
От выпукло-девического лба,
Чтобы раскрылись правнукам далеким
Архипелага нежные гроба.

Бежит весна топтать луга Эллады,
Обула Сафо пестрый сапожок,
И молоточками куют цикады,
Как в песенке поется, перстенок.
Высокий дом построил плотник дюжий,
На свадьбу всех передушили кур,
И растянул сапожник неуклюжий
На башмаки все пять воловьих шкур.

Нерасторопна черепаха-лира,
Едва-едва беспалая ползет,
Лежит себе на солнышке Эпира,
Тихонько грея золотой живот.
Ну, кто ее такую приласкает,
Кто спящую ее перевернет?
Она во сне Терпандра ожидает,
Сухих перстов предчувствуя налет.

Поит дубы холодная криница,
Простоволосая шумит трава,
На радость осам пахнет медуница.
О, где же вы, святые острова,
Где не едят надломленного хлеба,

Где только мед, вино и молоко,
Скрипучий труд не омрачает неба
И колесо вращается легко?

1919

Вернись в смесительное лоно,
Откуда, Лия, ты пришла,
За то, что солнцу Илиона
Ты желтый сумрак предпочла.

Иди, никто тебя не тронет,
На грудь отца в глухую ночь
Пускай главу свою уронит
Кровосмесительница-дочь.

Но роковая перемена
В тебе исполниться должна:
Ты будешь Лия — не Елена!
Не потому наречена,

Что царской крови тяжелее
Струиться в жилах, чем другой, —
Нет, ты полюбишь иудея,
Исчезнешь в нем — и Бог с тобой.

1920

С розовой пеной усталости у мягких губ
Яростно волны зеленые роет бык,
Фыркает, гребли не любит — женолюб,
Ноша хребту непривычна, и труд велик.

Изредка выскочит дельфина колесо
Да повстречается морской колючий еж,
Нежные руки Европы, — берите все!
Где ты для вьи желанней ярмо найдешь?

Горько внимает Европа могучий плеск,
Тучное море кругом закипает в ключ,
Видно, страшит ее вод маслянистый блеск
И соскользнуть бы хотелось с шершавых круч.

О, сколько раз ей милее уключин скрип,
Лоном широкая палуба, гурт овец
И за высокой кормою мелькание рыб, —
С нею безвесельный дальше плывет гребец!

1922

Холодок щекочет темя,
И нельзя признаться вдруг, —
И меня срезает время,
Как скосило твой каблук.

Жизнь себя перемогает,
Понемногу тает звук,
Все чего-то не хватает,
Что-то вспомнить недосуг.

А ведь раньше лучше было,
И, пожалуй, не сравнишь,
Как ты прежде шелестила,
Кровь, как нынче шелестишь.

Видно, даром не проходит
Шевеленье этих губ,
И вершина колобродит,
Обреченная на сруб.

1922

Куда как страшно нам с тобой,
Товарищ большеротый мой!

Ох, как крошится наш табак,
Щелкунчик, дружок, дурак!

А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заесть ореховым пирогом,

Да, видно, нельзя никак...

Октябрь 1930

Мы с тобой на кухне посидим,
Сладко пахнет белый керосин;

Острый нож да хлеба каравай...
Хочешь, примус туго накачай,

А не то веревок собери
Завязать корзину до зари,

Чтобы нам уехать на вокзал,
Где бы нас никто не отыскал.

Январь 1931

Ma voix aigre et fausse...

*P. Verlainе**

Я скажу тебе с последней
Прямой:
Все лишь бредни — шерри-бренди, —
Ангел мой.

Там, где эллину сияла
Красота,
Мне из черных дыр зияла
Срамота.

Греки сбондили Елену
По волнам,
Ну, а мне — соленой пеной
По губам.

По губам меня помажет
Пустота,
Строгий кукиш мне покажет
Нищета.

Ой ли, так ли, дуй ли, вей ли —
Все равно;

Ангел Мэри, пей коктейли,
Дуй вино.

Я скажу тебе с последней
Прямой:
Все лишь бредни — шерри-бренди, —
Ангел мой.

2 марта 1931

* Мой голос пронзительный и фальшивый... П. Верлен (*фр.*).

Нет, не спрятаться мне от великой муры
За извозчичью спину — Москву,
Я трамвайная вишенка страшной поры
И не знаю, зачем я живу.

Мы с тобою поедem на «А» и на «Б»
Посмотреть, кто скорее умрет,

А она то сжимается, как воробей,
То растет, как воздушный пирог.

И едва успеваешь грозить из угла —
Ты как хочешь, а я не рискну!
У кого под перчаткой не хватит тепла,
Чтоб объездить всю курву Москву.

Апрель 1931

ФАЭТОНЩИК

На высоком перевале
В мусульманской стороне
Мы со смертью пиروвали —
Было страшно, как во сне.

Нам попался фэтонщик,
Пропеченный, как изюм,
Словно дьявола погонщик,
Односложен и угрюм.

То гортанный крик араба,
То бессмысленное «цо», —
Словно розу или жабу,
Он берег свое лицо:

Под кожевенною маской
Скрыв ужасные черты,
Он куда-то гнал коляску
До последней хрипоты.

И пошли толчки, разгоны,
И не слезть было с горы —
Закружились фэтоны,
Постоялые дворы...

Я очнулся: стой, приятель!
Я припомнил — черт возьми!
Это чумный председатель
Заблудился с лошадьми!

Он безносой канителью
Правит, душу веселя,
Чтоб вертелась каруселью
Кисло-сладкая земля...

Так, в Нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше
Я извещал эти страхи,
Соприродные душе.

Сорок тысяч мертвых окон
Там видны со всех сторон
И труда бездушный кокон
На горах похоронен.

И бесстыдно розовеют
Обнаженные дома,
А над ними неба мреет
Темно-синяя чума.

12 июня 1931

Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето.
С дроботом мелким расходятся улицы в чоботах узких железных.
В черной оспе блаженствуют кольца бульваров...

Нет на Москву и ночью угомону,
Когда покой бежит из-под копыт...
Ты скажешь — где-то там на полигоне
Два клоуна засели — Бим и Бом,
И в ход пошли гребенки, молоточки,
То слышится гармоника губная,
То детское молочное пьянино:
— До-ре-ми-фа
И соль-фа-ми-ре-до.

Бывало, я, как помоложе, выйду
В проклеенном резиновом пальто
В широкую разлаплицу бульваров,
Где спичечные ножки цыганочки в подоле бьются длинном,
Где арестованный медведь гуляет —
Самой природы вечный меньшевик.

И пахло до отказа лавровишней...
Куда же ты? Ни лавров нет, ни вишен...

Я подтяну бутылочную гирьку
Кухонных крупно скачущих часов.
Уж до чего шероховато время,
А все-таки люблю за хвост его ловить,
Ведь в беге собственном оно не виновато
Да, кажется, чуть-чуть жуликовато...

Чур, не просить, не жаловаться! Цыц!
Не хныкать —
для того ли разночинцы
Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал?
Мы умрем как пехотинцы,
Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи.

Есть у нас паутина шотландского старого пледа.
Ты меня им укроешь, как флагом военным, когда я умру.
Выпьем, дружок, за наше ячменное горе,
Выпьем до дна...

Из густо отработавших кино,
Убитые, как после хлороформа,
Выходят толпы — до чего они венозны,
И до чего им нужен кислород...

Пора вам знать, я тоже современник,
Я человек эпохи Москвошвея, —
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!
Попробуйте меня от века оторвать, —
Ручаюсь вам — себе свернете шею!

Я говорю с эпохой, но разве
Душа у ней пеньковая и разве
Она у нас постыдно прижилась,
Как сморщенный зверек в тибетском храме:
Почешется и в цинковую ванну.
— Изобрази еще нам, Марь Иванна.
Пусть это оскорбительно — поймите:
Есть блуд труда и он у нас в крови.

Уже светает. Шумят сады зеленым телеграфом,
К Рембрандту входит в гости Рафаэль.

Он с Моцартом в Москве души не чает —
За карий глаз, за воробьиный хмель.
И словно пневматическую почту
Иль студенец медузы черноморской
Передают с квартиры на квартиру
Конвейером воздушным сквозняки,
Как майские студентки-шелапуты.

Май — 4 июня 1931

Кама

1.

Как на Каме-реке глазу тёмно, когда
На дубовых коленях стоят города.

В паутину рядясь, борода к бороде,
Жгучий ельник бежит, молодея в воде.

Упиралась вода в сто четыре весла —
Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла.

Там я плыл по реке с занавеской в окне,
С занавеской в окне, с головою в огне.

А со мною жена пять ночей не спала,
Пять ночей не спала, трех конвойных везла.

2.

Как на Каме-реке глазу темно, когда
На дубовых коленях стоят города.

В паутину рядясь, борода к бороде,
Жгучий ельник бежит, молодея в воде.

Упиралась вода в сто четыре весла
Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла.

Чернолюдем велик, мелколесьем сожжен
Пулеметно-бревенчатой стаи разгон.

На Тоболе кричат. Обь стоит на плоту.
И речная верста поднялась в высоту.

3.

Я смотрел, отдаляясь, на хвойный восток,
Полноводная Кама неслась на буюк.

И хотелось бы гору с костром отслоить,
Да едва успеваешь леса посолить.

И хотелось бы тут же вселиться, пойми,
В долговечный Урал, населенный людьми,

И хотелось бы эту безумную гладь
В долгополой шинели беречь, охранять.

Апрель—май 1935

Твой зрачок в небесной корке,
Обращенный вдаль и ниц,
Защищают оговорки
Слабых, чующих ресниц.

Будет он обожествленный
Долго жить в родной стране —
Омут ока удивленный, —
Кинь его вдогонку мне.

Он глядит уже охотно
В мимолетные века —
Светлый, радужный, бесплотный,
Умоляющий пока.

2 января 1937

Еще не умер ты, еще ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин
И мглой, и холодом, и вьюгой.

В роскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокоен и утешен.
Благословенны дни и ночи те,
И сладкогласный труд безгрешен.

Несчастлив тот, кого, как тень его,
Пугает лай и ветер косит,
И беден тот, кто сам полуживой
У тени милостыню просит.

15-16 января 1937

О, как же я хочу,
Не чуемый никем,
Лететь вослед лучу,
Где нет меня совсем.

А ты в кругу лучись —
Другого счастья нет —
И у звезды учись
Тому, что значит свет.

Он только тем и луч,
Он только тем и свет,

Что шопотом могуч
И лепетом согрет.

И я тебе хочу
Сказать, что я шепчу,
Что шопотом лучу
Тебя, дитя, вручу...

23 марта — начало мая 1937

Как по улицам Киева-Вия
Ищет мужа не знаю чья жинка,
И на щеки ее восковые
Ни одна не скатилась слезинка.

Не гадают цыганочки кралям,
Не играют в Купеческом скрипки,
На Крещатике лошади пали,
Пахнут смертью господские Липки.

Уходили с последним трамваем
Прямо за город красноармейцы,
И шинель прокричала сырая:
— Мы вернемся еще — разумейте...

Апрель 1937

На меня нацелилась груша да черемуха —
Силою рассыпчатой бьет в меня без промаха.

Кисти вместе с звездами, звезды вместе с кистями, —
Что за двоевластье там? В чьем соцветьи истина?

С цвету ли, с размаха ли бьет воздушно — целыми
В воздух убиваемый кистенями белыми.

И двойного запаха сладость неуживчива:
Борется и тянется — смешана, обрывчива.

4 мая 1937

[1] Письмо Б. Кузину от 8 июля 1939 г. (*Кузин*. С. 593)

[2] Возникает и другой вопрос: а не читал ли его часом и Сталин, все пристававший к Пастернаку с вопросом: а не Мастер ли, часом, этот Мандельштам?

[3] Н.Я. писала Кузину 9 мая 1939 г. (*Кузин*. С. 588), что все свои письма к О.М. уже уничтожила (впрочем, часть писем — пусть и небольшая — все же сохранилась в *АМ*).

[4] Вот из него цитата: «*Молю Бога, чтобы ты услышала, что я скажу: детка моя, я без тебя не могу и не хочу, ты вся моя радость, ты родная моя, это для меня просто, как божий день. Ты мне сделалась до того родной, что всё время я говорю с тобой, зову тебя, жалею тебя. Обо всем, обо всем могу сказать только тебе. Радость моя бедная! Ты для мамы своей «кинечка» и для меня такая же «кинечка». Я радуюсь и Бога благодарю за то, что он дал мне тебя. Мне с тобой ничего не будет страшно, ничего не тяжело ...*

Твоя детская лапка, перепачканная углем, твой синий халатик — всё мне памятно, ничего не забыл ...

Прости мне мою слабость и что я не всегда умел показать, как я тебя люблю.

Надюша! Если бы сейчас ты объявилась здесь, — я бы от радости заплакал. Звереныш мой, прости меня! Дай лобик твой поцеловать — выпуклый детский лобик! Дочка моя, сестра моя, я улыбаюсь твоей улыбкой и голос твой слышу в тишине.

Вчера я мысленно произвольно сказал «за тебя»: «я должна (вместо “должен”) его найти», т. е. ты через меня сказала... <...>

Надюша, мы будем вместе, чего бы это ни стоило, я найду тебя и для тебя буду жить, потому что ты даешь мне жизнь, сама того не зная, голубка моя, — «бессмертной нежностью своей» ...

<...> Не могу себе простить, что уехал без тебя. До свиданья, друг! Да хранит тебя Бог! Детка моя! До свиданья!»

[5] *ПССП*. Т.3, 2011. С. 604-606.

[6] См.: О. Манделъштам. Собрание сочинений в четырех томах. Т.4. Письма / Сост.: П. Нерлер, А. Никитаев, С. Василенко и Ю. Фрейдин. М.: Арт-Бизнес-центр, 1997. С.145. Письма №№ 167 и 168.

[7] *Тименчик Р.* Об одном эпизоде в биографии Манделъштама // *TorontoSlavic Quarterly*. 2014. No 47. С.219-239.

[8] Они выделены в оглавлении полужирным.

[9] Авторы же предисловий к эпистолярным или иным публикациям чувствуют себя на этом фоне скорее аналитиками, чем мемуаристами, и чаще позволяют себе «критические ноты».

[10] Я не привожу здесь ссылок. Интересующиеся легко отыщут соответствующие публикации в библиографии Н.Я.

[11] Публикуемые в наст. издания письма Н.Я. семейству Шкловских охватывают уже последующие годы.

[12] Оригинал по-английски (то же — в письмах и чете Миллеров-Морат); в наст. издании — в переводе на русский.

[13] Публикациями, как правило, исчерпывается соответствующий эмпирический материал, но есть и исключения (так, часть писем Н.Я. к А.К. Гладкову, А.В. Македонову или А.А. Суркову все еще ждут своего публикатора). А *gringos* публикаторы: круг тех, кто внес в этот массив особенно осязаемый вклад, довольно отчетлив — это Н. Крайнева, С. Шумихин, А. Мец, М. Вахтель и некоторые другие.

[14] Это лишь крошечная часть той поистине гигантской переписки, которая связывала Н.М. и чету Любищевых на протяжении долгого времени.

[15] С «родными», как их назвала сама Н.Я. в своем первом письме к Харджиеву.

[16] Часть из них прошла обкатку в текущей периодике (например, материалы о диссертации, о К. Брауне или об О. Андреевой-Карлайл).

[17] Примерами могут послужить письма Н.Я. П. Целану, Л. Григоряну, Л. Мкртчяну или Г. Кубатьяну или воспоминания Е. Муриной, Н. Штемпель или В. Лашковой.

[18] Тут я постарался собрать *все* выявленные материалы такого рода; мало того, поместил сюда соответствующий фрагмент воспоминаний Л. Сергеевой, отделив его, с ее согласия, от основного текста.

[19] География дач расширилась: тут и Переделкино, и Кратово, и Абрамцево, и Семхоз, и Боровск, и Малеевка.

[20] Первые два — это выступления на вечере памяти Н.М. в ЦДЛ 30 октября 2014 г., а третье — фрагмент из радиопередачи.



Мина Полянская
ОТТЕПЕЛЬ —
ФАЛЬШИВЫЙ РЕНЕССАНС

**По страницам романа
Фридриха Горенштейна «Место»**

«...Могила моей матери — где-то под Оренбургом, могила отца — где-то под Магаданом. Я поставил им памятники: матери — роман «Псалом», отцу — роман «Место».

Фридрих Горенштейн

Роман Фридриха Горенштейна «Место», завершённый в 1972 году, впервые был опубликован в Москве *не ко времени* — не в 1988-89-х годах, когда публика ринулась читать возвращенцев (так читали когда-то «Историю...» Карамзина: «опустел Невский проспект, все сидели за книгами»), а в 1991 году, когда всё было прочитано, и оголодавшая от реформ и бешеных инфляций публика уже ничего не читала, а занялась поисками хлеба насущного. Обманчивой демократии, либеральному таинству постэстаблинговского правительства писатель посвятил роман «Место» с подзаголовком «Политический роман». Это — огромный восьмисотстраничный роман о московских диссидентах, антидиссидентах, тайных организациях со средневековыми ритуалами и репетиловским многозначительным фразёрством, с захватывающей интригой, с сюжетными ответвлениями диккенсовской школы.

Роман выплыл в начале 90-х тихо и незаметно, без «литературных толков», согласно выражению Белинского, меж тем, как Ефим Эткинд посчитал его «одной из очень высоких точек развития русской литературы в XX веке». Надо сказать, что книга была всё же представлена к премии «Русский Букер», впервые учреждённой в 1992 году, но не удостоилась её, оставшись в «коротком списке». Писатель посчитал присутствие своего романа в «коротком списке» не отличием, а унижением и в дальнейшем — до самой смерти в 2002 году — в литературных конкурсах не участвовал.

Роман пронизан личностью Никиты Сергеевича Хрущёва с его оттепелью, хотя сам глава государства на его страницах ни разу не появляется и смотрит весело из портретной рамы «в капроновой шляпе и рубашке

с широкой улыбкой на жирном крестьянском лице любителя простой и обильной пищи». (Все цитаты ниже с неуказанным в тексте источником — из романа «Место», Слово/Slovo, М., 1991). Повсюду о нём говорят — на кухоньках, где советская интеллигенция решала важнейшие вопросы бытия, на вокзалах, в поездах, троллейбусах и трамваях. Тем не менее, о конкретном времени следует говорить с большой оговоркой, поскольку этому роману свойственны элементы анахронизма, согласно Бахтину («Роман воспитания и его роль в истории реализма»), утверждающему о романе как таковом, что мир его героев *«остаётся тем же, каким он был, биографически жизнь его героев тоже не меняется, чувства их тоже остаются неизменными, люди даже не стареют»*. «Место» доказывает, что человек в условиях любого времени и независимо от структуры общества может оказаться без крова, или же не может снять и напоминающей гроб комнатушки Раскольниковца. Возможны каинова зависть, жертвой которой Горенштейн считал свою трагически сложившуюся писательскую судьбу, голод, беспроектная нищета и наполеоновские амбиции выброшенного из общего жития человека. Для Горенштейна, в отличие от Набокова, покинутая Россия не была потерянным раем (и, тем более, страной счастливого детства), и, в отличие от Достоевского, Москве не уготована судьба Нового Иерусалима. Утраченному Эдему нет на земле места, и поэтому поиск «места» в его книгах превращается в поиск *временного пристанища* как наименьшего из зол. И беспрестанно скитаются по страницам его произведений бездомные герои — в рассказе «Дом с башенкой», в романах «Искушение» и «Зима пятьдесят третьего года» и в особенности в романе «Место», который писатель считал, наряду с романом «Псалом», своим главным произведением и посвятил его отцу, приговорённому к расстрелу «Особой тройкой» в 1937 году. Сам образ «места» стал для писателя ключевым. Повесть «Улица Красных Зорь», написанная в 1985 году Берлине, также посвящена «безместности». Горенштейн рассказывал, что поводом для написания повести послужила исповедь одной знакомой ему женщины, живущей в Берлине. Она рассказала писателю, как в 1953 году, сразу же после смерти Сталина, выпущенные по амнистии уголовники убили её родителей. Фридрих Наумович ещё рассказывал, что она плакала навзрыд, когда прочитала повесть. Мне как-то показалось, что Горенштейн не до конца оценивает повесть «Улица красных зорь» (он в последние годы на публичных чтениях читал в основном из романа «Летит себе аэроплан» о Марке Шагале, считая, что он «легче» воспринимается публикой и вызывает меньше «неудобных» вопросов).^[1]

Я даже пыталась заступиться за «Улицу Красных Зорь», а Горенштейн со мной спорил: «А что там хорошего в этих резиновых калошах?» «А то, что запах этих новых «дефицитных» калош, — отвечала я, — радостный, праздничный их запах, знаком многим детям, рожденным после войны». Вероятно, ему нравились «комплименты» и все новые «версии» повести, когда я рассказывала о девочке Тоне (мне казалось, что я говорю

о себе) в новых, вкусно пахнущих, тугих резиновых калошах с ярко-красной мягкой подкладкой, вспоминала её бордовую «шибко красивую» ленту, которую подарил ей дядя Толя. Эти личные её вещи были символом её домашней и суверенной жизни. Тоня была обезличена однажды и навсегда, когда родителей убили амнистированные уголовники, и девочку привезли в детский дом: «Прошла Тоня дезинфекцию, надели на неё кремовое с цветочками, сшитое из кашемировых платков платьице, какое носили в детдоме все девочки, и стала Тоня там жить». Для Тони «своим углом» оказался камень у дороги, на котором она любила сидеть. Здесь она тосковала по родителям, дому и родной улице Красных Зорь: «Зато к дороге, у которой сидеть любила, пошла Тоня как к знакомому месту, и камень, на котором сидеть любила, тоже родным показался».

Повествование в романе «Место» ведётся от лица главного героя Гоши Цвибышева, однако автор, что справедливо, не советовал отождествлять его с героем, несмотря на то, что факты биографии, особенно в первой части романа, до неправдоподобия совпадают.

Первой части романа «Койко-место» предпослан эпиграф из Евангелия, настраивающий на сострадание к герою: «Лисицы имеют свои норы, и птицы небесные гнёзда; а Сын человеческий не имеет, где приклонить голову».

Двадцатисемилетний Гоша Цвибышев вернулся в свой город. По многим приметам — это Киев. Именно в Киеве ещё до войны у Горенштейна отнят был отчий дом, а времена хрущёвской оттепели, когда после «Большого террора» ожидалось большие перемены, ничего ему не вернули. Либерализм хрущёвской эпохи оказался непоследовательным, урезанным. Вдруг открылась возможность новой жизни: после XX-го съезда в 1956 году. Казалось, что вот — пришёл его час: он получит отнятые у него права. Однако незыблемой осталась закономерность (правило?): если в этом государстве отняли жильё, где можно голову приклонить, то не вернут никогда. У Гоши Цвибышева до войны также был репрессирован отец, но времена «фальшивого хрущёвского ренессанса» не вернули ни жилья, ни права прописки. Трагедия жительство здесь, с одной стороны, вневременная, и потому «литературная», а с другой — это трагедия поколения определённой страны после «Большого террора».

В течение трёх лет мысли Гоши сведены к одной черте: чтобы проникнуть в общежитие, ему надо пересечь порог как можно тише, не хлопнув дверью, дабы комендантша его не заметила, а затем быстро взбежать по лестнице. Суэта героя, координатная система его помыслов и желаний, на пересечении осей которой находится узкая железная кровать, напоминает борьбу за койко-место героя романа Кафки «Замок», где нравствен-

ные ценности определенного населенного пункта (Деревни), опрокинуты в силу опрокинутости самой основы бытия. У Цвибышева, так же, как и у героя романа «Замок» К., нет юридического права занимать койку. Однако, согласно закону, свидетельствующему об особой гуманности властей, Гошу из общежития «Жилстрой» не могли выселить зимой. Страх перед наступлением весны выделяет героя из рядов нормальных граждан, вырывает из будней общежития, вырастающего в романе в символ общего жития, из которого выброшен Цвибышев. «Тёплые весенние ветры» дуют не для него, и пробуждение от зимней спячки означает начало нового жизненного цикла отчаянной борьбы за существование. Даже кошка догадалась, что Гоша бесправен и набросилась однажды на него.

«Я говорю так много о кошке, потому, что и она, бессловесная тварь, оказалась втянутой в события и сыграла роль в моей судьбе. Однажды, когда я по обыкновению подошёл и принялся ласкать её, она вдруг подпрыгнула, вонзила мне зубы в пальцы, а когтями задних ног распоролла мне ладонь... Помимо боли меня терзала обида. Конечно, глупо обижаться на животных, но это была опытная старая кошка, и она знала, я верю в это, как надо вести себя, если без права хочешь прожить среди людей. За три года я не помню, чтобы она кого-нибудь укусила, хоть её били, пинали, отнимали котят, таскали за хвост. «Значит, и она ощутила моё бесправие», — думал я, лежа на койке».

Сцена со старой общежитской кошкой — символ бесправности героя. Оба они, кошка и Цвибышев, на «птичьих правах» в общежитии «Жилстроя». Маргинал Цвибышев почти добился «прав человека» — именно поэтому его не выгоняют зимой на улицу. Кошке, наоборот, как домашнему животному, принятому в человеческий коллектив, предоставлены привилегии *почти* человека. Вот почему кошка, привилегированный зверь, и Цвибышев, деклассированный человек, сталкиваются в узком пространстве их полуполеального существования.

Узнав о том, что реабилитация отца, генерал-лейтенанта, всего лишь фикция («Ваши законы построены так, что сироты имеют меньше прав, чем те, у кого есть родители»), Гоша становится настоящим разбойником. И днём, и ночью он выходит на охоту в поисках сталиниста, чтобы избить его до бесчувствия. Борьба за место, таким образом, превратилась в «длинную однообразную цепь политических драк», «идейные избиения», или, как ещё говорил герой, в индивидуальное «политическое патрулирование» улиц. Политический террор, объясняет Гоша — это месть, приносящая удовлетворение тому, кому нанесена обида. Гоша довольно скоро находит таких же, как и он, хулиганов, творящих самосуд, определяя жертву по внешнему виду или какой-либо фразе. Тогда объявилось вдруг много лю-

дей с разрушенной трагической судьбой, и сопровождалось это явление даже некоторой растерянностью, правда кратковременной, властей, «перед этими трагическими судьбами и перед последствиями собственных деяний». Политический накал атмосферы был настолько высок, что коснулся и самых неожиданных, неучтённых в большой политике представителей общества — уличных проституток. С одной из них — сталинисткой — Гоша подрался на политической почве. И если не бояться преувеличений, можно сказать, что *политически ангажированная уличная девица у Горенштейна — единственный в литературе персонаж.*

То было время, когда власть, «завершая какой-либо цикл, перестает казнить без разбора и в массовом порядке», ещё не возражала против общественного мнения «вокруг частных столов, уставленных закусками». В романе представлена большая комната, в которую вошёл Гоша: в ней почти не было мебели, однако красовались «символический уже портрет Хемингуэя и икона Христа, новшество для меня (Гоши — М.П.), ибо увлечение религией, как противоборство официальности, прошлому и сталинизму ещё только зарождалось в среде протеста». В помещении, где собралось общество оппозиции, царил атмосфера неуважения власти и авторитетов, или, как ещё говорил писатель, атмосфера «политического греха».

Одним из эпитафий к третьей части романа («Место среди жаждущих») Горенштейн взял слова из «Книги Судей»: «В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым». Новый глава государства Никита Хрущёв, вступивший на смену абсолютному самодержцу, глубоко почитаемому обывателем, считавшим его правление «порядком», своими «простонародными действиями и простонародной личностью» уничтожил святость власти. Горенштейн поясняет: «А если в такой обстановке у русского человека отнимать хлеб и пряники, он знает, что ему делать. Подспудно дремавшее чувство вековых российских смут просыпается в нём, и российский бунт, жестокий и радостный, является вдруг на свет, как весёлое и забытое сказочное чудище».

По мнению Горенштейна, ущербное детство зачастую даёт уродливые всходы, «...отдельным мученикам мученичество это в бытовом смысле придало черты самых обычных негодяев. (Задатки коих, наверно, у них существовали и до мученичества, мученичеством же лишь были усилены)». В особенности ущербны фанатичные натуры, они чаще склонны к терроризму. Горенштейн изучает сущность террориста, пытаясь понять этого, по выражению Достоевского, «особого взъерошенного человека с неподвижной идеей во взгляде». Несчастный случай в детстве одного человека может иметь роковое значение для общества. В неоконченном романе «Верёвочная книга» писатель уделит большое внимание ущербному

детству Сталина, показывая «Нерукотворную Историю» через личный, бытовой фактор. Поскольку отчим Сталина был сапожником, писатель заинтересовался сапожными инструментами, и в особенности отличием сапожного молотка от обыкновенного. Оказалось, что ударная часть сапожного молотка имеет круглую, полированную поверхность, поскольку им нужно не только гвозди забивать, но «околачивать» кожу. Интерес Горенштейна носил вполне целенаправленный характер, и было очевидно, что молоток в качестве символа насилия был ему также необходим, как неевангелическое конкретное игольное ушко (не то, через которое верблюд скорее, чем богатый, войдет в Царство Небесное) в его повести «Притча о богатом юноше».

В романе «Место» несколько «вставных» сюжетов: история директора завода Гаврюшина-Лейбовича, история Висовина и Журналиста, рассказ Орлова «Русские слезы горьки для врага». Подобные «скобки» Борхес называл «литературными лабиринтами», и в эссе «Рассказ в рассказе» привел несколько примеров, помимо «Тысячи и одной ночи»: «Гамлета», когда Шекспир в третьем действии возводит сцену на сцене, роман Густава Майринка «Голем» — история сна, в котором снятся сны и, наконец, роман ирландца Флэнна О'Брайена «В кабачке «Поплыли птички»», написанный под воздействием Джойса, и который по сложности литературного лабиринта не имеет себе равных.

История Меркадера (Горенштейн знал убийцу Троцкого лично) в романе также вставная. Это — рукопись в синей папке, рассказ от первого лица убийцы Троцкого Меркадера, страдавшего эдиповым комплексом — ущербностью, которая в первую очередь учитывалась «комиссией по убийству Троцкого» при выборе кандидата-убийцы. Троцкист Горюн, обладатель бесценной рукописи, сообщает: «Первоначально намеревались подобрать исполнителя приговора с железными нервами... Твёрдого человека... Однако потом всё резко переменялось...». Горюн разъясняет: «В высокой, но тайной политике к таким фактам относятся, как к медицине, — серьёзно и делово».

На вопрос моего мужа Бориса Антипова, почему писатель в романе поменял орудие убийства (Троцкий был убит ледорубом), он ответил: «Существует несколько версий убийства Троцкого, а мне для замысла нужен был садовый ломик».

Предмет, которым убивают в романах Горенштейна — особая тема. Я выделила «инвентарь» убийцы в «Месте» и представила его в книге о писателе («Берлинские записки о Фридрихе Горенштейне». СПб, 2011). В данном очерке я выдвигаю краткий перечень «оружия» на передний план. У персонажей-убийц в романе, как правило, «скромные», одомашненные даже орудия насилия, отмеченные печатью личного, интим-

ного данного конкретного убийцы и даны автором всегда с уменьшительно-ласкательными суффиксами: маленький садовый ломик, молоточек и бритва, острый ножик (в рассказе «На вокзале» орудием убийства сделались саночки). Внешняя безобидность «приборчика» для кровопролития удачно оттеняет «симпатичного» террориста. И подчёркивает личностность преступления, истоки которого — в пережитых детских трагедиях и травмах. Из исповеди Меркадера (что в синей папке): «Я не знаю, откуда взялся на песчаной дорожке небольшой садовый ломик, возможно, он был забыт садовником, а возможно, и подброшен судьбой (испанцы, даже материалисты, суеверны в удаче и в неудаче). Я схватил этот ломик и безрассудно шумно пошёл, чуть ли не побежал к беседке. Но Троцкий настолько был увлечён работой, что поднял на меня глаза в тот момент, когда занёс ломик правой рукой, левой, для крепости удара, ухватившись за стойку беседки».

В момент церемониала вступления в организацию Щусева, напоминающего средневековые ритуалы, Гоше подали на блюде стакан чистой воды и маленький, остро отточенный ножик, которым следовало надрезать палец, выдавить несколько капель в стакан с водой и, отпив из стакана, передать по кругу сотоварищам для дальнейшего «отпития», однако Гоша от волнения сделал слишком глубокий надрез, и крови пролилось гораздо больше, чем можно было предположить. Ножик на блюде становится зловещим символом. Автор замечает: «В организации Щусева, конечно же, был силен элемент бескорыстной детской игры. Чрезвычайно развит был ритуал и некие даже обряды». А затем предупреждает: «Всякая игра, которая ведётся систематически и увлечённо, рано или поздно теряет условность и приобретает самые реальные бытовые формы».

Троцкист Горюндочерил рукопись Меркадера Гоше, поскольку находил в нём «физиологически» сходство с убийцей Троцкого. Гоша также считает, что отнятое детство — причина его «горячечных мечтаний». Он — полон даже более дерзновенных мыслей, чем Меркадер — вплоть до желания стать царём на Руси (эта мысль, согласно роману, оказывается, не столь уж оригинальна, и многие из нас, связанные общей судьбой, лелеют мечту как-нибудь образом возглавить страстно любимую Россию).

Автор делает попытку понижения роли Кремля как символа власти. Гоша впервые увидел Кремль не со стороны Красной площади, не осенённый былинным величием, а, наоборот, сниженный до обыкновенности, поскольку находился на набережной с заведениями «общепита», со сквериком, где старушки гуляли с малышами. Гоша и Коля (Коля — политически активный и принадлежащий к интеллигенции протеста несовершеннолетний герой романа) — сели на уютный холм с дикой травой и прыгающими кузнечиками у той части стены, которая выглядела особенно провинциально. Вся обстановка — стрекочущие кузнечики, ржавая лампа, поскрипывающая у кремлёвских зубчатых бойниц — «была направлена против символов и авторитетов» и внушала уверенность в себе. Ночью Гоша один пришёл к холму, на котором они днём с Колей говорили о праве Гоши на

царство, и прижался к древним, ещё не остывшим от солнца кремлёвским кирпичам и пребывал в таком положении довольно долго, испытывая, как ему казалось, чувство религиозное. Он ещё поцеловал кремлёвские кирпичи, сказав при этом: «Господи, помоги». Целование кирпичей и обращение к Господу — не менее парадоксально, чем «символический уже портрет Хемингуэя и икона Христа».

Вдруг оказалось, что таких, как Гоша, ничего не делающих людей — неправдоподобно много, точно так же, как и в «Бесах» Достоевского. И в самом деле, персонажи обоих романов постоянно сталкиваются друг с другом в одних и тех же местах, однако, согласно меткому выражению Бердяева (по поводу «Бесов»), «заняты одним Великим Делом». Горенштейн объясняет, почему так происходит: «Подобные, казалось бы, опереточные случайности среди так называемых заговорщиков закономерны. Даже и в период между серьёзными революциями все ж основная масса народа не вовлечена в политические схватки, а занята созидательным трудом, и антиправительственный пятачок бывает весьма узок, так что всё у всех на виду, политическим заговорщикам разных направлений приходится сталкиваться между собой даже чаще, чем с властями».

Как выяснилось, тайные образования конца пятидесятых — не плод фантазии Горенштейна. Однако тема организаций опять же, вневременная, поскольку так называемые тайные общества, хотим мы этого, или нет, были и есть, причем, с соблюдением немислимых ритуалов и тайнами, которые торжественно передаются по наследству, как закон и право, с клятвами, превосходящими по значению все остальные клятвы, включая и ту, которую дают государству, родине, вере. В архивах КГБ, вероятно, можно найти список адресов подобных организаций. Тема организаций актуальна: у Горенштейна в романе представлена и нацистская организация со всеми необходимыми атрибутами, разумеется, с портретом Гитлера и свастикой, а нацистские образования почему-то неистребимы и сегодня во многих странах, в том числе и в России.

Гоша становится членом националистической организации, скажем так, не крайнего толка. (В романе представлена и крайне экстремистская националистическая организация Орлова, автора сентиментального сочинения «Русские слёзы горьки для врага»). Организация, в которую вступает Гоша, построена по типу террористической организации в «Бесах». В «Бесах» Пётр Степанович Верховенский организовал ячейку из пяти человек, «пятерку», в которой все друг за другом «шпионят» и ему «переносят» — «народ благонадежный». Лидер уверяет, что по всей России сотни таких «пятерок», а где-то там, наверху управляют этим движением. В «Месте» глава организации Платон Щусев, отсидевший двадцать лет в лагерях

(и оказавшийся в конечном счёте доносителем) также построил её поэтажно. «Сверху» — крикливая легальная группа людей, рассказывающая политические анекдоты, под ней — организация, напоминающая, на первый взгляд, группу сумасшедших. Настоящая организация состояла из нескольких человек. Похоже, ещё жива идея рока и миссии, возвышающая членов неких объединений над иными смертными, готовых ради всеобщего добра растоптать ближнего.

Вступление в «общество» Щусева напоминало средневековые ритуалы всевозможных тайных обществ. Произносилась клятва, скрепляемая кровью. Гоша, после произнесения клятвы, напечатанной на папиросной бумаге, подали на блюде стакан чистой воды и маленький, остро отточенный *ножик*. «Этим ножиком надо было разрезать палец, выдавить несколько капель крови в стакан воды и, отпив глоток этой смеси воды и своей крови, передать стакан по кругу так, чтобы каждому члену организации досталось по глотку». Острый *ножик* становится зловещим символом: Гоша не сумел ножиком слегка надрезать палец. От волнения и нервного напряжения он сделал слишком глубокий надрез, и от этого маленького ножика, приподнесённого на блюде, полилась кровь рекою.

Щусев — человек с «натурой вождя улицы», знал, что мог бы сделать стандартную для вольного времени карьеру авантюриста и захватить власть в стране, если бы не был смертельно болен. Целью организации было выявить «сталинскую сволочь», осудить формулировкой «достоин смерти», а затем — жестоко избить. В романе состоится и важнейшее заседание трибунала, на котором для привлечения мирового внимания необходимо вынести решение убить человека международного масштаба. До Хрущёва, разумеется, не добаться. Проще убить Молотова. Что же касается Меркадера, свободно разгуливающего по Москве, правда, под чужим именем, то такая личность сегодня уже не актуальна.

«На конкурсе» для приговора «достоин смерти» кандидатура бывшего министра иностранных дел Вячеслава Михайловича Молотова одержала верх. Щусев, довольный выбором, произнёс торжественную речь: «Наша организация вынесла смертный приговор сталинскому соратнику номер один, палачу Молотову, который много лет вместе со Сталиным душил и истязал нашу многострадальную родину... Вам, русские мои юноши, выпала великая честь... Вот он, случай, о котором писал Герцен и которого недостаёт, чтоб сделать нашу оппозицию национальной, каковой она была во времена декабризма» К слову сказать, о любви, или нелюбви к России — любишь, не любишь — в романе говорится много, она (любовь) — разменная монета любого деяния. За нелюбовь к России щедро раздаются пощёчины (причём влажной ладошкой — кивок Достоевскому; я бы не побоялась сказать, что роман «Место» — роман пощёчин), проливается кровь и, что примечательно, за любовь к ней — тоже. Писатель доводит тему ложного патриотизма, которым можно прикрыть любые преступные деяния, до абсурда, и эта тема весьма актуальна для независимого исследователя.

Щусев заверил организацию, что «смертный приговор» — всего лишь символ, что Молотов, как и прежние жертвы, отделается пощечиной, тогда как на самом деле он намеревался убить его — у него были для этого заготовлены бритва и молоточек — и тем самым погубить мальчиков, которые пойдут с ним. Комментарий троцкиста Горюна: «Замысел его страшен, он умереть хочет, как умирали предбиблейские цари хеттов. Вместе с молодыми, не отжившими своё жизнями вокруг... В одной могиле...». Красноречие политических героев Горенштейна уходит своими корнями к традициям тургеневского литературного героя (вспомним Рудина с его ораторским талантом), а также к традициям велеречивых политиков, которых Герцен называл начётчиками и резонёрами. Уже более года Молотов отстранён от дел и лишён личной охраны, чем нанесён непоправимый удар его власти и авторитету, ибо власть имущие при режиме были невидимы народу и недоступны ему. Он теперь по утрам прогуливался со своим чёрным шпидцем в районе правительственного дома. Гоша решил перехватить инициативу и предотвратить кровопролитие, поскольку Щусев был «на изготовке», то есть держал руку в кармане, *«где у него была бритва, эта переносная карманная гильотина индивидуального террора»* (курсив мой — М.П.). С криком «сталинский палач!» Гоша ударил ладонью «по гладко выбритой, сытой щеке» бывшего министра, который от удара пошатнулся, но тут подоспел Щусев и зачем-то ещё и толкнул Молотова, и тот упал на четвереньки. «Сцена была дикая и нелепая. Мы оба неловко топтались, потеряв чёткость плана, лаяла собака, а на мостовой у наших ног лежал и кричал Вячеслав Михайлович Молотов, бывший всемирно известный могущественный министр иностранных дел, человек, имя которого произносили следом за именем Сталина, и звал на помощь тем самым голосом, который в 1941 году возвестил стране о начале войны». Писатель подчёркивает, что наступило без хозяина. Гоша, человек с несвободной душой, и ему подобные несвободные люди бьют по щекам Молотова, потому что теперь можно. Молотов в опале, с него снята охрана, он прогуливается по аллее с собачкой — отчего бы не ударить, не поставить на колени, не превратить в посмешище? Толпа разъярённых людей с душой рабов устраивает погром в городе, поджигает завод. Что может быть страшнее разъярённой толпы людей-рабов?»

В романе «Бесы» в главе «Последнее решение» «собрались наши в полном комплекте впятером». В маленьком покривившемся домике на краю города поздним вечером «пятеркой» было принято решение убить Шатова, на том основании, что он, якобы, донесёт. Место убийства в «Бесах» описано Достоевским в лучших традициях готического романа. Шатова, приговоренного к смерти, террористы заманили в мрачное место ночью в конце парка у старинного грота и придавили к земле. Пётр Степанович «аккуратно и твёрдо наставил ему револьвер прямо в лоб, крепко в упор и — спустил курок». Заметим: у Достоевского убийство «успешно» состоялось, а Горенштейн превратил его в фарс.

«Мой давний оппонент» — так называл Горенштейн Достоевского. Он преднамеренно вводил в свои произведения эпизоды из романов «оппонента», пародировал его (в книге о писателе я осмелилась употребить слово «передразнивание», наряду с общепринятыми терминами: «пародирование», «шаржирование», «реминисценции») и относился к пародированию так же серьёзно, как к своим любимым романам-пародиям «Дон Кихот», «Бравый солдат Швейк» и последнему неосуществленному роману-пародии «Верёвочная книга». Горенштейн откликается на Достоевского параллелями и антитезами, рассматривает те же проблемы — террора, самосуда, агрессии, бунта, грехопадения, спасения души.

При всей оппозиции к Достоевскому, многое Горенштейна с ним сближало. В частности, любовь к случайности. В одном из писем 7 сентября 1998 года в Бонн Эрнсту Мартину (Мартин намеревался издавать Горенштейна, однако его идеи остались на бумаге) он писал: «По тематике Лев Толстой с его биологическим мировоззрением мне близок, однако я далек от его фаталистических идей. Что же касается Достоевского, то мне близка одна его позиция: он так же, как и я, придает большое значение случаю, как в судьбе отдельного человека, так и в истории».

Уважение к случаю, на мой взгляд, признак внутренней свободы, сугубо просвещенческий взгляд на мир. Ведь случайность никому не подотчетна, она противоположна всему роковому, мистическому, сверхъестественному, божественному. Случайность — это физика. А закономерность — метафизика

Вступив на путь терроризма, Гоша нечаянно (?) втягивает в свои опасные игры любимую девушку Машу (принадлежащую к другой тайной организации), берет её с собой в южный город, где ожидался экономический бунт. Сцена бунта и убийства толпой директора завода Гаврюшина-Лейбовича («перед смертью толпа уж над ним потешилась, чуть ли не поребачьиподурачилась, как могут дурачиться лишь во время лихих русских погромов») предупреждает, что в стране без «хозяина» при возрастающей оппозиции массового обывателя пришло время самозванцев. Один из значимых персонажей (ему принадлежат пророчества о судьбе России) Журналист предупреждает Гошу об опасности самозванства: «Властолюбцы редко бывают патриотами, но счастье того властолюбца, чьи стремления совпадают с народным движением. В противном случае его пеплом выстреливают из пушки, как это случилось, например, с Лжедмитрием».

В романе безоговорочно действует принцип: преступление влечёт за собой другое. Игра героя велась «систематически и увлечённо» и, потеряв свою условность, приобрела реальные формы. Маша стала жертвой группового изнасилования, результатом которого явилось рождение маль-

чика. Гоша, ставший мужем Маши, отметил, что из мальчика «окончательно глянул мужичок (...). Иван, кстати, был ребёнок ласковый и некапризный, но любил вдруг ущипнуть или укусить, причём, не по-детски больно, так что одну девочку в яслях даже водой отливали». Мужичок, который, как змея, опасен смертельным укусом, опасен и «бытовым существованием, против которого бессильны любые карательные меры».

Горенштейн даёт характеристику советскому явлению, оставившему глубокие следы — незавидной судьбе интеллигента при отсутствии власти и наличии «мужичка» с его классовой ненавистью к интеллигенту: «...Идеал покойного умеренного оппозиционного интеллигента — стоять с незатянутой петлёй на шее, на прочном табурете — возможен лишь тогда, когда на узкой тропе Истории только Власть. Когда же туда, навстречу власти, словно дикий кабан на водопой выходит Народное Недовольство, то первым результатом их противоборства является двойной удар сапогами по табурету, и миру после этого остаются, в лучшем случае, лишь хриплые, необъективные, как всё мертвеющее, запоздалые мемуары удушенника-интеллигента».

И поскольку в литературе, в отличие от истории, всё же принято делать предположения, я и осмелюсь задать риторический вопрос: а что было бы, если бы роман «Место» опубликовали вовремя, то есть тогда, когда был написан? Может быть, мы, вовремя прочитав роман, лучше подготовились бы ко второй «оттепели» разбойных свобод, когда снова отбивали замки, отпирали ворота и туда вбегали не те, кого мы ожидали, и (по выражению Герцена), «неотразимая волна грязи залила всё»? И ещё один вопрос в сослагательном наклонении: а что было бы, если бы роман Тургенева «Отцы и дети» с его «героем нашего времени» и его убийственно материалистической тенденцией, оказавший колоссальное влияние на поколение, застрявшее надолго на стадии нигилизма, увидел свет, допустим, тридцать лет после написания? Изменился бы ход истории?

«— Я поясню, — ответил Фильмус (...). — В литературе противоположная истина не ложь, а другая истина... Вот так...

Установка вместо принципов...

— Политический фрейдизм! — крикнул Бительмахер.

— Если угодно, — ответил Фильмус.»

Между тем, Гоша, неожиданно для самого себя, становится втянутым в совсем уже скверную игру и просыпается однажды утром осведомителем КГБ, то есть организации террористов «высшего разряда», настоящих специалистов по уничтожению ни в чём не повинных людей. Бывшие сотоварищи плюют ему в лицо, разумеется, не обходится и здесь без пощечин, а несовершеннолетний Коля ударил Гошу чугунной болванкой по голове так, что чуть не убил его, сказав: «За кровь преданных тобой честных патриотов России».

«Строительство» романа Горенштейн сравнивал с работой вольного каменщика, строящего Храм Истины, подобно Мандельштаму, считавшему, что «строить можно только во имя “трёх измерений”». Истинный мастер-строитель обладает мировоззрением в том значении, в котором это слово в качестве термина впервые ввёл в обращение Эммануил Кант. Художник обладает особым состоянием, когда мир рассматривается одним взглядом как цельность. Гумбольдт, адепт такого мировоззрения, пытался для наглядности писать картины без горизонта. «Если глянуть с большой высоты» («Псалом»), то и взгляд становится слишком объективным, а поведение мечущегося Гоши, ставшего осведомителем (почему-то доносившим только о националистах и нацистах — тоже вопрос!), рассматривается под другим углом зрения. Лазарев (в предисловии к роману «Место») считал, что нравственного катарсиса у героя в конце романа не произошло, впрочем, с оговоркой. Горенштейн, согласно Лазареву, не навязывает оценку и потому к эпилогу предлагает в качестве эпиграфа слова из Экклезиаста: «Говорить с глупцом, всё равно, что говорить с мёртвым. Когда окончишь последнее слово, он спросит: «Что ты сказал?»».

Мне же представляется, что, не вмешиваясь в объективный ход романа, не насилюя сюжет, писатель всё же протягивает Гоше руку. Вслед за героем, которому «приличные» люди, среди которых оказались и бывшие члены тайных организаций, не хотели подавать руку, автор спрашивает — кто есть кто, кто из нас самый порядочный и что такое «хороший человек», что включает в себя это понятие? И приходит к выводу: не следует бросать в Гошу камень, ибо камень может превратиться в бумеранг. В романе присутствует нравственный сдвиг в сторону всеобщей вины всех, переживших страшный режим. В душе героя «Места», оказавшегося на пороге жизни и смерти, происходит перелом — по Бахтину, хронотоп кризиса и душевного перелома героя.

В цветаевском «Пленном духе» Андрей Белый говорит Цветаевой: «Вы понимаете, что это значит: профессорские дети? Это ведь целый круг, целое Среда». Но затем он поднимает тему — до сиротства, и далее — выше и выше — к сиротству поэта, призванного оплакать его: «Но оставим профессорских детей, оставим только одних детей. Мы с вами, как оказалось, дети (вызывающе): — всё равно чьи! И наши отцы — умерли. Мы с вами — сироты, и — вы ведь тоже пишете стихи? Сироты и поэты. Вот!»

Горенштейн — сын профессора, расстрелянного спустя три года (8 ноября 1937), после того, как Цветаева написала «Пленный дух» на смерть Белого 8 января 1934 года. Все трое, оказывается, — дети и жертвы одной эпохи. Называя Цветаеву в предисловии к моей книге о ней («Флорентийские ночи Берлина...») «гордой женщиной, королевой», писатель сообщил об одном любопытном бездомном совпадении: «С дочерью Марины Цве-

таевой Ариадной Эфрон я был одно время прописан в домовой книге на Тарусской даче по причине общего бесправия быть прописанным в Москве и общей бездомности».

Сиротство детдомовское, и, соответственно, бездомность, благодаря дару, стало вдохновенной тоской Фридриха Горенштейна и, в конечном счёте, как это ни звучит жестоко, обернулось литературной удачей. Писатель сострадал «блудному сыну» Гоше, которому, в отличие от евангельского, некуда было вернуться, не допустил самоубийства, хотя герой был готов и к такому «избавлению». Пережив искушение властью, лишения и разочарования, Гоша занял своё место среди живущих.

И тогда писатель щедро наделил героя своим даром, «силой Творца и приобщил... к тайне искусства» («Псалом»). Именно Гоше для исповеди раскаявшегося грешника принадлежат священные слова — заключительный аккорд романа — «И Бог дал мне речь».

А вот это и есть цветаевское: сироты и поэты. Вот!

Январь, 2011, сентябрь 2015.

Примечание

[1] Роман «Летит себе аэроплан» по-русски опубликован в Нью-Йорке в издательстве «Слово/Word» в 2000 году. После смерти Горенштейна был издан в Москве в издательстве «Слово/Slovo» в 2003 году.



Нина Шустрова
ВСЕ ПОВТОРЯЕТСЯ?
СОВРЕМЕННЫЕ РАЗДУМЬЯ
НАД КНИГАМИ, НАПИСАННЫМИ
ПОЛВЕКА НАЗАД:
А. Белинков. «Юрий Тынянов» и «Сдача и гибель
советского интеллигента. Юрий Олеша»

«...и возвращается ветер на круги своя».

Книга Екклесиаста, или Проповедника, гл. 1, ст. 6)

«...Ничто не ново под луною:
Что есть, то было, будет ввек.
И прежде кровь лилась рекою,
И прежде плакал человек...»

Н.М. Карамзин: «Опытная Соломонова мудрость...»

Предуведомление

Боюсь, что имя Аркадия Белинкова мало что скажет современному молодому читателю. А вот людям постарше оно наверняка знакомо. Как комета промчался он по литературоведческому небосклону и скрылся за горизонтом краткой своей земной жизни, оставив яркий след. Незатухающий уже свыше сорока лет. А сейчас так и вовсе предстоящий в первозданном блеске, в чем убедилась, сняв с полки эти любимые, но давно не попадавшие на глаза книги, написанные в СССР в 60-х гг. Начала читать, и не могла оторваться. Настолько современными и созвучными они оказались нынешним временам.

Введение в тему

В этом году 14 мая исполнилось 45 лет со дня смерти Аркадия Викторовича Белинкова — писателя и литературоведа, малоизвестного сегодня, чьи блестящие книги читала и передавала из рук в руки в середине 60-х годов инакомыслящая интеллигенция России. Книги, которые даже в относительно еще либеральные (по сравнению со сталинскими) хрущевские

времена воспринимались как глоток свежего воздуха. И производили эффект разорвавшейся бомбы, разметавшей в клочья цензурные рогатки и прорвавшейся к читателю свободной речью. Я говорю сейчас об официально изданных в СССР книжках, но были и подпольные, напечатанные под копирку в так называемом самиздате. Или же за границей.

Одна из таких книг мне и попала случайно в руки прошлым летом. Однажды я ее уже "проглотила" запоем. Когда-то очень давно. То ли еще в конце 60-ых, то ли уже в начале 70-ых гг. Но в любом случае больше 40 лет назад. Не прочла, а именно "проглотила". Книжка была там-издатская. А их давали тогда "на прочитку" лишь верные друзья. Да и то чуть ли не на одну ночь (под угрозой риска преследования со стороны "недреманного ока" — так остроумцы именовали КГБ). Книга называлась: "Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша". Имя автора ни о чем не говорило: Аркадий Белинков, литературовед, писатель. Сейчас бы я добавила — великолепный стилист и мыслитель, философ в истинном понимании этого слова, а не по указанной в дипломе о высшем образовании специальности [1]1968 г. он навсегда уехал из России. Стал невозвращенцем, сбежав из туристической поездки на Запад вместе с женой. Вот как он сам объяснял мотивы своего поступка:

"Мы покинули страну, в которой родились и на языке которой писали, когда стало ясно, что сопротивление интеллигенции сломлено и что те приемы борьбы, которые были выработаны в двенадцатилетие после 1956 года, исчерпали себя.

Интеллигентская оппозиция в ее прежних формах раздавлена. Внутрипартийная борьба остается. Поэтому Россию жедут новые государственные перевороты. Но государственные перевороты совершаются сильными личностями, а сильные личности не приспособлены для насаждения демократии.

Московские, пражские, будапештские и нью-йоркские оптимисты яростно спорили: будет сталинизм или не будет?

Это случилось осенью 1968 года. Сталинизм уже был".

Чего стоило ему тогда принятие трудного решения о невозвращении, т.е. свое эмоциональное состояние, Белинков красочно описал в рассказе Побег:

"Уходила, убывала, таяла земля великой России, гениальной страны, необъятной тюрьмы. Из этой страны-тюрьмы пытался бежать Пушкин и бежал Герцен. Прощай, прощай, прощай, Россия. Прощай, немытая Россия. Прощай, рабская, прощай, господская страна. Страна рабов, страна господ, страна рабов, страна господ..."

Я десять раз видел смерть и десять раз был мертв. В меня стреляли из пистолета на следствии. По мне били из автомата в этапе. Мина под Новым Иерусалимом выбросила меня из траншеи. Я умер в

больнице 9-го Спасского отделения Песчаного лагеря и меня положили в штабель с замерзшими трупами, я умирал от инфаркта, полученного в издательстве "Советский писатель" от советских писателей, перед освобождением из лагеря мне дали еще двадцать пять лет, и тогда я пытался повеситься сам. Я видел, как убивают людей с самолетов, как убивают из пушек, как режут ножами, пилами и стеклом на части, и кровь многих людей лилась на меня с нар. Но ничего страшнее этого прощания с родиной мне не пришлось пережить. Мы сидели вытянутые, белые, покачивались с закрытыми глазами.

В Мюнхене нас встретили старинные московские друзья, милые и добрые брат и сестра, пишущие вместе и написавшие десяток книг и сотню статей по истории, литературе, социологии и общественной мысли России. О России они знали всё".

Но еще до эмиграции каким-то удивительным образом Белинков сумел напечатать большой кусок из своей книжки в 1968 г., когда брежневское похолодание не оставило и следа от хрущевского потепления. Правда, только в периферийном областном журнале "Байкал", редакция которого впоследствии серьезно поплатилась за это (фактически была разогнана) [2]. Номер с данным отрывком сразу же стал библиографической редкостью (и не случайно: ведь там же была напечатана еще и "Улитка на склоне" братьев Стругацких). Я отчетливо помню, как его принесла на факультет сестра моей однокурсницы Риты Пеньковой — Люся Кулеш. И зачитывала нам оттуда кусочки из "Юрия Олеши" со всеми мерами предосторожности, как будто бы что-то подпольное. Читала с выражением абзац за абзацем". А мы заворожено слушали, изумляясь смелости формулировок, образности языка и отточенной искрометности стиля.

Так впервые я познакомилась с этим писателем, как автором блистательных книг. И очень была благодарна Люсе за такую наводку. [3] Сейчас уже не помню, кто дал мне позже зарубежное издание "Юрия Олеши". Признаюсь, что была просто зачарована музыкальной, я бы сказала, ритмикой стиля книги. Ну и, конечно, довольно откровенным и прозрачно выраженным в ней неприятием послеоктябрьской действительности. Причем советские нравы и порядки не просто препарировались здесь срез за срезом (в историческом ракурсе и в контексте современности), но с неподражаемой иронией описывались и истолковывались. И это был, не забудьте, только конец 60-х годов.

Где-то уже в 70-х гг. я прочла и "Юрия Тынянова", изданного в СССР, кажется, году в 65-ом. И вот теперь держу в руках постперестроечное российское издание книги "Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша" — автора, умершего в далеком 1970 г. на чужбине в изгнании (и не важно: добровольном или принудительном). Отвергнутого здесь, но и не вполне понятого и принятого "там"^[4].

В советское время его имя было у нас под запретом, а с наступлением гласности кое-что было издано и переиздано. Но все равно в новой, перестроечной уже, России о нем мало кто знал за исключением специалистов. Только сравнительно недавно начали появляться исследования, посвященные его творчеству (чаще же — просто упоминания). А также воспоминания людей, с которыми он соприкасался по жизни. И это притом, что весь пафос его страстного и беспощадного анализа советского периода нашей литературы и (с широким замахом) — нашей истории, направленный на разоблачение царящих в СССР беспрецедентно лицемерных нравов и порядков, свежо и актуально, как ни странно (а точнее было бы сказать — совсем не странно), звучит сегодня. Чрезвычайно свежо и актуально. Что, собственно, и побудило меня взяться за перо.

Подход Белинкова к изучению творчества писателей был отнюдь не специфически литературоведческим, а в значительной степени историческим и социологическим. И не менее серьезным и глубоким, чем труды профессиональных историков, философов, политологов и социологов. И самое главное — он затрагивал такие пласты народной психологии и менталитета, которые вывели его на определенные умозаключения о характере, закономерностях и особенностях развития страны и общества. Выводы эти были пессимистичны. Звучали в тексте как лейтмотив. Рефреном били по восприятию читателя. И запоминались. Чему способствовала также образно-метафоричная их подача.

Полагаю, что выбор Белинковым объектов для исследования (писателей) был предопределен тем, что позволял максимально обнажить точку зрения автора. Давал ему возможность делать свои негативные умозаключения, проникнутые духом противостояния. Если литературоведческий аспект (ракурс) и выступал здесь на первый взгляд, как основная задача, то философский и обществоведческий — как некая сущностная, глубинная сверхзадача. Но она-то, по-моему, и была главной целью написания всех его книг.

Внимание автора сосредоточено на двух, по преимуществу, писателях раннесоветского периода: Юрии Тынянове и Юрии Олеше. Луч прожектора, зажженного им, выхватил именно эти имена из толщи послереволюционной литературы, в которой количественно доминировали "творения" макулатурного уровня. И в которой приспособленчество стало "conditio sine qua non" проходимости (в прямом и переносном смысле слова) произведений в печать. Но почему именно их?

Ответ вижу, во-первых, в том, что для анализа были избраны истинные таланты — мастера, а не "литературные подмастерья". И, во-вторых, в том, что в книгах данных писателей наиболее отчетливо проявилась свойственная им двойственность идейно-художественной и общественной политической позиции. С одной стороны — явное нежелание вливаться в многоголосый хор "подпевал режима", но с другой — не "остаться на обочине литературного процесса". Любой ценой пробиться к читателю. И в этом-то все дело. Оказалось, что "не постоять за ценой" безнаказанно ни для кого

не проходит. Отсюда и появляется в названии книги о Юрии Олеше такое уточнение — "Сдача и гибель советского интеллигента". На исследовании процесса, как все это происходит и к чему, в конце концов, приводит, и сосредоточено внимание автора.

Я не филолог и не литературовед по образованию. И даже не философ, хотя в дипломе мне и присвоена такая квалификация ^[5]. Я вообще непонятно кто: не вполне экономист (притом, что почти двадцать лет — от инженера до с.н.с. и завлаба трудилась в лаборатории экономических исследований), не вполне социолог (хоть и принимала участие в социологических опросах). И не политолог (несмотря на то, что имею в своем активе несколько политологических по профилю работ). Однако в какой-то степени и то, и другое, и третье.

Как ни странно, данное обстоятельство помогает мне. Дает возможность подойти к вопросу не с одной только узко профессиональной точки зрения, а более широко, как того и требуют книги такого автора, как Белинков. Хотя, вероятно, от этого и попахивает дилетантизмом и поверхностностью. Впрочем, тут есть и свои плюсы: легче избежать односторонности, высмеянной еще Козьмой Прутковым в известном афоризме — "специалист подобен флюсу". Насколько это удалось — судить, конечно, не мне. И это, конечно, не литературоведческие по жанру заметки.

Повторюсь: взяться за перо меня побудил отнюдь не "писательский зуд", а, прежде всего, чувство великого изумления, что изрядно подзабытые книги А. Белинкова, написанные почти полвека назад, по своему идейному содержанию, по своей оппозиционной направленности сегодня звучат так, как будто только что вышли из-под пера. И это несмотря на то, что в государстве, в обществе произошли огромные изменения. И перемены, вроде бы, коснулись всех сторон жизни населения, начиная от социально-экономического и политического строя страны и кончая элементарно — бытом людей.

В чем же дело? Отчего так получилось? Этот вопрос требует изучения. И на него могут быть даны, по-видимому, разные ответы. Собственную точку зрения на этот счет я обязательно позже изложу. Но основную свою задачу вижу в том, чтобы говорил сам автор книг — от первого лица. Его прямую речь я буду снабжать лишь самыми необходимыми комментариями, без которых, как мне кажется, нельзя просто обойтись.

Обильное цитирование, таким образом, здесь — часть моего первоначального замысла. Прошу простить заранее, если кому-то это покажется утомительным. Но свою главную цель вижу в том, чтобы пробудить желание познакомиться с великолепными книгами А. Белинкова. А лучше него самого никто иной, по моему убеждению, не сможет этого сделать. Цитаты станут теми "печками", отталкиваясь от которых и вокруг которых мы и будем "танцевать". Эмоционально насыщенный, метафоричный, убежденный в своей правоте и убедительный в своей логике голос автора послужит своеобразной визитной карточкой его книгам.

Как я уже отмечала в самом начале, лейтмотивом повествования и в той, и другой является тема русской революции 1917 г. Как так получилось, что начатая под социально-привлекательными и гуманными лозунгами (и поэтому поддержанная значительной частью интеллигенции), она привела совсем не к тем результатам, на которые рассчитывали многие из ее искренних сторонников.

Когда спала пелена эйфории и люди увидели, что все идет не туда, куда хотелось бы, и на что они надеялись в марте, да и в октябре этого грозного года, тогда на смену одним стихотворным строчкам пришли совсем другие. Если в январе 1918 г. А. Блок писал: "всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте революцию", разве он думал, что пройдет совсем немного времени и наступит отрезвление. И попытка понять себя самого в стихотворении "Пушкинскому дому" (февраль 21 г.): "Но не эти дни мы звали, а грядущие года". Тот же путь проделал и "глашатай революции" В. Маяковский. И многие другие.

Интеллигентское мироощущение, разлитое в воздухе, стало катастрофичным уже в первые послереволюционные годы, потому что в умах ясно вызревало понимание, что сделанного не вернешь. Дороги назад нет. А впереди, *"в годы, когда все задушено, задавлено, заперто и забито, когда не видно просвета и в ночи лишь с гиканьем проносятся оруженосцы и запевалы режима"* есть, по Белинкову, лишь три пути: взять пистолет и идти на площадь, как Кюхельбекер, или ехать за границу и там печатать свои книги, как Герцен, или, наконец, хотя бы *"все видеть, все понимать, не дать обмануть себя и ни с чем не соглашаться"* ¹⁶¹.

Вот об этих выходах, т.е. о поведении писателя, поэта, художника и — шире — интеллигента (в истинном, я бы сказала — дореволюционном понимании этого слова) и человека вообще перед отчетливой угрозой наступления нового, более совершенного (по сравнению с царским), более изощренного и вместе с тем — более грубого типа тоталитаризма (если его вообще можно таким образом подразделять), и размышляет автор. Он рассматривает данную проблему и с нравственной точки зрения, и с социальной, и с психологической, и с художественной. Но прежде всего его волнует вопрос о последствиях исповедуемого каждым человеком образа мыслей и действий — как для общества, так и для самой личности, т.е. проблема общей и индивидуальной ответственности.

С убийственно-едкой иронией он описывает мораль, быт и порядки, неуклонно-последовательно, по-диктаторски неумолимо, утверждаемые в стране сверху и покорно-услужливо поддержанные снизу. И с убийственно-горькой интонацией констатирует *"сдачу и гибель советского интеллигента"*, не могущего противостоять этому давлению. Не могущего или же зачастую не желающего. Поскольку неприятие чревато. И даже очень опасно для жизни и карьеры. А соглашательство, напротив, так необременительно и даже приятно. К тому же открывает множество возможностей для удобной и обеспеченной жизни.

На протяжении всей российской истории находились люди, которые вступали в борьбу с властью, шли на эшафоты ради своих идеалов. То и дело возникали мятежи и бунты (оставим пока в стороне вопрос об их, по большей части, бессмысленности и беспощадности, а иногда и реакционной направленности). Сталину же с компанией подельников-единомышленников удалось быстро утихомирить, "усмирить" страну. Всего-то за каких-нибудь 10-12 лет. Только ли за счет неимоверной жестокости, тотального сыска и тотального оболванивания, что не было вовсе новым словом в практике диктаторских режимов, в том числе и в России? Или тут сработало что-то еще? Что-то такое в жизненном укладе, традициях, привычках, психологии, менталитете народа, укорененное за много веков и учуянное звериным чутьем "злого гения"? Кавказского горца? Или, может быть, что-то в геополитических особенностях развития государства? Или что-то еще, пока не понятное, не увиденное? Или все вместе взятое?

А. Белинков не может пройти мимо данного сущностного вопроса. Его мысль все время крутится вокруг него: какова природа тоталитарной власти, в чем причины ее необычайной устойчивости в России и воспроизводства на каждом новом историческом витке? В такой сложной со всех точек зрения стране как наша? Вероятно ли и при каких условиях преодоление подобной тенденции? И как скоро это может произойти? Зависит ли тут что-то от позиции отдельной личности? И прежде всего — от роли художника, поэта, творца, влияющего на чувства и умы людей?

Как вообще этому последнему живется в тоталитарном государстве? Какие взаимоотношения устанавливаются между ним и властью? Между ним и обществом (в частности — между поэтом и толпой)? И каковы возможности их взаимного воздействия друг на друга? И пределы, пороги чувствительности к ним? По прошествии полувека после свершившейся в России революции, после страшных послереволюционных лет (и в первую очередь, конечно, в разгул сталинщины), Белинкова больше всего тревожит, как я уже отмечала, проблема исторической ответственности. Те самые извечные русские вопросы — кто виноват и что делать? По сути именно об этом идет речь во всех его книгах. Блестящий литературоведческий анализ произведений писателей лишь оттеняет ее. Хотя, безусловно, значим и интересен и сам по себе.

Последуем же за автором и посмотрим, какие темы больше всего волновали его в эпоху хрущевской оттепели — 50 лет назад. И какие ответы он давал на возникающие в связи с ними проблемы. По-моему, он делал это просто замечательно, что я и хотела бы показать в своих заметках. Спрашивается: как бы мы сегодня оценили эти его ответы? С учетом всего того, что случилось уже после выхода его книг и ранней смерти. Мог ли он предугадать (и предугадал ли?), как отзовется выпущенное им слово?

А какие сегодня "в ходу" объяснения причин всего, что произошло в стране после октября 17-го? Не менее интересно также, думаю, для наших современников взглянуть под этим углом и на беспрецедентные со-

бытия рубежа 80-х — 90-х годов, тоже ушедшие уже в историю. На период так называемой Горбачевской перестройки (и неважно: считать ли ее просто верхушечным переворотом или революцией сверху) и всего, что последовало за ней. Теперь — по прошествии почти уже четверти века? Можно ли обнаружить тут сходство? И в чем оно? И в чем отличия?

Попытаемся сравнить, насколько взгляды Белинкова на русскую революцию начала XX века (и ее результаты) соответствуют реалиям нашего недавнего прошлого и сегодняшнего дня — конца XX-го и начала века XXI-го, когда свершилось то, что назвали "Перестройкой". Насколько вообще методологически правильно проводить аналогию между двумя эпохами, разделенными не просто временем, а существенно различающимся историческим ландшафтом и политическим антуражем? Оправданно ли говорить о каких-то общих закономерностях в том и другом событии? Но для начала попробуем поискать ответы в книгах А. Белинкова. И, я полагаю, что найдем их. Хотя бы на часть вопросов.

У России своя колея?

Или можно ли дважды войти в одну и ту же реку?

Некоторые древние философы, скажем — Гераклит, утверждали, что нет — никоим образом нельзя, потому что жизнь не останавливается ни на секунду, постоянно обновляется... и вы уже с каждым последующим шагом входите в другой поток. Они были стихийными диалектиками, софистами, любителями парадоксов. Зенон, еще один древнегреческий философ, придумал, например, свою знаменитую апорию про Ахиллеса, который никогда не догонит вышедшую впереди него черепаху.

А вот российская история, которая тоже полна парадоксов^[7], демонстрирует нам нечто совсем иное: все течет, но ничего не меняется. По крайней мере, если иметь в виду известную поэму А.К. Толстого "История государства российского" с ее хрестоматийными строчками: "земля наша богата, порядка только нет". Или, что еще более точно — накрепко укорененные здесь авторитарные режимы и формы правления. Не дважды, а многократно — на каждом историческом витке — Россия входит в одну и ту же реку тоталитарного эгатизма.

А. Белинкову было чуть больше сорока лет, когда он начал писать "Тынянова", а затем и "Олешу". Возраст акме — творческого расцвета. Только что закончилась послесталинская весна вольнодумных надежд и неожиданных послаблений. В результате дворцовых интриг и борьбы за власть смещен со своего поста соучастник, а затем — после смерти вождя — разоблачитель его преступного режима — Хрущев. У руля стал бывший "верный" соратник и товарищ по партии Брежнев. Началась ползучая реабилитация и Сталина, и созданного им режима. Ужесточился идейный надзор.

Но постепенно ослабевающий ветерок свободомыслия все еще разносил свой бунтарский дух по инерции. Значительная часть советской интеллигенции уже подверглась его "глетворному влиянию". И старалась заполучить правдивую информацию о стране из независимых источников: передач зарубежного радио, нелегальной, подпольной литературы. Иногда для этого было нужно "всего лишь" перетерпеть вой и скрежет глушилок, а иногда требовалось настоящее мужество, чтобы идти на риск получить срок по статьям за антисоветскую агитацию и пропаганду. Всего-то лишь за чтение неподцензурных книжек. Куда большему риску подвергали себя авторы таких запрещенных материалов.

Что их подталкивало к этому? Стремление к истине и к гармонии между своими убеждениями и совестью? Нетерпимость к пропагандистской лжи и обману, навязываемым чуть ли не с детского сада? Страсть к самовыражению? Природная склонность "идти наперекор"? А, может быть, все вместе взятое? В конце концов, это не так уж и важно. Гораздо важнее, что такие люди не всегда пассионарии, но все они из той породы, для кого "глаголом жечь сердца людей" (слегка перефразированная строка из Пушкинского "Пророка") — неистребимая потребность.

Таким был Манделштам, написавший свое знаменитое стихотворение про кремлевского горца в самый разгар массовых репрессий и явно осознававший грозную опасность такого поступка. Таков и Аркадий Белинков. Хотя, справедливости ради, надо подчеркнуть, что его время было уже не столь людоедским, и риск был на порядок меньше. Он "всего лишь" в конце концов был вынужден расстаться с родиной, а Осип Эмильевич заплатил за свою отчаянную смелость жизнью.

Впрочем, и Белинков, как известно, уже однажды "хватил лиха", и чуть было не погиб в лагере.

Вряд ли, будет преувеличением сказать, что вопрос об особенностях исторического процесса в России, о своеобразной траектории ее общественного развития, не только один из самых значимых, но, пожалуй, и самый мучительный для Белинкова. Он не то, чтобы неоднократно, а прямо-таки с маниакальным постоянством возвращается к нему в обеих книжках. И приходит к неутешительному выводу: все, что произошло в стране после Октября — не случайность, predeterminedенная во многом личностью главного злодея, а обусловлено всем ходом предшествующего развития. Он провозглашает это как постулат, не требующий доказательств, как нечто самоочевидное. Но так ли это?

С методологической точки зрения, наверно, не совсем. Но практический взгляд на вещи подсказывает — в таком подходе что-то есть — своя, что называется, "сермяжная правда". В самом деле: на протяжении всей, тем или иным образом документированной истории страны мы видим в принципе одно и то же (хотя и в разном конкретно-историческом контексте) — крайняя централизация власти, идеологическое оболванивание и одурманивание населения, принуждение и подавление как главные ин-

струменты государственно-политической организации и управления. Менялось многое, но это оставалось в основном неизменным.

Конечно, бывали времена более и менее жестокие, более и менее либеральные. Потому что политическое развитие страны, обусловленное множеством факторов и привходящих обстоятельств (зачастую внешних и/или же случайных), шло не по прямой, а (по мысли Белинкова) по синусоиде. А по мне, лучше сказать — напоминало качели, что не раз было отмечено с давних времен в научной литературе и публицистике. Был ли такой путь характерен только для России? И, если так, то по каким причинам: субъективным или объективным? И как к этому относиться — как к проявлению исторического своеобразия и только? Или же в этом есть нечто мистическое, какой-то заколдованный круг, какое-то проклятие, злой рок? Данный вопрос на протяжении веков волновал очень многих в России — историков, философов, писателей, и просто задумывающихся о судьбе страны людей.

Для Белинкова он тоже один из самых важных. На страницах его книг во множестве рассыпаны суждения на эту столь злободневную (и вечную) тему. Но автор не мистик. Он — трезвый реалист, а в прогнозах, скорее даже пессимист. Его взгляд на исторический процесс трагичен, в нем отчетливо чувствуются нотки обреченности. Послушаем самого Белинкова. Вот пространная (уж, простите) выдержка из его книги об Ю. Олеше:

"Штормы и штилли русской истории получили выраженную последовательность, которая (если не настаивать на чем-то большем, чем метафора) скорее всего приближается к синусоиде.

С Екатерины II каждое новое царствование начиналось ревизией предшествующего, отличалось от предшествующего значительно большим или значительно меньшим количеством пролитой крови... Я не говорю о чем-то ином, чем окраска эпохи, и не настаиваю на том, что синусоида в состоянии объяснить все. Но темные и более светлые полосы, штормы и штилли, глобальные и локальные удручения в последовательных сменах царствований Екатерины, Павла, Александра, Николая, Александра II, Александра III выражены с несомненной определенностью.

Более светлые полосы быстро переходили в более темные не случайно. Последовательность приливов и отливов деспотизма в русской истории не выдумана. Синусоида русского исторического процесса не сочинена.

Ревизия предшествующего царствования становилась неминуемой, потому что тягчайшие преступления прошлого доводили систему и вместе с ней страну до физической гибели, до политического и нравственного распада, до разрушения ее экономики, правовых, хозяйственных, государственных институтов. Нужно было спасаться, спасти себя, а уж заодно и Россию от анархии и бунта. От самоуничтожения. После все сожравшего, все истребившего деспотизма, оставившего одни голые памятники, спастись можно было, только бросив ли-

беральную кость" [8]. Сегодня, когда читаешь эти строки, кажется, что в них была предсказана уже тогда неизбежность всего, что произошло лишь спустя 20 лет — во времена горбачевской перестройки. Не правда ли?

И вновь (и снова, и снова) мысль автора возвращается к той же проблеме: *"Нет — читаем — конечно, русская история двигалась. И усумнившийся в этом при похожих обстоятельствах П.Я. Чаадаев был не вполне прав. Он был бы, конечно, ближе к пониманию одного из важнейших законов русской истории, если бы сосредоточился на том, что историческое движение в нашем отечестве совершается с примерным постоянством: вперед — назад, вперед — назад, реформа — реакция, подъем — отбой.*

И действительно, чуть забежали вперед с реформами, — бац! бац! полетели бомбы, повылазили нигилисты, "Современник" такое стал вытворять, что можно было подумать, будто в России уже и самодержавия нет" [9].

Здесь Белинков лишь констатирует то, что ему представляется, как очевидность, как факт. Он не ставит перед собой, как основную, задачу подробного раскрытия причин, почему так происходит. Да и странно было бы ожидать этого от автора, пишущего отнюдь не сочинение на историческую тему. Да к тому же столь сложную, требующую серьезнейшего исследования. Тем не менее, он не может совсем не коснуться ее. Она беспокоит его, у него есть на нее свой взгляд. И он излагает его не гипотетически, а с убежденностью в своей правоте. От него и нельзя требовать иного, т.е. обстоятельной аргументации. Он ведь не ученый-профи, историк или философ-социолог, он — писатель. Но он и мыслитель, и своим художественным чутьем, своей интуицией прозревает, как мне кажется, суть происходящего. Давайте послушаем:

"В прошлой истории люди претерпевали только события, и эти события почти ничего не меняли в жизни людей. Менялись обстоятельства, а жизнь людей оставалась неизменной. Проходили войны и революции, уходили одни режимы, приходили другие, а бытие человеческое, жизнь миллионов человеческих существ или не менялась вовсе, или менялась независимо от ударов истории. Исторического потрясения хватает ненадолго, и роль его сводится лишь к тому, чтобы одних властителей заменить другими. Потом в лучах славы и в ручьях крови являются новые властители. Иногда с ними возвращаются когда-то изгнанные люди (очень редко) и институты (часто). Есть какая-то обреченность каждого народа на свой исторический путь. Она заложена в географии и метеорологии, в земле, на которой он расселен, в близости его к морю. Казалось бы, именно народы с тяжелой исторической судьбой, претерпевающие частые и необратимые потрясения, имеют больше возможностей изменить свое существование. Но в ре-

альной истории все происходит по-другому, и в жизни этих народов совершается лишь замена одного кровавого режима другим кровавым режимом, все остается, как было, обновления бытия не происходит.

И это всегда бывает так, где деспотизм и тирания лишь отступают в трудные дни, но хорошо знают, что нужно укрыться, переждать до поры и дождаться, когда позовут снова. Деспотизм и тирания знают, что их не убьют, что их ждут, их найдут, позовут и они снова придут и будут трубить победу.

Вот что мы знаем об особенностях развития деспотизма и тирании:

"Бацилла чумы никогда не умирает и не исчезает, десятки лет она спит в мебели и белье, терпеливо ждет в комнатах, погребах, корзинах, платках и бумагах, и, быть может, придет день, когда на горе и для поучения людей она снова разбудит своих крыс и пошлет умирать в счастливый город". А. Камю. Чума. Цит. по статье С. Великовского. "На очной ставке с историей (Заметки о творчестве Альбера Камю)". — "Вопросы литературы", 1965, № 1, с. 123^[10]

Можно соглашаться или спорить с подобными соображениями. Можно их отвергать полностью или опровергать частично. Но не в этом дело. Важен сам круг мыслей Белинкова.

Обратим внимание, что он формулирует отмеченную им политологическую закономерность не как специфически российскую, а как общечеловеческую. Таковую, которую другой эмигрант, известный логик и писатель А. Зиновьев, назвал бы "простыми законами социальности", или законами "чистой социальности"^[11].

Не случайно А. Белинков ссылается на "Чуму" Альбера Камю, исходя из чего можно предположить, что он не только формулирует, но и рассматривает по существу этот феномен без определенной географической привязки. Не считает его сугубо российским. Хотя в контексте и в подтексте, конечно, чувствуется, что он имеет в виду именно нашу страну.

Но тогда возникает вопрос, почему, в отличие от России, большинство западно-европейских государств на определенных этапах своего развития сумело вырваться из порочного круга автократической (деспотической) модели управления? И почему не получилось здесь? Какие приводные ремни двигали механизмами воспроизводства власти на необъятных российских просторах? Систематического возобновления здесь жестко централизованного типа государственного устройства и руководства? Причем с упорным постоянством при малейших отклонениях. И вплоть до тоталитарных его форм.

Ответы на данные вопросы давали многие историки и социальные мыслители: западники и славянофилы, монархисты и республиканцы, анархисты и государственники. Демократы и либералы разных мастей. И приверженцы жесткой вертикали власти — диктатуры так называемой

"сильной руки". Все они, разумеется, заметно и концептуально отличаются друг от друга, потому что в их основе лежат совершенно разные, порой диаметрально противоположные идейные установки. Из-за этого между их авторами и адептами велись бесконечные споры о путях, горизонтах и особенностях исторического развития России. И ведутся до сих пор. Временами с таким ожесточением, будто оппоненты принадлежат к издревле враждующим племенам.

Не стану углубляться в аргументацию сторон. Она достаточно известна. Отмечу лишь явное тяготение автора к тем концепциям, в которых доминирующая роль в историческом развитии отводится экономико-географическим и природным условиям^[12]. Тут я не вполне разделяю его мнение. Бесспорно: значение данных факторов очень велико (вряд ли, можно отрицать). Но, как мне кажется, все-таки не до такой степени, чтобы считать его решающим.

Странно, но в его книгах почти не упоминается о влиянии на политическое устройство в различных странах таких моментов, которые многие относят к разряду определяющих, детерминирующих конкретный ход истории в каждой из них. Например, национальный характер, традиции, психология и менталитет народа, господствующие нравы и обычаи, культурный уровень и жизненный уклад, верования масс, и т.п. Или, скажем, применительно к России — негативное воздействие на ее развитие длительного татаро-монгольского ига, а применительно к другим государствам — каких-то иных обстоятельств их исторического пути. Можно ли, однако, требовать научной скрупулезности там, где важны не столько ответы, сколько сама постановка вопросов. Причем в смысле их публицистической заостренности. А Белинков тем и силен. Он в основном не интерпретирует события. Он указывает на них. И справляется с этим, на мой взгляд, просто блестяще.

И второе, что бросается в глаза — глубокий пессимизм автора в оценке возможностей выскочить из той исторической колеи, в которую волею обстоятельств бывают загнаны государства и вынуждены двигаться в ней. Здесь ощущается идея как бы генетической предопределенности развития. И она отдает фатализмом. Или даже какой-то предначертанностью свыше. Хотя, как я уже упоминала, он далек от мистицизма в своих размышлениях.

Тут дело в другом, как мне кажется: в горькой уверенности автора в том, что в России всегда, испокон веков, "так было, есть и будет". Ее он ощущает как общесоциологическую закономерность. И как раз по той причине, что не считает нашу страну каким-то исключением из общего правила. Но, если так, то тогда, по-видимому, появляется основа для более оптимистичного взгляда и на российскую историческую перспективу. На принципиальную (хотя бы и теоретическую пока что) возможность для страны, которая на протяжении веков демонстрировала тоталитарные наклонности, при определенных условиях соскочить с авторитарных качелей и встать на демократические рельсы развития. На путь, по которому

пошли все западные государства. То есть явно выраженный пессимизм Белинкова вступает здесь в противоречие с имплицитно (и имманентно) заложенным в его рассуждениях оптимизмом.

С проблемой "исторического проклятия" России, обрекающего ее на воспроизводство застарелых привычных тоталитарных рефлексивных на каждом новом витке спирали, тематически связан и другой извечный вопрос — кто виноват и что делать, о который обломано уже столько копий. И, уверена, будет сломано еще немало. По крайней мере, пока в стране не начнутся реальные демократические преобразования, которые затруднят проявление встроенных в нее и глубоко укорененных механизмов единоличной власти и авторитарно-цезаристского (монархического) типа правления. А, возможно, и вовсе поставят им заслон. Под которым он понимает, прежде всего, механизм "сдержек и противовесов" в управлении страной и обществом. *"Эпохи бывают лучшие или хуже не под влиянием лунных затмений, — говорит автор, — а потому, что между людьми существуют или отсутствуют такие общественные взаимоотношения, когда спасительные противоречия создают устойчивое равновесие разнонаправленных намерений".*^[13]

Это едва ли не самая главная тема жгучего интереса и упорных размышлений Белинкова. К ней он возвращается постоянно, каждый раз находя какие-то новые повороты и нюансы, требующие освещения. И это понятно: ведь она — логическое продолжение той проблемы, которая сформулирована им, как тенденция к "возвращению на круги своя", отчетливо проявившаяся здесь, в России.

Другая (не менее, а, может быть, даже более важная для автора) тема — общая и индивидуальная гражданская ответственность за происходящие в стране события, за утвердившийся политический режим. Ответственность со стороны народа и, прежде всего, наиболее образованного его слоя — интеллигенции. Понятно и закономерно, что Белинкова в первую очередь интересует поведение самойвлиятельной и творческой ее части, т.е. писателей, художников, ученых, врачей, учителей... Их отношение к власти и к государству, его олицетворяемому. На страницах едва ли не всех своих книг, а не только тех двух, о которых здесь речь, он многократно, без усталости говорит об этом. Давайте вслушаемся (вчитаемся) в его речь. И в его интонации.

Об ответственности российского общества и гражданина перед историей

Начнем прямо с цитат. Из обилия высказываний автора я отобрала лишь некоторые, затрагивающие разные аспекты данной проблемы. Характеризующие взаимоотношения между государством и обществом, властью и народом, интеллигенцией и властью, интеллигенцией и обществом,

художником и обществом, художником и толпой. Характерно, что внимание Белинкова привлекает не только (и не столько) поведение власть имущих — установщиков авторитарных режимов (тут-то как раз автору все, в общем, понятно). Если и говорить применительно к ним об ответственности, то ее следует рассматривать не столько как моральную, сколько как юридическую категорию, имея в виду суд истории. Его интересует реакция людей, общества на тоталитарные антидемократические поползновения. Вот как он об этом пишет: не с бесстрастной объективностью исследователя, а крайне образно и эмоционально-кинематографично, я бы сказала. Кажется, что даже слышится его взволнованный голос. Анализируя романы Тынянова "Пушкин", "Кюхля" (и другие), автор приходит к выводу (и формулирует почти как постулат), что:

"В монархическом государстве до тех пор, пока против него не выступали с оружием, плохо понимали, что взаимоотношения государства и общества не могут строиться только на уверенности в том, что думать должно государство, а общество слушать, что ему говорят. Такая социология привела к тому, что, начиная с Ивана IV, государство систематически съедало общество. Нужны были особенно трудные обстоятельства, когда самодержавию приходилось очень плохо, чтобы оно снизошло до мнения своих подданных. Авторитарная монархия, уничтожавшая всякую попытку оппозиции, воспитывала веками уверенность в том, что истину знает только она, и жестоко расправлялась со всякой другой истиной, которая не спешествовала тому, что было, по ее мнению, "процветанием" и что на самом деле было привитием обществу самых отвратительных полицейских привычек, культивированием абсолютного неуважения к чуждому мнению, лицемерия и твердой веры в то, что прав тот, у кого власть, по самодержавным понятиям — палка.

И далее: *Суровая оценка Тыняновым русской истории была правильной... одна из центральных идей его творчества — крушение и гибель надежд после поражения в борьбе с самодержавием."*

Что это, в сущности, значит? (Частично повторю цитату, приведенную в самом начале, но так и у Белинкова — Н.Ш). *Это значит, что в годы, когда все задушено, заковано, заперто и забито, когда не видно просвета и в ночи лишь с сиканьем проносятся оруженосцы и запевалялы режима, давя все, что подвернется под копыто, нужно сидеть и горько покачивать головой? Или, может быть, спотыкаясь, бежать за оруженосцами и запевалялы режима? Неужели остается лишь покачивать головой или бежать? Но ведь Герцен и некоторые другие замечательные писатели не покачивали и не бежали. Они печатали в Англии и Италии свои книги, и эти книги говорили, что в России есть люди, которые не сдались, что если ничего нельзя сделать, то нужно все видеть, все понимать, не дать обмануть себя и ни с чем не соглашаться.* ^[14]

И чуть дальше еще об одном выходе для честного нормального человека: *Книга Тынянова* ("Кюхля"—Н.Ш) — *это биографическая повесть об умном, честном и талантливом человеке, которого история вынудила взять пистолет... это нормальный, то есть протестующий против социальной несправедливости... человек, который, увидев ложь и насилие, не стал сокрушенно покачивать головой и не побежал за оруженосцами и запевалами режима, а написал стихи против гнусной власти, взял пистолет и пошел против лжи и насилия.* [15]

Не правда ли, все это звучит сегодня очень современно и своевременно? Но что интересно: в советские времена (а книжка Белинкова "Юрий Тынянов" была издана в 1965 г.), когда после короткого периода хрущевских либеральных веяний начала уже снова свирепствовать цензура, никто не усмотрел в ней призывов к экстремизму. Прошляпили, должно быть. А вот в наше постсоветское, и уже постперестроечное, декларативно-либеральное время автора вполне могли бы упечь за это. Ну, если не упечь, то уж точно не дать спуска. Причем, вполне по закону. Вот такие у нас теперь, как сказал бы В. Познер, времена.

Проблема поведения и нравственной ответственности человека в тоталитарном государстве настолько волнует Белинкова, что он вновь и вновь возвращается к ней, анализируя творчество и других советских писателей. Не только Олеси и Тынянова. Пользуется каждой подходящей возможностью, чтобы обозначить свое к ней отношение. Лишь на страницах этих двух книг насчитывается, по меньшей мере, с полсотни упоминаний на данную тему. И в каждом возникает какой-то новый нюанс, какие-то новые повороты. Например, вот как (не менее эмоционально) он пишет о тех, кто вовсе не собирается протестовать против антидемократических шагов власти. О тех, кто во всем поддерживает ее. То есть об *"оруженосцах и запевалах режима"*. Приведу лишь некоторые выдержки:

Но, кроме условий, которые диктует время, существует человеческая воля, нравственная ответственность и сознательный выбор. И человек, пребывающий в добрых отношениях со временем, то есть соглашающийся или не соглашающийся делать то, что ему велят, часто оказывается не столько лишенным выбора, сколько жаждущим сделать такой, который полегче. [16]

Или в другом месте: *Естественно, что реакционные эпохи больше интересуются не благородством, а преданностью, не душевной стойкостью, а готовностью делать, чего велят. Реакционные эпохи с обожанием и щедростью взыскивают прохвостов, доносчиков, бездарностей, фразеров, свистунов, клеветников, перебежчиков, барабаничков, запевал, подпевал, подлипал, готовых кого угодно возносить, кого угодно поносить, оборотней, шепчущих дома одно, в департаменте кричащих другое, болтунов, шаркунов, льстецов.* [17]

Или вот еще: *Всегда в эпоху реакции (и чем эпоха реакционней, тем больше) появляются тучи защитников деспотической системы, потому что в реакционные эпохи государство превращается в шайку преступников, связанных страхом за свои преступления...*

У ног этой шайки ползает бездарность различных специальностей, и она защищает шайку, хорошо понимая, что если придет другая шайка, или, что уж совсем катастрофично, у власти окажется демократическое государство, то она (эта бездарность) потеряет приобретенное убийствами, предательством, лицемерием, унижением, бесчеловечностью, угодливостью, ханжеством, ложью и другими хлопотливыми способами благополучие...

Особенно омерзительны те мерзавцы, которые говорят только прелестные слова о добродетелях и счастье подданных. Те, которые, пришепетывая и облизываясь, очень хвалят веру, царя и отечество, православие, самодержавие и народность.

Они особенно омерзительны, потому что если первые сомнений не вызывают и все, кто сам не такой, знают им цену, то во втором случае значительная часть общества верит лжи, а значит, не протестует против нее и, значит, ей помогает. ^[18]

Проблема нравственного выбора интересует здесь автора не с точки зрения выявления психологических корней: почему одни люди идут в оппозицию к деспотической власти, а другие встают на ее сторону. Как я уже отмечала, для него тут нет вопроса, все априори ясно. ^[19] Просто первые — это умные и честные люди, вторые же — приспособленцы и мерзавцы. Гораздо больше его заботит, каким образом, с помощью каких приемов и методов тоталитарная система воздействует на человека, на его сознание и волю, чтобы вылепить из него лояльного гражданина. И как в этих условиях "работает" нравственность, определяющая поведение людей наряду с другими факторами.

"Каждая эпоха и каждая система выбирает людей, которые ей нужны, и заставляет их делать то, что в эту эпоху и для этой системы следует делать, — пишет Белинков, — Этот закон распространяется на абсолютное большинство людей, которые живут, как им велят, думают, как научили в гимназии и написали в газете, не особенно заботясь о том, хорошо это или плохо. Но из-под действия этого закона всегда выходит небольшое количество людей лучше тех, которые велят, учат и пишут в газете, знающих истину и с которыми те, в чьих руках власть, расправляются с такой кровожадной свирепостью, какую только может придумать не ограниченное чужой волей, необузданное самовластие, главной задачей которого всегда является уничтожение всего, что ему сопротивляется и угрожает".

И далее под несколько иным ракурсом, но все о том же: *"Если эпоха развязывает под разными предлогами войны... приучает восхищаться*

победами, парадами, наградами и патриотическими тирадами, втягивает людей в свои бесчинства, душит свободу по разным поводам и проповедует террор под разными именами, вытаптывает печать, уничтожает оппозицию, плюет на свои же законы, пытается в застенке всех, кто начал кое-что понимать, всех, кто ничего не понимает, и всех, кто никогда ничего не поймет, уничтожает соперников, чтобы не угрожали, и преданных дураков, чтобы другие видели: уж если душат таких, то что же будет с нами, заставляет людей одинаково думать, и все люди привыкают думать одно, а говорить другое, если буйствует пьянство, в хохоте, плевках, в грязной ругани тонет нравственность, ранее окруженная всеобщим почтительным уважением и высокой чистотой человеческих отношений, если люди с неистовством предают друг друга из страха и выгоды, клеветают и лгут, уничтожают своих близких в бесстыжей борьбе за власть, славу и деньги, если цветут лицемерие, ханжество, продажность, порочность и жизнь человеческая плавает в высоких, благостных, воинственных, подлых, хвастливых, трескучих, сентиментальных и сладких словах, которым не верит никто, то не вызывает сомнения, каких людей отбирает такая эпоха, и по ее поступкам и представителям можно отчетливо судить о государственном, общественном и экономическом строе, который она считает идеальным. Такие качества в отобранных представителях стимулируются только тоталитарным, полицейским, абсолютистским государством, где власть захвачена шайкой преступников, и эти преступники, обливаясь кровью, рвут на куски друг друга, и побеждает то одна часть шайки, то другая, но, кроме победы одной части шайки над другой частью шайки, не происходит ничего, и поэтому государственный, общественный и экономический строй, который такая эпоха считает идеальным, неизменен и недвижим. ^[20]

Понятно, что Белинкова, литератора и публициста, больше всего волнует вопрос о нравственном выборе применительно к интеллигенции — как к тому социальному слою, который по определению наиболее способен к самостоятельному мышлению, критическому и самокритичному восприятию действительности. Это типично экзистенциальная тема.

Не забудем: свои книги он пишет в начале и середине 60-х годов, когда экзистенциализм получил значительное развитие и влияние на Западе, как одно из модных течений философской и общественной мысли. К тому времени он и у нас уже нашел немало приверженцев (несмотря на вдалбливаемый в головы в ВУЗах и в школах, на политинформациях марксизм-ленинизм, диамат и истмат). Судя по тексту, автор не только знаком с ним, но и отчетливо к нему тяготеет. Приведенная выше цитата из романа Камю "Чума" в тексте его книги служит тому подтверждением.

Итак, есть несколько излюбленных тем, на которых сосредоточено внимание автора, которые варьируются, перебираются на разные лады, высвечивая те или иные стороны и нюансы проблем. Каждая из них в свою

очередь распадается и разветвляется на множество вопросов, составляющих их общее пространство. И из них самый первый — попытка осмыслить, что произошло со страной после революции 17-го года. Был ли изначально предопределен всей ее историей и географией ход дальнейших событий, к чему склоняется автор? И, стало быть, означает ли это, что все случившееся вполне закономерно, а иначе и быть не могло?

Под этим углом зрения рассматривая действующих лиц — участников, субъектов исторических процессов — и роль каждого из них в происходящем, он ставит проблему: в какой степени полученный результат зависел от них, т.е. какова роль личности в том или ином исходе событий?

И конечно, его, как исследователя, занимают люди, пришедшие к власти. И государство, которое они олицетворяют. Чьи потребности оно отражает, в чьих интересах устанавливает свои порядки? И какими методами? И как народ, общество, население на это реагирует? В первую очередь — интеллигенция. К проблеме взаимоотношений между нею и обществом — с одной стороны, и между нею и государством — с другой, он обращается многократно.

Однако интерес Белинкова намного шире. Его суждения затрагивают и отношение народа в целом, и общества правящему режиму. Впрочем, это последнее он рассматривает отнюдь не как институализированное гражданское (во всяком случае, я не нашла таких высказываний), а просто как наиболее активную и политизированную часть населения, зависящую от общественных настроений и влияющую на них.^[21] Об ответственности народа за полицейские порядки, за тоталитарные наклонности власти он говорит со всей присущей ему страстностью. И не раз.

Таков уж его оригинальный авторский стиль. А вовсе не редакционные недоработки, как на первый взгляд может показаться. Именно он придает особую ритмику тексту, более присущую вообще-то поэтическим произведениям. Создает удивительный эффект произвольного закрепления внимания читателя на самых значимых для автора идеях, которые как раз и являются наиболее актуальными для нашего времени. Что я и попытаюсь сейчас продемонстрировать, сопоставив высказывания Белинкова и некоторых современных авторов, размышляющих о нынешних временах. Провести между ними параллели.

Читаешь книги Белинкова, и тебя не покидает ощущение, что все прозрачные аллюзии и намеки, содержащиеся в них, касаются не советских, а сегодняшних наших дней. Впрочем, судите сами. Сопоставления проведем по самым важным для автора темам. Излюбленным, многократно повторенным.

Системные признаки и тоталитарные рефлексy российской власти: насилие как системообразующий принцип государственного устройства.

Рефлексология российской власти.

Пирамидальный синдром российской власти.

Как я уже отмечала, об этих признаках и об этих рефлексax, хотя и не называя их так, автор "Юрия Тынянова" и "Юрия Олеши" говорит постоянно на протяжении текста обеих книг. И данная тема звучит как лейтмотив всего повествования. Из нее вытекает ряд производных, но не менее важных для Белинкова проблем, о которых речь пойдет ниже. Чтобы подчеркнуть чрезвычайную актуальность его суждений, не утративших своей свежести за полвека, предлагаю пройтись по некоторым из них. И сопоставить с высказываниями современных авторов — писателей, публицистов, политиков на столь злободневную и даже вечнозеленую тему.

Причем стоит еще, пожалуй, обратить внимание на то, что если Белинков вынужденно прибегает к так называемому эзопову языку и методу аллюзий, рассуждая о советских временах и нравах, то нынешним авторам такой прием ни к чему: они высказываются обо всем открыто, прямым текстом. И возникает удивительное ощущение, что он, как и они, говорит обо всем без намеков и экивоков. Впрочем, судите сами. Пройдемся по актуальным темам новейшей российской политической истории, нашедшим отражение в Белинковских текстах.

Эти сюжеты то и дело возникают на страницах его книг. Можно было бы сказать, что они — предмет наиболее жгучего и пристального его внимания. Что, однако, было бы не совсем верно, так как они лишь предпосылки для рассуждений автора на действительно самую важную для него тему — взаимоотношений между государством и обществом, властью и народом, властью и интеллигенцией, художником и обществом. И примыкающую к ней проблему моральной ответственности человека за все, что происходит в его стране. Явственно ощущается, что это очень значимая и болезненная для автора тема. И он постоянно (как я уже об этом упоминала) к ней возвращается под разными углами зрения.

Я не стану своими словами пересказывать то, о чем так красноречиво пишет А. Белинков. Да и лучше него самого не скажешь. Вот как он характеризует государство "трех толстяков" — советское послереволюционное тоталитарное государство, возникшее на обломках российской империи и затем воссоздавшее ее на новых (вроде бы), но во многом старых принципах:

Ю. Олеша, — пишет автор, — *"изображает государство, которое полагает, что истину знает только оно, что эта истина неопровержима (в каждый данный момент), что эту истину при необходимости*

разрешается отменять только самому государству, что иное мнение не может быть правильным и что писателей этого иного мнения нужно убивать.

Это совершенно естественно для государства, владеющего всем, подкупающего всех и, если надо (как оно полагает), сажаяющего, расстреливающего, удушающего, попирающего, уничтожающего".^[22]

И далее: "Сказка Юрия Олеши повествует о властителях, которые не могут думать, не могут позволить себе думать об истине. Они думают лишь о том, чтобы удержаться, чтобы их не спихнули другие толстяки.... И поэтому власть в этом государстве так катастрофична, всеобъемлюща, всепроницающа, так неустойчива и подвержена воздействию разнообразных случайностей".^[23]

Измениться сама по себе она не может, считает автор, потому что "В чреве системы не завязывается чужой плод..." И потому еще, что "Деспотическая система быстро и яростно рождает деспотов".^[24]

Отсюда следует неизбежный для Белинкова вывод: *"Тиранические системы неисправимы, не должны быть и не могут быть исправлены. Они могут быть только уничтожены. Важно понять, что тиранические системы не бывают хуже или лучше: они бывают только омерзительными".^[25]* Но и такого жесткого приговора автору недостаточно. Он раскрывает скобки. Он должен разъяснить свою позицию. И он делает это по-белинковски страстно и образно:

"Деспотизм омерзителен всякий, и его надо ненавидеть непрерывно, неутомимо, неутомимо и не отвлекаясь ничем. Не исправляйте его и не старайтесь войти в положение, не пытайтесь понять, не стремитесь простить, посмотреть на него по-новому, переосмыслить и переоценить; в нем нельзя видеть нечто заслуживающее внимания, нельзя склоняться к тому, что он исторически неизбежен, признать, что у него есть кое-какие заслуги, согласиться с тем, что он может одерживать внушительные победы; его нельзя взваливать на историю, на особенности развития и тяжелые обстоятельства..."^[26]

Для автора очень важна мысль, что разные национальные формы деспотизма и тирании в истории объединяют общие родовые черты, которые он не только ассоциирует с фашизмом, но и называет их именно так:

"Необходимо пристально и пристрастно исследовать фашизм и его всемирные модификации, его пути и его героев, чтобы узнавать его под любым самым привлекательным именем. Но все люди, и те, которые не могут изучать историю и социологию, должны знать, что если оскорбляется человеческое достоинство и не ставится ни во что человеческая личность, если человек приносится в жертву так называемым высшим интересам и если человек не в состоянии распоря-

жаться своей судьбой, если попирают его волю и растаптывают его честь, если нет свободы слова, а есть лицемерные фразы о свободе, если душит страх перед властью, если государство закрывает человеку небо, если царят произвол и несправедливость, и проливаются потоки лицемерия, если неразборчивость в средствах достижения цели становится государственной концепцией, если уверяют, что можно развязывать войны и развязывают их, если страна респирует шовинизм, если цветут фанатизм, ханжество, ненависть и самодовольство, если государство вмешивается в частную жизнь людей, если правит бесчеловечность, мстительность, сыск, кары и казни, если народу внушают надменную уверенность в превосходстве его над другими народами, то это фашизм, тирания, деспотизм, и их надо ненавидеть страстно, самоотверженно, самозабвенно и не отвлекаясь ничем". [26]

При этом Белинков обращает внимание на характерную особенность, вроде бы, не вписывающуюся в общую нарисованную им мрачную картину тоталитарных систем. "Вроде бы" — потому что он тут же дает свое разъяснение данному феномену. Вот что он пишет:

"Самый гнусный самодержавный режим никогда не бывает всегда, во всем и для всех гнусен. Поэтому его защитники получают возможность не только палить из пушек, но даже выдвигать аргументы. Социологические дилетанты разводят руками перед неразрешимым противоречием: враги самодержавного режима показывают нищих, раздавленных людей, тюрьмы и казни, безмолвствующий народ, растленную интеллигенцию, растоптанную демократию, а апологеты — поражающие воображение полеты в космос. И кажется, что правы и те и другие. Но в отдельности неправы и противники и апологеты. Правы они вместе, ибо истина заключается в том, что самодержавный режим может существовать, только если он в состоянии обеспечить не меньше, чем два раза в неделю поражающие воображение удивительные успехи, которые превращают подданных в нищих, требуют ускоренного строительства тюрем, все возрастающего количества казней, растаптывания демократии, растления интеллигенции, превращения людей в рабов".

Вывод автора категоричен:

"Самый гнусный самодержавный тиранический полицейский режим, на котором, казалось, в состоянии расти лишь шипы и колючки, может заставить своих ученых создавать замечательные теории, своих техников строить удивительные машины, своих спортсменов завоевывать поразительные рекорды.

Все это не может служить мерой качества режима.

Замечательные теории, удивительные машины и поразительные рекорды это лишь сверкающие перстни на пальцах режима. Пальцы же, униженные перстнями, могут душить так же прекрасно, как пальцы без перстней". [27]

Не правда ли — все это звучит чрезвычайно современно, хотя и написано полвека назад? Чуть позже я приведу высказывания разных авторов из сегодняшних дней, на основании которых можно будет наглядно почувствовать это сходство (сближение) эпох. Хотя достаточно просто оглянуться вокруг себя и использовать свой собственный жизненный опыт. Но прежде того хотела бы привести еще несколько цитат из книг А. Белинкова, очень актуальных и для наших времен.

Одна из них касается "взаимодействия закона и власти" в тоталитарном государстве. Автор пишет об этом так:

"Больше чем за полвека до того, как был написан роман "Три толстяка", опыт тиранической империи позволил не только обратить внимание на взаимодействие закона и власти, но и строго сформировать характер власти в связи с ее отношением к закону". [28]

Ссылаясь на письмо министра внутренних дел графа Д.Н. Блудова Николаю I (Дневник П.Л. Валуева, министра внутренних дел. В 2-х томах. Редакция, введение, биографический очерк и комментарии проф. П.А. Зайончковского. Т. 1, М., 1961), он вслед за цитируемым автором утверждает, что ***"что самодержец может по своему произволу изменять законы, но до изменения или отмены их должен сам им повиноваться"***. И в этом, по его мнению, отличие самодержавия от деспотизма, тирании, для которых характерна, как он пишет, ***"катастрофичность государственной власти"***.

Дело в том, считает Белинков, что ***"катастрофичность государственной власти вызвана не только неохраняемостью граждан законом, но и неохраняемостью самого закона...***

Нет, Россией управляли не самодержцы, — продолжает он, — повинующиеся закону, хоть какому-нибудь... Россией управляли деспоты. Деспоты — это такие люди, которым позволяют быть деспотами. Как только им перестают позволять, они становятся очень милыми людьми, а лучшие представители — даже демократами." [29]

Увы, история и социология не могут рассчитывать лишь на хороший характер и природные достоинства властителей, ибо известно, что если человеку, даже самому прекрасному, позволено все, то даже самый прекрасный человек становится тираном.

История и социология могут рассчитывать только на сдерживающую силу оппозиции..." [30]

И далее следует очень важное (хотя, может быть, и спорное, но верное в рамках своей логики) резюме:

"человеческая свобода может существовать лишь в слабом государстве, подвластном ожесточенной борьбе не дающих друг другу разгуляться общественных групп..."

"Я не верю, — продолжает он, — в добрых радикалов и нежных католиков, в целомудренных социалистов и в любезных республиканцев.

Я верю в то, что когда добрые радикалы получают возможность убивать, то злые католики им этого не позволяют. Я верю только в оппозиционное равновесие сил, которое не дает разгуляться ни добрым, ни злым, ни целомудренным, ни любезным.

А ведь хочется разгуляться? Правда?..

История и социология могут рассчитывать только на сопротивление угнетенных, умеряющее самые гнусные, самые отвратительные, самые разнузданные, самые извращенные инстинкты властолюбия, которые всегда даже в прекрасном человеке при благоприятных обстоятельствах готовы развязаться с тропической стихийностью". [30]

"Оппозиционное равновесие сил" — вот оно! — та самая концепция "сдержек и противовесов" на политической арене, о которой много говорила интеллигенция во времена "стремящегося стать развитым социализма". И о которой немало пишут сейчас либералы и демократы, когда государство довольно успешно укрепляет свою вертикаль и наступает на любые проявления свободомыслия и независимости. Как же так получилось, что пришедшие к власти под флагом демократии и либерализма люди претерпели такую метаморфозу? В чем дело: просто обществу не повезло персонально с ними? Или же тут проявилась определенная закономерность и личные качества верхушки здесь вовсе ни при чем (или не столь уж важны)?

Размышляя над данными вопросами, Белинков приходит ко второй значимой идее, многократно повторенной им на страницах обеих книг — о революции и "неминуемом", как он считает, послереволюционном пере рождении государства:

"Но очень скоро что-то случилось, — пишет он, — и люди, которых никак нельзя было заподозрить в том, что они станут Толстяками, начали уничтожать все, что мешало их власти, и в первую очередь расправились со своими недавними соратниками, которые были не лучше их самих, но обладали силой оппозиции, способной сдерживать разнузданное властолюбие. И вот тогда люди, еще недавно обещавшие свободу, равенство и братство, начали с каждым часом толстеть, превратились в Трех толстяков и стали душить все, что осталось от тощей свободы, и задушили. И все видели это, и он видел вместе с другими, как эту свободу душат и как вместо нее предлагают ежедневные победы, успехи, завоевания и триумфы. Он помнил, как сначала это не пугало его и тот круг либеральной интеллигенции, к которому он принадлежал, он не верил в это, не мог поверить. Но вскоре он увидел, что зло серьезней, чем

казалось ему, и он возмущался этим бешеным натиском власти и лжи, а потом с ужасом понял, что его или перевоспитают, или просто выбросят на свалку истории (в лучшем случае), и, пометавшись в разные стороны, а также под влиянием жены стал проявлять признаки жизни и энтузиазма.... терзаемый страхом и жаждой успеха, он пронзительно закричал, как прекрасна власть Трех толстяков, и уже продолжал кричать, не останавливаясь ни на минуту, даже по ночам, когда разрешилось обожать Трех толстяков молча". [31]

В данном отрывке, написанном с горечью и иронией, автор усматривает едва ли не общесоциологический закон, хотя напрямую об этом и не говорит. Но если судить по контексту и отсутствию каких-либо оговорок, то это так. И как похоже на нашу нынешнюю действительность!

Говоря о перерождении людей во власти, он не упускает из виду и перерожденцев среди населения, в самых разных его слоях. И в первую очередь внутри интеллигенции. Именно то, что происходит с нею, волнует его прежде всего. А народ? О нем он отзывается так:

"Художник знает, что люди в самые замечательные эпохи начинают предавать друг друга, извиваться в корчах тщеславия, терзаться жаждой денег, власти и славы, лицемерить и лгать, разбрызгивать апологетические фонтаны, произносить патетические монологи, выкрикивать патриотические тирады, слагать панегирические оды, растлевать малолетних, сжигать книги, запрещать думать и заливать, затапливать, наводнять жизнь липкими, непролазными, непроходимыми фразами.

Тогда создается новое измерение человеческой порядочности". [32]

И еще далее: *"Литература не однажды отмечала, что народ сам строит для себя тюрьмы, возводит виселицы и выкармливает околоточных надзирателей".* [33]

Что же касается поведения части интеллигенции в тоталитарном государстве, то о ней он пишет следующие жесткие и горькие строки: *"Интеллигент-перебежчик* (в иных местах он называет его перерожденцем) *обладает многими данными. Как-то: подвижное мировоззрение, устраивающее других мировоззрение, согласованное с вышестоящими инстанциями мировоззрение. Кроме того, имеются другие дарования. Как-то: не придавать существенного значения землетрясениям мировой истории и лгать, врать, обманывать, предавать, лицемерить, фальшивить, обставлять, обводить, проводить, втирать очки, пускать пыль в глаза, вкручивать шарик и пролезать без мыла...*

И для того чтобы не было так стыдно подчиняться этой власти... интеллигент-перебежчик, судорожно глотнув слюну и набрав воздуха, начинает, взвизывая и брызгаясь, убеждать сначала всех, а по-

том и себя в том, что толстяки — это самые великие умники и власть их, то есть власть великого ума — прекрасна".^[34]

Он выводит как закон, что *"после гибели общественного движения"* в обществе возникает потребность — *"усталая жажда"*, как он ее определяет, *"приспособиться, подчиниться, выразить совершенное согласие и восторженное обожание... Общество жаждало, чтобы его трясли за ворот, а не дождавшись, трясло самое себя"*^[35]. Сейчас, когда я пишу эти строки, именно это с нами и происходит. Не так ли? Усталая жажда дает о себе знать.

Белинков показывает на примере произведений Ю. Олеши, что рано или поздно, но происходит постижение истины: *"Писатель начинает догадываться, что революция легко уничтожает старых Толстяков, но широко открывает ворота новым"*.^[36] И тем не менее *"Юрий Олеша, — продолжает автор, — написал о том, что власть тирана прекрасна"*. Вот почему можно сказать, что он *"был и жертвой эпохи, и ее садовником, ее узником и ее каменщиком"*. Такой "диалектикой жизни" отличалось время, на которое пришлось творчество автора "Зависти" и которое впоследствии назовут периодом "культы личности".

Развивая свои суждения о процессах перерождения режима, наблюдаемых в послереволюционном (после-перестроечном, если проводить аналогии с сегодняшними днями) государстве, Белинков создает предпосылки для перехода к наиболее важной, пожалуй, для него теме — исторической роли населения страны в ходе ее социально-политического развития. Речь идет, по большей части, о моральных аспектах проблемы.

Формула российского авторитаризма: числитель и знаменатель. (Верно ли, что каждый народ достоин своего правительства?)

Из двух извечных вопросов российской истории — кто виноват и что делать? — внимание Белинкова сосредоточено на первом. Что касается второго, то и его он рассматривает только под углом персональной ответственности каждого гражданина за все происходящее. И поэтому он больше говорит не о том, что тот может сделать, а о том, чего он не должен делать ни при каких обстоятельствах.

Если попытаться представить российскую политическую систему в виде формулы, в которой в числителе — действия властей, а в знаменателе — реакция на это населения, то на выходе мы получим, как результат — установившийся в государстве политический режим. Автор рассматривает все части этой формулы и приходит к неутешительным для российской истории выводам.

Вот что он пишет по данному поводу: *"Юрий Олеся понимает, что когда судят и осуждают эпоху, то недостаточно привлечь к ответственности за совершенные злодеяния одного главного злодея. За злодеяния самодержавной эпохи отвечают министры, жандармы, фабриканты, помещики, банкиры и интеллигенты, красиво декорировавшие самодержавие. Это обстоятельство — общую ответственность всех выкорышей режима — почему-то забыли многие историки и стали все преступления взваливать на плечи одного бедного главного злодея"*.^[37]

Как видим, к выкорышам режима Белинков относит и продажную интеллигенцию. И не просто относит, но полагает, что именно на ней, а не на других слоях населения, лежит основная вина за преступления режима и его сохранение, потому что вместо того, чтобы *"все видеть, все понимать, не дать обмануть себя и ни с чем не соглашаться"*, она идет в услужение власти. Он убежден, что завсе, *"что происходит в стране, ответственны все граждане этой страны: одни за то, что творят преступление, другие за то, что позволяют его творить, за то, что позволили, чтобы их испугали или обманули, или соблазнили, или заставили"*

Мы уверенно заявляем, — пишет он, *— что народ творит историю*.^[38]

Развивая в другом месте эту тему, автор четко формулирует: *"...кроме проблематичной ответственности времени и гипотетичной ответственности человечества, существует реальная, подлежащая обследованию ответственность каждого человека"*.^[39] Из чего делает вывод: *"Никакой ответственности, кроме персональной в обществе не существует"*.

Получается таким образом, что он, вроде бы, полностью разделяет известное изречение — каждый народ достоин своего правительства. Тем не менее, на мой взгляд, это не совсем так. Ибо весь пафос, вся страстность и настойчивость, с которой он клеймит авторитарную, деспотическую власть за ее тоталитарные популистские посягательства, свидетельствуют, что именно в ней он видит корень зла. А вовсе не в том, *"что миллионы людей обречены совершать вместе с шайкой, бездарностями и перебежчиками ежедневное преступление, которое эти миллионы разных людей никогда бы не совершили, но которое они совершают, потому что, если не станут его совершать, то их назовут преступниками и уничтожат"*.^[38]

Что это? Наблюдаем ли мы здесь противоречивость во взглядах автора на данный вопрос или это всего лишь отражение неоднозначности самого явления? Мне кажется, что верно именно последнее. Как нельзя сказать, что первично — курица или яйцо, так и здесь скорее подойдет формула "и — и", нежели "или — или". Очевидно и понятно стремление государства внушить населению представления о себе как о самом справедливом и заботящимся о народном благе. Но ясно и другое: оно само питается

от укорененных в населении мнений, предрассудков и фобий, на которых зачастую и пытаются играть, добиваясь своих целей. Т.е. здесь действует система прямых и обратных связей. При этом для Белинкова бесспорно, что именно на власти, а не на обществе (а точнее было бы сказать — подданных, так как вопрос о наличии в стране победившего пролетариата гражданского общества остается открытым), лежит главная ответственность за все, что тут происходит.

Особое место среди злободневных для России историко-философских и социологических тем, которые он затрагивает в своих книгах, занимает проблема взаимоотношений художника, творца с государством и властью — с одной стороны, с обществом и народом — с другой. Позиция автора здесь очень четкая: не следует прогибаться перед тоталитарно-авторитарным государством, несмотря ни на какие соблазны и ни на какие возможные репрессии. Но не стоит идти на поводу и у общества, находящегося в плену заблуждений.

Он пишет: *"Между художником и обществом идет кровавое неумолимое, неостановимое побоище: общество борется за то, чтобы художник изобразил его таким, каким оно себе нравится, а истинный художник изображает его таким, какое оно есть... Поэт говорит только правду. И ни пытки, ни казни, ни голод, ни страх, ни искушения, ни соблазны, ни кровь жены и детей, ни щепки, загоняемые под ногти, ни женищина, которую он любит и которая предаёт его, не в состоянии заставить поэта говорить неправду, льстить, лгать, клонить голову и славить тирана. Сдавшийся человек не может быть поэтом. Человек, испугавшийся сказать обществу, что он о нем думает, перестает быть поэтом и становится таким же ничтожным сыном мира, как и все другие ничтожные сыновья."*^[40]

Это звучит как категорический императив. Он объясняет далее жесткость своей позиции: *"Я решительно не согласен с тем, что писателя нельзя винить за то, что он не может или не хочет быть социальным пророком... что он искренне... верит в явно нелепые, а иногда и гнусные вещи... что он не считает важным быть умным, оставшись совершенно одиноким, а предпочитает лучше ошибаться, но зато вместе со всеми..."*

... Писатель должен быть умным.

Он не должен заблуждаться.

Он должен знать твердо: вот список благодеяний, вот список преступлений.

И почти всегда он это знает. Но почти никогда в этом не признается".^[41]

Белинков задает сам себе вопрос: *"Как же отнестись к человеку, который знал о событиях трагической эпохи и молчал?"*

Как отнестись к человеку, который не знал, не видел, не понимал, что происходит вокруг? ". И отвечает на него: "Кровав и трагичен результат этих бескорыстных и этих небескорыстных иллюзий, заблуждений и успешных самовнушений.

Он уверен: писатель должен быть умным.

И поэтому негодяй, написавший, что тиран на самом деле не тиран, а лучший друг интеллигенции, искусства и языкознания, подлежит более строгому суду, чем художник, ушедший в лирику, пейзаж и историю.

Время и люди равно подлежат суду, только разных инстанций: время судит история, а человека уголовный суд". [42]

Трагичной бывает судьба художника, осмелившегося идти наперекор власти и сервильному общественному мнению. Наша история полна таких примеров. Но что происходит с самим искусством в тоталитарной стране? Белинков пишет по этому поводу поистине провидческие слова, так подходящие к нашему времени. Послушаем...

"Но истинная победа полицейского государства над искусством достигается не тогда, когда полицейское государство что-то запрещает, что-то уничтожает. Это может убить художника, но еще не убивает искусство: в оставленные ему дни художник успевает сказать обществу хоть немного из того, что он о нем думает, успевает бросить в лицо ему свой стих, облитый горечью и злостью. Искусство погибает тогда, когда ему начинают советовать, предлагать, рекомендовать, когда от него начинают требовать, устраивают исторические встречи с работниками искусств, когда жандармы начинают сокрушаться о том, что художник, "описав темные времена быта России, не хочет говорить о ее светлом времени..." (Письмо начальника штаба Отдельного корпуса жандармов Л.В. Дубельта М.М. Попову от 6 сентября 1837 года. В кн.: Мих. Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826-1866 гг. По подлинным делам третьего отделения собст. е. и. величества канцелярии. Издание второе, С.В. Бунина, 1909, с. 124). [43]

Автор завершает тему взаимоотношений между поэтом, художником и властью, обществом уже ставшие хрестоматийными высказываниями: *"Однако даже у интеллигенции в полицейском государстве всегда остается не очень большая, но существенная возможность, которой она так часто и так постыдно пренебрегает: не делать с восхищением и энтузиазмом, захлебываясь от счастья и перебегая дорогу коллеге, верноподданническую подлость, которую так нетерпеливо ждет и без которой не может жить полицейское государство. Хуже всего в деятельности такого интеллигента это стремление сделать свою подлость лучше, полезнее, стать первым учеником".*

И далее: "...самодержавие не довольствуется лояльностью поэта... Самодержавие не довольствуется единовластием, оно требует единомыслия".^[44]

По части единомыслия тоталитарному режиму труднее всего приходится, конечно, управляться именно с интеллигенцией. Несмотря на идейный разброд и шатания, так часто ей свойственные, она *"была нужна, ее выгоднее было использовать, чем уничтожить. И вот с этой-то ничтожной, прости Господи, так называемой прослойкой, которую достаточно только положить на наковальню и стукнуть тяжелым молотом по лицу (о чем в двух своих произведениях упоминает Юрий Олеся), чтобы от нее, в сущности, ничего не осталось, пришлось выяснять отношения. Вместо того чтобы просто стукнуть молоточком. А ведь не стукнешь... без нее современное промышленное государство, которое в числе прочего изготавливает такие молоточки, существовать не может. И кроме того, с одними дворниками тоже не превратишь в исторически короткий отрезок времени целый народ в громадное мычащее стадо скота. Для этого, кроме дворников, нужны были еще хорошие, образованные интеллигентные люди, которые научно докажут, что мычащее стадо исторически прогрессивнее акмеизма"*.^[45]

Не правда ли — такое рассуждение очень актуально и для наших дней, к которым я и собираюсь теперь перебросить мостик. И продемонстрировать как бы переключку времен — из 60-х гг. XX века в век XXI. Повторюсь: таким образом мне бы хотелось показать, насколько свежи и своевременны сегодня его размышления о тоталитарном государстве, написанные почти полвека тому назад. Но прежде о том же самом на ряде высказываний автора по конкретным темам.

Об иностранном влиянии: *"Попытка связать восстание в своей стране с иностранным влиянием характерна для мышления реакционных эпох. Это легко понять: куда приятнее считать, что восстание подброшено врагами, нежели вызвано ненавистью к своему любимому правительству. И поэтому все следственные производства по делам о покушении на существующий строй всегда начинаются с выяснения связей между преступником и заграницей.*

Следует отметить, что впервые мысль о связях декабристов с заграницей приходит в голову Булгарину... Фаддей Бенедиктович, забежав вперед и предупреждая дальнейшее развитие русского исторического процесса, с необыкновенным оживлением донес об австрийской интриге.

Еще ошеломленные случившимся жандармы, вяло листая следственные дела, бормотали что-то невнятное о язве, занесенной к нам с Запада; еще правительство, едва приходя в себя, начинало размышлять над тем, что бывает, когда молодым, не успевшим окрепнуть

умам дают много воли; еще только развезли по острогам и ссылкам государственных преступников девяти разрядов, а Булгарин уже нашелся: нынче он утверждает, что, кроме злосчастного влияния иностранных держав на политический образ мыслей в России, имели место шпионаж в пользу Австрии и разглашение государственной тайны... Булгарин, несомненно, опередил юридическую мысль своего времени".^[46] Добавлю: и нашего времени — тоже.

О цензуре: "одним из самых жестоких и противоестественных орудий тиранического самовластия была человеконенавидящая, рвущая языки, выкалывающая глаза, затыкающая уши цензура. С стрелями и придыханиями она воспевалась солистами режима. Один солист воспевал ее так:

"10 июля (1826 года. — А.Б.) вышел новый устав о Цензуре. Эта заботливость о Русской литературе, столь юной еще и слабой в сравнении с Францией, Германией и Англией, вполне доказала, что Император Николай намерен идти по следам своего предшественника, который во все свое царствование неусыпно покровительствовал словесности и наукам. Западная Европа, привыкшая к своеволию и безначалию, упрекает всегда Россию за ее Цензуру, как бы оковывающую мысль и успех литературы. Это ложь, каких завистливый Запад много выпускает на Россию. Нет! Благонамеренная и просвещенная цензура — истинное благодеяние для общества. Она не оковывает, не подавляет мыслей: она одобряет все доброе, умное, полезное и благородное; путникам на литературном поприще указывает она те дорожки и тропинки, которые ведут к предположенной цели. Какая польза обществу и литературе, если путник, сбившись с пути, попадает в непроходимую чащу, болото или овраг? Цензура ораждает личность граждан, святость законов, неприкосновенность веры и общественные нравы. За что эти священные и основные предметы человеческой жизни подвергать своевольству недоучившихся юношей, закоснелых вольнодумцев и грязных развратников? Если бы какое государство и общество граждан дошло до такого просвещения, что исполнение законов почиталось бы сердечным убеждением и первой обязанностью, то свобода тиснения состоялась бы в самом деле без понудительных законов к соблюдению правил общежития. Но как между миллионами людей всегда найдутся такие, которых дурные страсти увлекают за тропинки, указанные законами, то для спасения их самих и всего общества нужен надзор и воздержание".^[47]

Не правда ли — это просто ода, песнь песней цензуре. И не правда ли, что-то очень похожее мы слышим из уст подпевал и запевал режима сегодня?

"...в России, — говорит Белинков, — кони цензуры не застаивались в конюшнях".^[48]

О фальшивых выборах: *"Когда людей заставляют на выборах в верховную власть выбирать, а выбирать нечего, то люди опускают бюллетень с той фамилией, которая на нем написана. — Одобряете нашу демократию? — спрашивают их. — Одобряем! — хором отвечают избиратели. — Другой не знаем. — И еще добавляют: — И знать не хотим".* [49]

О том, как проходят выборы в наши дни, не писал, как говорится, только ленивый. Об ужесточении выборного законодательства, о подтасовках и фальсификациях, об использовании административного ресурса — и все для того, чтобы не допустить проникновение даже на самые низшие выборные должности нежелательных для власти "элементов", как говорили некогда. В первую очередь, конечно, оппозиционеров. [50]

В советское время об этом даже не могло быть речи, ибо кандидатом назначался, как правило, хорошо проверенный, отвечавший всем идейным установкам человек, о чем и говорится в приведенной цитате. В начале перестроечных лет, прошедших под флагом демократизации, впервые в истории СССР были проведены действительно свободные выборы. Но в дальнейшем опомнившаяся власть такого уже больше не допускала. Хотя в избирательных списках и бюллетенях и стояла теперь не одна фамилия, однако это никого не обманывало. Всеми правдами и неправдами обеспечивался нужный для правящей верхушки результат. И на должности проходили, как и при Советах, в основном хорошо проверенные и отвечающие всем идейным установкам люди. Все это давно известно.

О методах и приемах тоталитарной власти в борьбе с оппозицией

За века деспотического самодержавия и тоталитаризма Россия накопила богатый опыт по этой части. В арсенале таких средств на первом месте всегда были репрессии. *"Центральный пункт исторического процесса свидетельствует, — пишет Белинков, — что в случаях, когда исключаются дискуссии, начинаются репрессии".* [51] Их диапазон простирается от запугивания до истязаний и убийств. Конечно, от крайних способов по мере общемирового смягчения нравов приходилось отказываться: не сажать на кол, на дыбу, не колесовать или четвертовать. Попытки становились изощреннее, казни — не столь кровавыми и устрашающими. Однако суть остается прежней — уничтожение и устранение с политической арены идейных противников.

Но это крайние формы. Помимо них существует великое множество других приемов, в том числе — превентивных, с помощью которых власть добивается нужных ей результатов. А именно: лояльности, покорности, поддержки и даже обожания со стороны значительных масс населения. В арсенале таких средств ложь, демагогия, агрессивная пропаганда, ведущая к бол-

ваниванию населения, подкуп, запугивание (устрашение), создание образа и поиски внутренних и внешних врагов, шельмование и компрометация идейных противников, финансовое удушение оппозиции, недопущение ее представителей к выборам и т.д., и т.п. [52] Все это — с целью обратить вспять и канализировать назревающее недовольство, энергию протеста на людей на несогласных с правящим режимом, якобы вставляющим палки в колеса прекрасным начинаниям вождей — конечно же, действующим во благо народа.

Автор говорит об этом так: *"Одних убивали. Других заставляли молчать. Третьих заставляли писать"*. [53] Неплохо зарекомендовал себя для особенно упертых довольно эффективный метод (на многих действует безотказно) — приписать человеку моральное разложение, продемонстрировать его "двойное дно".

Белинков иронизирует: *"Никогда нельзя начинать прямо с компрометации убеждений человека. Это ведь, знаете, еще кому как покажется. В понятии "убежденность" всегда есть нечто, вызывающее уважение. Поэтому нужно скомпрометировать человека уже скомпрометированными вещами. Например, воровством. Воровство мало кто станет оправдывать изысканными побуждениями, как это было во времена Виктора Гюго. Но вообще свет клином не сошелся на воровстве. В последнее время хорошо разработана методология смешения человека с грязью за низкопоклонство..."* [54] (в современном варианте — это, видимо, американофилия и вообще прозападная риторика — Н.Ш.).

Однако, самый эффективный метод в борьбе с идейными врагами — это, конечно убийства, ну, как окончательное решение вопроса. *"Художника, интеллигента, свободного человека убивают за то, что он поставил под сомнение нечто, не подлежащее обсуждению, за то, что он не осудил без оговорок и без проверки Европу, за то, что он стал сомневаться, рассуждать, сравнивать, размышлять и страдать; это наказание за альтернативу, за то, что смел подумать, допустить мысль об одинаковости двух миров, за право на выбор; убивают за то, что он сравнил списки, за то, что поставил на одну доску список благодетелей и список преступлений, за то, что усомнился в списке благодетелей."* [55]

Читаешь эти строки, и в голову невольно приходят ассоциации с недавними историями: с Навальным — по части компрометаций, с Немцовым — по части убийств. Здесь тоже вижу переключку времен.

А птица-тройка летит...

Об отношении Белинкова к тоталитарному режиму и государству было сказано уже достаточно много, собственно — весь предыдущий текст. Напрямую или иносказательно автор выплескивал на читателей с иронией и

сарказмом свою горечь по поводу порядков и нравов, утвердившихся на российских просторах. Менялся исторический антураж, а это оставалось тут неизменным: власть с деспотическими наклонностями "тащить и не пущать" [56] и народ, то молчаливо-покорный и доверчивый, то вдруг срывающийся в бунт "кровавый и беспощадный". Конечно, в первую очередь он имел в виду сталинскую эпоху, принявшую эстафету от царских времен и успешно их превосшедшую по части репрессий против собственного народа. Но он не уставал подчеркивать, что не большевики открыли такой способ управлять населением — они просто довели его до совершенства.

Ну, а что сейчас? Что об этом думают наши современники: ученые, публицисты, писатели и иная творческая интеллигенция? Приведу несколько высказываний. Вот, к примеру, что пишет в своем блоге (пост под названием "Слабость ненависти" от 04.03.15) на "Эхе Москвы" известный псковский политик, яблочник Лев Шлосберг после потрясшего всю демократическую общественность убийства Б. Немцова:

"Главной целью Российского государства при Владимире Путине стала борьба за власть. Борьба за власть любой ценой. Власть вместо инструмента благоустройства жизни людей стала главной ценностью оказавшихся у власти..."

Для защиты такой власти нужно особое состояние народа, когда виновными в любых неудачах и трудностях признаются враги власти, которых очень удобно называть врагами народа..."

Для защиты такой власти нужно возвести в ранг врагов народа всех инакомыслящих, всех не согласных с беззаконием и произволом властей, всех готовых к самостоятельному мышлению.

Для защиты такой власти нужно превратить страну в "осажденную крепость", о взятии и разрушении которой мечтают бесчисленные враги — враги власти, враги народа, враги России.

Для защиты такой власти нужно превратить человеческое достоинство, право на мнение и убеждения, саму человеческую жизнь в ничто, в мусор...

В таком государстве не может быть независимого суда и честных выборов, не может быть защищено право собственности, в таком государстве с трудом выживают свобода слова и свобода массовой информации...

Российское государство развращает российский народ...

Российское государство всеми силами старается не допустить к народу правду, потому что правда, как солнечный свет, разрушает все эти мрачные средневековые сооружения ненависти.

Российское государство строит народ в виртуальные, а часто и в реальные колонны ненависти, которые готовы не остановиться ни перед чем. Ни перед кем. Дойти до цели любой ценой...

История никогда не повторяется, но никогда не меняет своих правил.

Государство ненависти в России обречено.

Государства добра и разума в России сейчас нет.

Но будет". [57]

Эту пространную цитату я привела, чтобы показать, что по степени своей эмоциональной насыщенности данные строки не уступают тем, что так выразительно подчеркивают мысли Белинкова в его книгах. А их смысл настолько интонационно и содержательно перекликается с излюбленными высказываниями последнего, что кажется: поменяй их местами... и подмены никто не заметит. Есть, правда, существенное различие между данными авторами. Если один из них не верит в наступление "светлого будущего" в России и утверждает predetermined исторической синусоидой постоянное возвращение ее "на круги своя", то второй заканчивает свой пост на оптимистической ноте: "Государства добра и разума в России сейчас нет. Но будет".

Кто прав из них — покажет будущее. Сейчас трудно сказать: с одной стороны — да, синусоида, однако с другой: пусть и медленное, пусть и крохотное, пусть и скрипучее, с отступлениями, но все же продвижение вперед по пути демократизации. Особенно это заметно, если сравнивать со временем Ивана Грозного.

Возьмем другого автора: Виктор Шендерович, писатель, публицист (интервью на "Эхе Москвы 02.04.15):

"В нашем случае... все механизмы обратной связи отрезаны... Нет ни выборов, ни суда, в который можно прийти, ничего нет. Власть, таким образом, сама "старым, казачьим способом" загоняет протест в нелегитимное русло. Это Россия проходила столько раз, на эти грабли прыгали с разбегу столько раз, что у людей, имеющих хотя бы тройку по истории, должна бы загореться красная сигнальная лампочка в мозгу..."

Всякая революция — это свернутые реформы. Это результат того, что закупорена обратная связь. Потому что нельзя выбрать своего депутата, изменить политику легальными путями, прийти в суд, выйти на митинг, который будет освещен свободными СМИ, а не этим бандформированием останкинским. Телезрители потом становятся избирателями — сменяется власть и так далее. Колесо крутится. Когда это колесо не крутится, это кончается... как это кончается, мы знаем. И тогда народники становятся народоловцами, и перестают идти в народ с образованием, а когда их долго-долго винтят и отправляют в Сибирь за попытку образования, то тогда они уходят в "Народную волю" и начинают взрывать, а их снова сажать — а они снова взрывать. И все это кончается так, как кончается. И потом век мы не можем выйти из этой кровавой безнадежной трясины. Ну, хоть бы троечку имели. Но откуда им взять троечку?" [58]

Могу поспорить с Шендеровичем насчет "троечки": ни "троечка", ни даже пятерочка тут не при чем. Дело в другом. Во-первых, люди редко учатся на чужих ошибках. И потому-то история так часто ничему не

научает. Во-вторых, образовательный и интеллектуальный уровень человека во власти может быть и высок, но этого оказывается недостаточно для принятия хорошо продуманных взвешенных решений. Если зашкаливают амбиции, если слишком велика шкала самооценки, а самокритичное восприятие — наоборот, если со стороны нет достойного отпора своеволию, тогда и возникает ощущение всемогущества и вседозволенности. И атрофируется или пригупляется чувство опасности.

Впрочем, речь не о том. Шендерович, как и Шлосберг, описывает признаки болезни под названием тоталитаризм. И показывает, что в обновленном (вроде бы) перестройкой государственном организме, тем не менее, уже проявились первые ее симптомы, и как бы дело не приняло необратимый характер. А 50 лет назад детальное описание этих проявлений дал А. Белинков. Вот такая переключка времен.

А вот еще высказывания на ту же тему блестящего ученого, историка, заслуженного деятеля науки, главного научного сотрудника ИМЭМО Г.И. Мирского на "Эхе Москвы" в своем блоге от 20.02.15 "Сталин, Путин и бояре":

"А я вот какие уравнения соединить пытаюсь: первое — недавно слышали. "Без Путина нет России". Второе — очень давнее, в зубах навязшее. "Без Сталина войну бы не выиграли. Не было бы Сталина — не устоял бы русский народ, лег бы под Гитлера". Смотрите, что получается: без Сталина России бы не было, без Путина России нет. Соедините тонкой линией — и что выходит? "Путин — это Сталин сегодня"..."

Так еще не говорят. Но так думают... Путину быть "вторым Сталиным" совершенно невыгодно, потому что тогда от него будут ожидать двух вещей: первое — раскулачить олигархов, покарать виновников безобразий, устроить показательные процессы, установить социальную справедливость, и второе — вновь утвердить Россию в мире как великую державу, чтобы "никто ноги об нее не вытирал, а все чтобы боялись." Первого Путин сделать не захочет да и не сможет: можете себе представить, что он разносит по кочкам богатую элиту? Смех один. Второе не в его силах: идти на риск мировой ядерной войны он не станет...

Чего же добиваются пропагандисты и стоящие за их спиной бояре, форсируя ре-сталинизацию и ре-советизацию, вопя о том, что критика Советской власти должна считаться русофобией? Тех, кто действительно любит Сталина, среди них немного. Речь идет о средстве утверждения своей власти, о консолидации системы, все более начинающей напоминать тоталитаризм, о предотвращении "майдана" и "оранжевой революции", о преследовании инакомыслящих ("пятая колонна"), об искоренении гражданских свобод и прав личности. Короче говоря, об устранении всего, что может мешать увековечению политической власти и материальных привилегий в руках

класса новых бояр. Можно ли представить себе лучший символ для этого, чем имя Сталина?

Имя, только имя, но не суть. Никаких процессов, Гулагов и расстрелов никто не хочет. Да и если приглядеться к вырисовывающейся сейчас на наших глазах системе, то мы увидим всего лишь жалкую пародию то ли на сталинизм, то ли на самодержавие.

Может ли быть тоталитаризм без идеологии? Кот с остриженными когтями. Сталин и его люди действительно верили в марксизм-ленинизм. Идеологии нет и в помине, и не может быть у нас, нет людей, способных и готовых что-то сотворить, а главное — нет потребности. Идеология — дело серьезное, а кто сейчас воспринимает что-либо всерьез? "Православие, самодержавие, народность" — кого это на самом деле трогает?

Все это — пародия. Все какое-то убогое, не настоящее, суррогатное. Да и могло ли быть иначе после 70 лет античеловеческой системы и четверти века сплошных разочарований? ...Да большинство и не хочет ничего настоящего, глубокого. Отучили от этого, промыли мозги "ящиком". Хорошо обставленная квартира, иномарка, дачный участок, отпуск в Египте или Каталонии... А свобода? Да вот же она, Интернет. Открой и пиши любую мерзость, что еще надо? ...А интеллигенция? Пусть слушает пару своих радиостанций и читает несколько своих газет. Она боярам не опасна". [59]

Как видим, Г. Мирский констатирует наличие тех же признаков болезни под названием тоталитаризм, что и два других автора. Правда, он склонен винить за создание благоприятных условий для ее развития и подталкивание главным образом современных "бояр", что мне представляется лишь отчасти верным. Потому что факторов для этого на самом деле, с моей точки зрения, множество. И среди них первейшие — объективные. А среди субъективных... Вспомним народную мудрость: рыба гниет с головы.

Можно привести еще немало цитат из разных авторов. Но думаю, что их и так более чем достаточно — приведу, пожалуй, только еще одну выдержку (правда, пространную — уж, простите) из интервью В. КараМурзы под названием: "Пожар академического масштаба" с академиками С. Арутюновым, Ю. Пивоваровым и Ю. Рыжовым 23.04.15 на радио "Свобода".

Сергей Арутюнов: *В человеке прежде всего нужно уважать человеческое достоинство... Иначе все эти разговоры о том, что мы великая держава, мы должны вернуть себе руководящее место на мировой арене остаются пустой, самонадеянной болтовней... Ну, таков сегодняшний день.*

Владимир Кара-Мурза-старший: *Юрий Сергеевич, является ли ситуация, когда ученые оказались беззащитны перед произволом, следствием общего наступления государства на автономию Академии наук?..*

Юрий Пивоваров: У меня есть своя гипотеза. Безусловно, советская наука не была идеальной, но она имела огромные достижения. У большевиков была идея — противостояние всему миру. Значит, нужны физики, создающие атомные бомбы, и так далее. И для идеологического противостояния нужны общественные науки. А когда все закончилось, то оказалось, что не нужно ни то, ни другое. Это очень грубая версия, но я думаю, что в ней что-то есть...

Я думаю, что эта ситуация отражает ситуацию в обществе: кризис и наступление на гражданское общество, на права и свободы человека. Все переделы собственности, наверное, имеют какое-то значение. Но философски и исторически это, конечно, удар по свободной, высокой России, которую мы любим и знаем, в которой есть Пушкин, Чайковский, Менделеев и так далее. И это трагично.

Юрий Рыжов: ... "утечка умов" произошла колоссальная... Есть еще один аспект. Что происходит здесь с учеными, которые никуда не уехали. Идет наступление на ученых, их обзывают "шпионами", которые продают секреты Родины...

Сергей Арутюнов: Ленин выслал один или два парохода ученых-гуманитариев в основном. Но я имею в виду массовые гонения на ученых, обвинение их во вредительстве, в шпионаже, в измене Родине — то есть то, что становится модным сейчас...

Владимир Кара-Мурза-старший: Юрий Алексеевич, не кажется ли вам, что Юрий Сергеевич стал отчасти неугоден, поскольку высказывал альтернативную точку зрения на историю, в частности на историю Второй мировой войны, пытался напомнить о роли союзников...?

Юрий Рыжов: Возможно. Сейчас пытаются что-то сделать с историей официальные лица, причем малограмотные и плохо знающие историю. Несчастье... в том, что необразованная подавляющая масса наших людей, которые 70 лет были изолированы от правды. В 90-х годах правда приоткрылась, открылись архивы... Но потом все, даже открытое, стали снова засекречивать... Отрицательная селекция происходила 70 лет, что обескровило интеллектуальный потенциал страны.

Юрий Пивоваров: Мне кажется, что я понимаю, что происходит в стране. И я не сомневаюсь, что все это изменится. Вот что я понял, прожив 65 лет почти... Поскольку, когда идет такое беспрецедентное давление на частного человека, научного работника, я понимаю, что все твои знания, какие-то книжки, статьи и так далее, словно бы говорят: а вот выступи! "Смеешь выйти на площадь в тот назначенный час?!" Вот это самое главное я понял к концу жизни. Ну, я постараюсь. Я сейчас нахожусь в экзистенциальном выборе: как себя вести в этой ситуации. И я постараюсь вести себя достойно. Мне этого больше всего хочется...

Мне кажется, что этот последний абзац в высказываниях Ю. Пивоварова — самый важный. В нем он прямо отвечает на вопрос, поставленный Белинковым в его книгах: как вести себя умному и честному человеку в условиях деспотического режима (в начале данного текста я уже цитировала его рассуждения, а сейчас перескажу своими словами). Если, образно говоря, нет возможности идти на площадь, как Кюхельбекер, или ехать за границу и там печатать свои книги, как Герцен, то остается еще один выход по Белинкову — "все видеть, все понимать, не дать обмануть себя и ни с чем не соглашаться". И тут у Пивоварова чувствуется прямая перекличка с автором "Сдачи и гибели советского интеллигента".

На этом можно было бы поставить и точку. Потому что цель достигнута. Две главных проблемы в его книгах: как живется людям в тоталитарном государстве и как следует в этих условиях жить (чтобы сохранить незапятнанной совесть) — нашли отражение в приведенных высказываниях ныне живущих моих современников. И они текстуально, порой дословно совпадают с тем, о чем писал Белинков в 60-е годы. А мне ведь именно это и хотелось показать. Его мысли настолько актуальны для наших дней, что напрашивается предположение о некоей исторической константе для России, некоем генетическом коде, закрепленном за века существования на необъятных географических ее просторах.

О чем это свидетельствует? Не о том ли, что, совершив очередной виток в период горбачевской перестройки, Россия вновь возвращается в свое привычное русло? Тем самым подтверждая правоту взгляда автора на русскую историю как историю тоталитаризма со всеми его победами и поражениями, достижениями и провалами. А, как известно, и того, и другого в ней было немало: и благодаря усилиям власти, нуждающейся в демонстрации успехов, и вопреки ее разлагающему и разрушающему влиянию на страну и общество — производному от недемократических режимов.

Когда-то, незадолго до своей кончины Лев Николаевич Толстой опубликовал статью "Чингис-хан с телеграфами", основной смыслом которой понятен уже из названия. Он утверждал, что научно-технический прогресс сам по себе не способствует улучшению нравов и искоренению тиранических наклонностей властей. Скорее наоборот: он подстегивает их амбиции, он позволяет им с большими техническими возможностями самодурствовать, гнуть свою линию как внутри государства, так и в мире. И подчинять народ своему диктату.

Не о том ли говорит и Белинков, когда предупреждает об опасности иметь соседа с подобными тенденциями? И эти же тревожные нотки зазвучали в высказываниях наших современников, особенно в последнее десятилетие.

Заканчивая, не могу не привести замечательные строки из "Сдачи и гибели советского интеллигента" о "птице-тройке" (Николая Васильевича Гоголя). Вот что пишет автор:

"Ни в "Зависти", ни особенно в поздних вещах Олеши не хотел понять или признаться, что понимает, что в его положительном герое спрятано стремление к разрушительной власти с фанфарами, фонтанами, штандартами и сочной исторической традицией.

Рысью прошли рыжие, потом вороны, знедые. Пронесся автомобиль Андрея Петровича Бабичева.

А за восемьдесят пять лет до него на одной из важнейших страниц русской литературы пронесся другой транспорт.

Это была незабываемая птица-тройка.

Она неслась, оставляя за собой все народы и государства.

Она безудержно и неотвратно стремилась в будущее.

Тройка была заложена в бричку, а в бричку был заложен Павел Иванович Чичиков.

Можно предположить, что тройка неслась так быстро, что исследователи просто не успели заметить это решающее обстоятельство.

Оно все еще ждет своего внимательного исследователя.

Теперь неотложной задачей является синтезирование тройки, брички и Чичикова, потому что до сих пор тройка, летящая в грядущее, совершенно ненаучно отрывалась от брички, а бричка от Чичикова.

Но мы ведь знаем, что тройка летела не сама, а везла именно Павла Ивановича Чичикова.

Когда приехали, Павел Иванович вылез из брички и огляделся по сторонам. Глаз у него был опытный, нос вострый, а ум быстрый.

— Ничего, — сказал Павел Иванович, окинув опытным взглядом, — ничего-о. И добавил: — То есть в том именно смысле, что ничего особенного не изменилось. — И повел налево-направо носом вострым и чутким. — Дороги не в пример лучше стали. Особенно стратегические. И жандарм будто крупнее из себя нынче, — отметил он. — А как по части мертвых? — с быстротой молнии пронеслась мысль в его мозгу. — Больше их против Венгерской, тьфу, прости Господи, Турецкой 1828-1829 гг. кампании? Или после прошлогоднего недороду-то и других целительных забот и мероприятий? — Оценив прибыль целительных забот и мероприятий, Павел Иванович понял, что не ошибся дорогой и велел Селифану распрягать.

Несется бричка с Чичиковым, летит автомобиль с Бабичевым, оставляя за собой все народы и государства"... [60]

А теперь вспомним чем заканчивается поэтический пассаж о "птице-тройке" (который нас заставляли заучивать наизусть в школе) у Н.В. Гоголя: "Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства". [61]

Косясь, постораниваются и дают ей дорогу... — есть ли тут предмет для гордости? Но не это ли как раз сейчас и происходит: именно гордость за страну, якобы "вставшую с колен", переполняет 85% наших сограждан, обеспечивших столь высокий рейтинг поддержки президенту Путину (если верить опросам). И не эти ли чувства культивируют власти и мощная государственная пропаганда?

Всегда ли так будет? Как знать: поживем — увидим. Если не мы, то наши потомки.

27.04.15

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Я очень бы хотела закончить этот текст на более оптимистичной ноте, как посоветовал мне один мой давний друг и учитель, известный политолог и общественный деятель В.Л. Шейнис. Но, к сожалению, не нахожу достаточных оснований. А посему завершу его примиряющей обе наши позиции (как мне кажется) цитатой из "Розы мира" Даниила Андреева: "А может быть — обойдется, тирания никогда не возвратится? Может быть, человечество сохранит навеки память о страшном историческом опыте России? — Такая надежда теплится в душе всякого, и без этой надежды было бы тошно жить".

19.06.15.

Примечания:

[1] Я как раз одна из числа таких дипломированных специалистов. Поступив на философский факультет ЛГУ в 1967 г. на излете хрущевских послаблений, я еще смогла, тем не менее, застать среди преподавателей не одних лишь только партийных начетчиков, а достаточно свободомыслящих людей. Их было не так много, но они были. Один из них — Виктор Леонидович Шейнис, читавший на первом и третьем курсах политэкономии капитализма (и впоследствии ставший моим научным руководителем, наставником и другом). Да так, что по окончании лекций заслужил и там, и там бурные аплодисменты. И высокую оценку студентов по данным социологических опросов.

В СССР производство «штатных философов» было поставлено на поток. Университеты штамповали их каждый год для пополнения армии кремлевских пропагандистов, сражающихся с идеологическими противниками за цепкое овладение умами подрастающих поколений. Во времена хрущевской оттепели, когда идейный надзор был несколько ослаблен, на гуманитарных факультетах (в том числе — и на нашем, в ЛГУ) стали появляться смельчаки, которые отваживались отступать от «генеральной линии партии» — кому насколько удавалось. Пробиваясь (просачиваясь) через, казалось бы, непреступную броню (сито) цензуры, вовсю используя «эзопов язык», авторы сомнительных с марксистско-ленинской точки зрения сочинений изредка умудрялись их публиковать в советской печати.

- [2] Эти сведения почерпнуты мною из Википедии, и за их достоверность поручиться не могу.
- [3] Фактически тогда и началась наша многолетняя дружба, продолжающаяся и по сей день. Люся закончила филологический факультет университета и была направлена в Новосибирский Академгородок в аспирантуру, где еще до ее окончания вышла замуж за своего бывшего однокурсника — Виктора Захарова, также с блеском закончившего отделение математической лингвистики. Оба они, вернувшись в Ленинград, стали одними из самых близких мне людей.
- [4] Если верить некоторым опубликованным сведениям, в том числе — и в Википедии, у Белинкова случился инфаркт, от которого он и умер. Произошло это вскоре после того, как он увидел многотысячную демонстрацию с красными знаменами под окнами своего дома в Нью-Хевене (США). Рассказывается также, что студентам, которым он читал лекции в Йельском Университете, не очень-то нравился резко критичный тон его высказываний в адрес СССР. Все это он тяжело переживал.
- [5] Не правда ли, смешно и нелепо выглядит именовать себя философом на основании записи в дипломе? Представители этой профессии — «штучный товар», их не может быть и не бывает много. А в советский период истории они почти что «не произрастали». Разве что чудом. По пальцам можно пересчитать.
- [6] А. Белинков. «Юрий Тынянов», с.27 (цит. по Интернет-изданию)
- [7] Один из таких основополагающих и извечных парадоксов образно и афористично выразил наш бывший премьер В. Черномырдин: «Хотели как лучше, а вышло как всегда». Впрочем, «как всегда» у нас получалось с завидным постоянством. И независимо от хотенья.
- [8] А. Белинков. Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша. М., 1991, с.137
- [9] Там же, с. 141
- [10] Там же, с. 191
- [11] См., к примеру, «Зияющие высоты» М,1976 г. и др. изд., «Светлое будущее» М., 1978 г., «Логическая социология» М.,2006 г., «На пути к сверхобществу». М., 2000 г.
- [12] Особое внимание в них акцентируется на роли *географического положения стран, их размерах, природных ресурсах, климате, численности населения и других естественных условиях развития. Этот аспект так или иначе затрагивается в трудах наиболее известных социофилософов, даже не принадлежащих к различным геополитическим направлениям русской общественной мысли. См.: Медушевский А.Н. История русской социологии. — С.- Пб., 1991 г.*
- [13] А. Белинков. «Сдача и гибель советского интеллигента, Юрий Олеша», М., 1991, с.132.
- [14] А. Белинков «Юрий Тынянов», М., 1965г., с.27 (цит. по интернет-изданию)
- [15] Там же, с.33
- [16] Там же, с. 102
- [17] Там же, с. 95
- [18] А. Белинков. «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша. М., 1991 г., с. 144-145

[19] На мой взгляд, тут все не так просто, не так однозначно. И этот вопрос заслуживает досконального изучения.

[20] Там же, с. 132-133. Ранее я уже приносила свои извинения, но сейчас еще раз прошу простить за длинные цитаты. Уверена, что лучше услышать самого автора, чем короткий пересказ его мыслей.

[21] Существует великое множество определений понятия общества, говорится об его многогранности. Но попыток, претендующих на то, чтобы представить его как обобщающую или универсальную дефиницию мне не встречалось. Это же относится и к понятию гражданского общества. В этом проявляется их размытость и трудности при попытках установить между ними однозначное соответствие. Но на ментально-бытовом уровне скорее интуитивно, чем рационально оно осознается.

[22] А. Белинков. Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша. М., 1901 г., с.116

[23] Там же, с. 117

[24] Там же, с.121

[25] Там же, с.123

[26] Там же, с. 124

[27] А. Белинков «Сдача и гибель...», с.131

[28] Там же, с. 117

[29] Истории взаимоотношений между властью и законом посвящено фундаментальное исследование В.Л. Шейниса, вышедшее в 2014 г. В этой книге автор формулирует важную мысль, перекликающуюся с идеями Белинкова.: **«В континууме власть (политическая система) — закон (Конституция) первичным и определяющим всегда была власть. Исходя из разных соображений, под давлением или по произвольному выбору власть вводила или изменяла Конституцию. Но никогда ни одна Конституция не сдерживала власть, когда та действовала в нарушение конституционных норм»** — см. В.Л. Шейнис. Власть и закон. Политика и конституции в России в XX — XXI веках. М., 2014 г. с.15.

[30] А. Белинков. «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша», с.118

[31] Там же, с. 158-159. Если бы А. Белинков был жив сегодня, то прочитав в Блоге Б. Вишневого о бывшем сотруднике радио «Свобода» А. Бабицком, который *«нынче организовал телеканал в т.н. «ДНР» на средства ее «министерства информации»* и утверждает, *« что он не видит отличий между войной в Чечне и ситуацией на востоке Украины»*, мог бы воскликнуть вслед за известным литературным персонажем: о, как я угадал, как я все угадал! (см. «Эхо Москвы»: Прощайте, Бабицкий., 22.07.15)

[32] А. Белинков. «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша», с. 64

[33] Там же, с.121

[34] Там же, с. 146. Сравните с совсем свежей репликой о том же неувыдающем феномене на материале современной действительности главного научного сотрудника ИМЭМО Г.И. Мирского «Бессовестные» (см. Блог на «Эхе Москвы» от 09.08.15)

[35] Там же, с.147-148

- [36] Там же, с. 243-244
- [37] Там же, с. 134
- [38] Там же, с. 146
- [39] Там же, с. 270
- [40] Там же, с. 181-182
- [41] Там же, с. с. 211-212, с. 116
- [42] Там же, с. с. 270-271, с. 153
- [43] Там же, с. 172, с. 93
- [44] Там же, с. 164
- [45] Там же, с. 190-191
- [46] А. Белинков. «Юрий Тынянов» М. 1965, с. 44
- [47] Там же, с. 58
- [48] А. Белинков. «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша» М. 1991, с. 136
- [49] Там же, с. 153
- [50] Об этом как раз сообщается в блоге А. Навального на сайте «Эха Москвы» (26.04.15): **«Сегодня выборы в Балашихе и Железнодорожном. Классика жанра: выгоняют с участка наблюдателей, режут им шины и, конечно, вбрасывают пакки бюллетеней».**
- [51] Там же, с. 269-270
- [52] О методах удущения НКО с клеймом иностранных агентов см.: Степан Опалев, Фарида Рустамова, Анастасия Михайлова — Подробнее на РБК: <http://top.rbc.ru/politics/17/10/2014/543ba9d5cbb20f6d797e67b9>
- [53] Там же, с. 270-271
- [54] Там же, с. 306
- [55] Там же, с. 310
- [56] Выражение из рассказа Г.И. Успенского «Будка»
- [57] Сопоставьте с цитатами из Белинкова, приведенными на стр. 14, 18, и со следующим его же пассажем: «Она (власть— Н.Ш.) хорошо, очень хорошо понимает, что если временно не уступит или, упаси Бог, уступит больше, чем требуется, то от нее останется только пренебрежительно написанная страница в истории отечества, и поэтому, сочтя уже доказанным, что возврата к прошлому не будет, начинает помаленьку убеждать, что либеральные затеи зашли слишком далеко и неокрепшие умы, не имеющие жизненного опыта, желают посягнуть на все святое. И тогда ищут какого-нибудь случая, чтобы все могли убедиться, до какой смуты и оскорбления святынь (в такие волнующие минуты обычная речь прекращает свое существование и начинаются шаманские заклинания) довели пособничество либерализму и мягкость властей. И такой случай, конечно, находят и начинают изво всех сил, но не очень заметно поворачивать историю вспять. И тогда, дождавшись своего часа, приходят застоявшиеся было ущемленные мерзавцы и, перебирая ногами

от нетерпения, щелкают зубами и засучивают рукава. Теперь они покажут, что такое настоящая синусоида. И показывают» (там же, с.137-139)

[58] О том же высказывается и многие другие. К примеру — Л. Шевцова, известный политолог, публицист: *«Чем жестче авторитаризм и герметичнее система, тем сильнее возможен прорыв на улицы. Особенно когда нет других каналов выражения интересов — свободных медиа, ТВ, профсоюзов, реально действующих партий. Вот и возникает эффект «кипящего чайника с закрытой крышкой». Это тот эффект, который создает сейчас Кремль, закрывая все клапаны, превращая остальные политические и общественные каналы в имитацию. Сама система порождает общественный протест». «Своим возрождением Запад будет обязан Путину». 14.04.15. Школа гражданской журналистики на COLTA.RU*

[59] Простите за длинную цитату, но уж больно она хороша.

[60] Там же, с.206-207. В одном из своих рассказов, помнится, В. Шукшин также обыгрывает эту ситуацию с прохиндеем Чичиковым в бричке.

[61] Н.В. Гоголь. Мертвые души



Эдуард Бормашенко

БЛАГОСЛОВЕНИЕ И ПРОКЛЯТИЕ ТВОРЧЕСТВА

בס"ד

Творчество — главная радость человеческой жизни. Мне всегда было жаль людей, не знавших этой радости. Алдановский Бальзак в «Повести о смерти» изумлялся: а зачем, собственно, живут бесталанные люди? Быть может главное, что доставляет творчество, это ответ на вопрос «зачем?», предлагая иллюзию смысла жизни, хотя бы на мгновение, на час. «Я живу для того, чтобы писать, доказывать теоремы, снимать кино»... Потом наступает похмелье, но это же — потом...

Я убежден в том, что творческая зависимость — наркотическая. Если долго не пишешь, не придумываешь эксперименты — чувствуешь ломку, похлеще той, с которой знаются алкоголики, бросающие пить, и курильщики, завязавшие с курением. Наверняка можно проследить точный биохимический цикл творческой зависимости, выяснить, какое именно вещество выделяется и на какие рецепторы действует. Французы говорят: кто пил, тот и будет пить, а я скажу: кто писал, тот и будет писать. Опростившийся, размягченный и умиленный Толстой, тайком от всех, в стол, писал своего бесподобного «Хаджи-Мурата».

Мой друг Пинхас Полонский утверждает, что в творческом акте человек ближе всего к Тв-рцу, и источник радости творчества — ощущение близости в Вс-вышнему. Это лишь приятная, ласковая полуправда. Истинному творчеству покровительствует вечный благодетель художников — дьявол. Декорации сталинской Москвы в «Мастере и Маргарите» наводят на поверхностное отождествление дьявола с конкретным режимом (и в самом деле сатанинским).

На самом деле, от Мастера всегда потягивает серой, в этом Сталин неповинен. Для Мастера полуправда хуже лжи. Обнажение бытия — сущность Искусства. Истэблишированные церкви знают, что это обнажение

с жизнью несовместимо, и горой стоят за кусочно-прерывистую, спеленатую полуистину.

Для упорядоченной, благолепной человеческой жизни ее более чем достаточно. Срывание фиговых листков — страшнейшее из аутодафе. Но это аутодафе — дьявольское. Мир, как он есть, — непереносим.

Обнаженные фигуры, написанные Микеланджело в Сикстинской капелле, разгневали кардиналов, и они наняли способного мазила «одеть» Адама, Еву и самого Вс-вышнего. Этого живописца называли «*браккетоне*» — панталонщик. Эта история — метафора взаимоотношений Искусства и религии (именно религии, не веры). Искусство срывает покровы с жизни, религия их набрасывает, следя за тем, чтобы жизнь не прекращалась. Правда моцартовского Реквиема, «Пшеничного Поля с Воронами», «Смерти Ивана Ильича» с жизнью несовместна.

В моей молодости на слуху было «творчество масс». Это — попросту словесная абракадабра. Массы ничего творить не могут. А вот творческая среда — омерзительна. Какие темные страсти в ней бушуют. Творчество делает человека тщеславным, завистливым, эгоистичным, черствым. Ландау совсем не шутил, когда говорил, что детей заводить не надо, а если уж заведутся, следует их выставлять в форточку. Творчеству мешают все и все: дети, близкие, друзья, жены.

Игнатий Потапенко, приятель Чехова (Антон Павлович сплавил ему надоевшую Лику Мизинову), писал:

«Каждому художнику слова ведомо это ощущение: работая в присутствии другого, он чувствует, как будто тот слышит его мысли, видит образы, возникающие в его голове, следит глазами за их чеканкой, отделкой, за всем интимным процессом творчества. Это — мучительное чувство, которого обыкновенно не понимают и не признают близкие. "Я тебе не помешаю?.." — говорит жена или сестра, садится рядом и читает книгу и... мешает, потому что мысли и образы стыдятся, бледнеют, прячутся».

А еще говорили Потапенко — бездарь, второсортный писатель. Наблюдательность у него была отменная. Жены, сестры, дети — все мешают творчеству.

Мир, созданный Тв-рцом всего сущего, оттого так интересен, что Б-г ни с кем не советовался. Добрые люди посоветовали бы создать его попроще, помельче, попонятнее, а главное — разумнее.

Композиторы о себе говорят: «человек человеку — композитор». Но в точности то же могут сказать о себе, прозаики, поэты, живописцы. Солнышко русской поэзии, И. Бродский, как-то ухаживал за прекрасной венецианкой Мариолиной Дориа де Дзулиани, и писал об этом так: «Она была действительно сногшибательной, и когда в результате спуталась с высокооплачиваемым недоумком армянских кровей на периферии нашего круга, общей реакцией были скорее изумление и злоба, нежели ревность или стиснутые зубы, хотя, в сущности, не стоило злиться на тонкое кружево, замаранное острым национальным соусом. Мы, однако, злились. Ибо это было хуже, чем разочарование: это было предательство ткани».

А знаете, кто такой: «недоумок армянских кровей»? Это интеллигентнейший, благороднейший Мераб Константинович Мамардашвили, гений философской мысли XX века. Можно пригнать в строку тухлую переписку Ньютона с Лейбницем, нецензурно обвинявших друг друга в плагиате, мнения Ландау об Илье Пригожине, Френкеле которыми он щедро делился с учениками. От Пастера прятали свежие номера научных журналов. Если в них попадалась статья Либиха, Пастер приходил в неистовство. Исключения из этого поноса гениальной ненависти к коллегам — штучны. Фарадей предпочитал свободное время проводить с сапожниками, переплетчиками, шорниками, едва умевшими читать и писать. Я его прекрасно понимаю, надо же и отдыхать от академического, творческого злопахательства.

Платить приходится за все, а за радости творчества и плата — от души. Бочка с дерьмом, которую на тебя опрокинут коллеги, отчуждение от близких, все ерунда по сравнению со страхом. И страх этот — не очистительный страх Б-жий, а страх исписаться. Постоянный ужас: все, конец, исписался. Получается бездарно, неталантливо. Зачем же тогда жить? Диоклетиан, которому смертельно надоело отправление императорских обязанностей, плюнул на сенаторские лысины и отправился в свое имение, выращивать капусту. Когда навещавшие его друзья пыта-

лись завести с ним беседу об интересном, то бишь о политике, он говорил им: «А поглядите, какая у меня капуста». От творчества капуста не помогает. Толстой, тачая сапоги, прошивал в голове строки «Хаджи Мурата».

Раньше люди жили для Б-га, с тех пор, как бога раскассировали, те, кто попроще, стали жить для жизни, а одаренные — для творчества, культуры. Подмены, как водится, не заметили. От нее не выиграли ни божеское, ни творческое.



Сергей Носов

ГРИМАСЫ ПУСТОТЫ

Начнем это небольшое эссе с двух следующих, парадоксальных в своем сочетании, общих тезисов: Россия — страна торжествующей неподвижности и в то же время она же, Россия — мир торжествующей пустоты, «всесмешения» аннулирующих друг друга противоречий, когда «плюс» уравновешенный с соседствующим вблизи «минусом» благополучно «равняется нулю».

Первое утверждение даже, вроде бы, и банально. Кто только ни называл Россию неподвижной! Апофеозом в этом смысле был, конечно, XIX век. Так, духовной основой знаменитого романа И. Гончарова «Обломов» во многом стало, на наш взгляд, всеохватное художественное уподобление всей многоликой России фантастически огромной, спящей непробудным сном Обломовке. Этим Гончаров как автор «Обломова» временами даже бывает тронут, по своему умилен (хотя в целом и испытывает по этому поводу весьма сложные чувства) и это Гончаров, думается, втайне не слишком и осуждает в своем сознании как не осуждал бы и сладкий сон при всей его нереалистичности и «непрактичности»...

Напомним, как все это было, как выглядел в изображении Гончарова тот благословенный край, где счастливо расположилась Обломовка: «небо там..., ближе жметя к земле, но не с тем, чтобы метать сильнее стрелы, а разве только чтоб обнять ее покрепче: оно распростерлось так невысоко над головой, как родительская надежная кровля, чтоб уберечь, кажется, избранный уголок от всяких невзгод.»

Это очень характерно — небо в краю благословенной Обломовки «жметя» к земле. Земля и небо, конечно же, должны быть близки в таком восхитительном, подобном счастливому забытию, краю вечного покоя, должны пребывать там в сказочном единстве, настолько полном, что и непонятно становится в конце концов «что есть что» у близкого тамошнего горизонта: где же земля непонятно, где — все таки небо, где — явь, где — только наваждения и сны...

Так и возникает, собственно говоря, вместо динамичного энергического и ясного образа России нечто ничего определенного кроме аморфного покоя не значащее, а именно — фатально неподвижная картинка «покоя вообще», навязчивая как марево и постепенно застилающая все окружающее, превращающая его в бесконечную туманность и вечную неопределенность или — в Пустоту.

Знаменитый российский писатель наших времен, В. Пелевин, в романе под характерным в смысле символики образа России названием «Чапаев и пустота» уже без всяких «сновидческих прикрас», ядовито и иронично заявлял от лица своего главного героя: «Всякий раз, когда в сознании появляются понятие и образ России, надо дать им самораствориться в собственной природе. А поскольку никакой собственной природы у понятия и образа России нет, в результате Россия окажется полностью обустроенной».

Пустота не только постоянно преследует главного героя данного романа Пелевина. Этот герой даже именуется неким Петром Пустотой и в конечном счете только гримасы пустоты перед собой и видит, пребывая в разных уголках России и в участвуя в разных эпизодах российской истории, которые «в сумме» сливаются для него в явный бред, а в конце концов — во все ту же «вечную мнимость», вечную иллюзорность или вечную Пустоту.

Причем, подобное убеждение и подобный опыт субъективного мировосприятия данного героя Пелевина — не издевка искусственного в «кривляниях мысли» автора над простодушным своим читателем. Это действительно устойчивое и достаточно выверенное убеждение как названного героя, так и самого автора романа «Чапаев и пустота», которые (причем, именно оба — и герой, и автор) вообще по настоящему не признают внешний по отношению к человеку объективный мир в любых формах.

Тем не менее, иллюстрируется и художественно доказывается Пелевиным такая отнюдь не новая философская мысль (этакий солипсизм в квадрате) на примере исторических ликов жизни именно России XX столетия. И это — уже в известном смысле диагноз.

Настолько они шокирующее разные и фантастические, настолько они поразительно взаимоисключающие, эти лики русской жизни в изображении Пелевина, что и действительно непонятно — где же все таки (а аду ли, в раю ли, во сне ли, в бреде ли...) ты в действительности находишься, читая сей роман; непонятно, что же все-таки представляет собой и означает то, что тебя в данный момент в этом романе, изображающем, вроде бы, просто некие островки жизни «матушки России», окружает.

Однако не будем чрезмерно увлекаться аллегориями и всеохватными метафорами подобно самим создателям романов и иных чисто художественных текстов. Всему или очень многому в этом мире все-таки есть далеко не условные, не этикие иносказательные, а вполне здравые и прозаические объяснения.

Образ России и восприятие ее жизни исторически складывались в противопоставлении как Западу (Западной и Средней Европе в первую очередь), так и Востоку (Средней и Дальней Азии во всех ее ликах). Преимущественно же — конечно, в противопоставлении Европе, позже и США, словом — Западу.

В сравнении с Западом же и Московская Русь и, скажем, николаевская Россия (середины XIX столетия) и даже брежневский СССР «эпохи застоя» — мир неподвижности, мертвого и как бы косного, «заскорузлого» покоя, мир, в котором жизнь никогда не бурлила, не была ключом, мир, в котором, в сущности, вообще ничего значимого не происходило годами и даже десятилетиями: царствовали там то ли вялые сны, то ли унылая и притом чисто «ритуальная», как бы формальная явь, то ли просто Пустота под разными и всегда крайне обманчивыми личинами...

И это, на наш взгляд, достаточно объективный (хотя и один из многих возможных) взгляд на устойчивые исторически сложившиеся лики русской жизни как изнутри самого так называемого русского мира, так и, тем более, извне, «со стороны», когда конкретные контуры русской жизни вообще теряют «за дальностью наблюдателя» определенность очертаний.

По крайней мере, размыть — до Пустоты — любой содержательный образ России, подобно Пелевину, соблазнительно легко.

Ведь, известно же для начала сего процесса размывания образа России до головокружительной пустоты — ленив русский человек, ленив и нередко бездеятелен при всей «доброте душевной». И жизнь русская потому часто напоминает в своей неподвижности, конечно, не «разгул страстей», а бессодержательную пустоту покоя... Не зря же некогда с большим подъемом писал увлекавшийся всеми «национальными типами» земли русской Ап. Григорьев, что вечно лежащий в полудреме на своем старом продавленном диване Обломов и есть «наш русский, коренной национальный тип».

Мы не отрицаем — нечто если не благословенное как мифическая счастливая Обломовка, то все же чарующе поэтичное в этом невозмутимом российском покое есть: это жизнь вне суеты, наживы и стяжательства, имеющая свои достоинства, свое очарование, свою беззаботную поэтическую притягательность...

Однако, обратим внимание на следующее: неподвижность мирно спящего человека не есть неподвижность только покоя, а, тем более, неподвижность смерти.

И во сне или, точнее, в снах все-таки что-то с человеком происходит... Только все происходящее во сне — по большому счету лишь иллюзия: грезится, снится, как бы случается, но на самом деле, в физи-

ческое действительности — не случается, в материальных формах вовсе не происходит, а только лишь кажется, снится.

Значит же все это только одно — что фактически равняется такое как бы существование бездеятельной до бессмысленности неподвижности или составленной из снов беспредметной Пустоте.

Причем, сны при этом не однородны, исполнены пусть иллюзорных, но порой сильных чувств, полны нередко лишь кажущихся, но все же ярких событий, которые, однако, так фантастически перемешаны в этих снах, так легко путаются в них друг с другом, что в конечном счете образуют полнейшее всесмешение, которое уже ничего определенного не значит, ни о чем решительно не свидетельствует и фактически тождественно все той же Пустоте.

Также и «плюс» метафизически равнозначен «минусу», и бесконечность равна отсутствию протяженности, и слишком быстрое движение напоминает лишь форму покоя... Ведь, бессмыслица, хаос и пустота — практически одно и то же.

И бывает, так и кажется под гипнозом изнурительных от вечной путаницы событий «русских будней» и сопровождающих их путаных до полной сумятицы впечатлений и чувств, что в нашей российской жизни все настолько противоречиво, что — как «плюс» с «минусом» — взаимно аннигилируется и сводится в итоге к все тем же вечным гримасам Пустоты, где все равняется ничему и каждый постоянно отрицает, «перечеркивает» самого себя, не говоря уже о том, что все друг другу только снятся...

Бредовая действительность, сотканная из череды галлюцинаций, самообманов, миражей и иллюзий? — Увы, в значительной мере именно так.

Пелевин, на наш взгляд отнюдь не ошибся принципиально в своем только на вид избыточно экстравагантном диагнозе состояния России в XX веке, заявляя, что, мол, все-то в России есть только бредовые сны и мнимая явь, которую способно принять за настоящую действительность лишь больное сознание.

Мы отнюдь не удивляемся, хотя и не «аплодируем» таким, например, строкам названного выше романа Пелевина: «Восемь тысяч двести верст пустоты, — пропел за решеткой радиоприемника дрожащий от чувства мужской голос, — а все равно нам с тобой негде ночевать... Был бы я весел, если б не ты, моя родина-мать...»

Кажется, своими воображаемыми и реальными историческими безумствами, своими вечными фантазиями и иллюзиями русская жизнь и история XX столетия героя романа «Чапаев и пустота» и равным образом автора этого романа-фантазмагории явно достали, как теперь в просторечии и в «в сердцах» обычно говорится.

Что делать! Родную историю и родную историческую действительность не выбирают в отличие от индивидуального образа жизни, квартиры, тапочек и банного полотенца...

Вместе с тем, обманывать себя миражами, сладкими и, якобы, вещными снами, эйфорией «чистого вымысла» и тому подобными радостями и «финтами» сознания в XX веке и, тем более, в начале XXI века можно было бы поменьше и в нашей всегда особенной России, хотя Россию — признаем и это — принципиально все таки на «заморский лад», судя по всему, не обустроить.

Отнюдь не удивительно в связи с вышесказанным, что Россия, например, в глазах того же Запада нередко и до сих пор — некое почти сказочное царство неподвижности или же ледяющий душу океан самовластья и грубой силы, где все алогично и странно, все «перевернуто с ног на голову» и решительно не поддается доброжелательному восприятию и благостной оценке.

Вспомним, например, как очень известный и авторитетный в свое время западный культуролог, Д. Биллингтон, писал (в 1966-ом году), не только играя на парадоксах русской жизни и истории, но и явно веря в высокую правдивость своего понимания России и русских, что в России всегда «Топор и Икона» и символически, и даже фактически менялись местами в своей жизненной роли и в своем значении для российской действительности и для русской души — «иконы использовались шарлатанами и демагогами, и топоры святыми и художниками».

Это заявление, собственно, и означает, что в России — все всегда «наоборот»: иллюзорно, сказочно и страшно одновременно.

Россия, по Биллингтону (и его точка зрения для современного — в широком смысле — Запада до сих пор еще характерна), есть странный мир, где все «наизнанку»: все не равно своему видимому значению и поэтому условно, призрачно, всегда таинственно, зыбко и небезопасно.

Ненадежный, непредсказуемый и опасный российский мир, одним словом...

При этом многие традиции самой культуры вполне откровенно подталкивают к подобному недружественному восприятию русской жизни и истории.

Подталкивает к этому, например, то, что как жестокое насилие над русской жизнью, как «злой мираж» и болезненное порождение фантазий царя-тирана где-то на самом краю «поруганной» безжалостной царской волей России, долгое время воспринимался в отечественной культуре и литературе европеизированный и внешне прекрасный петровский «город-парадиз», Петербург.

Традицию эту, как известно, начал и утвердил сам Пушкин в «Медном Всаднике» (хотя Пушкин же и воспел Петербург — «юный град», родившийся из «топи блат» как «полнощных стран краса и диво»).

Гипнотизирующе ярко продолжил традицию неверия в явь насильственно «внедренного» в Россию миражного, неестественного, странного до болезненности Петербурга Достоевский в «Подростке», да, и в других своих творениях.

По-своему отдали этой традиции свою дань и тем укрепили ее Н. Гоголь, Ап. Григорьев, И. Тургенев, А. Герцен... Да, и кто только не вносил в эту старую и, увы, богатую традицию свою лепту в былой просвещенной России! — Очень и очень многие, вплоть, например, до утонченного поэта-лирика, И. Анненского, хотя и в его творчестве традиция сия себя, к сожалению, не исчерпала.

Если же огромный (по меркам XIX и начала XX веков) имперский город и, причем, столица необъятной евроазиатской Империи — только мираж, призрак, то, что тогда можно сказать о самой Российской Империи, чья столица есть всего лишь некий фантом, мираж, навязанный пока еще живой, но совсем уже беспомощной «естественной» русской жизни? Тогда и эта Империя — только хрупкий Колосс на глиняных ногах: вот-вот исчезнет с лица земли, «развеется как дым» (кстати, так «пламенные революционеры» русские уже с 1860-х годов и думали). А сама русская жизнь? — И она тогда второе столетие беспомощно тонет в этом злом, болотном «петербургском тумане», тонет и скоро, совсем скоро «сойдет на нет..», такая подавленная, такая бедная, такая униженная европеизмом, что, кажется, и она вот-вот на глазах «рассыпается в прах»...

Вот так! — Сами нафантазировали, напели, накликали на свою голову, что живем в каком-то мороке, в навязчивом зыбком, болезнетворном петербургском имперском «болотном сне»!

Что же говорить тогда о давних геополитических «недрузгах России» — им и карты в руки слагать свои песни о том, что Россия есть что-то вроде навязчивого полуазиатского морока или, пуще того, есть мрачный призрак вселенского зла, которым впору пугать непослушных детей из малых стран слишком близкой к России Европы.

Допустим или даже признаем целиком и полностью, что Россия действительно во многом — не Европа. Не только географически.

Сам российский менталитет в том виде как он сложился к настоящему времени явно отличен от европейского. Больше, чем в Европе уважают и ценят в России Государство и его (обычно единственного) Вождя, много меньше, чем в Европе ценят и уважают независимую личность, которая способна порой и демонстративно противопоставить себя обществу, и, если угодно, «наплевать на общество», открыто презирать его.

Именно эти русские национальные черты воспевали как особое выражение соборного русского духа славянофилы. Так, в частности, К. Аксаков, писал: «Личность играет в русской истории вовсе небольшую роль; принадлежность личности — необходимо гордость, а гордости и всей обольстительной красоты ее — и нет у нас...»

Однако, пусть русский человек и особо проникнут христианским смирением в сравнении с гордым, надменным европейцем, как верили славянофилы, или же просто крайне пассивен и бездеятелен, как пола-

гали недруги славянофилов, достаточно принципиальные отличия России от Европы и этим далеко не исчерпываются. И не исчерпываются, вот, почему: в России и едвали не «только в России» традиционно очень любили и до сих пор невообразимо любят всевозможные фантазии и грезы, всевозможные художественные и антихудожественные, политические, социальные, нравственно-учительные и иные мечтания и сказки разного уровня сложности и затейливости.

Сказки, выдуманные идиллии и безостановочное сознательное и стихийное фантазерство или, образно говоря, наводнение вымысла во всех допустимых и недопустимых его формах роковым образом подавляло и до сих пор подавляет в России «здравомыслящую» явь жизни, подменяет ее также как, например, захватывающе увлекательное действие, происходящее на киноэкране, заменяет деятельную жизнь неподвижно сидящим в темном кинозале зрителям...

Особое российское доверие к вымышленному сказочному миру, миру сладких снов и всевозможных грез, конечно же, есть детская черта — характерная особенность инфантильного сознания, внедрившаяся в жизнь и культуру.

Хотя эта чисто российская особенность мировосприятия была парадоксальным образом едва замечена ранее в культурологии, в больших работах по истории русской культуры, она тем не менее — просто бросается в глаза и совершенно очевидна.

И, конечно, эта черта играла весомую роль в формировании облика реальной русской жизни во все времена!

Поверить, например, коммунистическим утопиям, верить примитивной, хотя и зловредной, хитрой в то же самое время коммунистической «сказке про белого бычка» (про сказочное равенство, братство и счастье, которое принесет на своих трудовых плечах славный марксистский пролетариат и пр..) было легко и крайне соблазнительно как раз в России с ее склонностью безгранично, беззаветно отдаваться сладкому вымыслу и сладким снам, безоговорочно верить любым волшебным сказкам, сколь бы глупы и даже нравственно безобразны они порой ни были!

Заметим в этой связи, что приход к власти большевиков в 1917 году этот традиционный для русского сознания и трагический на самом деле отрыв от яви жизни во имя сладких снов и волшебных сказок только многократно увеличил.

Тогда поверхность русско-советской жизни уже просто нагло, диктаторски и хамски заполнили собой навязчивые коммунистические галлюцинации, якобы, сулящие всенародное счастье, а рядом с ними открывенные, практически равнозначные пустому вымыслу, социально-экономические и политические «научные бредни» марксизма-ленинизма.

Что нам тогда был давний «европейский мираж» воздушно-прекрасного и царственного в своей имперской красоте петровского Петербурга! У нас в те времена, прямо как джин из табакерки, восстала из своего духовно-политического провинциализма и вознеслась новенькая партократическая Москва, напоминающая и с виду настоящее вавилонское столпотворение и даже архитектурно чудовищная. Обустроилась на народные деньги, раздулась тогда Москва как некое сказочное «сердце нашей Родины» и, уж, совсем сказочный «порт семи морей» и воплощение немислимого социалистического праздника жизни!

Более того — мы строили тогда не что-нибудь сугубо национальное, а самый настоящий всеобщий и удивительно похожий на рай на земле коммунизм, хотя для начала построили бесчисленные оборонные заводы, казармы, каналы и гигантский ГУЛАГ с его лесоповалами, где «сталинскими щепками» стали живые и ни в чем не повинные люди.

Какая могла быть в том ныне, к счастью, давно покойном СССР объективная действительность или просто здравая явь жизни! Морок коммунистических полубомбочных галлюцинаций и снов так счастливо и так прочно ее тогда заменял...

Смешная детская вера в волшебные сказки и поразительная способность к лихому, беззаветному вранью «вдвоем» очень помогали тогда официально главному советскому занятию — неустанно и почти всерьез строить мифический коммунизм. Потом, уже на закате страны советов, когда решили в СССР быть все-таки поскромнее и «врать, но не завираться», строили, опираясь на сны и сказки, уже нечто попроще — аморфный, благостно расплывчатый, почти неосязаемый «развитый социализм».

Не столь многое, как может на первый взгляд показаться, изменилось в смысле особого доверия в России сказочному миру «липовых снов» и ныне.

Теперь мы, как недавно окончательно выяснилось, «нежданно-негаданно» создали лет за десять-двенадцать свой особый и опять-таки волшебный, сказочный русский мир. Мир этот, конечно, не богатый, но — зато удивительный, сказочный, весь сплошь суверенный, волшебный и родной.

В этом своем суверенном сказочном русском мире мы теперь боремся во сне и наяву, прежде всего, с мировым гомосексуализмом, который наши «партнеры» с морально разложившегося уже два века назад Запада нагло и агрессивно внедряют теперь в целомудренную Россию с подрывной целью.

И мы ныне только совсем самую малость, лишь в «свободное от сказок время», да и то не всегда ворует помаленьку, хотя в основное время дня и ночи только и делаем, что бережем — или гордо верим, что бережем свою — со времен Екатерины Великой и графа Орлова твердо утвержденную — высокую, незамутненную нравственность.

Самое главное же в том, что у нас теперь снова как в сказке «завсегда» впереди добродетель и вера! Даже коммунисты нынче прилежно почитают Церковь и господу Бога, единого и неделимого, а вовсе не взрывают храмы динамитом как в старое доброе сталинское время.

Даже сама вера у нас снова стала волшебной и поэтому очень заражительной (особо для высокого начальства), она уже и в Государственную Думу проникла, и в родном Правительстве распространилась, у активных губернаторов все чаще встречается, и у деятельных оборотистых бизнесменов. Всем теперь без веры — никуда, «кранты» или «крышка». И все расширяется эта наша нынешняя общая сказочная и волшебная вера, все укрепляется...

Словом, в нашей стране «теперича не то, что давеча», хотя мы и можем опять торжественно рапортовать, что сказка снова стала былью...

Да, посмотришь иной раз на современную Россию, скажем, нервным взглядом отъявленного пессимиста, В. Пелевина, — и «узришь» такую явь, что впору будет действительно принять ее за галлюцинацию и попроситься в спасительный дурдом, где много лекарств и нет никакой объективной действительности кроме больничных стен...

Впрочем, ничего совсем такого страшного, такого, уж, совсем противного и отталкивающего в современной России все-таки не видно.

Необдуманно сгущать краски, нагло врать, беззастенчиво преувеличивать и очернять не будем!

На дрессированного «до скрежета зубовного», натасканного на ненависть ко «всем буржуйам» сталинского монстра наша нынешняя миролюбивая и чадолубивая олигархическая Россия давно уже вовсе не похожа.

Весь свет лишь по старинке пугают «такой загадочной и такой опасной» Россией как всегда очень богатые, но как обычно крайне недалекие американцы, для которых, что нападение России на Китай, что падение Луны на Землю или нашествие «серых» инопланетян на черную Африку — все одинаково реально и стоит того, чтобы на это посмотреть и удивиться, а порой даже и заплатить за такое увлекательное зрелище своими вездесущими долларами.

Тем не менее, какой-то иллюзорностью, призрачностью, сопричастностью странному, во многом алогическому и несколько «неадекватному» в своих бурных порывах Зазеркалью все-таки веет и от России нынешней.

Как в былые времена слепо верят и в современной России в яркие миражи и бледные призраки, как раньше не слишком часто различают где реальность, а где вымысел, где просто вранье «для красного словца», а где и на самом деле «что-то было»...

По-прежнему тонет Россия в своем неизбежном инфантилизме, путается в том, в какую сказку сегодня поверить, а какую — надолго забыть.

И настолько это все — грезы, призраки, явь, сны, наводнения хаоса, всплески гармонии, порывы высокой культуры, наплывы хамоватой дикости и, наконец, веселый смех и слезы горючие — перемешано, перепутано в России, что прямо «рябит в глазах» как от ослепительно яркого солнца...

Невольно хочется порой глаза свои закрыть, зажмурить, забыться в бессознательности, побыть хоть иногда таким счастливым с «незнайкой», которому так беззаботно, весело живется...

Но все стоит и стоит перед внутренним взором странный, как бы вечно качающийся «из стороны в сторону» образ огромной и фантастической во всем, всем, всем страны — какая-то ледяная северная глыба ни пойми чего: то ли высокого нравственного смысла, то ли полной бессмысленности, то ли непонятого высшего духовного содержания, то ли чистой как белый лист Пустоты со всеми ее старыми и новыми историческими гримасами, «ввихами» и «приплясами».



Александр Кунин

ЛЮДИ и УБЕЖДЕНИЯ

(Окончание. Начало в № 10/2015)

" Из глубины зываю..."^[1]

Большинство верующих получает свою религию как семейное наследство от предыдущих поколений. Им не требуется больших интеллектуальных усилий, но их отношение к религии не всегда заслуживает того, чтобы называться *убеждениями*. Есть, однако, категории иного рода.

Некоторым людям для сохранения душевного здоровья совершенно необходима хорошо выстроенная система убеждений, определяющая важнейшие жизненные ценности. В «Исповеди» Льва Толстого с замечательной полнотой исследован кризис, вызванный сознанием бессмысленности человеческой жизни и ужасом перед пропастью, к которой она неумолимо движется. Мучительное состояние страха смерти сопровождалось у него навязчивыми мыслями о самоубийстве. Главная трудность состояла в согласовании религиозного чувства с критическими требованиями разума. «И чем больше я молился, тем очевиднее мне было, что он не слышит меня и что нет никого такого, к которому бы можно было обращаться». После трехлетних страданий и непрерывных интеллектуальных усилий, пришло, наконец, озарение: «Так чего же я ищу еще? — вскрикнул во мне голос. — Так вот он. Он — то, без чего нельзя жить. Знать бога и жить — одно и то же. Бог есть жизнь. И сильнее чем когда-нибудь все осветилось во мне и вокруг меня, и свет этот уже не покидал меня. И я спасся от самоубийства». ^[2]

Толстой не получил прямого ответа от того, к кому он зывал. Но в исповедях других, переживших подобный же кризис, мучительная душевная работа не осталась без отклика и помощь пришла как награда за усилия.

Из «Исповеди» Аврелия Августина: «И вот слышу я голос из соседнего дома, не знаю, будто мальчика или девочки, часто повторяющий нараспев: «Возьми, читай! Возьми, читай!» Раскрыв наугад апостольские Послания, Августин прочел: «Не в пирах и в пьянстве, не в спальнях и не в распутстве, не в ссорах и в зависти: одлекитесь в Господа Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Я не захотел читать дальше, да и не нужно было: после этого текста сердце мое залили свет и покой; исчез мрак моих сомнений». ^[3]

Ученому и богослову Павлу Флоренскому помогло преодолеть кризис вмешательство, в природе которого он никогда не сомневался. Пробужденный от сна «влиянием могучей силы» и вызванный из дома, он услышал «совершенно отчетливый и громкий голос» дважды назвавший

его имя. Этого было достаточно для работы, в итоге которой «переставились все смысловые ударения» и «началось разоблачение знания, сперва только научного, затем и вообще». [4]

Молодая израильтянка Далия вернулась после посещения Освенцима с тяжелым чувством беспомощности перед силой зла и бессмысленности человеческого существования. В поисках психологической опоры она стала замечать посылаемые ей многочисленные знаки. В дорожных тремпах рядом с ней часто оказывались религиозные люди, а однажды в опасной близости проехал грузовик с надписью: «Нам не на кого надеяться кроме отцов наших на небесах». Выход был найден, и он был в опоре на Бога. [5]

Эти примеры выбраны из немалого числа им подобных. Взывая из глубины страха и отчаяния, ответ надеются получить «свыше». Но получают его из глубины собственного бессознательного. Это не фрейдовское бессознательное, хотя некоторое сходство и создают "голоса" и "знаки", которые сообщают о внутренней работе не в прямой, но преобразенной форме. При благоприятном исходе достигается устойчивое душевное равновесие, хотя развитие и согласование убеждений может продолжаться еще долгие годы.

У других религиозный путь начинается иначе. Молодая израильтянка Кинерет Твиг получила тяжелейшие травмы во время теракта в тель-авивском кафе в 2002 году. Возвращение к жизни представлялось чудом и ей самой и всем её близким. Еще одним чудом казался результат целой серии хирургических операций — возвращение в общество, успешная творческая работа, семья. Благодарность тому, кто только и мог быть главным организатором этих чудес, побудила Кинерет к соблюдению религиозных обрядов. Она нашла понимание в небольшой общине харедим (ультраортодоксов). Прошлая, «внешняя» жизнь казалась ей теперь бессмысленной тратой дара, полученного вторично. [6]

Путь Кинерет Твиг проходят многие, обратившиеся к религии после чудесных спасений во время стихийных бедствий, выздоровления от тяжелых и опасных болезней, избавления от всякого рода несчастий случайного или непонятного происхождения. Здесь как раз и проявляется склонность человеческого мышления к *религиозной атрибуции*, о которой речь шла в первой части работы.

Совсем нередким является прозаический путь приобщения к религии в силу жизненных обстоятельств. Европейские супруги мусульман знакомятся с новым для них образом жизни, новыми религиозными понятиями и после некоторой интеллектуальной работы принимают их.

Мои убеждения — моя крепость

Не удивительно, что люди, выстроившие свои убеждения после не легких, а иногда и мучительных душевных усилий, будут защищать их с изобретательностью и стойкостью. Только так они смогут сохранить с тру-

дом достигнутое душевное равновесие. Но поскольку религиозные убеждения по сути своей убеждения коллективные, у них есть и другое важное качество — способность группового сплочения. И это еще одна причина, по которой группа будет держать круговую оборону против всех атак на её убеждения.

Самый трудный, самый мучительный вопрос для современных религий: «Где был Бог во время Холокоста?» И вопрос этот, по понятным причинам, не теряет остроту именно в Израиле. Интернет позволяет и сейчас услышать голоса «из народа», не обремененные «политкорректностью». Ниже представлен диалог между верующим и атеистом, составленный по дискуссии на сайте Хофеш (Свобода)^[7]. Первый из них назван Рафаэлем, второй — Уриэлем.

Уриэль: Как совместить Шоа (Холокост) с существованием Бога?

Рафаэль: Вспомни, в то время происходил в громадных размерах *итболеют* — смещение евреев с другими народами, принятие их веры, их культуры. И Бог «скрыл свое лицо от народа Израияя».

Уриэль: Скрыл свое лицо, когда истребляли его народ? Убивали беременных женщин, проводили медицинские эксперименты на детях? И это твой *Эль мале рахамим* — Бог, исполненный милосердия? Твой Бог — мстительный и безжалостный психопат.

Рафаэль: Преступления народа, который оставил праведный путь и соблазнился, как уже бывало, "греческой мудростью" были столь велики, что понадобился *тикун* — исправление. Но даже смерть в Холокосте предпочтительней страданий в аду. Погибшие искупили своей смертью эту участь.

Уриэль: В таком случае, Гитлер — проводник политики Бога и действовал по божьему поручению?^[8]

Рафаэль: Мы не можем обвинять Бога. Это люди, это ваша европейская культура. Это ваши школы, университеты, ваши картины и скульптуры. А Бог не вмешивался, так как дал людям, в отличие от животных, свободу воли.

Уриэль: Зачем же вы молитесь, просите у Бога то и это, если он не вмешивается даже в самых важных случаях? Если никто не может знать о намерениях Бога, то почему вы покорно принимаете все, что ваши раввины предписывают вам от его имени?

Рафаэль: Только гордыня внушает человеку, что он может понять все.

То, о чем спорят Рафаэль и Уриель — это лишь последняя глава в многовековом споре о *теодицее* — оправдании всемогущего и всеблагого Бога, создателя мира, где столь явно присутствуют беды и несправедливости, называемые коротким словом *зло*.

Рафаэль мог бы добавить в пользу своего подзащитного, что именно всемогущество Бога не дает злу окончательной победы. Всё может и всё будет исправлено — в другой жизни, счастливой и вечной. *Уриель* мог бы оспорить один из главных доводов защиты: если Бог предоставил человеку выбор между добром и злом, «уважил» его свободой воли, то какой выбор былу 250 тысяч погибших во время цунами 2004 года в Индийском океане? И какой выбор должен был сделать ребенок с врожденным тяжелым заболеванием? Эти взятые наугад примеры могут быть, разумеется, умножены многократно.

Изобретательность человеческого ума в защите психологически важных убеждений удивительна. Но спор о теодицее, после всех изгибов и поворотов, приходит к дилемме, где каждая из сторон предлагает свой последний довод.

Окончательный ответ теологов прост и неуязвим: *пути господни неисповедимы*.

А ультимативный ответ атеистов — это ответ Стендаля: *единственным оправданием Бога является то, что он не существует*.^[9]

Холокост не вызвал массового отказа от Бога и не изменил существенным образом религиозные убеждения. Был, разумеется, и отказ («Бог умер в Освенциме»), были и перемены (Бог перестал быть богом истории), но коснулись они немногих и религия в целом не понесла большого урона. Это устрашающее событие могло даже побудить к поиску опоры за пределами человечества, как это случилось с израильтяжкой Далией.

Встречное движение

Европейские просветители, а вслед за ними и все сторонники прогресса полагали, что наука и всеобщее образование, распространяясь все шире, приведут к отступлению религии, которая делается уделом немногих. Такой прогноз могли бы поддержать и результаты недавних исследований. Уровень образования связан обратной зависимостью с показателями по шкалам религиозности. Усилиями науки существенно сократился список загадочных и пугающих явлений, с которыми сталкивается человек в повседневной жизни. Следовательно, и причин для *религиозной атрибуции* остается значительно меньше.

Но в последние десятилетия 20 века прежний и, казалось бы, естественный ход событий обратился вспять, так что стали говорить даже о «возрождении религии» и «возвращении Бога». ^[10]

Процесс, однако, более сложен, и прав, по-видимому, Тимоти Келлер, когда называет происходящее *поляризацией*: распространение секу-

ляризации сопровождается одновременным укреплением религиозных сообществ.^[11]

Признаки поляризации заметны при сравнении разных стран, но также и между общественными слоями некоторых обществ. При сопоставлении данных 2012 года с предыдущим опросом 2005 года видно, что индекс религиозности больше всего упал во Вьетнаме — на 23%, за ним идут Швейцария и Франция — 21%. Что касается индекса атеизма, то наибольшее его увеличение отмечено во Франции — с 14% до 29%. В некоторых европейских странах — Франции, Чехии, Австрии суммарное количество нерелигиозных и атеистов превысило по опросу 2012 года число назвавшихся религиозными. Атеисты и сейчас, в начале 21 века, составляют в мире незначительное меньшинство, едва превышая 10% населения. Но число их в некоторых регионах существенно, достигая максимума в Восточной Азии, где 47% китайцев и 31% японцев считают себя атеистами.^[12]

Противоположный процесс хорошо заметен во многих мусульманских странах, но также в России и в Израиле. У первых увеличение числа верующих происходит одновременно с быстрым ростом населения, бывшего и ранее в большой степени религиозным. В Израиле, где доля светского населения приближается к 50% возможны значительные подвижки между группами. Но то, что более всего заметно — это рост фундаменталистских групп и крайних религиозных убеждений.

По данным Центрального статистического бюро, института Геокартографии и др. исследований число харедим в Израиле растет интенсивно и постоянно.^[13] Так, их доля в еврейском населении выросла в 1990 — 2008 с 5% до 10%, а по прогнозу на 2025 поднимется до 18 %, превывсив 1 млн. человек. Причины такого роста очевидны: суммарный коэффициент рождаемости достигает 7 детей на одну женщину и является одним из самых высоких в мире.^[14]

Но есть и другой источник пополнения. Согласно израильскому статистическому Ежегоднику за 2010 г. около 200,000 граждан страны определили себя как «хозрим би-тшува» — обратившихся к религиозной жизни для исполнения всех её установлений. Из них около трети выбрали ультра-религиозный сектор. По данным того же источника, поляризация проявилась и в субъективной оценке отношения к религии: 42% харедим заявили, что их вера укрепилась, в то время как 15% светских признали, что еще больше отдалились от религии.^[15]

Побег из крепости

Природа религиозных убеждений проявляет себя не только при их становлении и укреплении, но и в тех случаях, когда главные опоры рушатся и вся конструкция нуждается в существенной перестройке. По понятным причинам процесс этот принимает наиболее драматические формы

именно в ультраортодоксальной среде. Количество харедим, соответствующих определению *йоцим би-шееля* — поставивших под вопрос религиозные доктрины и отказавшихся от соблюдения установленных правил, плохо поддается исчислению и его оценка вызывает довольно резкие столкновения мнений. Но для целей этой работы достаточно и того, что число это достигает 1000 ежегодно и, что еще важнее, готовность некоторых рассказать о себе и своем окружении. [16]

Речь идет, как известно, о группах людей, весь образ жизни которых отделяет их от другой части народа многочисленными барьерами — отдельными районами проживания, собственной системой школ, отказом от службы в армии, строго ограниченным брачным кругом. Это, по выражению журналиста Амнона Леви, гетто с виртуальными стенами, призванными свести к минимуму контакты с внешним миром. [17]

Правда, от «всемирной паутины» защититься нелегко: компьютеры и смартфоны делают свое дело.

Самым уважаемым, а может быть и единственно достойным занятием для молодых членов общины всегда считалось изучение *сифрей ко-деш* — Священных книг с их многочисленными комментариями. По интенсивности, упорству и длительности учебы харедим превосходят, вероятно, все известные общины верующих. Цель такого обучения понятна — сделать религиозные убеждения основательными и глубокими.

Поставить под сомнение столь прочно усвоенные принципы — предприятие и трудное и травматичное. Почти во всех случаях решению отвергнуть религию предшествует период сомнений и колебаний. У Янки и его жены Мири (из интервью Равида Орена) он продолжался не менее трех лет, пока не наступил кризис: «Внезапно я обнаружил много противоречий. Если до этого у меня была слепая вера в Библию и Талмуд, я понял внезапно, что это все ложь. Я был в шоке, я потратил 25 лет моей жизни, а до этого я был хорошим студентом ешивы и мои отношения с религией были вовсе не случайны».

Некто, названный в той же статье именем Матан, рассказал об интеллектуальных усилиях для сохранения веры: «Религия утверждает, что владеет решающими доказательствами истинности её пути, и я отправился на поиски этих доказательств. Я искал их в книгах, я искал их у различных толкователей... Я обратился к рабби, которого ценил за ум и открытость. Это было мое последнее прибежище... Но ему нечего было сказать мне... Я понял, что нет никаких доказательств истинности религии, в то время как доказательства её ложности бесчисленны». [18]

Интеллектуальный путь Матана и Янки проходят немногие. Чаще к отказу от религии ведет не анализ догматов, а их столкновение с действительностью. Молодая женщина, обнаружившая у себя сексуальное влечение к лицам своего пола, задалась вопросом: «Если мир создан Богом, а Бог против гомосексуализма, то откуда взялась я и почему должна страдать?» [19]

Первой трещиной в религиозных убеждениях может быть разочарование в почитаемых общиной авторитетах. Ученица религиозной школы

обратилась за помощью к уважаемому раввину и была потрясена его непристойными сексуальными притязаниями. После этого благочестие всех вообще духовных авторитетов стало ей казаться подозрительным.

Лицемерие — вот главное обвинение, которое бывшие ультраортодоксы предъявляют общине. Это слово (*цвиют*) повторяется во многих рассказах. За общим благополучием — крепостью семьи, низким уровнем преступности могут скрываться случаи наркомании, сексуальных преступлений, коррупции в религиозных судах.^[20]

Сарит Барзилай, антрополог и автор книги *Лифроц меа шеарим* — «Прорваться сквозь сто ворот» — изучала истории тех, кто решился оставить хорошо охраняемую крепость. Их отличала, по её мнению, прямота и нетерпимость к подавлению личной свободы.^[21]

Далеко не всем из усомнившихся в религии хватает решимости пройти эти сто ворот. И, как следствие, рождение в среде харедим странной группы, схожей в некоторых чертах с испанскими евреями (марранами) 15-16 веков, вынужденными вести двойную жизнь под пристальным вниманием Инквизиции.

Журналист Амнон Леви после нескольких встреч с тайными атеистами из ультраортодоксальных общин рассказал о них в телевизионной передаче.^[22]

Сохраняя все внешние признаки религиозной жизни, эти люди время от времени покидают свои кварталы, переодеваются в обычную, даже провокативную одежду и встречаются в Тель-Авивском баре. Они тайно нарушают шаббат, едят некошерную пищу, купаются на городских пляжах.

Выйти за круг строго организованной жизни с ее предписанными этапами от рождения до смерти, взаимным контролем, но и взаимной поддержкой, совсем не просто. Всякое закрытое общество приспособливает свои убеждения к изоляции. Харедим воспринимают окружающий мир не только как враждебный и угрожающий, но и как недостойный, развращённый, справедливо осуждённый на вечную гибель. Разрыв с религией считается непоправимым несчастьем не только для самого атеиста, но и для всей семьи, которую это событие отмечает позорным пятном. Всякие контакты с отступником обрываются. Он теряет детей, лишается материальной поддержки. Желание избежать этого и порождает совершенно необычную для нашего времени человеческую группу отвергнувших религию, но публично исполняющих её ритуалы. По впечатлениям Амнона Леви число таких атеистов в харедимной одежде составляет несколько сотен, хотя сами они утверждают, что речь идет о тысячах.

В итоге:

1. Убеждения, по принятому здесь определению, субъективно воспринимаются как безусловные истины. Требуют ли эти истины доказательств — во многом зависит от рода убеждений. Для научных, понятное дело, доказательства необходимы. Что касается религиозных, то здесь кри-

терий соответствия реальности мало что значит и строятся они на иных основаниях:

- развитое самосознание, это новое достижение эволюции, сделало индивидуальную психику слишком чувствительной к тем ударам, которыми она неизбежно подвергается. Религии служат давним и испытанным средством *психологической защиты*.
- особенности человеческого мышления склоняют его к *религиозной атрибуции* и мистической интерпретации некоторых явлений и событий.
- религиозные убеждения вовсе не пренебрегают доводами рассудка, нередко весьма изощренными, для защиты от неизбежных столкновений с реальностью.

2. Человеческие различия в склонности к религиозным и мистическим толкованиям, как и в потребности психологической защиты, достаточно велики. При определенном биологическом, в частности наследственном радикале, зависят они от личностной структуры, интеллекта, образования.

3. Построение, как и разрушение убеждений — серьезное испытание для психики. Прежние убеждения не уступают место без борьбы и с готовностью предлагают доводы, помогающие отсрочить болезненную перестройку. Принимаемое наконец решение кажется внезапным, но в действительности подготовлено интенсивной работой бессознательного. Убеждения кристаллизуются после скрытой работы мозгового «процессора», который трудится, выдавая на «дисплей» лишь важные этапные результаты. Сознанию вовсе не нужно, чтобы в нем отражалась вся черновая работа, непрерывно совершаемая «процессором». В особенно драматических случаях бессознательное сообщает о себе в виде «голосов» и «знаков», облегчающих принятие решения.

4. Религиозные убеждения, скрепляющие многотысячные или даже миллионные коллективы, были и остаются существенными мотивами поведения. По Сэму Хэррису, «эти убеждения зачастую определяют то, ради чего человек живёт, ради чего он готов умереть и — слишком часто — ради чего он готов убить...»^[23]. Сегодня это так же верно для значительной части человечества как и в прошлые, менее просвещенные времена.

Примечания

[1] 129 псалом Давида.

[2] Лев Николаевич Толстой. Без любви жить легче. АСТ, 2014. Гл. 12.

[3] Блаженный Аврелий Августин. «Исповедь». Кн.8, гл. 11, пар. 29.

- [4] Жизнеописание священника Павла Флоренского. М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2007. Запись от 1923.XII.26. Запись от 1925.VIII.30
- [5] http://www.hofesh.org.il/letters/shoa/god_and_holocaust2.html
- [6] <http://www.hidabroot.org/he/comment/reply/99872>
- [7] <http://www.hofesh.org.il/letters/talks/eli.html>
- [8] http://www.hofesh.org.il/letters/shoa/god_and_holocaust2.html
- [9] Из письма Стендаля Просперу Мериме. Цит. по John Kinsella Spatial Relations. Volume Two: Essays, Reviews, Commentaries, and Chorography. Стр. 284.
- [10] Эмануилов, Рахамим. Террор во имя веры: религия и политическое насилие. Мосты культуры, 2011.
Adrian Pabst. Бог вернулся? Устойчивое присутствие религии в мировой политике.
- [11] Келлер, Тимоти. “Разум за Бога: Почему среди умных так много верующих.” Эксмо, 2012.
- [12] WIN-Gallup International Global index of religiosity and atheism — 2012
<http://www.wingia.com/web/files/news/14/file/14.pdf>
- [13] <http://www.cbs.gov.il/publications/tec25.pdf>
- [14] <http://www.news1.co.il/Archive/001-D-252965-00.html>
<http://www.news1.co.il/Archive/0024-D-50517-00.html>
- [15] <https://www.hadoctor.co.il/כמה-מהישראלים-חוזרים-בתשובה/>
https://tomerpersico.com/2011/09/27/stats_2011/
- [16] Jerusalem Post. 2 may 2014 “Split Identity” by Yarden Schwartz
<http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1064953>
- [17] https://m.youtube.com/watch?v=_IJJ8NS9pAc
- [18] Ravid Oren <http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3944848,00.html>
- [19] <http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1064953>
- [20] Louis Frankenthaler. Leaving Ultra-Orthodox Judaism: Defection as Deconversion.
http://www.academia.edu/1098412/Leaving_Ultra-Orthodox_Judaism_Defection_as_Deconversion
- [21] <http://www.freedror.org.il/View/GetArticle.asp?ID=40>
- [22] https://m.youtube.com/watch?v=_IJJ8NS9pAc
- [23] Сэм Хэррис. Что такое атеизм http://scepstis.net/library/id_807.html



Сергей Баймухаметов

ОНИ ПРИДУМАЛИ «ЭХО МОСКВЫ»

*В августе самая известная радиостанция России
отметила 25-летие*

В такие дни принято вспоминать, обращаться к истории. Тем более, она рядом — я тридцать лет дружу с человеком, который не только стоял у истоков, но и придумал название — «Эхо Москвы».

Это Александр Сергеевич Щербаков. Мы знакомы со времен легендарного коротковолнового «Огонька», где он был ответственным секретарем, а затем, при Льве Гушине — его первым заместителем. Я там регулярно печатался. Потом они с Гушиным ушли в «Литературную газету», и я стал внештатным колумнистом «ЛГ».

Сейчас Александр Щербаков — главный редактор интернет-журнала «Обыватель». Готовит к выпуску в издательстве «Эксмо» книгу «В незримом мире сердца. Моя жизнь с Галиной Щербаковой». И работает над другой — о мире журналистики с 60-х годов прошлого века до наших дней. Наверняка, будут в ней и страницы, посвященные «Эху Москвы».

То есть о временах, «когда мы были молодые, и чушь прекрасную несли, фонтаны били голубые и розы красные росли».

— Саша, как получилось, что ответственный секретарь коротковолнового «Огонька» стал одним из создателей радиостанции? Где Киев и где бузина? Я не к тому, что Коротич родом из Киева...

— В моей жизни было несколько событий и дел, которые, мне кажется, оправдывают ее существование. И одно из главных таких дел — участие в создании «Эха Москвы». Весной 1990 года мне в редакцию позвонил человек, который представился как Григорий Аронович Клигер. И спросил: «Скажите, вас не задевает, что в нашей стране иностранцы открывают одну за другой радиостанции — «Европа плюс», «Ностальжи»? Неужели мы сами не в состоянии создать хоть одну новую радиостанцию?»

«Напишите об этом, а мы напечатаем», — нетерпеливо ответил я, потому что спешил куда-то «бодаться» с тогдашними супостатами — то ли в отдел издательств ЦК КПСС, то ли в Госкомиздат.

«Нет, я не об этом, — сказал Клигер. — Почему бы вам, «Огоньку», вместе с нами не сделать новую станцию?» — «С нами — это с кем?» — «С «Ассоциацией Радио». — «Ну, тогда приходите, поговорим», — сказал я, зная, что большинство прожектеров на встречи не является.

Клигер пришел и рассказал... Решение о выделении частоты для вещания принимали Гостелерадио и Министерство связи, а технически обес-

печивала организация под названием «Ассоциация Радио». Глава ее Владимир Гурьевич Буряк и его заместитель Григорий Александрович Клигер тогда и подумали...

«Мы припрятали одну частоту, — сказал Клигер. — Если быстро создать «контент» и выпустить в эфир, отобрать ее обратно уже не смогут. Но времени в обрез, очень много заинтересованных лиц с большими деньгами, и скоро до этой частоты могут докопаться...»

Завязывалась история вполне в духе тогдашнего «Огонька». Я тут же отправился к Льву Гуцину, первому заместителю главного редактора. Он не думал ни минуты: «Конечно, делаем». И закурилось.

— **Саша! Но ведь морока. Мало вам было своих хлопот? Я же хорошо помню, какое шипение с разных сторон вызывал «Огонек».**

— Авантюра в чистом виде! Буряк и Клигер побывали уже и в «Московских новостях», и в «Аргументах и фактах» — все отказались. Чуть ли не посмеялись над ними: дескать, кто это начинает создание радиостанции с такой вот беготни, а не с решения ЦК КПСС?

— **То есть смелости не хватило, энергии, напора?**

— Может быть...

— **Однако это абстрактные понятия. Мы же знаем, что многое зависит от конкретной личности. А ты, прости, не похож на таран, который лбом вышибает железные бюрократические двери. Или в тихом омуте черти водятся?**

— Дело не во мне. «АиФ» — все-таки специфическое издание, «МН», несмотря на громкую славу, читали, в основном, в Москве и Ленинграде.

— **Да, был в те годы в далеком областном городе, и узнал, что «МН» в розницу продается только в одном киоске «Союзпечати» — в здании обкома партии, и у киоскерши коротенький список лиц, кому дозволено купить...**

— А «Огонёк» ограничить уже не могли — тираж 5 миллионов! И ведь каждый номер читал не один человек. Горы писем! Выбирай и печатай — и будет в нерв жизни! Как сказал недавно Валя Юмашев (в 1987-1996 гг. обозреватель, заместитель главного редактора, директор ЗАО «Огонёк», в 1997-1998 гг. глава администрации президента РФ. — Ред.), «Огонёк» начинали читать с писем. Так что это была энергия «Огонька»: мы не сами по себе — за нами десятки миллионов читателей. Вот какой был «таран».

К тому времени, благодаря смелости, дипломатическим способностям Виталия Коротича, его хорошим отношениям с Горбачевым и, особенно, с главным идеологом, секретарем ЦК КПСС Александром Яковлевым, «Огонёк» мог печатать практически все. Как раз тогда мы начали борьбу за свободу с отделом пропаганды и отделом издательств ЦК КПСС — свободу юридическую, организационную, финансовую. Ведь все деньги

от нашего огромного тиража уходили в бюджет КПСС. Мне (почему — это отдельная история) редакция поручила...

— **Нет уж, расскажи, почему именно тебе...**

— Элементарно, Ватсон! Виталий Алексеевич Коротич — человек мира, и сам не мог поручиться, в какой точке земного шара окажется послезавтра. У его первого зама Льва Гущина тоже было много забот за рубежом. А ввязавшись в «боевые действия» с ЦК и с Госкомиздатом, уже нельзя было снимать руку с пульса событий. Прозеваешь ход супротивника — и пиши пропало, при нашей-то, в общем, юридической и экономической лопухости.

С одобрения Гущина я привел в редакцию команду юристов во главе с Михаилом Федотовым — Левон Григорян, Николай Исаков, Инэсса Денисова, Ольга Гюрджан. (Михаил Федотов с Юрием Батуриным и Владимиром Энтиным работали тогда над первым нашим Законом о печати). Каждую среду мы собирались в редакции и разрабатывали первый в стране устав независимого от властей средства массовой информации. И когда мы зарегистрировали «Огонёк» и объявили о первом в стране независимом издании, на редакцию обрушился поток поздравительных телеграмм. Победа!

— **Понятно, после этого вам и черт был не брат. Не то что организация радиостанции.**

— Вот именно. Но многоопытные Буряк и Клигер мудро решили: в эту затею надо вплести столичное начальство. Позвали в учредители Московский городской совет народных депутатов. Лев Гущин, используя свои обширные московские связи, организовывал нужные встречи, а мы мотались по конторам, собирая подписи, ходатайства и прочее. А еще наши Буряк и Клигер вовлекли в круг соратников факультет журналистики МГУ. Вся компания раз в неделю собиралась в кабинете декана Ясена Николаевича Засурского...

— **А это уже фантазия! В кабинете нашего патриарха и одному человеку места не было — все завалено бумагами, книгами, подшивками.**

— Да, это самый живописный кабинет, какой я видел. Но мы все же там умещались, каждый разгребал себе местечко и стерег его. И едва ли не каждый писал свою концепцию нового радио. Ученые мужи с факультета — на солидной теоретической основе и на многих листах. Я — на полутора страницах, под названием «Каждый имеет право быть услышанным». О мобильниках тогда у нас знали по научной фантастике, я развивал идею ведения уличных репортажей из будок телефонов-автоматов. И когда я ныне слышу, как простодушный гориллоид в прямом эфире говорит главному редактору «Эха...» Алексею Венедиктову: «Вы куплены госдепом США и международным сионизмом», меня охватывает зло и одновременно — чувство законного удовлетворения. Я улыбаюсь: «Каждый имеет

право быть услышанным». Много ли мы вспомним программ в прямом эфире, где предварительно не просеивают звонки? Хотя, конечно, понимаю и грустное венедиктовское сетование: «Меня очень расстраивает несправедливость слушателей в отношении к радио и очень радует их справедливость. Хотелось бы больше справедливости». Не дожидетесь, Алексей Алексеевич! Нет у нас для вас другого народа...

— **И потому в эфире «Эха Москвы» регулярно были гориллоиды?**

— Ну, это дело редакции. А я и сегодня считаю: каждый имеет право быть услышанным.

— **Но вы-то с Коротичем и Гуциным не допускали гориллоидов в «Огонёк» и «Литгазету»... Значит, были недемократичны?**

— Спорный вопрос. Каждая редакция имеет право печатать или не печатать, приглашать или не приглашать в эфир тех или иных лиц. Но если говорить про те времена, то... Как любил повторять тогдашний огоньковец, а впоследствии еще один главный редактор «Огонька» Володя Чернов, редакция была как бы отрядом коммандос с задачей взорвать абсолютно неприступный мост. Мог ли в отряде оказаться охранник моста?.. Это с одной стороны. А с другой, это было время утверждения гласности. Девиз «Каждый имеет право быть услышанным» вполне соответствовал принципам гласности. Увы, при сегодняшнем состоянии российских СМИ о воплощении этого девиза снова остается только мечтать. Хотя мне лично не нравятся, к примеру, ни Леонтьев, ни Проханов, довольно долго пасшиеся на полях и лугах «Эха Москвы», я за их дремучие воззрения ни в коем случае не брошу камень в радиостанцию.

— **Понятно. Но вернемся в 1990 год. Частота частотой, а эфир делают люди.**

— Здесь тоже любопытная история. Как раз в те дни Буряк с Клигером ехали к заместителю председателя Гостелерадио, включили в машине приемник на волне советского Иновещания и услышали проникновенный, абсолютно французский, обворожительный мужской голос. «Густой, с обертонами, — описывал Владимир Гурьевич. — Не знаю, про что он говорил, но я поверил ему сразу и безусловно». Обсудив с зампредом технические проблемы, гости спросили: а кто это только что вещал по-французски таким красивым голосом? «А, — сказал зампред. — Если красивым, то это Сережа Корзун». — «А какой он журналист?» — уходя, спросили хитрые радиийщики. «Профессионал!» — ответил собеседник.

«Корзуна надо брать главным редактором! — убежденно говорил нам Буряк.

На следующий день ко мне в «Огонек» пришел высокий молодой человек с несколько напряженным взглядом.

— Сергей Корзун, — представился он.

Голос и впрямь был божественный... В общем, в мае 1990 года мы в кабинете Засурского назначили главным редактором Сережу Корзуна. После чего Буряк и Клигер начали каждый день требовать — выходите в эфир! Как, мы же еще не зарегистрированы! А неважно, отвечают, надо частоту застолбить. Если ее заберут — зарегистрировать будет нечего. И тут все уперлось в проблему — названия-то у радиостанции нет. Как выходить без названия?



Владимир Гурьевич Буряк



Г.А. Клигер

Григорий Аронович Клигер

— **Никто, ничто и звать никак.**

— Вот именно. Сережа Корзун, как только мы его назначили, буквально через минуту сказал: «Станция будет называться «Радио-М» Почему? Ответ: «Не знаю, но я так слышу».

«Да ну, ерунда, — отмахивался Буряк. — Название давно есть: «Радио-СТ» (Латинскими буквами: «Радио-ST»). — «Почему?» — «Потому что это хорошо и правильно».

Вот и весь сказ. Владимир Гурьевич на следующий день приехал ко мне в редакцию. «У нас есть такая техника, — рассказывал он, — ревербератор называется. Он дает замечательный эффект. Я прямо слышу, как диктор объявляет: «Говорит радио ST!» И эхо, затихая, долго повторяет: «Эстэ... эстэ... эстэ». Потрясающе! К тому же у нас в учредителях Моссовет, а СТ можно расшифровывать как «Радио Столица»...

А Сережа Корзун стоит на своем: «Радио-М»!

И пришел день, когда уже не было времени на споры, от наличия названия стало зависеть — быть или не быть станции? Я черкал на бумажке, фантазировал на темы «СТ» и «М»: СТолица, СТалкер, СТудио, Метрополис, Мозаика, Монитор, Монтекристо и т. п.

Не изобретя ничего путного, с распухшей головой, поехал в метро по домашним делам. Но, видно, слова Буряка засели в подсознании: эхо, эхо, эхо... Проезжая над Москвой-рекой, сделал открытие: «СТ» — это не две буквы, а четыре звука (э; с; т; э). Поэтому их можно расшифровать, скажем, так: СтЭ — Столичное эхо. Или: ЭСт — Эхо столицы. А буква «М»... — это звук «Э» и звук «М». То есть... «Эхо Москвы»!

Вышел из метро, записал слова на бумажку и из автомата позвонил домой Корзуну: «Сергей Львович! «Радио-М» — это Радио «Эхо Москвы»!

— **Значит, ты — человек, который придумал «Эхо Москвы».**

— Нет, станцию придумали Владимир Гурьевич Буряк и Григорий Аронович Клигер. А я — только название.

— **Как вы лодку назовете — так она и поплывет...**

— Не совсем. Переломный год был — 1994-й. Вспомни, многие наши друзья-товарищи стояли у руля средств массовой информации. На волне энтузиазма, гласности и перестройки, свободы слова. Но потом, в практической жизни, оказались лопухами и упустили руль из рук, а с ним — и принципы ответственной журналистики. А капитаны «Эха Москвы» — нет. Они тогда грамотно провели акционирование, чем отбили грядущие атаки пиратов.

И, не растеряв профессионального достоинства, довели корабль «Эха Москвы» до наших времен.

Помню, в первый год жизни станции мне позвонил Сергей Корзун (а может, и директор) и сказал, что им не хватает 100 000 рублей на срочный ремонт. Бухгалтерия «Огонька» на другой же день перечислила деньги. Задним числом заключили договор на эфирную рекламу журнала. «Огоньку» в то время реклама не требовалась. О чем мы и сказали «Эху». Однако нет, вскорости ко мне пришла симпатичная девушка, принесла прослушать три или четыре ролика. Тексты были хорошие, с юмором. Девушка радовалась: «Ой, а мы боялись, что вам не понравится». Запомнилась музыкальная шутка, более года звучавшая на волне станции: «И пока за туманами видеть мог паренек, на окошке на девичьем все лежал «Огонек».

А позднее, когда "Эху" понадобилось сосредоточить у себя пакет акций, огоньковцы уступили ему свой пакет

Если в архиве радиостанции сохранились пленки вещания за дни августовского путча 1991 года, то там есть такое сообщение: «Нам позвонил из «Огонька» Александр Щербаков и сказал: если закроют «Эхо Москвы», то «Огонёк» примет всех сотрудников радиостанции в свой штат». Было ясно: если победит ГКЧП, у «Огонька» гораздо больше шансов выжить,

чему молодого безбашенного «Эха...» А еще раньше, в пору вильнюсских событий, когда «Эхо...» провело сенсационный репортаж из окруженного войсками литовского парламента, мы пришли на Октябрьскую улицу, дом 7, чтобы позать руки коллегам, подбодрить их.

Мне нравится думать: «Огонёк» той поры как бы передал «Эху...» эстафету журналистской честности, смелости, талангливости.



Александр Сергеевич Щербаков



Борис Тененбаум

ПОЛИТИЧЕСКИЕ КАЧЕЛИ НА АНГЛИЙСКИЙ ЛАД

Глава из книги "Черчилль"

I

Черчилль впоследствии говорил, что «в конце 1922 года остался без места в правительстве, без места в парламенте, без политической партии и без аппендицита».

И все перечисленное — если не считать аппендицита — он потерял 19 октября 1922 года. В этот день члены парламента, консерваторы, входящие в правительственную коалицию и собравшиеся в клубе «Карлтон», решили, что из коалиции они выходят.

Дискуссия была жаркой, и «гранды» коалиции — например, Остин Чемберлен — уговаривали их не горячиться.

В консервативной партии он пользовался большим уважением — после того, как Бонар Лоу отказался от поста лидера консерваторов в палате общин, консерваторы выдвинули на освободившееся место именно Чемберлена.

Но сейчас он ничего не мог поделать — в партии произошел настоящий бунт рядовых депутатов, так называемых «заднескамеечников», которые требовали немедленного расторжения соглашения с либералами о коалиции.

Как все на свете, их бунт имел причины. Консерваторы в целом были страшно недовольны англо-ирландским соглашением, заключенным в основном усилиями либералов, таких, как Черчилль. Консервативная фракция палаты лордов требовала немедленного «развода».

К тому же всплыли разные неприятно пахнущие истории, связанные с личными делами Ллойд Джорджа.

Дело было в том, что любой премьер-министр в силу своей должности имел «право патронажа» — он мог представлять королю на утверждение списки людей, которых, по его мнению, следовало бы наградить пожалованием от Короны: либо «званием рыцаря» — «knighthood», что давало награжденному право именоваться «сэром», либо наследственным титулом, возводящим его обладателя в пары — «peerage» — с правом называться «лордом» и с гарантированным местом в палате лордов.

Списки, представленные премьером, по заведенной издавна традиции утверждались монархом без дальнейшего обсуждения.

Попасть в такие списки было высокой честью, и издавна существовала еще одна традиция — как следует эти списки составлять.

В них включали людей выдающихся, добившихся в своей профессии значительных успехов либо оказавших правительству и государству какую-то крупную услугу, политическую или даже финансовую.

Крупные филантропы всегда могли рассчитывать получить титул в обмен на свою щедрость.

Так вот, Ллойд Джордж, человек большой изобретательности, решил, что пожертвования значительных сумм ему лично тоже могут рассматриваться как «услуги правительству».

Что интересно — технически закон не был нарушен, потому что до сих пор никому ничего подобного в голову не приходило.

Остин Чемберлен был человеком чести.

Ллойд Джорджа он не одобрял, возможно, еще больше, чем его коллеги-консерваторы с задних скамей парламента. Но он считал необходимым «поставить интересы страны выше интересов партии».

К чему расторгать коалицию, если можно договориться с партнерами по коалиции, либералами, о том, что либералы сами сменяют своего партийного лидера?

Вполне возможно, что он договорился бы обо всем с руководством либералов и сам, но говорить ему было в тот момент не с кем.

Ллойд Джордж по понятным причинам сам себя свергать не хотел, а второй человек в партии, Уинстон Черчилль, во-первых, мог и не захотеть ставить своего премьера в безвыходное положение, во-вторых, даже если бы и захотел, то не смог бы физически — он лежал в больнице с острым аппендицитом, и как раз накануне, 18 октября 1922 года, ему сделали операцию по его удалению.

В итоге консерваторы-заднескамеечники победили — коалиция была расторгнута. 23 октября Ллойд Джордж подал королю прошение об отставке, и были назначены новые общие выборы.

Тут надо отметить еще два дополнительных обстоятельства:

1. «Мятеж» рядовых членов фракции консерваторов против их руководства организовал некто Стенли Болдуин, секретарь прежнего лидера партии Бонара Лоу.

2. Остин Чемберлен не уступил своим коллегам по вопросу, который он считал принципиальным, и ушел с поста лидера консервативной партии в палате общин, хотя этот пост сам по себе в то время практически гарантировал ему место премьер-министра.

В результате лидером, а потом и премьером стал Бонар Лоу.

Своим заместителем в партийном руководстве он сделал Стенли Болдуина. А став премьер-министром, его же и назначил на пост министра финансов, по традиции — второй по значению и иерархии после самого премьера.

Стенли Болдуин сделал большой шаг вверх.

II

По своему расположению в спектре британской политики 1922 года либеральная партия занимала место «благоразумного центра».

Выборы, назначенные на ноябрь, поставили ее в тяжелое положение — ее атаковали с обоих флангов, и справа, и слева. Если консерваторы ставили правительству в вину компромиссное соглашение с Ирландией, то лейбористы — воинственную политику и вмешательство Ллойд Джорджа в греко-турецкий конфликт, в чем лейбористы видели «имперские наклонности».

А найти человека более воинственного, чем Черчилль, и со столь явно выраженными имперскими наклонностями было невозможно — он был министром колоний и занимался империей просто по должности.

В его избирательном округе Данди, расположенном на севере страны, Уинстона Черчилля крыли последними словами, тем более, что поначалу он не мог защищаться или даже просто принимать участие в избирательной кампании — он был все еще в больнице.

Встречаясь с избирателями пришлось его верной супруге Клементине — это ей надо было исполнять все положенные по уставу ритуалы демократии, вроде встреч с рядовыми избирателями, выступлений на митингах и пожимания рук — непрерывный процесс, останавливаемый на минутку только для раздачи поцелуев младенцам.

Черчилля обвиняли в том, что он наделал ошибок под Дарданеллами, «отправив наших мальчиков на убой», а также в том, что он «попытался удушить в колыбели первую в мире страну, управляемую рабочими».

Это второе обвинение охотно тиражировали в советской прессе, но не в 1922 году — было не до английских выборов, а позднее, когда клеймился британский империализм.

Клементина рисовала супруга «добрым ангелом», чему в ее глазах немало способствовало его круглое лицо — по крайней мере, так она ему не без юмора писала.

О том, что ее освистали, увидев на ней нитку жемчуга, она не сообщала — наверное, не хотела расстраивать. Мы знаем об этом происшествии не от нее, а из дневника некоего Спирса, местного сотрудника избирательной кампании Черчилля.

Он сообщил, что женщины-избирательницы при этом даже плевались...

В итоге выборов консерваторы получили 344 места в парламенте, а либералы (обе фракции) — только 115 из тех 485 округов, где они выставляли своих кандидатов.

Лейбористы опередили их и вышли на второе место, со 142 местами. Черчилль выборы проиграл.

Он умудрился пройти все те избирательные митинги, в которых он, сменив наконец жену, все-таки поучаствовал, и при всем свисте и криках «Долой!» удержать полное равновесие духа.

Сорвался он один-единственный раз — когда ему в очередной раз крикнули из зала:

«Как насчет Дарданелл?», он ответил:

«Что вы знаете о Дарданеллах? Это могло сократить войну на год или два и спасти миллионы жизней. Я горжусь этим делом...»

Зал на минуту притих, но переломить настроение на митинге Черчиллю не удалось. Он по количеству собранных голосов показал четвертый результат по округу среди четырех кандидатов. С точки зрения прессы — результат был безнадежный.

В 1922 году в ноябре ему исполнилось 46 лет.

К этому времени он успел побывать в правительстве Асквита на трех министерских постах: министра внутренних дел, министра военно-морского флота и на пустой синекуре — министерской должности «канцлера герцогства Ланкастерского», с которой он ушел в армию командовать батальоном.

В следующем правительстве, у Ллойд Джорджа, он последовательно занимал должности министра вооружений, военного министра и министра колоний.

У него за плечами был парламентский опыт, начинавшийся с 1900 года.

С 1911 и по 1922-й (с перерывом в 1915-1916 гг. после краха операции в Дарданеллах) неизменно входил в число тех пяти или шести людей, которые определяли весь ход правительственных дел.

Если говорить не о правительстве в целом, а только о либеральной партии, Черчилль с 1918 и по 1922 год мог считаться вторым человеком — сразу после Ллойд Джорджа.

Он похоронил мать, которая в 67 лет скончалась от гангрены в сломанной ноге, и маленькую дочь.

В 1922 году у него родилась другая дочка, которую он и Клементина назвали Мэри, и купил себе «деревенский дом» — на самом деле что-то вроде небольшой усадьбы в Кенте — под названием Чартуэлл.

Жена страшно беспокоилась по поводу покупки — дом был большим, и его содержание должно было стоить существенных денег, которых в наличии у семьи Черчиллей не было.

Уинстон успокаивал супругу и говорил ей, что беспокоиться не о чем. Деньги — пустяки, он всегда сможет заработать на жизнь журнализмом. Теперь, совершенно неожиданно лишившись министерской должности, оказавшись в политической партии на грани полного краха, а заодно и проиграв выборы в парламент, он задумался и решил, что пока что с него хватит.

Уинстон Спенсер Черчилль взял себе длинный отпуск.

III

Про нового премьера Бонара Лоу говорили, что он «выскочил между двух стульев», что было ловкой перелицовкой идиомы, известной и в английском языке — «сесть между двух стульев».

Шутка заключалась в том, что как бы менялось направление движения — не вниз и с грохотом, а вверх и внезапно.

Одним из этих «стульев», бесспорно, был Остин Чемберлен, по поводу второго можно только гадать. Бальфур? Керзон? В консервативной партии хватало авторитетных политиков, и даже то, что кое-кто из них носил титул лорда и поэтому не мог сам заседать в палате общин, необязательно было непреодолимым препятствием — работу с парламентом можно было поручить другому лицу, а самому сосредоточиться только на правительственной деятельности.

Как бы то ни было, Бонар Лоу через несколько месяцев после вступления в должность сдал ее своему заместителю Болдуину — здоровье уже не позволяло ему работать.

Он вскоре умер, оставшись в английской истории в качестве «неизвестного премьера», что тоже своего рода шутка — калька с выражения «неизвестный солдат».

Сменил его Стенли Болдуин, тоже человек сам по себе не слишком авторитетный.

У него не было опыта работы в правительстве. Уже в январе 1924 г. он нарвался на вотум недоверия, вынесенный ему палатой общин, и должен был передать свой пост премьера Р. Макдональду, лидеру лейбористов.

В первый раз за всю историю Англии к власти пришла рабочая партия, но уже в октябре 1924 г. их правительство пало — в немалой степени благодаря «Письму Зиновьева».

Письмо это содержало подробные инструкции Коминтерна о том, как рабочим следует готовиться к захвату власти в Англии. Текст письма, скорее всего, был фальшивкой, но эффект его публикации оказался сильным.

Черчилль между тем, после шестимесячного перерыва во всякой своей политической деятельности, снова начал предпринимать попытки попасть в парламент.

В его старый избирательный округ в Данди не было смысла и обращаться, но у него были другие возможности. Тут дело в том, что английская система выборов в парламент имеет одну особенность: кандидату не обязательно жить в том округе, который он хотел бы представлять.

В Америке это не так. Выставить свою кандидатуру на выборах в Конгресс может только человек, живущий в данном избирательном округе — или в данном штате, если речь идет о выборах в Сенат.

В Англии же у Черчилля был широкий выбор — избирательных округов было много, и они были открыты для любого кандидата.

Второе благоприятное для него обстоятельство заключалось в том, что партии в Англии куда дисциплинированнее американских, и партийное руководство всегда могло подобрать нужному человеку такой округ, где его шансы на избрание были бы максимальны.

А Черчилль был нужным человеком.

Либералы как политическая партия сходили со сцены, это было совершенно очевидно, и их выдающиеся деятели могли послужить ценным приобретением для победителей, в данном случае — консерваторов.

Проблема — а в случае с Черчиллем без проблем дело не обходилось никогда — была в том, что он в свое время, в 1904 году, перешел из партии консерваторов в партию либералов и министерскую карьеру делал именно в сформированных либералами правительствах Асквита и Ллойд Джорджа.

Рядовые депутаты от консервативной партии питали к нему глубокое недоверие, и поношение «изменника и перебежчика» было в их рядах прямо-таки ритуалом.

«Гранды» партии смотрели на дело совершенно по-иному.

Бальфур говорил, что «надо сделать все возможное для того, чтобы человек столь блестящих дарований присоединился к консерваторам».

Черчилль, в принципе, был готов это сделать. Но он был политик, ходы свои рассчитывал и портить себе репутацию резким разрывом с либералами не хотел. В итоге он пошел на выборы как независимый кандидат, имея, однако, договоренность с лидерами консерваторов о том, что они кампанию против него вести не будут.

Консерваторы свои обязательства перевыполнили.

Под Лондоном имелся избирательный округ Эппинг, весьма консервативный. Черчилль там свою кандидатуру и выставил как «независимый», а лидеры консерваторов намекнули своим сторонникам, что выдвижение в Эппинге другой кандидатуры, скажем, от собственно консервативной партии, было бы нежелательно.

Черчилль держался на платформе «всеобщего единения всех здоровых сил страны перед угрозой социализма», воплощенного в партии лейбористов, — то есть против консерваторов больше не выступал, а как бы призывал бывших избирателей-либералов голосовать «вправо».

11 сентября 1924 года, выступая в Шотландии, в Эдинбурге, на митинге консерваторов — впервые после 1904 года, — Черчилль сказал про лейбористов, что их политика сближения с Советской Россией и займ, выделенный лейбористским правительством Макдональда, для него неприемлемы:

«...Наш хлеб — змее большевизма, наша помощь — иностранцам, наши услуги — социалистам всего мира, не имеющим

отечества, но братским странам за океаном, говорящим на нашем языке, от дружбы с которыми зависит вся будущность нашего острова и нашего народа — им только холодные камни безразличия и пренебрежения ...».

На платформе рядом с ним — не на условной политической платформе, а на совершенно конкретной и материальной платформе избирательного митинга — стояли Бальфур, лорд Карсон, сэр Роберт Хорн, люди в консервативной партии авторитетные и уважаемые.

Так что на всеобщих выборах, проведенных в конце октября 1924 года, Черчилль победил без всяких проблем.

Консерваторы получили в парламенте 419 мест, лейбористы — 151, либералы — всего 40. Их электорат разошелся кто «влево», кто «вправо». Большинство ушло «вправо», в немалой степени благодаря Черчиллю.

Премьер нового правительства Болдуин пригласил к себе Черчилля для беседы.

Черчилль не думал, что ему предложат пост во вновь формируемом кабинете — еще 10 месяцев назад он был для консерваторов политическим врагом и соперником.

Болдуин, однако, его удивил. Он спросил Черчилля, не хотел ли он получить пост канцлера.

«Канцлера герцогства Ланкастерского?» — спросил Черчилль.

Эта должность в иерархии министерств стояла в третьем десятке, сразу перед заместителем министра.

«Нет, — ответил ему Болдуин. — Канцлера Казначейства», что означало министерство финансов.

Второе место в кабинете.

IV

Репутация Болдуина в то время, в 1924 г., была невысока. Наиболее примечательной частью его биографии считалось родство с Редьярдом Киплингом — их матери были родными сестрами, так что слово «кузен» в данном случае было не эвфемизмом для обозначения какого-то родства, а просто фактом.

Болдуин, кстати, этим фактом очень гордился и говорил о нем при каждом удобном — или неудобном — случае.

Политически, однако, он был в начале своего пути величиной невеликой.

В Англии в то время был действительно крупный политический деятель — лорд Керзон, тот самый, известный в России по «Линии Керзона» как предполагаемой этнической границе между СССР и Польшей, а также лозунгу с удалого плаката «Наш ответ Керзону!», изображавшего

военный самолет, у которого вместо пропеллера красовался увесистый пролетарский кукиш, адресованный лорду.

Так вот, в 1923 году лорд Керзон высказался по поводу Болдуина следующим образом: «Человек без всякого опыта и при этом совершенно незначительный».

Ну, лорд ошибался. Уже потом, позднее, очень его не любивший Остин Чемберлен дал Болдуину определение получше:

«Он создал себе образ простого, совсем не амбициозного человека, серьезного работника, которого в его неблагодарной деятельности политика поддерживает только глубокое чувство долга, человека широкого и свободного ума, который, можно сказать, просвещает в этом смысле партию консерваторов.

Но мы знаем его поближе и видим полностью эгоцентричного человека, озабоченного только своим успехом, ловчайшего политика и манипулятора, но без единой собственной идеи в голове, и с удивительным незнанием дел за рубежом, ничего не понимающего в истинном смысле жизни политика — в стремлении к достижению какой-то цели».

Так вот — почему в 1924 году Болдуин по отношению к Черчиллю проявил вдруг такую щедрость?

Как ловкий политик, о своей репутации среди коллег он знал и поэтому решил, что ему надо добавить вес своему кабинету, и что надо иметь в своем ближайшем окружении человека с идеями, и что человек этот должен работать в правительстве охотно и с энтузиазмом, и что искомый человек — это Уинстон Спенсер Черчилль.

Соперничества с его стороны он особо не опасался, потому что в махинациях в парламенте и в формулировании успешной предвыборной стратегии он Черчилля равным себе не считал.

Какие соображения двигали Черчиллем, мы, конечно, сказать не можем.

Но у него были свои серьезные резоны согласиться: всего два года назад он был выброшен с политического ринга, а теперь мог вернуться, и не просто вернуться, а занять важное место, которое однажды занимал его отец.

Для Черчилля, человека, как ни странно, сентиментального, сознательно старавшегося повторить путь своего отца к славе, это был факт немаловажный.

И он действительно взялся за дело. Описывать его деятельность в деталях в следующие пять лет, вплоть до выборов 1929 г., довольно трудно, потому что надо влезать в особенности банковского и налогового законодательства Англии тех времен, и в приоритеты в распределении правительственных расходов, которые в ту пору существовали, и надо

знать структуру долговых обязательств Великобритании — и прочее, и прочее, и прочее.

Мы этого делать не будем.

Просто упомянем, что новый министр финансов урезал расходы на флот, чем глубоко шокировал Адмиралтейство, но увеличил расходы на авиацию, чем порадовал армейских летчиков.

Сообщим, что Черчилль умудрился уладить вопрос выплаты английских внешних долгов — он убедил Соединенные Штаты, которым Англия была должна колоссальную по тем временам сумму в один миллиард фунтов стерлингов, рассрочить выплату в зависимости от того, насколько успешно удастся Великобритании получить деньги со своих должников — Франции, Италии и прочих, которые были должны ей вдвое больше, два миллиарда фунтов, и зависели к тому же от выплаты репараций, получаемых с Германии.

У него были значительные достижения — например, он сумел провести через парламент законодательство о социальном страховании, которое тщательно пытался протолкнуть министр здравоохранения Невилл Чемберлен, сводный младший брат Остина Чемберлена.

Были неудачи: Черчилль решил держаться политики «дорогих» денег и «золотого стандарта» для фунта стерлингов, хотя его друг, лорд Бивербрук, советовал ему обратное, говоря, что «дорогие» деньги хороши для финансов, но плохи для производства.

То же самое говорил Черчиллю и сам основатель «кейнсианства» Кейнс, но Черчилль их не послушал. И оказался неправ.

Но Черчилль проявил себя как замечательный политик в период всеобщей забастовки, остановившей в Англии производство. Он умудрился заменить бастующие типографии, парализовавшие газеты, выпуском правительственной газеты, типографию которой он поставил под охрану военных и в которую он сам редакционные статьи нередко и писал.

Правительство провозгласило лозунг «Открыты все двери!», нацеленный на общенациональное примирение. Политический курс — на примирение — разработал Черчилль, и даже лозунг придумал он сам.

Он даже нашел время для парламентских дебатов, и в ответ на реплику министра финансов «теневого кабинета» лейбористов, назвавшего отмену государственной наценки на чай «взяткой избирателям перед выборами», с самым невинным видом прочел вслух пламенную речь против этой наценки, в которой говорилось, что она «выжимает последние соки из несчастных рабочих».

Речь принадлежала его оппоненту — в пылу полемики он забыл, что Черчилль осуществил ту самую меру, которую предлагал годом назад он сам.

Его трехчасовые отчеты парламенту по вопросам сведения бюджета выслушивались в полном напряженного внимания молчании — чи-

сто бухгалтерские вопросы баланса расходов и доходов он преподносил так, что парламентарии собирались на его доклады, как на концерты.

А потом, в 1929 году, случились всеобщие выборы — и консерваторы их проиграли.

V

На выборах 1929 года консерваторы получили всего 260 мест в парламенте, на 152 места меньше, чем имели в 1924 г. Лейбористы обошли их, получив 287 мест вместо 151, которые они имели раньше. Всеобщая забастовка 1926 года и последовавшая за ней безработица ударили по консерваторам очень сильно, и не в последнюю очередь потому, что политика «дорогих» денег, внедренная Черчиллем, сильно ударила по занятости.

Он напрасно не послушал лорда Бивербрука — лорд ему советовал дело.

Была предпринята попытка договориться о коалиции консерваторов и либералов — те выступили на выборах сравнительно неплохо, получив 59 мест, на 19 больше, чем в 1924 г. Черчилль даже провел на эту тему переговоры с Ллойд Джорджем — Болдуин думал, что если кто и сможет договориться с Ллойд Джорджем, то только Черчилль.

Но из этого ничего не вышло. Правительство сформировали лейбористы, новым премьером стал их лидер Рамзей Макдональд.

Черчилль со своим братом Джеком уехал в Канаду, планируя отсюда съездить и в Америку. Оба взяли с собой своих сыновей, так что получился как бы долгий семейный отпуск. Тем же лайнером в Канаду плыл и Лео Эмери, и они с Черчиллем долго говорили о прошедших выборах и о будущих перспективах.

Черчилль был настроен довольно мрачно — он опасался того, что в Англии сложится парламентский союз лейбористов и либералов, и «тори», то есть консерваторы, останутся в меньшинстве надолго.

Эмери оставил в своем дневнике интересную запись: Черчилль сказал ему, что неудача операции у Дарданелл, случившаяся из-за цепочки непостижимых промахов командования, навела его на мысль, что так было предопределено Провидением. И с улыбкой сказал:

«Дарданеллы могли резко сократить время военных действий, а Господь в мудрости своей этого не захотел, потому что хотел внушить роду людскому к войне глубокое отвращение. А дополнительным доказательством воли Божьей является возникновение Ленина и Троцкого — для которых Ад и был создан».

Эмери записал, что, по его мнению, Черчилль шутил только наполовину.

Черчилль съездил поездом из Квебека в Ванкувер, через всю Канаду, от Атлантики до Тихого океана. Путешествие было предельно удобным — он ехал в частном спальном вагоне, предоставленном ему Чарльзом Швабом, «стальным королем» Америки.

Фирма Шваба строила в 1915 г. подводные лодки для британского флота по заказу Черчилля, и Адмиралтейство осталось очень довольно этим сотрудничеством, потому что лодки строились за шесть месяцев вместо четырнадцати, нужных для этого в Великобритании.

Теперь же Шваб снабдил своего гостя «отелем на колесах», где к его услугам была даже радиосвязь.

Из Ванкувера Черчилль отправился в Калифорнию и погостил в доме у газетного магната Херста в Сан Симеоне, под Сан-Франциско.

Жене он написал:

«Херст производит странное впечатление — великолепный замок, набитый произведениями искусства, отобранными по принципу «что попало», огромные доходы, которых ему постоянно не хватает, полное безразличие к общественному мнению, две очаровательные жены, живущие под крышей его резиденции, одна из которых — его законная супруга, а вторая — любовница, и при этом хозяин дома имеет строгую внешность почтенного патриарха-квакера».

Не знаю, как насчет двух жен сразу, но, по-видимому, идея хороших заработков при полном безразличии к общественному мнению в каком-то смысле Черчиллю понравилась.

Во всяком случае, он задумался о том, что хорошо бы уйти из политики совсем и заняться литературой и журнализмом.

Он в это время уже начал свою книгу о Джоне Черчилле, первом герцоге Мальборо, и думал об «Истории англо-говорящих народов», и читал лекции, на которых в три месяца заработал в полтора раза больше, чем его потерянное теперь министерское жалованье, и даже сговорился было с Чарли Чаплином о том, что Черчилль напишет ему сценарий для нового фильма «Молодой Наполеон».

Было бы интересно посмотреть ленту Чарли Чаплина, где в титрах было бы скромно обозначено имя сценариста — Уинстон Черчилль.

К сожалению, проект не был осуществлен. Жаль.

VI

Крах биржи в Нью-Йорке, вошедший в историю под названием «Черного вторника» и положивший начало Великой депрессии, ударил не только по Соединенным Штатам. Экономика европейских стран, разоренных войной и державшихся на американских заказах и на американ-

ских кредитах, зашаталась еще и побольше американской — по крайней мере, в Германии.

Если в США уровень безработицы превысил 20 % уже в 1930 году и подошел вплотную к 23 % в 1932-м, то в Германии он достигал трети всей рабочей силы.

Экономика Англии провалилась вниз в похожих масштабах — число безработных за один только год увеличилось с 1 миллиона человек до 2 с половиной миллионов — 20 % всех работающих по найму. На северо-востоке страны безработица достигала 70 %, судостроение сократилось до одной десятой того уровня, на котором оно было всего пару лет назад.

Как всегда в таких случаях, в бедах обвинили то правительство, которое в момент катастрофы было у власти. В данном случае — правительство лейбористов. Доверие к нему было подорвано, и в 1931 году были проведены досрочные выборы в парламент.

Премьер Макдональд провел переговоры с консерваторами и либералами об образовании национальной коалиции — и этим расколол свою партию так, что ее исполнительный комитет исключил его лидера из рядов лейбористов.

Выборы дали консерваторам огромное большинство.

У них было 473 места в парламенте, а у лейбористов — только 65, причем с Макдональдом оставалось только 13 из них. Либералы, расколотые на сторонников национальной коалиции и на ее противников, совместно завоевали 68 мест, и 35 из них были готовы присоединиться к Макдональду, игнорируя мнение номинального главы своей партии Ллойд Джорджа.

В итоге было сформировано так называемое «национальное правительство», состоявшее из консерваторов, национальных лейбористов и национальных либералов. Консерваторы по числу мест в парламенте превосходили своих партнеров по коалиции вчетверо, но премьером остался Макдональд.

Конечно, лидер консерваторов Стенли Болдуин оставил за ним этот пост, исходя только из собственных соображений. Надо было принимать непопулярные меры — так почему бы не сдвинуть ответственность за них на плечи Макдональда?

Так что «национальное правительство» формировал практически Болдуин.

И Черчилля из него он исключил — самым дружеским образом.

Он его попросту туда не пригласил. Болдуин ничего не делал просто так, не стал исключением и 1931 год.

Кошкой, пробежавшей между ним и Черчиллем, стал вопрос об управлении Индией.

После сипайского восстания 1857-1858 годов Англия прилагала самые серьезные усилия для того, чтобы дать индийскому административному слою, на котором держалось управление, английское образование.

И поистине преуспела в этом начинании — лидер индийских националистов Джавахарлар Неру оканчивал ту же самую школу Хэрроу, в которой учился в свое время Черчилль, разве только учился Неру несравненно лучше.

Махатма Ганди, духовный вождь национального движения, и вообще был юрист, учившийся в Лондоне и принятый в «Достопочтенное Общество Юристов Миддл-Темпл» — «The Honourable Society of the Middle Temple» — одну из четырех профессиональных юридических лиг, на которые опирался английский верховный суд.

Но теперь «ученики» выросли и требовали самостоятельности и независимости, к великому негодованию Черчилля. Он соглашался передать индийцам местное управление, но настаивал на сохранении верховной власти в Индии за Британией и был категорически против предоставления Британской Индии статуса доминиона.

По его мнению, то, что было прекрасным решением для Канады или Австралии, для Индии категорически не годилось. Хотя бы потому, что местное правление неизбежно приведет к дикой коррупции, а может быть, и к резне. Надо сказать, очень многие консерваторы Черчиллю сочувствовали.

У Болдуина на этот счет — как и на любой другой — особых убеждений попросту не было. Но он знал, что бескомпромиссная позиция консерваторов в вопросе об Индии ослабит их избирательные позиции и подорвет возможность создания коалиции, а в чисто личном плане Черчилль начинал выглядеть не как сотрудник лидера консерваторов Стенли Болдуина, а как его соперник.

Последовали определенные «организационные выводы», и Черчилль был выведен из всех комитетов консерваторов, дававших хоть какое-то влияние. Все, что он сохранил, было его место в парламенте.

Теперь он был не министр и не кандидат в министры, а просто Уинстон Черчилль, достопочтенный дженгльмен, депутат парламента от избирательного округа Эшпинг.



Генрих Иоффе

ЗА РУСЬ СВЯТУЮ

«Белое дело» в эмиграции

Демократия начинает и проигрывает

Почти до конца 1918 г. два наиболее сильных антисоветских правительства — поволжское (Комитет членов Учредительного собрания, сокращенно — Комуч, с центром в Самаре) и сибирское (Временное Сибирское правительство, с центром в Омске) вели борьбу с большевистской Москвой под демократическими и продемократическими лозунгами. Члены Комуча были правыми эсерами, члены Сибирского правительства — тоже правыми эсерами или близкими им. В октябре 1918 г. под натиском Красной Армии Комуч и правительство Сибири объединились, избрав так называемую Всероссийскую Директорию (со столицей в Омске) во главе с правым эсером Н. Авксентьевым. Другие члены Директории тоже в большинстве своем занимали правозерсовские или левокадетские позиции. Но если политически Комуч, сибиряки, а затем и Директория выступали с демократической платформы (их знаменем являлось требование восстановления власти Учредительного собрания, закрытого и распущенного большевиками в начале января 1918 г.), то значительная часть вооруженной силы (командование) этих правительств стояло на совсем иных позициях. В большинстве это было царское офицерство правых и крайне правых взглядов, вынужденное принять демократические (правозерсовские) лозунги в результате революционного развала старой армии. «Главное, — считали они, — сбросить большевиков, а дальше уж посмотрим...». К тому же правые, монархические идеи еще в канун революции были политически и морально скомпрометированы «распутинщиной».

«Демократическая фаза» гражданской войны закончилась в ноябре 1918 г. 18 ноября группа офицеров при поддержке политиков правого толка совершила в Омске государственный переворот. Директория была свергнута, Верховным Правителем России стал адмирал А. Колчак. Постепенно другие антисоветские военные образования признали его фактически диктаторскую власть. Началась новая фаза гражданской войны, получившая название «белого движения». Идеи демократии были отброшены. Хотя Колчак заявлял, что он не монархист и после разгрома большевиков созывает Национальное или Учредительное собрание (но совсем не то, которое разбежалось «при первом окрике матроса»), нетрудно понять, что полностью управляли бы этим собранием победители, т. е. «белые» генералы и их окружение. Как резко, но в общем справедливо выразился В. Ленин, это было бы нечто похожее на собрание «медведей, водимых за кольца, продетые в нос».

Уход «белых». Явление монархизма

Уже к началу 1920 г. стало ясно: «белое дело» потерпит поражение. В феврале большевики расстреляли в Иркутске Верховного правителя, плененного адмирала А. Колчака. В марте, после новороссийской катастрофы денкинских войск, генерал А. Деникин отказался от переданного ему Колчаком звания Правителя и командующего Вооруженными силами России. Главкомандующим войсками на юге стал генерал П. Врангель. Деникин же вместе со своим начальником штаба генералом И. Романовским отбыл в Константинополь. За границу (в Эстонию) с остатками войск ушли командовавший «белым» фронтом под Петроградом генерал Н. Юденич и командовавший «белыми» на Севере генерал Е. Миллер. В начале ноября 1920 г. Русская армия Врангеля (примерно 50 тыс. чел) на заранее подготовленных судах покинула Крым. В. Маяковский с большой эмоциональностью описал прощание последнего «белого» командующего с Родиной:

И как от пули падающий,
На оба колена упал главнокомандующий.
Трижды землю поцеловавши,
Трижды город перекрестил...

Сгущались сумерки. Корабли уходили все дальше в море, и тысячи людей, сгрудившись у бортов, со слезами на глазах вглядывались в уходящую родную землю. Огни далекие бежали на том, на русском берегу...

«Белое движение» в России практически прекратило свое существование. Но идея борьбы за возрождение «белой» России не умерла.

По соглашению с турецкими и антантовскими властями врангелевцы были рассредоточены: 1-й армейский корпус генерала А. Кутепова (25 тысяч) расположился на острове Галлиполи, Донской корпус генерала В. Абрамова (20 тысяч) — недалеко от Константинополя, на Чалтадже; 15 тысяч кубанцев — на острове Лемнос. Военные суда отвели в порт Бизерта (Тунис. В то время колония Франции). Но антантовские руководители, считавшие, что «белое дело» проиграно окончательно, не желали оказывать ему дальнейшую поддержку. Они потребовали расформировать врангелевские воинские части и перевести их солдат и офицеров на положение беженцев. Это означало бы прекращение серьезной материальной помощи. В ответ в Галлиполи начали готовиться к походу на Константинополь, угрожая «силой пройти на север, в славянские страны». План, разработанный начальником штаба Кутепова, генералом Б. Штейфоном, вполне мог оказаться успешным, поскольку антантовских войск в Константинополе было мало. Здравый смысл, однако, взял верх. Врангель рассчитал: коль скоро в его руках находятся вооруженные силы, он и должен возглавлять все «русское беженство» до той поры, пока армия в новых боях не разгромит большевизм в России. В апреле 1921 г. в Константинополе при Врангеле был создан Русский совет, в который вошли представители различных общественных и торгово-про-

мышленных организаций (среди них: епископ Вениамин, А. Гучков, г. Скоропадский, князь П. Долгоруков, В. Шульгин и др.).

Врангель стремился сохранить армию вне политики, вне партий, но пропаганда «надпартийности» отныне далеко не у всех встречала отклик. В ходе гражданской войны, как уже отмечалось, монархизм не был популярен, сейчас маски можно было сбросить, и монархизм в «белом движении» явил свое лицо.

Рейхенгальский съезд

Зимой 1921 г. в Берлине был создан Временный русский монархический союз во главе с крайне правым депутатом IV-ой Государственной думы Н. Марковым 2-м, М. Таубе и А. Масленниковым. В конце мая того же года в баварском курортном городке Рейхенгаль открылся «Общероссийский» монархический съезд. Он длился более недели. В зале присутствовало около 120 человек — делегатов русских монархических организаций из разных стран. Масленников выступил с докладом «Об идеологии российской императорской власти».

По мнению докладчика, отличительная психологическая черта русского народа — «стихийная смена рабской подчиненности бунтарским анархизмом». При таком положении авторитетной властью для народа не могут быть ни «словоохотливый неудачник от адвокатуры», ни «честолюбец-профессор, который, ныряя между конституционной монархией и демократической республикой, то ругался, то обнимался с социалистами, меняя, как перчатки, свои ориентации», ни «добродушный князь, который, стоя уже у кормила правления, не нашел в себе сил, чтобы бороться с возрастающей анархией», ни «организатор террористических убийств и разных ограблений, который посылал экзальтированную молодежь на явную смерть, а сам позорно сбежал из Учредилки от крика полупьяного матроса».

В этой тираде легко угадывались все «вожди» Февраля — А. Керенский, П. Милуков, Г. Львов, В. Чернов. Не пощадил Масленников и «белых» генералов. «Крушение власти Колчака и Деникина, — сказал он, — наглядно показало, что народные массы ни в каком генерале не признают носителя верховной власти».

Но кто же тогда, по Масленникову, может стать авторитетной властью для России?

«Сугубо прав был Ульянов-Ленин, — заявил Масленников, — что в России может быть только власть монарха или власть большевиков». И он призвал к установлению власти «законного царя из дома Романовых на основании закона о престолонаследии».

Выступивший писатель И. Наживин настаивал на объединении всех монархических течений, чтобы в будущем, после свержения большевиков,

созвать в России Великое национальное собрание, которое и решит кому быть царем.

На четвертый день заседания съезда приняли резолюцию, в которой, в частности, говорилось: «Съезд признает, что единственный путь к возрождению великой, сильной и свободной России есть восстановление в ней монархии, возглавляемой законным монархом из дома Романовых, согласно основным законам Российской империи».

Но какой должна была стать восстановленная монархия — самодержавной или конституционной — оставалось не вполне ясным. Правда, в одном из выступлений Марков 2-й напомнил свой давний ответ знаменитому адвокату Ф. Плевако, утверждавшему, что русскому народу давно «пора надеть тогу гражданина». «Не римская простыня нужна русскому народу, — ответил тогда Марков 2-й, — а теплый романовский полушубок». Теперь в Рейхенгале к «романовскому полушубку» Марков 2-й предлагал добавить «тугую трехцветную опояску и хорошие ежовые рукавицы».

Избранному на Рейхенгальском съезде Высшему монархическому совету (в него вошли Марков 2-й, А. Ширинский-Шихматов, А. Масленников) не удалось добиться единства монархического движения. Экстремизм совета отталкивал тех монархистов, которые считали, что необходимо извлечь уроки из всего случившегося во время революции и учесть те глубокие перемены, которые произошли в России со времени гражданской войны. Раскол выявлялся все острее. Главное — монархистам по-прежнему не хватало всемирнопризнаваемого кандидата на престол.

Некоторые из эмигрантов обратились к уже испытанному оружию мести — террору. Летом 1922 г. бывшие белогвардейцы Р. Шабельский-Борк и С. Таборицкий совершили покушение на П. Милюкова, выступавшего с докладом в Берлинской филармонии. Они кричали, что будут мстить за царя. Но убили не Милюкова, а В. Набокова (отца будущего знаменитого писателя), пытавшегося защитить Милюкова. В мае 1923 г. в Лозанне тоже бывшие белогвардейцы М. Конради и А. Полунин убили советского дипломата В. Воровского. Позднее, в июне 1927 г. Б. Коверда застрелил в Варшаве посла П. Войкова — летом 1918 г. Войков являлся членом исполкома Уралоблсовета, расстрелявшего царя и его семью.

Террористов судили как лиц, действовавших по личной инициативе, но не исполнителей планов каких-либо организаций. Впрочем, тут не все оставалось вполне ясным. По некоторым данным можно заключить, что, например, за Конради и Полуниным стояли А. Гучков и связанные с ним лица.

Кирилловцы и николаевцы

В эмигрантских монархических кругах вопрос о легитимности престолонаследия не сходил с повестки дня. Было немало таких, кто ставил под большое сомнение (или отвергал) итоги работы колчаковского следо-

вателя Н. Соколова, пришедшего к выводу, что вся царская семья была уничтожена в Екатеринбурге летом 1918 г. Не верила в гибель Николая II и его мать, вдовствующая императрица (жена Александра III) Мария Федоровна, жившая в Дании. Известное основание для сомнений давала и сама Москва, официально объявившая о расстреле только одного царя и скрывшая факт расстрела царицы и царских детей.

Оставляя открытым вопрос о смерти Николая II, его семьи, а также великого князя Михаила Александровича (убитого в июне 1918 г. под Пермью), некоторые монархисты-эмигранты препятствовали тем Романовым, которые, кажется, готовы были заявить о своих правах. В некоторых кругах с вниманием отнеслись к появлению в 1921 г. в Берлине «Анастасии», объявившей себя чудом спасшейся младшей дочерью Николая II. Эпопея с этой Лжеанastasией затянулась на годы. Ныне ее захоронение — в Германии, в усыпальнице герцогов Лейхтенбергских, на могиле надпись: «Имя ее Господь Бог весть». Впрочем, впоследствии появились все новые «Анастасии». Да и не только они. Но это — уже за рамками нашего повествования.

Между тем, все отчетливее обозначалось противостояние сторонников двух основных претендентов на возглавление русского монархического движения за рубежом: двоюродного брата Николая II, великого князя Кирилла Владимировича, и его дяди — великого князя Николая Николаевича.

Накануне февральских событий 1917 г. Кирилл Владимирович командовал Гвардейским морским экипажем. Уже 1 марта он, как говорили многие, с красным бантом в петлице якобы явился в Государственную думу, чтобы засвидетельствовать свою лояльность новой власти. Впоследствии монархисты, отвергавшие его права на престол за брак на лютеранке, ставили ему в упрек и это.

Великий князь Николай Николаевич с начала Первой мировой войны возглавил русскую армию. В августе 1915 г. царь сместил его, приняв на себя Верховное главнокомандование и назначив Николая Николаевича наместником на Кавказе. В первые мартовские дни 1917 г. великий князь (как и другие генералы — главнокомандующие фронтами) направил Николаю II телеграмму, рекомендуя ему отречься от престола. Вскоре после падения монархии Николай Николаевич уехал в Крым. Одно время обсуждался вопрос о возглавлении им всего «белого движения», но мысль эту отклонили как несоответствующую политике «непредрешенчества».

В августе 1922 г. Кирилл Владимирович решился издать манифест, в котором провозгласил себя «блюстителем русского престола» до выяснения судьбы Николая II, его семьи и великого князя Михаила Александровича. Сей шаг не нашел, однако, поддержки в значительной части монархических кругов эмиграции.

РОВС

Генерал П. Врангель, командовавший Русской армией, которая во многом уже перешла на положение рабочей силы и находилась главным образом в Болгарии и Сербии, по-прежнему стремился держать ее вне политики. Это должно было содействовать сохранению единства армии под его командованием. Осенью 1924 г. при поддержке великого князя Николая Николаевича и генерала А. Кутепова им была создана сильная организация — Российский общевоинский союз (РОВС). Она должна была сплачивать (через специальные отделы, штаб — квартира в Париже) бывшие воинские части, находившиеся в разных странах. По некоторым данным при создании РОВСа его отделы насчитывали до 100 тыс. чел. В «Положении о РОВСе» говорилось: «Основным принципом РОВСа является беззаветное служение Родине, непримиримость борьбы с коммунизмом... РОВС стремится к сохранению основ и традиций и заветов Русской Императорской армии и армий белых фронтов гражданской войны в России». Руководство РОВСом никогда не оставляло планов организации новых походов против Советской России. Если разработкой таких планов занимался сам Врангель, генерал А. Кутепов и другие генералы, то идеологическую основу «белого движения» и РОВСа прежде всего создавал известный философ, публицист и историк Иван Ильин (его выслали из России в 1922 г., наряду с другими представителями дореволюционной профессуры). Он был сторонником оригинального направления, так называемого «монархизма-непредрешенчества», тяготевшего к славянофильству.

Отношения Врангеля с Высшим монархическим советом, настойчиво пытавшимся навязать армии монархизм, оставались напряженными. Некоторые расхождения имелись и с проживавшим в Шуаньи (Франция) Николаем Николаевичем. Но время шло, солдаты и офицеры все больше рассеивались по разным странам (кто-то возвращался в Россию), и влияние Врангеля слабело. Не желая, однако, подчиниться «императору Кобургскому», то есть Кириллу Владимировичу (его «двор» находился в немецком городе Кобурге), Врангель в конце концов заявил, что будет «счастлив повести армию за Николаем Николаевичем».

Однако Кирилл Владимирович, и его сторонники — «кирилловцы» — не отступали. В августе 1924 г. Кирилл Владимирович объявил себя уже императором всероссийским, а своего сына, Владимира Кирилловича, — наследником престола. Программа Кирилла отвергала иностранную интервенцию как способ свержения Советской власти и делала ставку на антибольшевистские силы внутри России. А для того чтобы сплотить эти силы, полная реставрация дофевральских порядков была объявлена невозможной. Кирилл Владимирович соглашался даже на сохранение Советов (!), но при условии восстановления монархии.

Операция «Трест»

Сторонники великого князя Николая Николаевича («николаевцы») выразили резкий протест «императору» Кириллу. Но в ноябре 1924 г. Николай Николаевич принял на себя руководство всеми формированиями и организациями, объединенными РОВСОм. В окружении Николая Николаевича и Врангеля по-прежнему жили идеей антибольшевистского похода. Здесь ловили любое известие из России об антисоветском движении, о возникновении в России подпольных организаций и групп, ведущих антибольшевистскую работу. Однако, еще в начале 20-х гг. ГПУ осуществило крупную оперативную акцию: создало фиктивную организацию под кодовым названием «Трест». Ее цель заключалась в содействии расколу монархической эмиграции и подрыве активности РОВСа. Вербовка в агентуру ГПУ шла на самых ровсовских верхах,

Но у Врангеля (он жил сначала в Югославии, а потом переехал в Брюссель) и некоторых лиц его окружения с самого начала возникли подозрения относительно «Треста»: это ни что иное, как хитрая чекистская ловушка. Врангель предупреждал Николая Николаевича и генерала А. Кутепова, пошедшего на тесный контакт с «Трестом», что они могут оказаться «всецело в руках советских азефов» и что «от этого дела следует отойти». Но предостережениям ни сам Кутепов, ни кутеповцы не вняли: слишком соблазнительной представлялась перспектива внедриться, как они считали, в антисоветские силы внутри России. Дело дошло до того, что руководителя «Треста», завербованного ГПУ А. Федорова-Якушева (между прочим, дальнего родственника бывшего царского министра А.Ф. Трепова), принимал сам Николай Николаевич.

Якушев убеждал своих собеседников, что «Трест» глубоко проник в руководящие советские круги. «Вы знаете, что такое «Трест»? — говорил он. — «Трест» — это измена Советской власти, которая (измена) поднялась так высоко, что вы не можете себе даже представить». И следовал естественный вывод: эмиграция обязана учесть это, стать силой, содействующей «Тресту».

Один из идеологов «белого» движения, — В. Шульгин, в конце 1925 — начале 1926 г. решил под покровительством чекистов (из «Треста») побывать в Советской России, познакомиться с жизнью в Москве, Ленинграде, Киеве. Он благополучно вернулся назад. Вернувшись, по согласованию с руководством «Треста», написал книгу «Три столицы», в которой проводил мысль о начавшемся перерождении большевизма и необходимости новых подходов эмиграции к борьбе с большевиками. Рукопись книги выслали в Москву (в «Трест»), ее просмотрели в ГПУ и... санкционировали к изданию. Эта поездка дорого обошлась Шульгину: в эмигрантской среде он утратил доверие.

На его долю выпала нелегкая участь. В 1945-ом в Югославии, арестованный СМЕРШем, он был осужден на 25 лет тюремного заключения. Отсидел 15 лет и, освобожденный досрочно, жил во Владимире в доме для престарелых, много писал. Одна из его последних рукописей называется «Опыт Ленина». Любопытно, но в ней Шульгин высказывал мысль, что опыт советского строительства следовало, может быть, можно было бы довести до конца: «Великие страдания русского народа к этому обязывают. Пережить все, что пережито, и не достичь цели? Нет! Опыт шел слишком далеко».

Не исключено, что эта книга была написана Шульгиным как «мандат» для разрешения выезда в США, где жил его сын. А вообще Шульгин оставался верен перспективе, о которой писал еще в гражданскую войну: «Придет некто, большевик по энергии, националист по убеждению. У него нижняя челюсть одинокого вепря, человеческие глаза и лоб мыслителя».

В 1927 г. «Трест» «лопнул»: бежавший в Финляндию член и агент ГПУ некий Н. Опперпут-Стауниц (ранее он был связан с Б. Савинковым) разоблачил «игру» ГПУ с «белой» эмиграцией.

Созданная Кутеповым так называемая «Внутренняя линия» летом 1927 г. попыталась организовать террористические акты в Москве и Ленинграде. Руководили ими Мария Захарченко-Шульц, Н. Опперпут, В. Ларионов и др. Не исключено, что Опперпут заранее информировал ГПУ, потому что ничего существенного террористическим группам сделать не удалось. Большинство их участников были убиты или арестованы чекистами.

«Зарубежный съезд»

4 апреля 1926 г. в Париже, в отеле «Мажестик», открылся «Зарубежный съезд», который был призван легитимировать Николая Николаевича как «национального вождя». Присутствовало около 500 делегатов из 24 стран. Председательствовал на съезде П.Б. Струве, прошедший с конца XIX в. большой и сложный политический путь. Он начинал марксистом (как один из основателей социал-демократической партии в России), затем стал либералом, в годы гражданской войны примкнул к «белому движению» (в правительстве Врангеля занимал пост министра иностранных дел), а в эмиграции — к монархистам-«николаевцам».

Биограф Струве С. Франк писал, как однажды в 1927 г. он напомнил Струве о его радужном настроении в марте 1917 г., вызванном революцией и крахом монархии. «Дурак был!» — коротко и мрачно ответил Струве.

«Зарубежный съезд» ставил своей задачей объединить под главенством великого князя Николая Николаевича как можно более широкие круги «белой» эмиграции. Лидеры Верховного монархического совета в своих выступлениях говорили, что, оставаясь верными монархическому

знамени, они, тем не менее, ради единения под главенством «верховного вождя» Николая Николаевича, временно готовы не разворачивать это знамя. В ответ конституционные монархисты заявляли, что в таком случае и они согласны на компромисс. Сам Николай Николаевич, находясь в своей резиденции в Шуаньи, тоже высказывался за компромисс, говоря, что согласен «не предрешать будущих судеб России».

И тем не менее прийти к полному единству съезду не удалось. Особенно это проявилось при попытке создать постоянный руководящий орган — «Российский зарубежный комитет». Тем, кто выражал сомнения в своевременности такого комитета, представители крайне правых открыто угрожали «правой стенкой». Объединительную задачу съезд не выполнил: монархическая, как и любая другая эмиграция, политически была глубоко расколота (демократические и либеральные элементы эмиграции вообще не приняли участия в съезде).

Многие делегаты в своих выступлениях говорили, что видят наиболее мощную силу, способную противостоять большевизму и искоренить его последствия, в поднимающемся в Европе фашизме. В. Шульгин даже попытался дать лозунг: «Фашисты всех стран, соединяйтесь!».

Жизнь, однако, брала свое, путая политические карты. Европейские правительства одно за другим признавали большевистскую власть, новая экономическая политика (НЭП) порождала надежды на буржуазные перемены в Советской России и перерождение большевизма. Идеи «сменовеховства» получали понимание и поддержку. Один из лидеров «сменовеховства», бывший руководитель пропаганды правительства Колчака проф. Н. Устрялов писал, что и под красными звездами Кремль останется символом исторической государственности России, что многие национальные традиции неискоренимы, неизбежно возродятся и преодолечат «революционный разрыв».

В 1935 г. Устрялов вернулся из эмиграции (из Харбина) в Советскую Россию, вполне сознавая всю опасность такого шага. «Что ж, — писал он, — если государству потребуются мои кости, я готов». Он был расстрелян в 1937 г. за «контрреволюционную деятельность».

Становилось популярным движение евразийцев. Его сторонники утверждали, что большевизм возродил национально-государственную специфику России, продолжил ее исторические традиции с учетом перемен, порожденных социальными переворотами 1917 г., с которыми уже нельзя не считаться. Сменовеховцы и евразийцы призывали к определенному примирению с Советской властью. (Позднее эмигрантский писатель Р. Гуль назвал эти призывы «иллюзией примиренчества»). Большевики сначала использовали тех, кто им «поддался», а потом многих уничтожили в тюрьмах и лагерях.

В таких условиях внутриэмигрантская борьба (в частности, противостояние «кирилловцев» и «николаевцев»), многим представлялась уже бессмысленной, если не карикатурной. Как писал один из эмигрантских

публицистов — Н. Снесарев, «выбирать при данных условиях царя в России — это то же самое, что вынимать голой рукой из кипящего котла с ухой намеченного ерша, когда их варится в котле 1000 штук».

Еще в конце 1925 г. Врангель писал В. Шульгину: «Боюсь, что, кроме мелких дряг, в зарубежной русской жизни в настоящее время ничего нет». Российская эмиграция превращалась в отыгранную политическую карту. В 1928 г. Врангель умер. Существовало подозрение, что его отравили агенты ГПУ. Не так давно «Новый журнал» (Нью-Йорк) опубликовал интервью с дочерью Врангеля, живущей в США. Она рассказывала, что неожиданно в Брюссель к денщику Врангеля приехал его брат-моряк. Побывал у брата и уехал. Сразу после этого Врангель заболел то ли тяжелым гриппом, то ли тифом и вскоре скончался.

Неясно, однако, почему с такой легкостью брата допустили в дом Врангеля. Ведь все уже знали, например, о сущности «Треста».

В 1929 г. скончался великий князь Николай Николаевич. В январе 1930 г. вся эмиграция была потрясена исчезновением главы РОВСа генерала Александра Кутепова. Только через много лет выяснилось, что его похитили советские агенты на конспиративной квартире в Париже. По одним данным он там и скончался, по другим — на теплоходе, шедшем в советский порт. До сих пор неясно, кто же из «Внутренней линии» РОВСа выдал Кутепова чекистам. Через много лет подозрение пало на добровольческого генерала Б. Штейфона, по некоторым предположениям завербованного ГПУ (во время 2-й мировой войны он командовал «Русским заграничным корпусом» в Югославии, сотрудничавшим с немцами). Но подтверждений этому нет.

Финал

В сентябре 1937 г. судьба Кутепова постигла сменившего его генерала А. Миллера (во время гражданской войны командовал «белыми» войсками Временного правительства Северной области — Архангельск). Он исчез в Париже так же внезапно, как и Кутепов, но на этот раз следствие установило тех, кто его выдал. Это были бывший командир Корниловского полка генерал Н. Скоблин, его жена — звезда русской эстрады певица Н. Плевицкая и бывший член Временного правительства (заместитель министра торговли и промышленности) С. Третьяков. Все трое оказались советскими агентами (по некоторым свидетельствам, Третьяков даже установил подслушивающее устройство в помещении РОВСа). Казалось бы, похищение генерала Миллера не было мотивировано, как похищение Кутепова семь лет назад: ведь в 37-ом г. РОВС уже не представлял такой опасности, как в 30-ом. Однако в НКВД, по-видимому, опасались, что Миллер либо вошел, либо войдет в контакт со спецслужбами фашистской

Германии, а это могло усилить РОВС. Генерала Миллера доставили в тюрьму на Лубянке. Там его позднее и расстреляли.

Скоблин сразу же исчез из Парижа, Судьба его туманна, Третьяков в 1941 г. попал в руки немцев и был расстрелян. Только Н. Плевицкая, оказавшись в 1937 г. на скамье подсудимых французского суда, была осуждена и скончалась в тюрьме в октябре 1941 г.

Начало Второй мировой войны внесло раскол в численно все уменьшавшуюся среду бывших участников «белого движения». Большинство заняло оборонческую позицию, призывая содействовать Красной Армии в борьбе с Гитлером. Ее, например, полностью разделял генерал Деникин. Среди белых эмигрантов появилось много так называемых совпатриотов. Но другие бывшие белогвардейцы (например, генерал П. Краснов, Г. Шкуро, Султан Гирей-Клыч) сотрудничали с гитлеровцами, а некоторые подчиненные им подразделения принимали участие в боях с Красной Армией. Впрочем, это вряд ли можно считать продолжением «белого дела».



Игорь Юдович

ИСТОРИЯ ЧЕТВЕРТОЙ

(самой очевидной, самой противоречивой и самой игнорируемой поправки к Конституции США)

(окончание. Начало в №10/2015)

«Malo periculosam libertatem quam quietam servitutem
[Предпочитаю опасную свободу спокойному рабству — лат.]»

(Из письма Т. Джефферсона — Д. Мэдисону)

Когда американскому политику нечего сказать, он начинает говорить о свободе. Я не политик, но последую этой традиции.

В самом начале Декларации Независимости звучит ее наиболее известная фраза: «Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определёнными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, *свобода* и стремление к счастью».

В Конституции США, в свою очередь, говорится о «благах *свободы*», «*свободном* государстве», «*свободе* исповедования», «*свободе* слова и печати», но ни в ней, ни в Декларации нет определения свободы или рамок свободы. Какой-либо дискуссии по вопросу определения понятия «свобода», насколько я знаю, не существовало. Наверно, это только подчёркивает то, что для отцов-основателей в этом вопросе не было вопроса. Тем не менее, смысл и представление о свободе менялись с годами.

Одним из примеров является эволюция представлений об экономической свободе (э.с). В начале 19 столетия э.с. определялась как автономия, на которую давало право обладание собственностью — фермой, мелким бизнесом, магазином и т. п. К концу столетия возникло представление об «индустриальной свободе» для крупных предпринимателей. Адепты такого представления утверждали, что абсолютная свобода предпринимательской деятельности не только конституционно законна, но только она может дать работу миллионам нуждающихся и дать им вместе с ростом благосостояния возможность обретения политической свободы. С начала 20 века э.с. стала означать экономическую безопасность — определённый базовый уровень благосостояния, падение ниже которого государство не должно допускать. Экономическая основа Нового Курса (*New Deal*) Президента Франклина Рузвельта целиком основана на новом представлении об э.с. Между прочим, его противники, объединившись в Американскую Лигу Свободы, осуждали ФДР и его реформы как грубо нарушающие базовые права американца и его свободы, данные Биллем о Правах.

Поскольку, невозможно дать определение свободы, удовлетворяющее всех, тем более определить ее границы в каждом случае, то представление о свободе в ее «американском» варианте всегда определялось для *данного конкретного времени* в результате споров и дискуссий, конфликтов, яростной борьбы и компромиссов. Такие споры шли на всех уровнях общества, не только среди законодателей и юристов. В споры и конфликты были вовлечены писатели и журналисты, религиозные люди и атеисты, рабочие и капиталисты, южане и северяне, рабовладельцы и аболиционисты, мужчины и женщины, короче — все без исключения.

Со времени принятия Конституции стало ясно, что декларируемая ею свобода явно касается не всех жителей страны. Все последующее время шла и продолжает идти борьба — всегда за расширение свобод для отдельных, не включённых групп, аутсайдеров: негров, женщин, расовых меньшинств, рабочих по найму. Каждая аутсайдерская группа понимала свободу по-своему, но к 1930-м годам в Конституцию было внесено достаточно много поправок, после которых в стране не осталось крупных групп-аутсайдеров, лишённых базовых свобод. В то же время изменялось представление и о самих *базовых* свободах и правах.

Известным примером было признание в конце 19 столетия нового права, отразившегося в принятии в юридическом законодательстве «права на частную жизнь», то, что по-английски называется красивым и куда более полным словом *Privacy*. Эта новая концепция была введена — как расширение представления о свободе — американским юристом, членом ВС Луисом Брандайсом. Новое право, в свою очередь, со временем расширяясь и охватывая все новые территории, не могло в какой-то момент не пересечься с Четвертой и дать ей ещё одну интерпретацию. Это было знаменитое диссидентское решение Брандайса по делу «*Олмстед против Соединённых Штатов*» (1928 год).

В своей книге «Американский путь» я писал об этом решении:

«В Верховном суде рассматривалась конституционная законность подслушивающих устройств при добыче доказательств в уголовных делах. По Брандайсу такая практика была «грязным бизнесом», потенциальным вмешательством государства в частную жизнь граждан. Существенно расширив юридические представления Четырнадцатой поправки и увязав их с Первой, Брандайс в своём мнении писал:

«Защита, гарантированная Поправками к Конституции, гораздо шире своих ныне существующих пределов. Создатели нашей Конституции предприняли меры для защиты условий, при которых человек может реализовать своё стремление к счастью. Они осознали важность духовной жизни человека, его чувств, его интеллекта. Они знали, что только часть горести, удовольствия и удовлетворения от жизни принадлежит материальной сфере.

Они думали о том, как обеспечить защиту верований и мыслей, эмоций и чувств американских граждан. Как защиту от государства, они даровали право «оставьте меня в покое» (The right to be let alone) — наиболее комплексное право и право наиболее ценимое цивилизованными людьми.

В данном решении Суда речь шла о возможности не только установки прослушивающих устройств без достаточных оснований, но и, например, о возможности тайного изъятия письменного документа из частного жилища, копирования его и представления в виде доказательства. Резко протестуя против подобной практики, Брандайс как будто бы предвидел электронную эру и возможность прослушивания наших телефонных разговоров, изъятия наших с вами e-mail или любых документов, хранящихся в домашних компьютерах. Но он смотрел ещё дальше. В его диссидентском решении есть такие, совершенно удивительные слова: *«Когда-либо может быть разработана такая технология, когда государство найдёт возможность копировать документы без фактического изъятия их из секретных шкапуток, представлять их в суде и с их помощью будет способно предоставить жюри самые интимные подробности, происходящие в четырёх стенах жилища. Достижения в физике и близких к ней науках со временем могут предоставить методы, раскрывающие ещё не высказанные верования, мысли и эмоции».*

Удивительное для своего времени предвидение будущего, полностью оправдавшееся в наш электронно-информационный век.

Вторым примером нового представления о свободе в совершенно новых условиях будет пример из предвоенного времени.

5 июля 1940-го года, на следующий день после дня Независимости, Франклин Рузвельт (ФДР) принимал небольшую группу корреспондентов и журналистов в своём доме в Гайд Парке. Официальным поводом было открытие Президентской библиотеки. Президент, по мнению большинства, со дня на день должен был объявить о том, что он не будет выставлять свою кандидатуру на выборах 1940 года. Ещё в начале года в узких кругах было известно, что ФДР подустал от 8 лет работы в Белом Доме и, как говорила его жена — «он все делает медленнее... у него нет того жара, с которым он раньше вникал во все детали работы администрации». Но в мае случилось то, чего никто не ожидал — почти мгновенное поражение Франции. Это событие потрясло ФДР и отменило его решение уйти с политической арены. Он просто не видел ни среди кандидатов-республиканцев, ни у возможных кандидатов-демократов кого-нибудь более-менее ориентирующегося в международной обстановке, готового без раскачки стать во главе государства в критическое время. Та сумасшедшая работа, которая именно в эти дни после падения Франции и уверенности ФДР в неизбежности войны с Гитлером проводилась в Администрации и в армии, тщательнейшим образом скрывалась от Конгресса и общества, которые кате-

горически были против не только участия США в войне, но и любой помощи воюющим странам.

От встречи в Гайд Парке журналисты не ожидали ничего необычного. В самом крайнем случае, сообщения о снятии своей кандидатуры на ноябрьских выборах. Услышать же им пришлось одну из самых легендарных речей не только ФДР, но всех американских президентов. Вернее, это был набросок, проверка на аудитории той речи в Конгрессе, которая вошла в историю как речь о «Четырёх Свободах».

В рамках обсуждения событий в Европе ФДР сказал:

«Мы можем сказать, существуют определённые свободы. Первую я хотел бы назвать «свободой информации», значение которой громадно. Это значительно более точное название, чем «свобода прессы», поскольку существует множество других видов информации, из которой жители страны могут почерпнуть новости и узнать, что происходит в каждой части нашей страны и в каждой части мира без цензуры и используя любые способы коммуникации».

Затем он назвал ещё три универсальные свободы — свободу религии, «свободу выражать своё мнение, пока ты не призываешь к свержению правительства» и новую, не рассматриваемую в 1776-м или 1787-м году, «свободу от страха, чтобы люди не боялись, что на них могут посыпаться бомбы сверху или они будут атакованы каким-либо другим способом той или иной страной». В заключение он сказал: «Реальный вопрос состоит в том, будем ли мы защищать наши свободы или согласны их отдать».

В январе 1941, выступая перед Конгрессом в качестве только что переизбранного на третий срок Президента, ФДР несколько изменил определение свобод, усилив четвертую и заменив вторую на свободу экономического развития и свободу торговли в любой части мира. Но я рассказал о «Четырёх Свободах» не только, чтобы подчеркнуть меняющееся со временем представление, но и для того, чтобы напомнить, как серьёзно в то время народ Соединённых Штатов воспринял угрозу своим свободам, как речь в Конгрессе в январе 41-го всколыхнула буквально всю страну, а после нападения Японии стала «фундаментальным выражением американских военных усилий».

Ещё раз повторю, что понятие и представление о свободе в данном обществе, безусловно, изменяется со временем и, как и все остальное, подвержено обстоятельствам места и действия. ФДР, например, внёс в известный список что-то своё, характерное для его времени. Американская государственность, гарантирующая через Конституцию определённый набор свобод, тоже никогда не была статичной. Само количество Поправок к Конституции после принятия Боп, само количество фундаментальных интерпретаций Верховного Суда изменило представление в том числе и о фундаментальных свободах. Самые очевидные примеры — свободы, приобретённые женщинами (право голосовать, право на аборт, равные зар-

платы и прочее), свободы, приобретённые неграми, японцами и китайцами (в определённые времена они были дискриминированы), свобода браков для нетрадиционных пар и многое другое.

Не все Поправки и интерпретации были благосклонно приняты частью общества. Каждой предшествовали годы борьбы определённых меньшинств или общественных групп, после принятия всегда оставались недовольные, которых трудно и, может быть, неправильно обвинять в ретроградстве, так как за каждым стояли его личные убеждения. Эти убеждения могли быть основаны на религиозной или общинной традиции, на интересах бизнеса, на чем угодно — это не важно, главное они были абсолютно легитимными в обществе, где декларируется свобода слова и свобода сознания. Несогласные имели полное право говорить вслух о своём несогласии, участвовать в дискуссии, пытаться убедить, переубедить или перетянуть общество на свою сторону любым законным способом. Но поскольку дискуссия всегда проходила в демократическом обществе, и поражение одной из сторон было неминуемым, то проигравшие со временем смирились с выбором большинства.

При всей остроте споров и при всех многочисленных несогласных нельзя сказать, что Поправки после Десятой и многочисленные, иногда — противоречивые интерпретации ВС, были приняты недемократическим путём. Это единственный путь в либеральном обществе, не идеальный, но единственный. Но демократический путь не всегда ведёт только к увеличению свобод. К сожалению, иногда и решение отдать свободу тоже принимается большинством.

Или — равнодушием большинства.

USA Patriot Act

«Я не люблю холодного цинизма,
В восторженность не верю, и ещё —
Когда чужой мой читает письма,
Заглядывая мне через плечо».
(В. Высоцкий, «Я не люблю»)

-1-

Повторю еще раз: общество совершенно по-разному относится к рутинным, привычным угрозам и смертям ими вызванными, и к угрозам неожиданным, экзотическим, трудно постижимым. В 2001 году от терроризма в США погибло около 3000 человек (все в терактах 11 сентября), в том же году от огнестрельного оружия погибло 29 573, по вине пьяных водителей — 13 290. За следующие 12 лет от терроризма погибло меньше 100

человек, по вине пьяных водителей — 150 000, от отравления пищевыми продуктами — 36 000. Как известно, реакция общества на эти реальные смерти была существенно различной. Почему?

Одним из возможных ответов будет разное эмоциональное восприятие. Что автоматически приводит к совершенно разному восприятию роли государства в защите населения в таких разных случаях. И государство, включая наших избранных представителей, в лучших демократических традициях немедленно реагирует на призыв населения. Реагирует... и использует. Остаётся, однако, существенный вопрос: в чьих интересах? Ответом может стать анализ USA Patriot Act, свода законов, принятых Конгрессом США после событий 11 сентября 2001 года.

После трагедии 11 сентября и последующих через неделю событий, связанных с массовой рассылкой писем с отравляющими спорами сибирской язвы (антракс), американское общество было на грани серьёзного нервного срыва. Законодатели в Конгрессе сразу после этих событий начали подготовку ряда новых законопроектов, которые после *очень краткого* обсуждения, уже к середине октября, были объединены в свод законов под названием USA Patriot Act. Само название является акронимом, аббревиатурой из начальных букв большой фразы, которую можно перевести примерно как «Объединить и усилить Америку, предоставляя нужные инструменты для распознавания и пресечения терроризма». 26 октября новый Закон был принят подавляющим большинством в Палате представителей и только с одним голосом против в Сенате.

Закон изменил, в некоторых случаях — *существенно*, пять предыдущих законов: в области борьбы с терроризмом, методов электронного контроля за информацией, получения информации службами национальной безопасности, борьбы с отмыванием денег, финансовой безопасности и иммиграционного контроля. Правоохранительные органы и спецслужбы получили значительно более широкие возможности по сбору e-мэйлов, прослушиванию телефонных разговоров, доступу к медицинским, финансовым и библиотечным архивам. Одно из изменений давало доступ к электронной коммуникации (архивам *voicemails*) на основании только общего ордера на обыск, а не ранее необходимого ордера на право наблюдения за конкретным человеком. Получение общего ордера, как мы уже знаем, требует гораздо меньшей доказательной базы в суде и эффективно возвращает нас в 18 столетие. Ещё одним положением нового закона было разрешение широкого использования *sneak-and-peak* ордера, специального и очень редкого вида ордера на наблюдение (слежку), само существование которого можно было в течение определённого времени не раскрывать подозреваемому (о других особенностях этого ордера — ниже).

Самым, пожалуй, «радикальным» было разрешение более широкого использования National Security Letter — NSL. Мало кто из широкой публики до того был знаком с тем, что стоит за аббревиатурой NSL. В общем смысле — это административный ордер, который требует от определённых

граждан, групп, организаций или компаний предоставлять информацию (как правило — документы) о конкретном человеке. Обычно речь идёт о телефонных, медицинских или финансовых данных. Важнейшей особенностью NSL является включение в него в обязательном порядке *gag order*, что означает следующее: человек или организация, получившая NSL, не имеет права кому-либо сообщать о существовании NSL ^[1]. Согласно Patriot Act «органы» получили право использовать NSL при наблюдении за *гражданами* страны в случаях, когда сами «органы» не имеют никаких оснований подозревать конкретного человека в совершении преступления (ещё одно возвращение в 1700-е)!

Кроме всего прочего, было создано специальное министерство — *Department of Homeland Security* для планирования, организации, осуществления и контроля различных мероприятий по пресечению возможного терроризма, в основном внутри страны. В «русском мире» многие подобные функции выполняет министерство внутренних дел. Но американское министерство внутренних дел не имеет никакого отношения к правоохранительным органам или мероприятиям. Сразу после создания новое министерство и FBI стали чрезвычайно широко применять NSL. Используя ширму NSL, министерство и FBI не обязаны получать судебный гарант для проведения обыска или получения данных, для которых ранее такой гарант был необходим.

Patriot Act создавался и принимался в *коридорах власти* в большой спешке и оказался *сложным, неоднозначным и противоречивым законом* ^[2]. Как пример, в нем не было определения термина «терроризм». Понимая, что в Законе достаточно много «скользких» мест, которые вряд ли пройдут конституционную проверку на соблюдение Четвертой, значительная часть Закона принималась на строго ограниченный срок, многие положения должны были «умереть естественной смертью» 31 декабря 2005 года. Конечно, это не произошло.

Иракская война была в разгаре, количество терактов в мире непрерывно росло, и в этих обстоятельствах в 2005-06 годах Конгресс проголосовал за продление многих (но не всех) частей Закона на постоянной основе, без временных ограничений. Другие части закона должны были, по мнению Конгресса, оставаться действующими до июня 2011 года. Естественно, 26 мая 2011 Президент США продлил их действие ещё на 4 года. Первого июня 2015-го Patriot Act в целом перестал действовать — после всех продлений истёк срок его службы. Он не действовал... ровно один день, так как уже 2 июня Конгресс принял новый вариант закона, на этот раз называемый USA Freedom Act, который восстановил почти все предыдущие положения Patriot Act... но с единственным существенным изменением-ограничением, касающимся сбора гигантских баз информации по телефонным разговорам. Этим, как стало известно широкой публике и большинству законодателей только после побега Эдварда Сноудена, бывшего

сотрудника одной из спецслужб, занималось Национальное Агентство Безопасности — NSA.

Этим ограничениям предшествовали поразительные обстоятельства.

-2-

В один из мартовских дней 2013 года в Сенате Соединённых Штатов происходило редкое, если не сказать, редчайшее событие: *открытые* слушания Комитета по разведке. Да, действия органов разведки и контрразведки действительно не предполагают лишних глаз и ушей. Но как абсолютно любой орган исполнительной власти, эти ведомства, находящиеся под широким «зонтиком» Национального агентства безопасности (куда входит 16 отдельных организаций), подлежат контролю законодателей. Для этих целей в Сенате существует комитет по надзору за разведкой, который участвует в финансировании NSA и достаточно регулярно заслушивает отчёты об их (16 отдельных организаций) деятельности. Конечно, слушания практически всегда проходят за очень тщательно закрытыми дверями. Члены комитета имеют специальные допуски и предполагается, что у NSA не существует тайн перед членами комитета, тем более, перед его председателем. В настоящее время председателем комитета Сената по разведке является сенатор от штата Калифорния Диана Файнштейн.

Для того чтобы проводить слушания открытыми, в присутствии корреспондентов, нужны были совершенно экстраординарные причины. Они, естественно, были. В прессе, среди юристов, в кругах законодателей Конгресса и Сената поднялась волна протеста против многих положений Patriot Act. Все громче стали звучать голоса о необходимости наконец привести его в соответствие с Конституцией. Главной причиной протестов стала появившаяся информация о том, что «органы» занимаются массовой прослушкой телефонных переговоров американских граждан без получения надлежащего ордера.

В этот день перед сенатской комиссией отчитывался директор одной из шестнадцати специализированных организаций, входящих в NSA, 71-летний бывший генерал Д. Клаппер (James Clapper). Где-то в самом конце слушаний сенатор из Орегона Рон Уайден задал Клапперу внешне безобидный простой вопрос: «Собирает ли вообще NSA какую-либо информацию на миллионы или сотни миллионов *американцев*?». То, что NSA собирает огромные массивы электронной информации на *иностранцев*, никогда не было секретом. Такой сбор никогда не был запрещён Конституцией и осуществлялся рутинным образом с уведомлением о его методах и размерах заинтересованных членов комитета. Кстати, размах такой работы просто не поддаётся осознанию. Каждые 14.4 секунды собирается информация равная всей информации, содержащейся в Библиотеке Конгресса! Как было известно членам комиссии, в штате Юта был построен

гигантский комплекс стоимостью 1.5 миллиарда долларов для хранения и переработки полученной информации.

Но вопрос сенатора был не об иностранцах. Вопрос был об американцах.

Джеймс Клаппер в начале слушаний принял присягу говорить «правду, правду и ничего, кроме правды». Отвечая на «простой» вопрос, он был явно не в своей тарелке. Сначала он устался на свои колени, потом долго рассматривал пальцы рук, наконец произнёс, не глядя на сенатора: «Нет, сэръ».

Сенатор Уайден уточнил: «Вы сказали, нет?»

«Не преднамеренно (Not wittingly), — ответил Клаппер, явно нервничая, — возможно, были случаи, когда такая информация собиралась, но не преднамеренно».

Мы никогда не узнаем, поверил ли Клапперу Уайден и другие члены комитета. Есть очень противоречивая информация о том, что знали и что не знали члены комитета (я склонен полагать, что не знали). Но ответы Клаппера со стороны публики, по телевизору, слушал ещё один человек. Он-то точно знал, что Клаппер врёт, и это вранье, *по его словам*, так подействовало на него, что он решил рассказать всем о реальном положении вещей.

Этого человека звали Эдвард Сноуден.

-3-

Ни в коей мере не собираюсь вступать в дискуссию хороший или плохой человек Сноуден и что лучше — дать ему Нобелевскую премию или расстрелять без суда и следствия. Но своё дело он сделал, о происходящем в NSA рассказал и, насколько мне известно, никто не обвинил его во лжи.

Итак, что мы имеем «в сухом остатке»?

Среди всего прочего стало достоверно известно, что:

- с конца 2001 года федеральное правительство тайно потребовало от телефонных и кабельных компаний предоставлять NSA всю информацию о звонках их потребителей. Абсолютное большинство звонков было между абонентами, постоянно проживающими в США.
- Информация, которую специалисты называют *data points*, включала каждый номер, по которому абонент звонил или с которого он получил звонок, время звонка, продолжительность разговора.
- Одновременно с требованием к телефонным и кабельным компаниям по доступу всей информации по телефонным разговорам федеральное правительство потребовало от Internet Service Providers предоставить всю информацию — ещё один набор *data points* — по именам, адресам, месячным платёжкам по телефонным разговорам, телефонным номерам «туда и обратно», продолжительности кон-

тракта с конкретным «провайдером», а также по времени начала разговора и продолжительности разговора, а также о типе коммуникационного инструмента (стационарный компьютер, мобильный компьютер, мобильный телефон и т.п.), его уникального IP адреса, метода расчёта с «провайдером», с указанием номера банковского счета или номера кредитной карты.

- В определённых случаях, при подозрении на реальную опасность для жизни, все перечисленные типы компаний должны были предоставить и содержание разговора.
- Информация хранилась на базах данных NSA пять лет.

Дальше идут технические подробности, не до конца известные даже сегодня, так как высокопоставленные сотрудники NSA вралы, извините, меняли свои объяснения бесчисленное количество раз. Известно, однако, что в базе данных есть информация практически на каждого американского гражданина, вне всякой связи с подозрением в терроризме или связями с людьми так или иначе находящимися под подозрением.

Согласно закону, принятому задолго до Patriot Act, федеральные власти в случае необходимости тайной слежки в условиях «угрозы безопасности республики» должны запрашивать специально для таких случаев созданный секретный суд, называемый The Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC). Из различных источников, включая слушания в Сенате и Конгрессе, стало известно, что после принятия Patriot Act функции секретного суда стали чисто формальными, суд проставлял свою печать автоматически, обычно без всякого слушания. Известно, что суд отказывал правительству только в трёх случаях из тысячи (0.3%).

Федеральные власти утверждают, что содержание разговоров не подлежало анализу и что власти интересовал только сбор data points. Никто из непосвящённых не знает, каким образом анализировалась эта гигантская база данных, но профессионалы по анализу огромных баз информации абсолютно убеждены, что data points вполне достаточно, чтобы узнать о каждом от его «политических и религиозных убеждений до самых интимных подробностей жизни». По неподтверждённым и по не опровергнутым властями сообщениям, как минимум значительная часть информации включала определение географического места звонка и очевидную возможность контроля передвижения абонента.

Юристы, специальностью которых является «конституционное право», выделяют в Patriot Act пять нарушений Четвертой. Поскольку дословного перевода некоторых понятий не существует, я оставлю их английское название.

- Sneak-and-Peek Warrants
- Rowing wiretaps
- Trap and Trace Serches

- Bulk Data Collection and Storage
- Intelligence Wiretaps

Я не буду объяснять каждое из них. Кроме двух, одного — только ради примера, второго — ради сути статьи.

Как я уже говорил, между нарушениями Четвертой, реакцией общества с требованием прекратить нарушения и реальными действиями по прекращению нарушений проходит определённое время. Так было, так есть и так будет всегда. Некоторые нарушения Четвертой в Patriot Act были очевидны самим авторам закона, эта часть Акта принималась на очень ограниченный срок, как неотложная и временная мера. Многие из них уже наконец не действуют. Некоторые были настолько грубо сработаны и настолько непопулярны, что сразу же были оспорены в суде. В 2007 первый из таких исков дошёл до регионального федерального суда в Орегоне. Я говорю о Sneak-and-Peek Warrants.

Положение о sneak-and-peek ордере было крайне странным и непопулярным положением закона с самого начала. В общем случае это судебный ордер^[3], разрешающий тайное проникновение в жилище или другую частную собственность (например, автомобиль) и разрешающий изъятие материальных свидетельств преступления без предъявления ордера на обыск в момент обыска, но с «отложением» такого предъявления на определённый срок. Во многих известных случаях «органы» тайно проникали в помещение, находили (или не находили) искомое, и, чтобы скрыть сам факт «посещения», устраивали бедлам в помещении, имитируя таким образом криминальный грабёж. Сам sneak-and-peek ордер до принятия Patriot Act применялся крайне редко и обычно в случаях «охоты» на крупных изготовителей наркотиков. Смысл его был в том, чтобы «органы» наверняка убедились в наличии в помещении запрещённых химических составляющих для производства наркотиков, произвели химические анализы похищенных препаратов или произвели химический анализ воздуха, и только будучи абсолютно убеждёнными в наличии криминального элемента в расследовании вернулись в помещение с нормальным ордером на обыск.

Patriot Act впервые в истории США расширил применение sneak-and-peek ордера для расследования любого преступления, сделав его стандартной процедурой даже для самых мелких правонарушений... если предполагаемое расследование каким-то образом можно связать даже не с терроризмом, а человеком или организацией из-за границы. В результате, хотя sneak-and-peek ордер был включён в законы против терроризма, но даже в первые несколько лет после 2001-го меньше 10% ордеров было выписано по делам, связанным с терроризмом. К 2013 году эта доля упала почти до нуля... но зато резко, очень резко выросла по обычным расследованиям преступлений. Если в 2002 было выдано всего 25 таких ордеров, то через десять лет — уже 5600. А в 2013 — больше 11 тысяч, с долей относящихся к «терроризму» всего 0.6%.

«Органы», что очевидно на этом примере, всегда находят лазейку в законах для покрытия своей некомпетентности и коррумпированности (в судах стало невозможным доказать вину правоохранительных органов в случае исчезновения ценных вещей и денег из помещений, а таких случаев, к сожалению, достаточно много. Кроме того, стало возможным бесконтрольное подбрасывание «материальных доказательств» при расследовании).

В 2007 году федеральный судья Анн Айкен признала положения по *sneak-and-peek* ордеру неконституционными, нарушающими Четвертую. Правительство опротестовало решение и на сегодняшний день действие *sneak-and-peek* разрешено. Очевидно, окончательное слово скажет Верховный Суд. Ещё несколько судебных исков по Четвертой в настоящее время проходят обычный медленный путь через низовые суды, и сегодня трудно предсказать в каком направлении будут решения ВС.

Но одно положение Акта вызвало такую бурю возмущения со всех сторон, естественно — кроме федеральных властей, «органов» и законодателей, большей частью, республиканцев, что 2 июня 2015 его просто не перенесли в USA Freedom Act, наследника Patriot Act^[4].

Речь, конечно, идёт о Bulk Data Collection and Storage, Section 215 Patriot Act (массивный сбор информации и ее хранение, раздел №215 Закона), о том, что, по словам Д. Клаппера, никогда не существовало, но почему-то потребовало строительства в штате Юта второй, третьей и четвертой очередей (две последние пока приостановлены) огромных зданий для хранения «несуществующей» информации. По различным источникам, этот комплекс зданий обойдётся американскому налогоплательщику где-то около четырёх с половиной миллиардов долларов. По другим сведениям, органы нанимают туда специалистов по информационным технологиям сотнями в месяц. Все это, конечно, из интереса к строительству пустых зданий в пустыне Юты.

С июня 2013, когда Сноуден передал секретную информацию о положении с прослушкой английской газете *Guardian* и американской *Washington Post* и до августа того же года произошло много событий, много скандалов и ещё больше откровений по мере публикации новых данных из досье Сноудена. Реакция власти не могла не последовать.

9 августа 2013 Президент Обама выступил с речью «О реформе системы надзора» перед представителями прессы. Как обычно для нашего Президента, в выступлении было очень много «Я», много высокомерия, но не очень много смысла. Конор Фридерсдорф, обозреватель *the Atlantic*, образно назвал речь Президента разговором взрослого с восьмилетним ребёнком, протестующим против раннего ухода ко сну. Впрочем, одно из «Я» оказалось неожиданностью для прессы. Оказывается, наше «Я», когда был сенатором, «всегда выражал здоровый скептицизм по поводу этих программ».

Дальше Обама с сожалением говорит о вмешательстве, по его мнению — неинформированного народа, в дискуссию о реформе. Вмешательстве, которое не позволяет ему самому лично провести «правильную» ре-

форму программы. Он говорит о том, что «иностранные правительства» перестанут уважать США, если узнают, что под давлением народа он будет вынужден отменить некоторые полезные «части программы». Он говорит о том, что сами программы были задуманы замечательно, но «органы» к большому сожалению слегка увлеклись увеличением их размеров. Он говорит о том, что его правительство никогда, конечно, ни сном ни духом, не пользовалось этими программами в каких-либо нехороших целях, а если такие случаи и происходили, то «из-за человеческих ошибок и сложности работы с такими непростыми технологиями» (попутно, в другом месте он говорит, что такие случаи, да, случались, но немедленно докладывались в верха и виновные были наказаны!).

Когда человек хочет что-то скрыть или намерен сказать явную неправду, то ему лучше говорить как можно меньше. К сожалению, помощники вовремя не объяснили это Обаме. Поэтому дальше в речи произошёл существенный «прокол». Говоря о том, что программа Bulk Data Collection and Storage, Section 215 Patriot Act тщательно контролировалась FISC (секретным судом), и уже по этой причине не могла быть неконституционной, Президент не упомянул, а возможно даже и не знал, что произошло двумя днями раньше, 7 августа 2013 года. В этот день секретный суд FISC объявил, что не возражает против опубликования своего решения от 2011 года (!), в котором он нашел значительные части программы Bulk Data Collection and Storage, Section 215 Patriot Act неконституционными, нарушающими Четвертую и Закон, называемый по-английски Foreign Intelligence Surveillance Act. (Этот закон от 1978 года был подтверждён в новой редакции 2008 с теми же основными положениями. Закон был принят именно для того, чтобы оградить американских граждан от программ надзора за иностранцами). FISC не возражал против опубликования своего 86 страничного Решения... если региональный федеральный суд даст на это указание. В пятницу, за несколько часов до выступления Президента, министерство юстиции запретило публикацию Решения FISC.

Да, «нелёгкая это работа — из болота тащить бегемота». Очень легко невзначай и самому повязнуть по уши.

На пресс-конференции было сказано много разного, в том числе, и о том, что у Президента и «органов» нет злого умысла в использовании программ массовой прослушки, но я не могу объять необъятное и позволю себе дать заключение из статьи Конора Фридерсдорфа^[5]:

«Дебаты о «надзоре», безусловно, самые важные дебаты нашего времени. Что же мы услышали от исполнительной ветви нашей власти? Исполнительная власть, включая Обаму, врала, препятствовала расследованию и постоянно обманывала американский народ различными способами. До «казуса Сноудена» она (власть), по крайней мере, могла убеждать себя, что дезинформация служила благородной цели сокрытия контуров программ от террористов Аль-Каида. Но сегодня, когда у Президента уже нет никакого «прикрытия», Обама по-прежнему врёт, мешает расследова-

нию и обманывает американский народ. Поступая таким образом, он препятствует представительной демократии осуществлять свои нормальные (конституционные) функции. В то время, когда ставки так высоки, а оценка его работы на посту президента по многим другим его действиям так сомнительна, его речь в пятницу явилась одним из самых провальных моментов его президентства».

-4-

«Секретность — мать тирании»

(Р. Хайлайн)

Кроме явного нарушения Четвертой между защитниками и противниками такой формы наблюдения за американскими гражданами (Article 215) завязалась острая, и на мой взгляд, бесплодная дискуссия о «честности и порядочности наших органов». Защитники утверждали, что не следует ожидать ничего плохого для каждого отдельного честного американского гражданина, и только «плохим» людям есть чего опасаться. Потому, что наши доблестные чекисты никогда ничего не делают в своих интересах или в *интересах власти*, но только на пользу нам всем.

Плохая память свойственна не только отдельным людям, но и народам. В том числе, американскому. В данном случае память оказалась удивительно короткой. Потому что совсем недавно, в 1975 году, подобные вопросы уже широко обсуждались в обществе и даже получили определённый ответ в форме заключения «Чёрч комитета» (ЧК), *Church Commission*, специального комитета американского Сената, составленного из 11 уважаемых сенаторов, представляющих обе партии — пять от демократической, пять от республиканской, плюс Председатель — демократ Фрэнк Чёрч. Комитет создали по решению обеих палат для расследования методов работы американских «органов госбезопасности», ЦРУ, ФБР и NSA [6].

Честно говоря, для меня нет ничего неожиданного в «открытиях», сделанных комитетом, чего-то подобного я ожидаю от любых «органов». Но для американской публики в целом многое из обнародованного комитетом стало «потрясением основ». Не загромождая статью цифрами о количестве внесудебной прослушки, установления «жучков» и прочих устройств по наблюдению, взлому квартир и номеров в отелях перейдём сразу к «качественным» характеристикам деятельности «органов».

Выяснилось, что:

- фундаментальная слежка велась за всеми выступающими против войны во Вьетнаме: активистами, организациями, даже *конгрессменами и сенаторами*;

- активное наблюдение велось примерно за 1 миллионом человек, с 1950-х было вскрыто и сфотографировано без надлежащего судебного ордера более 215 тысяч писем;
- начиная с Администрации ФДР (глубже комитет не «копал»), и «демократическое» и «республиканское» правительства использовали «органы» для получения компромата на конкурирующую, находящуюся в оппозиции партию;
- значительные ресурсы «органов» были направлены на «политическую» разведку внутри страны в интересах правящей администрации.

Дорогие читатели, прочтите ещё раз два последних пункта. Это не мои досужие вымыслы. Это выводы авторитетнейшей комиссии Сената, подтверждённые документально и описанные на многих — сотнях — страниц заключения Комиссии. К чему вела такая практика и к чему она неминуемо привела бы страну, объяснил председатель комиссии Фрэнк Черч в телевизионном интервью:

«Из-за необходимости иметь возможности постоянного наблюдения за нашими потенциальными врагами Правительство Соединённых Штатов создало и довело до совершенства технологические инструменты, которые позволяют следить за передачей любой информации, передаваемой по воздуху. Это, безусловно, необходимо и важно для Соединённых Штатов, когда мы наблюдаем наших врагов и потенциальных врагов за пределами наших границ. В то же время мы должны понимать и осознавать, что сами наши технические возможности могут быть направлены против американского народа, и что в таком случае у американского гражданина не останется никакой прайвеси, поскольку сегодня имеется возможность контроля всего — телефонных разговоров, телеграмм, всего, что угодно. Не останется никакого места, где можно будет спрятаться от надзора.

Если наше правительство когда-либо превратится в тирана, если диктатор когда-либо захватит власть в нашей стране, технологические возможности, которые наши «органы безопасности» дали правительству помогут ввести тотальную тиранию, и у народа не будет пути вернуться во времена свободы и возможности бороться за возвращение в «старые времена» потому, что любые, включая самые осторожные попытки объединения для сопротивления, не важно насколько тайно они будут предприняты, будут известны правительству. Такова реальная возможность наших технологий.

Я не хочу когда-либо видеть нашу страну «в тюремном застенке». Я знаю, что существует возможность абсолютной тирании в Америке, и мы должны быть уверены, что это агентство [NSA], что все

агентства, обладающие такими технологическими инструментами, оперируют внутри закона и под непрерывным контролем, который оградит нас от падения в эту пропасть. *Из этой пропасти нет ворот* (выделено мной, И. Ю.)»

Собственно говоря, на этом можно было бы и закончить статью. Но остаются некоторые нюансы, о которых надо сказать.

Мне необходимо уточнить очень важное положение.

Когда я говорил о том, что нельзя верить любой власти, я не имел в виду обычные обещания и заявления политического и экономического характера. Это все достаточно тривиально, это область реалполитики, где идеологические предпочтения и прагматизм, искренние желания и оппортунистические заявления, предвыборная риторика и послевыборная реальность, требования избирателей и требования лоббистов, закулисная борьба группировок и необходимость отблагодарить спонсоров и многое-многое другое переплетено в гремячую смесь, в которой полное выполнение обещаний практически невозможно; хорошо, если политик находит в себе силы выполнить хотя бы некоторые из них. Да это все и не так важно, на реальную жизнь слова политиков влияют ещё меньше, чем их дела.

В демократическом обществе американского типа любые крайности не могут стать политическим или экономическим курсом на длительный срок. Как правило, левые и правые крайности и очевидные глупости взаимно уничтожают друг друга и реальный курс всегда более-менее колеблется вокруг некоего устраивающего большинство центра ^[7]. Все вышесказанное — обыкновенная, сравнительно «честная» политическая борьба, где сегодня одни победители, завтра — другие, а жизнь идёт своим чередом. В таком «раскладе», кстати, была главная идея Мэдисона при создании Конституции. Совсем другое — борьба власти за власть.

Власти нельзя верить ни одной секунды тогда, когда она с честным видом заявляет, что сама власть ее не интересует и что принимаемые ею законы направлены исключительно на благо общества, а не защиту и усиление самой себя, что она готова уступить ее (власть) по первому требованию народа, когда она заявляет, что *ничего не делает секретно, за кулисами для усиления своей власти и дискредитации оппозиции*. Весь опыт человечества, включая и американский, убедительно доказывает, что это не так ^[8]. Именно в этих случаях власть почти наверняка врёт, и именно в этих случаях власть, как показывает тот же опыт, в надежде на то, что никому не удастся обнаружить и доказать существование тайных сделок, пользуется помощью «органов госбезопасности», всегда готовых на любые услуги.

И как мы каждый раз убеждаемся, в абсолютном большинстве стран «органы госбезопасности» в первую очередь являются органами обеспечения безопасности, в смысле — устойчивости, действующей власти. И только потом, в свободное время они, как правило, очень не квалифицированно занимаются охраной населения от внутренних и внешних угроз.

Разросшиеся (только в ФБР и ЦРУ работает 56 тысяч человек на зарплате, не считая несчитанных «контракторов»), бюрократические и очень плохо контролируемые «органы» в своих собственных корпоративных и политических интересах готовы на самые грязные дела, на любое нарушение закона, вполне логично предполагая, что их усилия никогда не будут раскрыты. И это действительно очень трудно сделать, ибо секретность жизнедеятельности органов очень усложняет контроль, а стремление к контролю за «органами» всегда какое-то вялое, так как в западном обществе в целом все ещё сильно представление об «органах», как о сообществе мужественных профессионалов, занимающихся нужным делом обеспечения безопасности граждан. И в обществе всегда достаточно людей, готовых «обменять свободу на безопасность», а безопасность — самая козырная и почти беспроегрышная карта в руках «органов» и власти... в борьбе за власть.

«Потеря свободы всегда не дальше следующего поколения»

-1-

«Разница в том, что мы имеем совершенно другое качество государства, когда оно подконтрольно народу».

(Э. Сноуден, июль 2015)

Интересно посмотреть, как происходила вынужденная эволюция генерала Джеймса Клаппера, руководителя одной из главных служб «органов», того самого, кто врал под присягой комитету американского Сената. Конечно, он был уверен, что делает это в «национальных интересах», стандартном оправдании всех людей у власти, и конечно, он был уверен, что никто никогда не узнает правду. Но после «казуса Сноудена» и статьи в английской газете с информацией о массовой прослушке для генерала пришло время выкручиваться.

Через два дня после первого сообщения в «*Guardian*» Клаппер в интервью *National Journal* заявил: «Все, что я сказал [в Сенате], это что NSA не подглядывает за e-мэйлами американских граждан. И я по-прежнему утверждаю это». Конечно, это было совсем не то, что он действительно сказал, но посмотрим, что было дальше. Ещё через два дня в интервью NBC он выразился следующим образом: «Я думаю, что я тогда подумал (!), что это был вопрос типа «когда ты перестанешь бить свою жену», вопрос, на который нет смысла отвечать, простым «да» или «нет». Поэтому я ответил, как я думал самым честным способом, или, по крайней мере, самым менее нечестным». Совсем интересно. Похоже, что по первой профессии генерал

был юристом. И наконец, ещё через неделю, припёртый к стенке, Клаппер написал покаянное письмо председателю комитета Сената по разведке: «Мой ответ был очевидно ошибочным».

Между прочим, говорят, в Японии все ещё существует традиция в подобных случаях или уходить в отставку или, в случае с военными, пользоваться личным оружием для защиты чести. Но это — в Японии. Мы же вернёмся в Америку.

Американский писатель Артур Миллер, описывая происходящее во времена маккартизма, с грустью заметил: «Сознание перестало быть частным делом, но стало предметом интереса государства». Писатели любят говорить намёками, их аудитория хорошо понимает оттенки и интонации. Что касается политиков, то они общаются с куда более простыми людьми и если действительно хотят донести свою мысль до избирателей, то вынуждены говорить прямым и доступным языком. Одним из политиков, который предпочитал прямую речь, был Президент Рейган. Ему принадлежат известные, даже знаменитые слова:

«Потеря свободы всегда не дальше следующего поколения. Мы не можем передать ее нашим детям с нашими генами. За неё надо бороться, ее надо защищать и передать важность борьбы и защиты нашим детям. Иначе, когда придут наши последние дни на земле, мы будем рассказывать нашим детям и внукам какая некогда была прекрасная жизнь в Соединённых Штатах, когда люди были свободными».

До того, как мы решим, что и как передавать нашим детям, мы должны для самих себя наконец решить ряд «простых» вопросов. Без их решения мы никогда не определим уровень возможного и допустимого вмешательства государства в нашу частную жизнь и, как следствие, ограничения государством личных свобод, гарантированных Конституцией и, как частный случай, нарушения Четвертой. Этих вопросов не так уж и много. Главный — а нужна ли нам свобода, как общее понятие, минимально определённое в Конституции и Поправках? Нужна ли нам privacy, как новый, дополнительный, наиболее очевидно связанный с Четвертой вид свободы? Что мы потеряем, лишившись основных свобод и privacy. ^[9]

О необходимости общих свобод я уже кое-что написал в предыдущих главах. О жизненной необходимости сохранения privacy лучше меня сказала Пегги Нунен (Peggy Noonan), журналист, эссеист, бывший speechwriter Президента Рейгана, в статье «Что мы потеряем, если отдадим privacy?»

В этой статье она пишет:

«Privacy невозможно отделить от личности. Она связана с самыми интимными вещами, с тем, что происходит в твоей голове и сердце, с тем как работает твоя мысль и с тем, как ты и только ты определяешь границу между твоим внутренним миром и миром окружающим тебя. Потеря privacy в твоих персональных письмах, звонках, e-мэйлах яв-

ляется потерей чего-то личного и интимного и обязательно будет иметь важные последствия. Эта мысль нашла строгое подтверждение в работах великолепного журналиста и борца за гражданские права Нэта Хентоффа (Nat Hentoff). Он говорил мне: «СМИ наконец осознали это, Конгресс в некоторой степени согласен с этим... До них стало доходить, что существуют конкретные права, основанные на конституционной свободе, которые имеют американцы, и которые выделяют американцев из всех остальных народов, и что важнейшим из этих прав является privacy».

Хентофф считает чрезмерную государственную слежку явным нарушением Четвертой...

Кроме того, Хентофф видит в государственной слежке угрозу и свободе слова. Год назад он выступал в Гарварде перед студентами. Он спросил: «Кто из вас сообразил, что существует строгая зависимость между Четвертой и Первой поправками?» Он объяснил, что если граждане не имеют privacy — строгой защиты против «обысков и арестов» их личной переписки и личных разговоров, то они неминуемо будут чувствовать себя «находящимися под угрозой». Это, опять-таки, неминуемо приведёт к тому, что граждане будут все больше беспокоиться «о том, что они говорят, что они делают, что они думают». Это приведёт к ограничению свободы выражения своего мнения. Американцы станут более осторожны в своих высказываниях, так они будут бояться, что их высказывания поймут неправильно или неправильно интерпретируют... Очевидное последствие надзора есть самоцензура. Хентофф говорит, что после его объяснения в аудитории внезапно наступила полная тишина. «Там в аудитории сидели яркие и умные студенты, интересующиеся жизнью, озабоченные будущим, но они не смогли увидеть очевидную связь и соединить ее с представлением о том, кто мы, как народ». Мы «свободные граждане в самоуправляемой республике».

Однажды Хентофф задал судье ВС Уильяму Бреннану «детский» вопрос: «Какая поправка к Конституции самая главная?» Бреннан ответил, что Первая, так как все остальное вытекает из неё. Если у тебя нет свободы слова, значит ты боишься, значит ты лишён насущной, важнейшей части любого человеческого существа — иметь свободу быть тем, кем ты хочешь быть. Он выразил предположение, что американцы стали забывать, кто они есть, в сравнении с тем, что сказала Конституция о том, кто они есть.

У Хентоффа есть ещё одно важное сомнение в пользу неограниченного надзора за мыслями граждан. Увеличение надзора со стороны власти приведёт к изменению и нарушению баланса, который позволяет свободному государству успешно функционировать. Широкое и назойливое подслушивание и подглядывание вне всяких сомнений приведёт к усилению роли государства. Но республика может существовать только если государственные служащие знают, что они, как и правительство в целом, от-

ветственны перед своими гражданами. Республика никогда не выживет, если произойдёт обратное — если граждане вынуждены будут отчитываться и оправдываться перед правительством. Но это обязательно случится, если правительство знает — а вы, в свою очередь знаете, что оно знает — некоторые вещи о вас, о которых, вы считаете, не стоит распространяться. «...внезапно у вас нет того, что было у американца, живущего в самоуправляемой республике, а именно знания того, что люди, которых вы выбрали, не являются вашими начальниками, но это вы осуществляли надзор над ними». Они должны отвечать перед нами. Но если они контролируют нашу privacy, то «они контролируют нас, так как они знают наши мысли».

Такое положение принципиально меняет динамику в демократическом обществе. «Если у нас нет свободы слова, то какие у нас возможности для протеста против государства и людей у власти, которые не уважают нас, которые делают нашу жизнь более тяжёлой, фактически принижают нас?» Отразится ли все это на национальном характере, если позволить массивному надзору продолжаться? «Да, потому, что он уничтожит свободу слова».

Что сказать тем, кто говорит «мне нечего бояться, я не делаю ничего плохого»? Хентофф думает, что такой подход даёт ложное ощущение личной безопасности. «Когда мы наблюдаем нарушение privacy в таких масштабах, когда мы знаем, что вся информация о нас хранится в огромных хранилищах информации, кто знает, что и когда сыграет против нас?». «В любой момент может случиться если не преднамеренная, то случайная ложная интерпретация вашей персональной информации, вас могут перепутать с кем-то, может произойти любой сбой в системе, в результате которого вам будет причинено зло. Люди говорят, «я ничего не делаю плохого, почему я должен беспокоиться?» К сожалению, не существует такого простого пути не «вляпаться» в историю, тем более, что в нашей конкретной истории были постоянные попытки изменить нас, заставить стать не американцами». Когда я спросила, что имеется в виду, Хентофф вспомнил Alien and Sedition Act 1798 года, «красную угрозу» 1920-х и «маккартизм» 1950-х. Эти события не были просто очередными скандалами или новостями в газетах, но попытками изменить нашу суть, как свободных граждан.

Что сказать тем, кто говорит, что ему все равно, что делает федеральное правительство, главное, чтобы государство заботилось о нашей безопасности? Хентофф признает, что терроризм — реальная угроза. Но мы должны быть очень озабочены тем, кто руководит нашими «органами безопасности». Они должны быть полностью сведущими и непреклонно следовать конституционным гарантиям. Терроризм не исчезнет ни завтра, ни послезавтра, но мы должны иметь кого-то постоянно контролирующего весь аппарат «органов», кого-то, кто руководствуется Конституцией.

Достижения технологий постоянно увеличивают возможности государства. Его технологический опыт и использование новых инструментов будут только возрастать со временем. Его попытки чтения наших мыслей

будут становиться все более серьёзными. Если не остановить эти попытки, то мы потеряем нашу privacy, а вместе с ней и нашу свободу^[10].

Эдгар Гувер не имел сегодняшних возможностей. Он бы очень хотел их иметь в своё время, и он наверняка завидовал бы сегодняшним возможностям NSA».

-2-

Это было мнение Пегги Нунэн и Нэта Хентоффа. На мой взгляд, самым важным в статье было указание на прямую связь Четвертой с Первой: меньше свободы по Четвертой неминуемо приводит к угрозе потери самой сути Первой. Конечно, Первая — основополагающая Поправка Билля о Правах и главный камень в фундаменте нашего государства, подвергается нападкам и с других сторон. Например, многие обозреватели давно уже заметили странную закономерность, возможно, заложенную глубоко в сознании человека: одни те же люди, которые вначале боролись за новые права и расширение определённых свобод, после своей победы становятся закостенелыми консерваторами, всячески противодействующими любой критике достигнутого. Наиболее очевидно это проявилось в последние 50 лет после победы движений «Free Speech movement» (движение за свободу слова) — в американских университетах, «Save our Bay», «Sierra Club» и «Greenpeace» — в охране окружающей среды, различных движений за равенство гражданских прав (в основном — негров), прав женщин на аборт, прав многочисленных меньшинств на преимущества при поступлении на работу и на учёбу в университетах, прав не англоговорящих иммигрантов на двуязычное обучение в школах, на расширения гражданских прав гомосексуалистов и многое другое.

Подробное рассмотрение этой проблемы выходит далеко за рамки моей статьи, но интересующимся могу рекомендовать интереснейшую статью о положении дел в бывшем оплоте свободы и либерализма — в американских университетах, где Первая поправка подвергается фундаментальному давлению изнутри, от самого сообщества студентов.

Таким образом, борьбу за «блага свобод» невозможно разделить по важности отдельных свобод — все важны и по отдельности, и по совокупности. Даже незначительная потеря одной может и, скорее всего, обязательно отразится на остальных.

Однако похоже, что сегодня американское общество впервые после страха «красной угрозы» 1910-20 годов готово добровольно отказаться от некоторых гарантированных свобод. Во всяком случае, от защиты privacy. И похоже, что *впервые* такой отказ не связан только с желанием обменять свободу на безопасность. В обстоятельствах нашей жизни произошли настолько революционные технологические изменения, что на сегодня я не вижу, каким образом общество сможет защитить свои с таким трудом обретенные права на privacy. Боюсь, что общество приняло в большой степени рацио-

нальное решение отказаться от рѣивасу, решение, которое при существующих сегодня технологиях не имеет «обратного хода». Решение, все последствия которого проявятся только в будущем и вряд ли будут хорошими.

Решающим, ещё далеко не осознанным негативным влиянием на общество и на проблемы сохранения личной свободы стало повсеместное использование интернета.

Я вижу три различные, но взаимосвязанные угрозы в этой связи.

Первое:

Социальные сети, а именно такие приложения интернета, как Фэйсбук, Твиттер, Линкед-ин и их интернациональные и национальные клоны, смогли за какие-то 10-15 лет обесмыслить само понятие рѣивасу. Современному молодому человеку, общающемуся с пятью сотнями «друзей» в Фейсбуке, имеющему 300 связей в Линкед-ин и 200 «последователей» в Твиттере, помещающему в соцсетях сотни собственных и чужих фотографий, включая самые интимные, обсуждающему прочитанные книги, рассказывающему всем и каждому о собственных любовных интрижках, о планах на будущее, о проблемах с друзьями и родителями, о проблемах на работе, короче — обо всем, что совсем недавно считалось неприличным для разглашения, что входило в представление о рѣивасу, такому человеку вряд ли дорого или необходимо то, за что боролись поколения американских юристов и правозащитников.

В дополнение к социальным сетям массовый сбор в электронной форме банками и коммерческими организациями частной информации позволил использовать алгоритмы, достаточно точно прогнозирующие не только наше поведение, но и мысли. На базе полученной о рядовом покупателе (а мы все покупатели) информации осуществляется целенаправленное индивидуальное рекламирование товаров и сервиса буквально при появлении самой мысли о возможной покупке чего бы то ни было.

Общедоступность частной информации принципиально изменила многие привычные взаимоотношения в обществе, например, порядок приёма на работу, и тоже не в лучшую сторону. Отделы кадров задолго до вызова соискателя на интервью за несколько минут получают из Фейсбука и других социальных сетей такой объем информации, в том числе негативной, что само проведение собеседования часто становится пустой формальностью. Примеры можно продолжать до бесконечности.

Знаменитое право, связанное с именем Брандайса — «оставьте меня в покое», потеряло всякий смысл после добровольного отказа от него подавляющего числа людей из новых поколений.

Второе:

Проблема незащищённости даже той информации, которую мы все же предпочитаем не выставлять на всеобщее обозрение социальных сетей. Опыт жизни интернета однозначно показал, что защищённых от посторон-

него взгляда сайтов не существует. В традиционном споре щита и меча сегодня с большим преимуществом побеждает меч, то, что мы называем проблемой взлома самых защищённых сайтов, включая коммерческие, федеральные, военные, разведывательные — любые. То, что становится достоянием гласности, составляет только самую верхушку айсберга. Два самых характерных примера — украденная информация с миллионов персональных учётных карточек бывших и нынешних американских военнослужащих и последний скандал с раскрытием 39 миллионов имён клиентов, пользующихся услугами сайта Ashley Madison, который «гарантировал» тайны супружеских измен.

Таким образом, в наши дни американцы осознали практическую невозможность сохранения даже минимального уровня *privacy* в реальной жизни, поскольку все, что связано с информацией о личности, существует в электронной форме на многочисленных интернетных сайтах и, значит, доступно всем.

Третье:

Существующий тотальный контроль над человеком со стороны корпораций и государственных служб. В обычной американской корпорации, как широко известно, любой начальник отдела в последний день месяца получает распечатки от «служб безопасности корпорации» с информацией на каждого своего подчинённого. Эта информация включает — по каждому дню:

- Точное время входа-выхода в здание и входа-выхода в любое помещение, так как открыть большинство дверей можно только специальной электронной карточкой;
- Все телефонные номера, по которым сотрудник разговаривал, и продолжительность разговоров;
- Все посещаемые веб-сайты и продолжительность посещения;
- Все заглавия распечатанных на принтере документов и количество распечатанных страниц;
- Количество е-мэйл, отправленных или полученных не по адресам корпорации;
- Непрерывный контроль условных критически важных помещений и подъездов к зданию с помощью скрытых видеокамер. И, возможно, многое другое.

О методах контроля со стороны государства, ставших известными после побега Сноудена, и о контроле, о котором мы можем только догадываться на основании предыдущих скандалов наших заботливых «органов», я достаточно подробно рассказал.

Как бороться с такой тотальной слежкой, сегодня не знает никто. Даже привнесённые под давлением общества изменения в Patriot Act и его последующие модификации мало что изменили по существу. То, что пере-

численные три угрозы привели к очевидной потере личной свободы рядового американца, уже достаточно широко обсуждается в юридических и политических кругах. Как это уже повлияло на психику человека, все чаще обсуждается среди профессиональных психологов и медиков. Как такая потеря в будущем отразится на социальной и профессиональной жизни американцев, сегодня можно только догадываться. Как эта потеря отразится на американской политической традиции первичности и самоценности личной свободы, боюсь, мы узнаем достаточно скоро. Но как потеря «благ свободы» повлияет на утилитарную задачу построения «еще более совершенного Союза», станет очевидным только нашим детям и внукам. Мы, напомню, только в самом начале грандиозного слома привычной парадигмы.

-3-

Как нетрудно догадаться, спорам о важности свободы и/или безопасности столько же лет, сколько самой демократии, которую принято считать «изобретением» древней Греции. Во всяком случае, мы знаем о блестящей речи Перикла, известной нам от Фукидида, о преимуществах свободы и демократии перед олигархией и тиранией в условиях войны. Мы знаем от Геродота и Ксенофона, что «короли, тираны и аристократы всегда опасаются за свои жизни, так как их правление основано на страхе и терроре, и как только они на секунду ослабляют удавку тирании, тут же бывают сметены восставшим народом или армией».

Тем не менее, вопрос балансирования свободы и безопасности — совершенно законный. С одним важнейшим уточнением: надо, наконец, определиться, о каком времени мы говорим — мирном или в военном? В военное время любая страна, включая все демократические, живет по особым, чрезвычайным законам. Они так и называются — «законами военного времени». В такое время ради безопасности и скрытности военных действий можно и нужно временно жертвовать свободой. В таких условиях преступно не усиливать армию, не жертвовать благосостоянием, не пропагандировать патриотизм и самопожертвование. В такое время преступно агитировать за поражение или за разоружение. Это те случаи, когда интересы безопасности народа и защита жизни становятся главной функцией государства. И это те единственные случаи, когда народ США допускает и принимает усиление федеральной власти, в том числе, за счёт оговоренного ограничения личных свобод.

Линкольн приостановил действие *habeas corpus* в некоторых пограничных штатах для ареста сторонников конфедератов. Во время Первой мировой войны агитаторов-противников войны, включая политических противников, арестовывали и судили по строгим законам военного времени. Во время Второй мировой строгой цензуре подвергались фильмы и средства массовой информации, замалчивались неудачи на фронтах, казнили захваченных немецких шпионов на основании заключения секретных военных

трибуналов и широко применяли технические средства наблюдения за многими людьми, которых подозревали в сочувствии нацистской Германии.

Но даже во время всех трёх перечисленных войн — единственных реальных угрозах единству и безопасности страны — действие Конституции на территории Соединённых Штатов не приостанавливалось! Все временные, *известные* народу ограничения были сняты сразу после окончания войн, а все сидящие в тюрьмах после Первой мировой были амнистированы к 1921 году.

В какой-то степени «Война с терроризмом» по отношению к privacy и уважению конституционных свобод напоминает «Холодную войну». И та и другая не были объявлены войнами соответствующими актами Конгресса. Что повлекло к двоемыслию, необоснованной ненужной секретности и крайней подозрительности по отношению ко всем, имеющим отличное от государства мнение. В каждом из этих случаев власть грубо нарушала Четвертую.

Исполнительная власть нашего государства представляет себя нашим спасителем, когда она проявляет «заботу» о нашей безопасности. «Купите две табуретки по цене одной» - стандартный и хорошо работающий принцип рекламы. Покупателю не нужна вторая, но как не взять — дают бесплатно. Так и американскому гражданину предлагается «безопасность в придачу», совершенно бесплатно. Вообще-то говоря, американский гражданин, нанимал себе на работу государство согласно определённому договору, главным пунктом которого со стороны нанимаемого было «соблюдать Конституцию». Руководитель нанимаемого на работу государства даже даёт присягу быть гарантом Конституции. В тексте обязательной присяги, которую каждый новый Президент даёт народу Соединённых Штатов в лице его представителя, Председателя Верховного суда страны, нет ничего противоречивого или трудного для понимания. Вот этот текст во всей полноте его единственной (!) короткой фразы:

«Я, (полное имя и фамилия присягающего), торжественно клянусь, что буду честно выполнять обязанности Президента Соединённых Штатов и делать все, что в моих силах, чтобы поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединённых Штатов»

Уже поэтому у правительства нет никакой первичной обязанности заниматься установкой баланса между свободой и безопасностью, но, конечно, есть обязанность заниматься вопросами безопасности, опираясь при этом на традиции страны, защищая личные свободы граждан и в общем случае — соблюдая Конституцию.

Совсем другое дело — инициация и участие в дискуссии с законодательной и судебной ветвями власти, прессой и народом в целом по вопросам безопасности и по конституционным вопросам, с ней связанным.

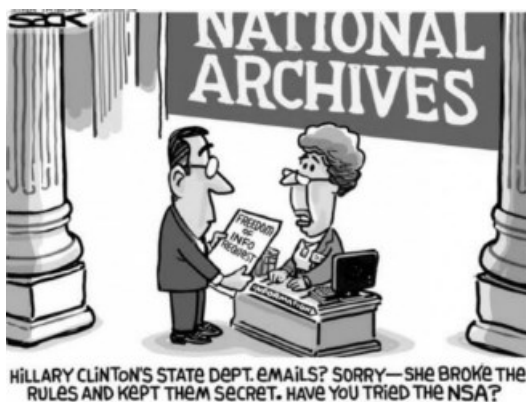
Вполне возможно, Америка действительно изменилась за последние 200+ лет, изменилась настолько, что «мы, американский народ» готовы уже отказаться от некоторых «архаических» представлений о положениях

Конституции. Вполне возможно, что новые поколения, выросшие на совершенно другой демографической реальности, на огромной массе эмигрантов из стран с другим представлением о личных свободах, на новых культурных и религиозных традициях «новых» американских граждан, на последствиях социальной революции 1960-х, на революционных технологиях интернета действительно смотрят на соотношение свободы и безопасности по-другому, более утилитарно. На мой взгляд, как и на взгляд многих обозревателей, сегодня социальная активность американских граждан при обсуждении вышеупомянутых вопросов удивительно пассивная. В конце концов, вдальбываемые в головы истины «двух табуреток по цене одной» не могли не повлиять на сознание даже американского гражданина в пятом поколении. Все возможно в нашем лучшем из миров.

Невозможно только одно — начинать такую жизненно важную для страны дискуссию с условием сохранения секретности самой дискуссии.

Но это именно то, что происходит сегодня.

Постскриптум:



(На основании закона о свободе информации журналист запрашивает скандальные e-мэйлы Хиллари Клинтон. Архивариус объясняет, что у них в архиве их нет, так как Клинтон отказалась передать их следствию. «Попробуйте обратиться в NSA», — советует архивариус.)

Постскриптум-2

Постановление правительства РФ от 31 июля 2014 г. №743

«...обязать соцсети и другие популярные сайты в России установить оборудование и программное обеспечение, с помощью которого спецслужбы смогут в автоматическом режиме получать информацию о действиях пользователей этих сетей».

Мы, американский народ, хотим в *этом* догнать и перегнать Российскую Федерацию? Нам это нужно?

Постскриптум-3

Автор выражает самую искреннюю благодарность В. Янкелевичу (Нетания, Израиль) за помощь в написании статьи.

Библиография (основные источники)

1. Our lost constitution, by Mike Lee
2. James Madison, by Richard Brookhiser
3. The Constitution of the United States of America
4. A failure of the Fourth amendment and equal protection promises, by B. Starkey
5. Fourth amendment, Wex legal dictionary
6. Secrecy has already corroded our democracy in real way, by Conor Friedersdorf
7. How FDR invented the four freedoms, by Josh Zeitz
8. In defense of liberty: the relationship between security and freedom, by D. Hanson
9. What we lose if we give up privacy, by Peggy Noonan
10. The surveillance speech: a low point in Barack Obama's presidency, by Conor Friedersdorf
11. Obama collecting personal data for a secret race database, by Paul Sperry
12. Sen. Wyden: FISA's 'general warrants' are like the «Writs of Assistance» the founding fathers despised, by Megan Carpentier
13. American Freedom, by Eric Foner
14. Giving up liberty for security it's big government's favorite (bad) argument, by Andrew Napolitano.

Примечания

[1] Это положение удивительно напоминает известную «Уловку-22»

[2] В полном соответствии с поговоркой «Поспешишь — людей насмешишь».

[3] Этот вид ордера впервые в истории США был применен в 1985 году. Во время принятия Четвертой ничего подобного даже не обсуждалось.

[4] Помогло и то, что примерно за месяц до этого один из апелляционных судов признал Article 215 неконституционным.

[5] Конор Фридерсдорф представляет *лево-центристский* ежемесячный журнал the Atlantic.

[6] Комитет Чёрча был создан после окончания работы предыдущей сенатской комиссии по расследованию деятельности ЦРУ и ФБР, которая занималась в основ-

ном последствиями Уотергейта. Эта первая комиссия, предоставив более 6000 страниц отчета, вскрыла прямое участие ЦРУ и ФБР в незаконных операциях на территории США.

[7] Конечно, положение самого центра меняется со временем. В истории США «центр» смещался как влево, так и вправо. С начала 1960-х происходит заметное смещение центра влево. Когда произойдет, и произойдет ли смещение центра в обратном направлении, не ясно.

[8] Характерные примеры:

1) разворачивающийся на наших глазах скандал с американской налоговой службой IRS, которую использовали для финансового давления на консервативные (про-республиканские) общественные организации;

2) еще более «тяжелый» скандал о взломе специалистами ЦРУ компьютеров сотрудников сенатского комитета по разведке (!). ЦРУ пожелало узнать, от кого и каким образом комитетом получена информация о закрытом «отчете Пенетъ» и что в целом в результате четырехлетнего расследования комитет узнал о некоторых неконституционных «проделках» ЦРУ. Подробности: <http://www.politico.com/story/2015/08/john-brennan-cia-apologizes-hacking-dianne-feinstein-121296.html>

3) Прокуроры-демократы Milwaukee County в штате Висконсин в течении 5 лет нелегально, в полном соответствии с практикой NSA, просматривали все e-мэйли и текстовые телефонные сообщения консервативных групп — включая их содержание!! — в попытках найти компромат на губернатора штата Скотта Уолкера. Подробности: <http://watchdog.org/226559/john-doe-spying-conservatives/>

[9] Оксфордский словарь английского языка определяет privacy как «свободу от беспокойства и вмешательства»; «что-то, предназначенное только для определенного человека или группы»; «собственности определенного человека»; «нечто конфиденциальное, не подлежащее обнародованию другим»

[10] Эти слова почти точное повторение слов судьи ВС Луиса Брандайса в его диссидентском решении *Олмстед против Соединенных Штатов* в 1928 году. В 1967 году ВС отменил решение по *Олмстед*: диссидентское решение Брандайса стало Решением ВС.



Елена Кушнерова

MISSION: IMPOSSIBLE –2

По условиям, установленным Паломой О'Ши, конкурс в Сантандере проходил раз в два года. Пропустив свой шанс в 1982 году, я могла попытаться сунуться туда в следующий раз, в 1984 году. Мне даже пообещали в конкурсном отделе, что пошлют меня туда через два года «без прослушивания». Верить в это было просто смешно, таких случаев никогда не бывало, чтобы без прослушивания! Не выпустили — значит, твой поезд ушёл. И всю процедуру отборов надо начинать сначала. То есть шансы на победу исчезающе малы, как точно формулируют немцы: *verschwindend gering*. Тем более что никто не отменял моего «невъездного» статуса. Что делать? С чего начать?

Как я писала в другом эпизоде, в аспирантуру меня не только не взяли, но даже отказали в возможности сдать экзамены — не взяли документы. У меня просто «сгорела» моя консерваторская рекомендация в аспирантуру. А распределения на работу я не получила как рекомендованная в аспирантуру. Но без распределения в те годы устроиться на работу было практически невозможно. Этим, так сказать, и «хорош» статус невъездного — тебе отрубает не только возможность ездить за границу, но и все шансы пробиться тут, у себя дома. С большим трудом и с использованием всех возможных связей меня удалось-таки трудоустроить концертмейстером на полставки с окладом в 60 рублей на факультет военных дирижёров при Московской консерватории.

Тихон Николаевич Хренников

Пообщавшись с музыкантами на тему «невъезда», от всех получила один совет: с этим может помочь только один человек. И только, если захочет. Этот человек — Тихон Николаевич Хренников. Да... Тихон Хренников... Противоречивая фигура в истории советской музыки и в истории страны.

Переносясь во времени в год 1990 на открытие Конкурса имени Чайковского (в котором я принимала участие) вспоминаю, как Хренников зачитывал приветствие от президента Ельцина. Читал отлично — с подъёмом, очень ярко и темпераментно. В тот момент поразила меня мысль: этот человек продержался у власти почти полвека — от Сталина и до Ельцина!

Но как попасть на приём к Хренникову? Опять же через маминих друзей-композиторов удалось получить «допуск» в «высшие сферы». Ма-

мин старинный приятель Миша Меерович (помните «Ёжика в тумане»?) был близким другом Тихона. Это и понятно, Тихон в буквальном смысле этого слова спас ему жизнь в сталинское время. К сожалению, подробности этой истории мне неизвестны...

И Миша взялся поговорить с Тихоном обо мне. И вот я сижу в предбанничке перед кабинетом «самого». Все сидят и терпеливо ждут приёма. У всех «нерешаемые» проблемы, помочь может только Тихон. Как я себя чувствую в этой очереди ожидающих? Примерно, как герой романа Набокова «Приглашение на казнь» Цинциннат Ц. Меня просто мутит от волнения, я в полуобморочном состоянии и буквально трясусь мелкой дрожью. Что сказать Тихону, как всё объяснить? Чего просить? И ещё всё время в голове слова Воланда из «Мастера и Маргариты»: никогда ничего не просите у тех, кто сильнее. Сами всё дадут... или что-то в этом роде. Да-да, думала я, а потом догонят и ещё дадут. (Кстати, со временем я поняла, насколько неверна эта фраза: «Сами всё дадут» и скольких людей в разных ситуациях именно эта фраза лишила шанса!) Сколько я там просидела, не знаю, но кончается всё, закончилось и это ожидание. И вот, я приглашена в кабинет. Вхожу ни жива ни мертва, а из-за стола уже вскочил и бежит ко мне с приветливой улыбкой, ну прямо, как юноша, сам Хренников. Приветствует меня, спрашивает, что и как, кто родители, у кого училась, что сейчас играю, и так всё это просто и обыкновенно, что я перестаю волноваться и рассказываю совершенно спокойно свою историю. И весь этот ужас ожидания преобразается в приятное чувство: вот и славно всё получилось! Тихон слушает внимательно и очень доброжелательно. Потом просит меня что-нибудь сыграть. Помню, что подготовила специально по этому поводу его пьески, такие, ни на что не претендующие, в молодости им написанные. Выучила я их по совету тех же маминих друзей-композиторов. Пьески были лёгкие, так что потратила я на них буквально пару часов! Вспоминаю себя тогдашнюю — я была, несмотря на свои 24 года, совершенно ребёнком! Мне сказали: надо выучить, я и выучила, не задумываясь ни о чём! Что ещё играла, не помню. Скорее всего, Листа и Дебюсси, тогдашние мои «коронные номера», демонстрирующие виртуозность, потому что по одним этим ранним его пьескам трудно было составить мнение о моих пианистических возможностях. Но зато помню, как просветлел, буквально изменился взгляд Тихона после игры. Похоже, прямо груз у него с души упал. Позже я поняла, в чём дело. Тихон помогал огромному количеству людей, причём в самых разных ситуациях, используя свою силу и свою власть. Но он хотел быть уверенным, что он — это не просто «блат». Ему было важно считать, что он содействует восстановлению справедливости.

Позже он мне сказал примерно следующее:

«Я охотно помогаю людям, это правда. Мне помогли, когда я был начинающим, поддержали, увидев во мне талант, и я поклялся, что если

когда-нибудь чего-нибудь достигну, тоже буду помогать талантливым людям». Это цитата неточная, но смысл был именно такой.

Дальше перешли к делу: хочу ли я поехать на этот же конкурс, имени Паломы О'Ши в Сантандере ^[1] и, если хочу, то должна хорошо подготовиться к прослушиванию. И, если я буду хорошо играть, то он (Тихон) уж позаботится о том, чтобы меня не скинули с прослушивания и выпустили в Испанию.

После этого я неоднократно бывала у Тихона в кабинете, но уже совершенно с другим чувством, уже знала, что бояться нечего. Тихон был всегда доброжелательным, весёлым, энергичным, осыпал меня комплиментами, целовал ручки и, если до меня кто-то приносил ему цветы, всегда их мне передавал.

Опять отбор

Заручившись такой высокой поддержкой, я стала опять готовиться к прослушиванию. На этот раз — в Москве. Насколько я понимаю, по решению Тихона, так как у него не было времени ехать куда-то на прослушивание, а он хотел сам сидеть в жюри, чтобы меня не скинули, как «невыездную» и, кроме того, может быть, чтобы проверить, как я выгляжу на сцене.

От прослушивания у меня остались какие-то смутные воспоминания «с провалами», например, совершенно не помню, кто сидел в жюри. Кроме Кагельского, почему — объясню позже. Помню, что происходило всё это в Рахманиновском зале. Сколько играло человек и кто — совершенно не помню, потому что находилась я в полном смятении. Все знали, что меня в прошлый раз не пустили. Все знали, что Тихон просто так на таких прослушиваниях не сидит. Значит, Тихону что-то надо: дальше всё вычислялось очень точно. Тихон мне пообещал, что я пройду, если сыграю хорошо...

Мне запомнилось, что когда я играла «Образы» Дебюсси, первую пьесу «Отражения в воде» (“Reflets dans l'eau”), я услышала, как Тихон просто ахал, типа, как хорошо! А после прослушивания ко мне подошёл Кагельский, в то время секретарь парторганизации фортепианного факультета консерватории, и говорит:

— Как ты потрясающе играла! Ну, такой аромат, просто чудо какое-то! Дебюсси так прозвучал!

Я чётко помнила, что Тихон театральным шёпотом этим самым «ароматом» и восхищался. И тут я не смогла удержаться:

— Что вы говорите? Неужели? И что — правда, значительно лучше, чем всегда?

^[1] В 1982 году я уже прошла отбор на этот конкурс, но выехать на него мне не удалось. См. Mission: impossible. 1 серия

За всю свою учёбу в консерватории таких комплиментов я ни от кого слышала, кроме как от Дмитрия Башкирова, который один раз очень искренне и в высоких выражениях похвалил мои «Симфонические этюды».

Но Тихон не был бы Тихоном, если бы не прошли ВСЕ понравившиеся ему кандидаты. А таковых оказалось значительно больше нормы: вместо положенных двух — целых пять. Во-первых, прошли Серёжа Ерохин и Витя Чернелевский, оба ЦМШовские и Консерваторские. (Замечу в скобках, что Витя учился в ЦМШ у моего же педагога, Татьяны Кестнер). Ещё прошли Нигора Ахмедова — пианистка из Узбекистана, закончившая Московскую консерваторию и пианист Рауф Касимов из Азербайджана.

В качестве члена жюри конкурса в Сантандер был приглашён мой бывший шеф, Сергей Доренский.

И вот, началось самое тяжёлое для меня время: время оформления выездных документов. Кстати, в 1984 году нам уже не предоставляли оркестр для обыгрывания концертов. Уж и не помню, почему. Я поменяла программу камерного тура: вместо квинтета Шостаковича, выучила фаминорный квинтет Брамса.

Конец моей трудовой деятельности

Так как Консерватория была уже окончена, характеристику мне надо было просить по месту работы — на военфаке Консерватории. Когда я заговорила о рекомендации, педагоги-полковники пришли в ужас:

— Что вы! Какая рекомендация? Вы не можете выезжать за границу, будучи вольнонаёмной в военной организации!

— Как это не могу? Я — что, в тюрьме, что ли?

Пытаюсь что-то выяснять, но, как это обычно бывает, ничего выяснить не удаётся, и никто толком не говорит, могу я выезжать или НЕ могу. Наконец, мне чётко объясняют, что никто мне такой рекомендации не даст, и что я никаким образом никуда выезжать не могу, тем более (!) в страну капиталистическую! Почему? Да потому, что я знаю страшную государственную тайну: на какой линейке пишется фа-дизел... (это я не придумала, именно так мне объяснил моё сложное положение один из полковников).

Что делать? Куда бежать? Спрашиваю Хреникова, он говорит: «Ну, раз нельзя, значит, нельзя. Увольняйся». Легко сказать, «увольняйся», тогда я вообще буду никто: не работаю и не учусь! Такого же не могло быть при социализме! «Такие» назывались тунеядцами! И это было наказуемо! И у кого я тогда должна просить рекомендацию?! Но выхода нет, приходится увольняться по «собственному желанию», пока меня не уволили за это моё «собственное желание» поехать за границу на конкурс. Не помню уже точно, почему, но пришлось мне идти к начальнику так называемого первого отдела, товарищу Сорокину, эдакому махровому КГБисту. И вот этот товарищ (запомните его светлый образ, он ещё раз встретится в этом

рассказе), после короткой беседы и моих объяснений, почему я так «рвусь» за границу и чего мне не хватает у нас в стране, глядя мне прямо в глаза с нескрываемой ненавистью, говорит буквально следующее:

— А мы вас, товарищ Кушнерова, вообще никогда и никуда не выпустим. Можете не стараться.

На что я ему, несмотря на еле-еле сдерживаемые слёзы, очень тихо, но очень внятно ответила, тоже глядя ему прямо в глаза:

— А вот тут, товарищ Сорокин, я должна вас расстроить, — на меня взметнулся удивлённый взгляд, — этот вопрос не вы будете решать, вы же пока ещё не Господь Б-г!

Он покраснел, как рак, я почувствовала волну исходящей от него ненависти, которая меня сейчас вот-вот захлестнёт. На минуту он просто потерял дар речи от такой «наглости». Я не стала дожидаться, когда речь к нему вернётся, вряд ли я услышала бы от него что-нибудь мне полезное, и вышла, плотно закрыв за собой дверь.

Засим, моя трудовая деятельность была безвременно прекращена. Хотя, уже после увольнения, факультетскому начальству всё же пришлось написать мне очередную благодарность «за отличную работу» с занесением оной в трудовую книжку! И ещё несколько раз пригласить «на сдельную работу» — так назывались мои выступления с оркестром на экзаменах курсантов.

Управдом Абашкин и его роль в международном конкурсе пианистов

И вот я «на свободе», но улучшилось ли мое положение после увольнения с работы? У кого я теперь могу получить рекомендацию для поездки за границу? Кто про меня напишет необходимые для любой советской характеристики слова: «Политически грамотна, морально устойчива»? А без характеристики и рекомендации я не могу пойти по райкомам и, соответственно, не могу никуда поехать! Звоню Тихону в полном отчаянии, а он:

— Не волнуйся, что-нибудь придумаем! Ты такая молодая, талантливая, красивая!

Типичный Тихон! Как будто за это выпускают за границу! Я понимаю, что ничего придумывать он не будет, он просто НЕ ПОНИМАЕТ проблему! Время идёт, а оформление не начинается. Ещё немного, и будет поздно! Наконец, я буквально умолила Тихона заняться моим «вопросом». Он вызвал меня к себе в Союз, там был такой отдел (или комитет) «Пропаганды советской музыки» (или что-то подобное), вызвал также даму, главную по оформлению за границу, и сказал ей:

— Вот, она едет на конкурс в Испанию, оформите быстренько ей все документы.

И удалился. А я осталась с дамой. К моему величайшему сожалению, не помню её имени. Женщина была такая типичная: строгая, не улы-

бающаяся начальница по оформлению за границу. Это была совершенно отдельная каста, все добропорядочные советские граждане их боялись и очень «уважали».

И вот эта самая дама приглашает меня в кабинет. И чем больше я ей рассказываю, тем больше она мрачнеет. А после моего сообщения, что я уволилась с работы, потому что там отказались давать мне характеристику для поездки на конкурс за границу, она вообще пришла в ужас!

— То есть, как это уволилась? А как ты намерена оформляться?

Я холодею и понимаю, что она, конечно, права, но что я могу сделать? Я ей говорю:

— Вот Тихон Николаевич написал мне характеристику и сказал, что этого достаточно, чтобы меня оформить от Союза композиторов.

Женщина хватается за голову и начинает мне достаточно жёстко объяснять, почему это невозможно. Я пытаюсь что-то вякать, что-де Тихон Николаевич, тут она просто грубо меня обрывает и говорит:

— Ну что Тихон Николаевич понимает в этом деле? Он же ни черта не понимает! Он отдаёт приказы, но я-то знаю, что это никак не пройдет! Ни один райком не примет от меня эти филькины грамоты!

Я сижу совершенно подавленная и понимаю, что она права. Тихон меня не слушал, я же давно ему говорила: «Не успею, не успею, кто меня оформлять будет? Что делать?» А он мне в ответ: «Не волнуйся, всё будет в порядке, ты, главное, должна хорошо подготовиться. Иди и занимайся!»

Ну, думала я, вашими бы устами да мёд пить! Как я могу готовиться? Какие занятия? Я же понимаю, что время уходит, а ничто не движется и не будет двигаться, если я не буду ему надоедать. Как можно сидеть и заниматься, когда я понимаю, что у меня нет ни малейшего шанса попасть на конкурс!

Наконец, дама (мне кажется, её звали Тамарой), успокаивается и начинает усиленно думать, звонить по каким-то телефонам, объяснять мою ситуацию. Везде ей, по-видимому, объясняют, что сделать ничего нельзя, потому что она говорит, что сама всё это прекрасно понимает, но тут такое дело, что человеку необходимо помочь. Вижу, что она прекращает паниковать, собирается с мыслями и говорит:

— У меня есть идея. Мы попробуем. Раз Хренников так за тебя просит, значит, ты стоишь того. Сделаем всё возможное. Не волнуйся. Буду держать тебя в курсе. И вот только тогда я поняла, что «лёд тронулся» и, что раз она за это безнадежное дело взялась, значит, надежда есть!

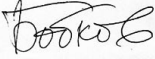
Итак, Тамара взялась за дело всерьёз. Ведь это только так кажется, что ситуация безнадежна. А в действительности нет ничего невозможного: из всех правил есть как минимум три исключения, а из каждого безвыходного положения — как минимум семь выходов. Хорошо известны случаи, когда, при острой необходимости, людей вместо положенных трёх месяцев оформляли за два дня.

Короче говоря, придумала Тамара следующий выход — если я не учусь и не работаю, значит, кто за меня отвечает? Кто может написать характеристику для участия в международном конкурсе пианистов? Ну? Правильно! Конечно, управдом! То есть надо получить от него характеристику, так сказать, по месту прописки. Так что делаем так: берём характеристику, написанную Хренниковым (которая не прошла, потому что Хренников ни к месту учёбы, ни к месту работы, ни даже к месту прописки никакого отношения не имеет) и даём эту характеристику на подпись председателю жилищного управления товарищу Абашкину! Помню, что я с этой самой характеристикой, написанной лично Хренниковым, просто физически не могла пойти на приём к Абашкину, меня опять начало тошнить от волнения. Ну подумайте! Ну как я пойду на приём к управдому и попрошу его подписать творческую характеристику для международного конкурса пианистов в Испании? Да меня просто в Кашенко укутут!

К счастью, наш кооператив был кооперативом от Союза композиторов, так что в нашем доме сплошь жили музыканты и теоретики музыки, люди понимающие, что к чему. Благо, всем была известна моя предыстория и то, что помогать мне взялся сам Хренников. Так что по его просьбе за меня на приём к Абашкину пошла член нашего кооператива и член Союза композиторов Нонна Шахназарова, жившая в моем же доме. И что вы думаете? Блестящая творческая характеристика, данная мне управдомом, конечно, отлично разбирающимся в тонкостях туше, в райкомах прошла без вопросов! Правда, справедливости ради надо отметить, что в райкомах уже все были подготовлены Тамарой, чтобы не постигла меня очередная неудача, и чтобы никто не удивился, почему меня посылают на конкурс в Испанию... управдом.

Итак, все волнения позади. Хотя, конечно, для меня они совсем не позади, так как свежи ещё воспоминания двухлетней давности, когда всё было прекрасно до последнего дня...

Чтобы меня ещё подстраховать, Тихон даёт мне адрес какого-то чуть ли не главного начальника КГБ — Филиппа Денисовича Бобкова и советует (настоятельно советует) написать ему письмо. «О чём?» — недоумеваю я. «А вот обо всём, всю правду, как есть, про твою семью, про то, что ты хорошо училась, что ты обязательно вернёшься, ну, в общем, это должно быть искреннее и убедительное письмо», — говорит Тихон...



Филипп Денисович
Первый заместитель
Председателя Комитета
Собезопасности СССР

Недавно, разбираясь в Москве в старых бумагах, я нашла это письмо. Бедная девочка! Это я о себе... Попробуйте написать искреннее письмо начальнику КГБ! Как только мне удалось написать такое наивное, комсомольское письмо! Сейчас на такое я была бы уже неспособна. Вместе с этим письмом нашла черновики писем, написанных рукой моего бедного папы, пытавшегося добиться справедливости. Всем-всем-всем, вплоть до лично дорогого Леонида Ильича Брежнева!

Естественно, проект письма был принесён Тихону для одобрения, и он его сразу одобрил: Хорошо пишешь! Искренне! И отправилось моё письмо (насколько я помню — из секретариата Хренникова) прямо в руки к Филиппу Денисовичу.

Опять ожидание. Заниматься толком не могу, на сей раз, конечно, никакого изучения испанского (чтобы не сглазить). Просто ведут такое примитивное существование одно клеточного, когда чувствуешь себя цыплёнком, который не уверен, для супа ли он предназначен или, может быть, повезёт выбиться в «табака».

Время идёт. Новостей никаких. Вернее, почему же никаких. Каких! Да ещё каких! Тихон мне звонит и сообщает, что Доренского не выпускают. То есть, как не выпускают? Кто не выпускает? Я в отчаянии!

— Да вот, — объясняет Тихон, — настучали на твоего Доренского, и у нас уже нет времени его вызволять.

Ну это же надо! Такое может произойти только со мной! Доренский не вылезал из-за границы, это был единственный раз в его биографии, когда его не выпустили!

А кто же поедет в жюри? В принципе, Палома приглашала самого Тихона, это повысило бы престиж её конкурса. Тихон пообещал мне подумать.

Домик на Площади Дзержинского

Время, пока он думал, прошло для меня не зря. Как-то днём раздался звонок в нашей квартире. Я подошла к телефону: «Елена Ефимовна?»

Я остолбенела... меня тогда ещё никто не называл «Еленой Ефимовной», и ничего хорошего это не предвещало. А из трубки, ну прямо, как в романе «Мастер и Маргарита», подуло трупным холодом.

— Да.

— Вам звонят из КГБ... — у меня потемнело в глазах, лоб покрылся капельками пота и, вместо ответа, я малодушно, прямо с трубкой в руке, грохнулась в обморок. ... Когда я очухалась, у меня в руке, где намертво была зажата трубка, ещё дребезжал голос: «Вы меня слышите?»

— Слышу, слышу...

— Приходите в такой-то день в такое-то время на Площадь Дзержинского, мы будем вас ждать.

— А как я вас узнаю?

— Не беспокойтесь, мы к вам подойдём.

В трубке сразу опустело, и раздалась короткая гудки.

И вот, в назначенный день и час, буквально тащусь, еле передвигая ногами, на площадь имени Железного Феликса. Опять, образно выражаясь, эдакое «приглашение на казнь». Зачем они меня туда приглашают? О чём будут со мной говорить? Чем обязана таким вниманием к моей скромной персоне? И, главное, выпустят ли обратно? Выхожу из метро и вливаюсь в людскую чашу. Народу видимо-невидимо, и все мечутся в полном беспорядке по каким-то своим хитрым траекториям. Это напоминает броуновское движение, но в этом хаосе есть какой-то определённый свой порядок. Не успеваю пройти и нескольких шагов, как прямо из толпы отделяются и направляются ко мне с разных сторон два эдаких серых молодца, одинаковых с лица. С виду абсолютно неприметных: роста не большого и не маленького, не блондины и не брюнеты, в общем два агента без примет: «Елена Ефимовна», — это не вопрос, а констатация. Тем не менее, отвечаю: «Я». — «Пройдёмте». И я в приятной компании или, точнее, в сопровождении, «прохожу» к знаменитому голубому домику на площади Дзержинского.

Даже сейчас помню это чувство перед проходной. А выйду ли я обратно? Так как из таких домиков самое главное — выход. Есть ли выход? Пропуск на моё имя уже готов, мы идём по коридорам и проходим в один из кабинетов, в которых, по-видимому, происходят допросы. Мои «товарищи» заходят со мной вовнутрь. Начинается допрос. Или, если хотите, «разговор». Вопросы, вопросы, вопросы:

— Почему вы так стараетесь попасть на конкурс за границу?

— Потому что это единственный способ получить концерты у нас в стране.

— А почему вы не хотите участвовать в конкурсах у нас?

— Потому что у нас конкурсов нет, кроме конкурса Чайковского, но, чтобы принять в нём участие, надо быть лауреатом международных конкурсов, а они проходят за границей.

— А почему вы хотите именно в Испанию?

— А я не хочу именно в Испанию, мне все равно куда, просто мой профессор готовил меня именно к этому конкурсу.

— А не потому ли, что у вас родственники в Испании и вы хотите с ними воссоединиться?

— ???

— Извините, КТО у меня в Испании? Какие родственники?

— Ну у вас же есть родственники за границей?

— Да, моя двоюродная тётя и, соответственно, троюродные братья. Они уехали в 1971 году в Израиль. Между прочим, с разрешения властей... А при чём тут Испания?

— А где эти ваши родственники сейчас?

— Понятия не имею! Откуда я могу это знать? И вообще, если бы я это знала, могла бы я поехать к ним в гости?

— Нет.

— Почему?

— Потому, что это очень дальняя связь, родственниками считаются только мать, отец, муж, жена и родные братья-сёстры.

... Вот-те, на! Интересное кино получается: если я к ним хочу поехать — они НЕ родственники, а если я хочу поехать на конкурс, они ментально превращаются в родственников! Забегая вперед, отмечу, что, поскольку вопрос оказался спорным, родственники они мне или НЕродственники, во всех последующих анкетах я писала через раз: то есть родственники за границей, то их нет. Как говорится, «думала себе»: вот сидите вы в КГБ, работаете, деньги получаете... Ну и работайте! Сверяйте мои анкеты и решайте, что с этим делать.

Дальше — больше:

— Вы комсомолка? — как будто они этого не знают.

— Да.

— А почему в партию не хотите вступить? (И правда, почему не хочу?)

— Знаете, чувствую себя ещё пока очень незрелой, и даже где-то недостойной.

— А зря! Это бы вам очень помогло. (Ха-ха, интересно, в чём?).

— В каком смысле?

— Ну, вот вы еврейка, непартийная, а так были бы партийной...

— И в чём бы мне это «помогло»? Я же всё равно, наверное, была бы хуже русских — партийных?

— Да.

Я внутренне чуть не умерла со смеху! Что это? Идиотизм или простота такая, которая хуже воровства?

— Вот видите! К тому же, считаю, что в партию надо вступать по убеждению, а не из выгоды...

Ах, как я их сделала! Они даже переглянулись. К этому времени я уже нашла правильный тон, тон не жертвы, которую допрашивают, а эдакой чудачки, которая ведёт себя кое-как, не понимая всей важности момента. Следующий вопрос:

— Товарищ Кушнерова! Почему вы не замужем?

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Приехали! Быстро крою слезливую физиономию, и, только что не плача, говорю:

— Как неделикатно спрашивать девушку такие вещи! Да меня не берёт никто!

Минута молчания... Мои молодцы, по-видимому, ожидали совсем другого ответа: например, «не хочу». И тогда был бы задан, очевидно, заготовленный следующий вопрос: а не для того ли, чтобы за границей найти себе мужа? А тут такой «облом»! Наконец, они обретают дар речи и говорят:

— Ну, уж так и никто!

Ха-ха! Ключули!

— Ну а что, вы хотите, чтобы я за первого встречного, что ли, выскочила? Я всё же Консерваторию закончила!

Раунд мой! Молчание. Тогда я решила, теперь моя очередь поговорить: раз я уже в КГБ, то что бы такое учинить? Может настучать? Например, на их же «коллегу»... Я быстро утёрла крокодиловы слёзы по поводу неуспеха у мужчин и, с готовностью домашней хозяйки на коммунальной кухне, говорю:

— А мне есть, что вам рассказать.

— Мы вас слушаем.

— Вот товарищ Сорокин, начальник 1-го отдела на военно-дирижёрском факультете Консерватории, сказал, что меня никогда и куда не выпустят! Имел он право так мне говорить? Ведь это, наверное, секретная информация!

Тут, наконец, мои молодцы проявили нормальные человеческие чувства и заулыбались, один даже рассмеялся:

— Извините, — объяснил другой, — просто вот фамилия коллеги тоже Сорокин.

— Ой!

— Но он не родственник, однофамилец...

Уф! Пронесло! По-моему, прямо после этого, убедившись в том, что я не «враг народа», а просто дура, они что-то подписали и говорят:

— Мы вас сейчас проводим к выходу, вы отдадите дежурному этот пропуск.

Ну, слава Б-гу! Значит, похоже, что я всё-таки выйду! Так чего они от меня хотели-то? Познакомиться, что ли?

Выйдя обратно на площадь Дзержинского, я посмотрела на небо, вдохнула воздух полной грудью! Жизнь прекрасна!

Перед отъездом

До отъезда оставалось всего ничего, а о паспорте ни слуху ни духу. Звоню Тихону, он говорит, что всё нормально, что его информируют и, что если бы возникли проблемы, ему бы доложили. Ну ладно, буду считать, что он держит руку на пульсе. Я стараюсь успокоиться, ведь невозможно пребывать всё время под напряжением и одновременно готовиться к конкурсу!

И тут, в очередной мой к нему визит (зачем он меня к себе вызвал?), он говорит:

— Знаешь, у меня со временем плохо, никак не получается поехать в Испанию, так что я попросил поехать в жюри Лёву Власенко...

У меня падает сердце:

— Как — Власенко? Тихон Николаевич, я вас умоляю, кого угодно, только не Власенко! Он меня терпеть не может! Не знаю, за что и почему, но это для меня конец!

— Да нет, Леночка! Что ты! Я с Лёвой говорил, он тебя знает и очень хвалит.

Тихон Николаевич... наивный чудак!

Прихожу домой и говорю:

— На конкурс можно не ехать, даже если паспорт дадут: в жюри едет Лёва Власенко.

Мама ахает, она-то знает, что к чему и почему, но старается меня успокоить, дескать, ну, если Тихон Николаевич с ним поговорил, и он хорошо о тебе отозвался, то не посмеет же он за границей тебя топить! В его собственных интересах привезти премию.

Значит, в жюри едет Власенко. Это раз. Ещё едет Усанов — руководителем делегации (была такая единица от «органов»), уж не помню, какой он тогда пост занимал. Но какой-то — наверняка занимал. Может быть, председатель конкурсного комитета. И ещё от тех же самых «органов» едет переводчица «в штатском» по имени Инна Львовна (двойная тёзка моей мамы). Но мне это всё пока не очень интересно, паспорта-то нету! Но Тихон продолжает уверять, что всё в порядке, и мне ничего не остаётся делать, как ждать... Занимаюсь кое-как. Нервы совершенно сдали. Мне уже даже мало интересно, выпустят меня или нет, потому что у папы случился тяжелейший инфаркт...

Ко времени моего предполагаемого отъезда папу уже выписали из больницы и привезли домой, но он был, конечно, ещё очень слаб.

И вот наступает последний день, день отлёта на конкурс. Я, естественно, никуда не собираюсь. Свежи ещё воспоминания двухлетней давности, когда я, в день отлёта на конкурс, собрав все вещи в чемодан, поехала в министерство культуры за паспортом. В этот раз — никаких сборов! У меня даже и чемодана нет!

Но тут звонит мне Тихон Николаевич и говорит:

— Поезжай быстро в министерство культуры, паспорт готов. Когда получишь паспорт, заскочи ко мне, я живу совсем рядом. Только быстро! Ты же на самолёт должна успеть!

На самолёт! Ах, вот оно! Я просто не успею на самолёт! Вещи так и не собраны, не могла я собираться, не имея паспорта на руках!

Тогда на семейном совете было решено: я стрелой мчусь в министерство на Арбат, а мама быстренько едет к Локшиным, одолжить у Татьяны Борисовны её новую сумку на колёсиках. Потом мама побросает все

мои вещи в эту сумку и привезёт её мне на Арбат. Помогать взялся Дима, тогда ещё не муж. Вот такая «картина маслом».

Как я получала паспорт в этот раз — совершенно выпало из памяти, но факт остаётся фактом: паспорт я всё-таки получила. Правда, с ошибкой в имени: вместо моего прекрасного древнегреческого имени «Елена» в паспорте стояло непонятное слово «Елане».

Помню, что одета я была, как хорошая девочка: на мне было такое простенькое платьице в синенько-беленькую клеточку, гольфы и босоножки. Такой вид маменькиной дочки-отличницы. Не помню, была ли у меня маленькая сумочка в руках.

Кто-то вызвонил Доренского с дачи, что-де паспорт получен, но теперь непонятно, как быстро добраться до аэропорта. Доренский рванул на машине с дачи, и помню, что мы вместе с Доренским были у Тихона Николаевича дома. Тихон был очень мил, как всегда, шутил, был очень доволен, что всё так славно сложилось. А Доренский мне говорит:

— Благодарю Тихона Николаевича, ведь он за тебя лично поручился, что ты не останешься! Без этого тебя не выпустили бы!

А Тихон только руками на него замахал, типа, ну о чём разговор, не надо этого ничего! На меня это произвело тогда сильное впечатление.

Договорились с мамой, что она с Димой привезёт чемодан к дому Доренского, мы там встретимся и поедем все вместе в Шереметьево-2, откуда все летали за границу. Везти нас в аэропорт придётся самому Доренскому, иначе никак не успеть. Я всё ещё не могу поверить в то, что всё получилось, и что сейчас вот надо лететь в Испанию! Нахожусь в состоянии полного коматоза.

По дороге в аэропорт, за разговорами и поучениями Доренского, что я должна себя «достойно» вести, чтобы не подвести Тихона Николаевича, за меня поручившегося, мы пропустили выезд к аэропорту! И, главное, Дима видел, что выезд, но почему-то не сказал, и мы промахнулись! Я аж ахнула! Вот оно, где загвоздка была! Мы просто пропустим рейс и всё! Ведь должна же быть где-то загвоздка! Чувствую почти облегчение. Но Доренский показал себя настоящим лихачом: где-то круто развернулся, где-то превысил скорость и мы-таки прибыли в последний момент к рейсу. Все уже, естественно, были в сборе. Секундочку! Не все! А где Ерохин? В панике спрашиваю, а где Серёжа-то? А мне отвечают: его не пустили. У меня опять темнеет в глазах, слишком хорошо помню я то чувство пронизывающего холода, как от поцелуя дементоров из «Harry Potter», которые сначала замораживают тело, а затем высасывают душу...

Но меня приводит в сознание реплика Нигоры Ахмедовой, как раз в момент пересечения границы:

— Это что, если так дальше пойдёт, нам что — играть что ли придётся?!

Реплика просто гениальная, точно отражавшая наше состояние: последнее, о чём мы думали — это игра на конкурсе! Все силы, всё время и все нервы ушли на эту отвратительную нервотрёпку: выпустят — не выпу-

стоят. В отличие от наших коллег — конкурсантов из других стран, мы приходили к конкурсу измученными, задёрганными и униженными этой бесчеловечной системой! Не говоря уже о неподъёмном грузе ответственности и бесконечного доверия, возложенного на нас нашей страной, отправившей нас защищать честь самой себя: самой лучшей, самой мощной и самой справедливой! Так неужели всё же придётся играть на конкурсе?



Борис Кауфман

МОЙ АРБАТ

Ностальгия ... тоска по родине ...

Это ведь совсем не обязательно, что непременно только вдали от России, например, на острове Тасмании или в Парижских предместьях начинаешь тосковать по русским березкам, по широченным просторам русских рек или по ароматам русских лесов. Дышать вкусным предрассветным туманом полей! По безалаберным русским городам, построенных не по единому архитектурному плану, а Бог знает, как кому придется! По шумным, склочным магазинам, где хамство продавщиц иногда возмущает, иногда изумляет, но и в том и другом случае теряешься потому, что ты не обладаешь их наглым напором и безобразной лексикой, а больше отмалчиваешься — не уподобляться же им! И уж совсем гложет душу тоска по отсутствию дефицита — все есть, нет только иногда денег.

Я жил на Арбате.

В одном из бесчисленных арбатских переулков.

Мы, то есть мои друзья-товарищи и я, часами гуляли по улочкам и переулочкам иногда тихо, спокойно, иногда слегка безобразничая. Солнце пыталось порваться между казавшимися тогда огромными домами, на самом деле, вполне обыкновенными. Ветер, не очень сильный, но как идеальный дворник, сметал упавшие листья ближе к домам, как бы вычищая проезжую часть улочки для редкой в те времена автомашины.

Мы не обращали внимания на маленькие, изящные одно- и двухэтажные дома, мы интуитивно ощущали их чудесность, их прелесть, но для нас это было обыкновением, и только лишившись возможности видеть их каждый день, начинали понимать это умом.

Некоторые из них разрушены! Так сложились обстоятельства, что пришли нувориши, они не сумели проникнуться арбатским духом, они внесли эклектику в наш Арбат, настроив кучу безмозглых, бездарных строений, не имеющих ничего общего с искусством архитектуры. Сохранилось пока несколько старинных особнячков, но как же заметна их усталость в борьбе с мешками денег и полным отсутствием вкуса!

Я живу под Москвой.

У меня есть березки, клены, осины, сосны и ели, под боком течет не такая уж просторная, но все же река, Десна. Невдалеке от меня есть поля, на которых клубится предрассветный туман, в нем постоянно пропадает мой пес долматин Кит, огромная, но очень добрая собака — у меня есть все, что нужно для счастливой жизни.

Но я подвержен ностальгии.

Меня тянет на Арбат, и раз в три-четыре месяца обязательно приезжаю, брожу, сколько хватает сил, по переулкам в надежде встретить кого-нибудь из сверстников, но встречаю и здороваюсь, как с живыми, только с уцелевшими домиками, одиноко дремлющими среди огромных по сравнению с ними квазидостойных архитектурных сооружений.

И только разгуливая по любимым переулочкам, я начинаю понимать, как фантастически быстро, словно на ракете, несется время.

Чертово Время! Ему не удастся загубить Арбатские переулки идиотскими, аляповатыми архитектурными новоделами, так бездарно, с нахальным жлобством и насмешливым презрением к своей истории, встроенным в нашу старую, переулочную, архитектуру и напоминающими "мужика в лаптях, вошедшего в дворянское собрание, и заоравшего "Здорово, братцы!"

Или мальчиками в белых рубашках и строгих, отлично сшитых костюмах, аккуратно снующих по переулкам, так не похожих на "детей Арбата"! Даже дорожные иномарки, заменившие надутые от важности "ЗИМы и полуответственные "Победы", не могут его испортить.

Раздражать? Да! Но победить? Нет! "Где правда проступает сквозь туман, там терпит поражение изощреннейший обман!"

Времена меняются, надо быть оптимистом!

*

Вдруг, неожиданно для самого себя, я оказался в том возрасте, когда тянет оглянуться — в детство, в юношество, в молодость... Ты начинаешь понимать — разум или маразм крепчает, а вот сердце остается сердцем ребенка, и потому тебя влечет обратно ... туда ...

Странная вещь — память!

Подвал, куда сваливается всё — прошлое и настоящее! А настоящее мелькнёт фантомом — и сразу туда, вниз, и вспоминается только тогда, когда становится прошлым. Жаль, в подвале нет места для будущего, а как красиво звучало бы: воспоминания о будущем!

Разум и чувства тоже спрятаны в памяти, и вся эта фантазмагория — лица, эпизоды, происшествия, случаи и случайности, маленькие трагедии и большие радости, и наоборот, большие трагедии и маленькие радости, добро и зло, сотворённые над тобой и тобой, радость, растерянность, гнев, недоумение — всё покоится в темном, сыром, крайне неприятном месте, опутанным паутиной часов, дней и лет. Покоится до той поры, пока в хозяйской голове вдруг, без всякого повода, короткой молнией сверкнёт что-то, и тогда бессмысленно, бессвязно, словно цветные пятнышки в калейдоскопе, начинают мелькать лица, случаи, события — вехи жизни, совсем забытые куски прошлого, ранее проскочившие мимо твоих пристрастий.

Бессонной ночью, когда снова и снова начинаешь прокручивать наполненный ужасом веселья документальный фильм, вдруг озаряет —

каждая двадцать пятая картинка — несбывшаяся мечта! Ты начинаешь осознавать, что Время, бесценный материал, утеряно безнадежно и невозвратно, а из него сшита твоя жизнь!

А настоящего, сиюминутного, нет! Его просто нет в природе! Неуловимый миг — и будущее становится прошлым!

Но иногда прошлое становится будущим.

Особенно в нашей стране.

*

Нередко память вызывает досаду, накатывается болезненная обида оттого, что в далёком, а порой в недалёком, прошлом поступал именно так — глупо, а не по-другому — умно, что многие благородные мысли и намерения так и не получили конкретного воплощения в жизни! И наоборот — поступил так, что сейчас в отчаянии хватаешься за голову — как ты мог, зачем, что подвигло тебя на это? Но, как и в прошлом, так и сейчас, и в будущем, ты наступал и будешь наступать на одни и те же грабли, потому, что предыдущие удары по лбу и по душе отнюдь не заставили переделать себя или попытаться изменить обстоятельства. Да, времена шли и уходили, зато просчеты оставались! Казнишься, но кого упрекать, кроме себя? Где-то повел себя неправильно; кому-то не поверил, кому-то наоборот, по-детски доверился; поленился что-то сделать, или напротив, совершил безответственный поступок; ошибся в выборе, забыв, что окружающий мир оценивает тебя по тому, куда и какой путь ты избираешь — можно родиться стариком, а умереть молодым! Жизнь мимолётна, чаще не успеваешь осознать, что ты уже прожил её, а потому: вглядываясь в прошлое, ты видишь будущее! Арбат помог!

Особенно в нашей стране.

*

Появившись на свет, человек имеет право лишь на одну жизнь. Наверное, в каком-нибудь из параллельных миров можно с какого-то момента начать жить по другому, третьему, четвертому и так далее варианту, но не в нашем — обратного отсчёта нет!

Переселение душ? Реинкарнация? Нет прямых доказательств "за", как нет и "против"! Это религия - либо ты веришь в философию бесконечного бытия, либо нет! Я поверю только тогда, когда кто-то представит мне неоспоримые доказательства - в прошлой жизни он был слоном или одуванчиком! Ссылки на унаследованные черты характера — ерунда, в одном и том же человеке спокойно уживаются гордый орел и трусливый заяц, всё зависит от обстоятельств реальной жизни, когда приводят в смятение не безумные сны, а кошмарная реальность.

В подлинной жизни гениев мало, идиотов больше, не одарённых ни тем, ни другим гигантское большинство. Трагедия отдельных личностей, по уровню своему находящихся в группе "большинство", в том, что они не могут примириться со своей естественной средой обитания, и в них возникает воинствующая зависть, которая на самом деле и есть мерило скудости талантов. Немногие понимают — постигнуть Истину дано не всем, но все пытаются это сделать, а некоторые нагло присваивают право изрекать её!

Особенно в нашей стране.

*

Воспоминания становятся все более четкими, рельефными, ты снова как бы действующее лицо минувших событий, еще не вошедших в историю, но уже точно в прошлое.

Те самые, давно растворенные во времени обстоятельства, оценки собственного поведения и поведения друзей и знакомых, тогда резких, безапелляционных, подчас даже беспардонных, неожиданно-негаданно пересматриваются, переоцениваются, и они становятся уже не такими категоричными, дерзко однозначными, появляются сомнения в справедливости твоих поступков, судить же чужие не берусь — в своих бы разобраться. Вероятно, это и есть возрастная мудрость, реализация накопленного опыта жизни.

*

«В каждом городе есть свой Эдем»

Владимир Набоков

У меня есть свой Эдем, это Арбатские переулки, хотя ...

Я родился в Баку.

Мне было шесть лет, когда мы поселились на Арбате, вернее в одном из арбатских переулков — Большом Власьевском, и прожили в доме номер девять тридцать восемь лет, когда по решению высшего руководства города дом снесли, предварительно, лет за пять до сноса, капитально, с переселением жильцов во временные жилищные пункты, отремонтировав!

Но кто в те прошлые времена считал деньги, если место понравилось высокому начальству, у него не было своих, но были государственные! Впрочем, и в наши времена современному богатому нуворишу в голову не придет — он разрушает историю своей страны, разрушая дома и улицы, истари принадлежавшие Москве!

И кто ответит за бездумные траты государственных денег, если "высокое начальство до..." свершения экономической и моральной революции гладило угодливых чиновников по головке, раздавая чины и награды, а ныне нувориши наполняют их карманы американскими рублями?

Сейчас на месте того дома, что был под номером «девять», выстроен другой, и тоже под номером девять. Дом роскошный, в нем живут ответственные и полуответственные чиновники плюс выдающиеся артисты. Счастливой им жизни! Как и тем жильцам прошлого, которых выселили в Никольское, Чертаново, Беяево — а пусть не мозолят глаза нам, новым арбатчанам!

А вот Храм Священномученика Власия (переулок Большой Власьевский) восстановили, там теперь проходят службы — как удобно не выходя из переулка помолиться у алтаря, свидетельствуя свое почтение к Богу! Мода. Я знал одного человека, он жил от меня не вдалеке и преподавал у меня в университете такой предмет, как «Научный атеизм», сейчас я встретил его в храме истово молящимся.

А во времена моего детства храм — угольный склад, рядом помойка.

*

Больше тридцати лет, как меня «ухали» с Арбата, но до сих пор не могу забыть его аромат!

Говорят, историческая родина там, где ты родился.

Ничего подобного, родина там, где протекало детство, закончились юношеские забавы, прошла шумливая молодость... где ты постепенно вырослел, приобретая житейскую мудрость.

Я понял это в Баку.

В одной из командировок я нашел дом, где прошла первая, бакинская, часть моего детства. Меня неожиданно узнала соседка, тетя Рамиля, жившая на первом этаже маленького домика с крошечным, но когда-то казавшимся мне огромным, двориком.

Когда Наташа Краминова, мой товарищ и коллега по «Московским новостям» и по частым совместным командировкам, услышала — да ты Баськин сын! — она, потрясенная, прошептала - Не может быть!

— Может! — заорал я, мою мать действительно звали Бася Владимировна!

Мы попили чай, выяснили, что сундук, который стоял в нашей комнате, мне совсем не нужен, что приехал я не за ним, вызвав вздох облегчения у новых хозяев, а совершенно случайно, и вернулись в гостиницу.

Признаюсь, я не спал полночи, даже выходил погулять на площадь и набережную, и думал, думал...

Я люблю Баку.

У меня было много замечательных друзей-бакинцев.

Баку — был город-интернационал: в нем нет азербайджанцев, русских, украинцев, армян, евреев — все они составляют одно единое целое — бакинцы. Они добрые, умные, необыкновенно гостеприимные люди, все говорят по-русски с одинаковым, приятным акцентом. Если ты в го-

роде — попробуй не зайти в гости, никакие ссылки на занятость тебя не оправдают! И деловой визит сводится к бесконечным обедам и ужинам, а когда работать? Ты же в служебной командировке!!!

И все же, чем наполняется наша жизнь?

Воспоминаниями о радостях и о несчастьях, о веселии, но и горестях, друзьях и врагах во дворе; о первом и последнем, десятом, классе; о студенческих годах, когда тебя научили пить пиво и играть в карты, каждую среду, субботу и воскресенье ездить на ипподром отнюдь не для спортивных целей; город, в котором ты получил свое первое редакционное задание и первый в своей жизни гонорар — это город Москва, это Арбат, а потому...

*

...я раз в три-четыре месяца обязательно приезжаю в родные места, и, перед тем, как идти дышать воздухом арбатских переулков, оставляю машину в Плотниковом переулке. Минут тридцать-сорок сижу за столиком у памятника Булату Окуджаве, любуюсь проходящими мимо девушками в изящных мини-юбках или таких же коротких платьицах с рискованными декольте.

Но каждый раз раздражаюсь, глядя на глупую, белую, в черных пятнах, корову, задача которой привлечь посетителей в кафе и быть фоном для съемок домашних, господи, как же я ненавижу это слово — «фото»: «я здесь был!». Наверное, мир представляется совсем другим, если взирать на него со спины муляжа породистой коровы.

Это не Арбат.

Арбат — это симфония!

Гагаринский, Староконошенный, Плотников, Сивцев-Вражек, Филиповский, Афанасьевский, Калошин переулок, Малый Власьевский, наконец, родной Большой Власьевский ... Мой двоюродный брат Моська, фанатик джаза и коллекционер магнитофонных записей, говорил в момент наивысшего наслаждения — "это тихо журчит Эллингтон"!

А я никак не мог привыкнуть к новым названиям любимых переулков. Сейчас очнулись и вернули старые. Спрашивается, ну зачем надо было Гагаринский переулок менять на улицу Рылеева? Только для того, чтобы «тупой», «несообразительный» москвич не путал космонавта Гагарина с князем Гагарины, жившем здесь когда-то? Глупо.

Разве Маловласьевский стал лучше от того, что превратился в улицу сразу двух Танеевых? И каких? Братьев Владимира — писателя, адвоката и Сергея — известного композитора, или четырех братьев Танеевых, они стали генералами российской армии — тоже достойными людьми?

Или Афанасьевский в разговорах коренных арбатчан разве не остался Афанасьевским, хотя и стал улицей Мясковского?

Слава Богу, хоть Староконюшенный и Сивцев-Вражек не тронули, Староконюшенный не превратили в улицу Правительственного гаража, а Сивцев-Вражек в Коммунистов-горку!

Чистый переулочек тоже остался Чистым. Возможно потому, что там располагается резиденция Патриарха Всея Руси. Но вот писателю Николаю Островскому не повезло, переулочек вернули старое название — Пречистенский.

А ведь Николай Островский создатель культового для многих поколений литературного образа коммуниста Павла Корчагина. "Книга «Как заляглась сталь» осталась неоконченной, не были опубликованы даже черновики. Поговаривали, что во второй части Павка скатился в «бухаринцы», выступая за дискуссии в партии, но за этим бдительно следила жена писателя Раиса. Должность у нее была такая — жена! Время сейчас другое, но в принципе одно и то же!

Но что это за время, если к нему есть простые вопросы, а ответа на них нет: куда делся известный всей читающей Москве букинистический магазин? Куда исчез кинотеатр "Арс", правда, некогда переименованный в "Науку и знание", который был в свою очередь изгнан из дома, что на углу Арбатской площади, там открыли ресторан "Прага"? Где кинотеатр "Юного зрителя", в котором по вечерам шли фильмы с предварительным титром — "Этот фильм взят в качестве трофея ...", и куда мы, четырнадцатилетние подростки протырялись на десятичасовой вечерний сеанс смотреть первый, шокирующий откровенностями, фильм "Скандал в Клошмерле"!

По каким улицам бегает "второй" троллейбус, тогда тараканом ползущий через всю Москву — от Киевского вокзала до киностудии им. Горького? Что произошло со знакомым всей Москве "Диетическим", где в одиннадцать вечера, он был открыт до двенадцати ночи, можно было купить свежую любительскую колбаску, необычайно вкусную ветчину.

Простите за невольную пафосность вопросов, но ответа нет.

А «народ безмолвствует»! И не страх мучает толпу — паразитическая апатия!

*

Вообще, этот четырехугольник, ограниченный Гоголевским бульваром, Кропоткинский улицей, ныне снова Пречистенка, Садовым кольцом и Арбатом, паразитичен.

Лицо человека отражает его характер, внутренний мир, темперамент.

Имя дают человеку при рождении, дают по разным причинам и поводам — нравится родителям, в честь бабушки или дедушки, любимого писателя-поэта, в военной среде в память известного воителя, да миллион причин, чтоб тебя назвали так, а не иначе.

Например, в тридцатые годы в силу идиотского увлечения родителями «коммунистической лексикологией» обеспечившего их детям, особенно в детстве, из-за странных имен нелегкую жизнь, появились такие, как Марлен — комбинация Маркс-Ленин, Мюда — в честь Международного Юношеского Дня, Искра, Сталий, Нинель — читай Ленин наоборот, просто ЛенИна, СталИна, уж совсем сумасшедшие — Революция, Электрина и окончательно запредельное — Электрификация! За прожитую жизнь имя так вырастает в человека, что становится некой его характеристикой. Не родителей, его!

Фамилию меняли по разным поводам, в основном для сокрытия принадлежности к определенной нации, имя гораздо реже. Разве только в записных книжках Ильфа: Альфред Говно меняет имя Альфред на Иван!

А на Арбате каждый переулок, каждая улочка имеет своё лицо, свой характер, свой внутренний мир и темперамент, даже переименование никак не повлияло — остались по духу, по укладу жизни, прежними!

*

Наверное, старомосковская архитектура сохранилась в каком-то виде и в других местах Москвы, но современные нувориши, рвавшие в старую аристократию, считали своим долгом поселиться именно здесь, и не просто поселиться, разрушить весь мир "... до основания, а затем... свой новый мир построить ...", и пошли крушить!

Говорят — не бывает счастливой жизни, бывают счастливые дни. Это у людей. У камней тоже.

Малообразованные люди, волею номенклатурного каприза и бандитски спекулятивной ситуации в стране, вспомните, что тонет и что выплывает в воде, выброшенные на верха политики и экономики, не понимали, что самый правдивый предсказатель будущего, это прошлое! Но пока, странно, ещё не все успели срубить под корень, ещё соседствуют разные эпохи — от самых давних, средних давних, недавних, до совсем недавних.

«Вечер за днём беспокойным,
Город, как уголь зардел,
Веет прерывистым, знойным,
Рдяным дыханием тел.
Плавны, как пение хора,
Прочь от земли и огней
Высятся дуги собора
К светлым просторам ночей».

Это город Максимилиана Волошина.

*

В переулке Сивцев-Вражек, напротив дома Аксаковых, красивейшем особняке девятнадцатого века, еще в конце шестидесятых годов, был выстроен отвратительный, из бледно-желтого кирпича — только для жильцов определенного ранга, дом. Без всякого намека не только на архитектурные излишки, но и вообще на какое-либо подобие архитектурного решения, жилой дом, прозванный в народе "маршалским", по слухам — один этаж одна квартира. В нем поселились многозвездные генералы, вернее, там были их московские квартиры, а обитали они на дачах, тоже государственных.

За домом, высокой — не перелезешь — металлической решеткой, был огорожен двор с высаженными там берёзками, сосенками и елями. Местные, коренные жители, туда никак попасть не могли, «народная армия» отгораживалась от народа.

Потом многозвездные генералы сообразили, или кто подсказал — неловко, вроде! Наружную решётку оставили, а внутреннюю, между дворами, сняли.

Изредка там прогуливались два красавца королевских пуделя, принадлежавших знаменитому герою войны маршалу Советского Союза Ивану Баграмяну.

С пуделями образовалась неожиданная проблема — между Тишкой, моим черным терьером, и ними возникла просто классовая ненависть! Тишка по характеру был типичный арбатский хулиган, главное в его жизни было проявить самостоятельность — удрать от хозяина, подраться с Казбеком, мощным дворовым псом из дома напротив, одернуть наглых маленьких домашних собачек, не жалующих его своим писклявым лаем.

Когда пуделей выводили во двор погулять, с Тихоном дома начинало твориться что-то невообразимое, а дочь маршала, которая с ними гуляла, рассказывала, что парочка, учув терьера во дворе, начинали метаться по квартире исходя из себя от злости, словно взбесившиеся. Взаимная ненависть перерастала в открытые конфликты, а пару раз и в побоища, и я имел неприятные разговоры с хозяйкой.

Соседом Аксаковского дома слева, зрительно совсем придавив его к земле, стало мрачное, огороженное пропускными пунктами, здание без вывесок, без номера дома, однако все знали — "Кремлёвская поликлиника"!

Около неё выстраивались ЗИСы и ЗИМы.

Они дожидались толстеньких жен начальников, их откормленных детишек.

Венчал строение непонятный купол, при отсутствии других каких-либо архитектурных идей, он прямиком попадал под статью "излишество", но Васька Грозов, мой одноклассник, утверждал, что там спортзал, а он знал, его отец был ответственный работник аппарата ЦК и ездил на ЗИМе.

Особняков, подобных Аксаковскому, сохранилось довольно много, особенно в Гагаринском переулке. Самым известным был второй от Старокожушенного.

Окна в нём не были закрыты занавесями-портьерами, только прозрачным тюлем, и по вечерам, когда в комнатах зажигался свет, мы, мальчишки тайком с любопытством разглядывали красивейшие гобелены, старинные картины, кожаные фолианты на полках — малюсенький Прадо!

Еще дальше вниз, к Гоголевскому бульвару, стоял приземистый одноэтажный особняк бледно-зеленого цвета, в народе называемый «молотовским»: говорили, что там после отставки жил Вячеслав Михайлович Молотов, второй после Сталина человек в государстве, а после шумной отставки — никто. Но это сплетни, ничем и никем не подтвержденные, никто никогда его там не видел!

Зато там точно было посольство Эфиопии, они довольно часто вывешивали флаг, наверное, в честь своих праздников.

Но вот в конце сороковых начале пятидесятих годов там размещался корреспондентский пункт американского агентства Юнайтед Пресс Интернешнл (в миру известно как ЮПИ) во главе со знаменитым Генри Шапиро, героем нескольких московских анекдотов, но журналисте высокого класса: именно ЮПИ с его помощью первой сообщила о смерти вождя в марте 1953 года.

Страдать и жить планида людская, а вот страдают ли дома и камни, когда их рушат — неизвестно, но, кажется, что не только страдают, но и сопротивляются варварам.

На углу Плотникова и Сивцев-Вражка стоит дом. Урод! Стены и окна. Высоченные, тяжелые, вечно закрытые ворота во двор. На окнах только что решеток нет. А жаль!

По слухам, а что в нашей стране есть более достоверное, чем слухи, построен он был для очень, за пределами очень, ответственных работников Совмина СССР!

Дом — идеал бездарности, отсутствие всякого намёка на умение вписаться в сложившийся городской ансамбль, классический пример постсталинской архитектуры — техническое решение расположения квартиры в прямоугольнике, сложенном из кирпичей, вызывал ненависть у коренных арбатчан.

До него там стоял дом-легенда. Мимо него все проходили с уважением, но его снесли ради дома-мурла! Не пожалели. Поселились. Не они, они на дачах, а домработницы и другая челядь.

В этом угловом особнячке, дворянской усадьбе конца XVIII века, М. Кутузов проводил последнее совещание, там окончательно решили — оставить французам Москву! Первое, знаменитое, совещание было в Филах, второе здесь. Даже если это не так, даже если это легенда, всё равно она требовала к себе уважительного отношения. Снесли! Суки! Снесли ради того, чтобы на его месте построить этот кошмар!

А как сносили? Ответ на вопрос, сопротивляются ли дома и камни при разрушении однозначен — сопротивляются! Страдают? Страдают!

Пришли рабочие, молотили ломами. Не вышло, щербинки отколупали и всё! Завезли "бабу", огромную железную болванку, краном раскачивали, били, били ... Кусочки отскакивают, а дом стоит ... Рабочие уважительно — на яичных желтках замешивали, на века ... Ночью взрывали направленными взрывами, только тогда разрушили. От пожара при французах уцелел, от немецких бомб защитили, а от своих начальников, бездарей-руководителей, совминовских капитанов промышленности, кои если и попадут в историю, то благодаря проклятиям будущих поколений за содеянное, не уберегли! Предатели! Мерзавцы! Поменяли историю на удобства!

Слава богу, что некоторые особняки отдали посольствам, хоть что-то сохранится. И отдавали-то не с целью сохранить, а чтобы со стройкой не возится. Витя Генкин, мой друг и одноклассник, переродившийся из военного моряка в поэта-гражданина, прислал мне письмо с невеселым, довольно гневным, но полным искренней тоски, стихотворением о настоящей Родине — Арбате! Как истинный поэт, Витка словом предчувствовал, что недалеко то время, когда я, де-юре уже не житель Арбата, буду бродить по переулкам и вспоминать чуть ли не каждый камешек:

Я выходец из нежного Арбата,
Где переулки помнят имена бояр,
Попертых, как персон нон грата,
В Париж, Манчжурию и Белогородский «Яр».
Антагонист по отношению к Филям, Перервам,
К рабочим Пресни холодно, но не враждебно,
Весьма восторженно — к московским стервам,
Весьма презрительно — к властям и мерзостям!
Вослед косноязычию партийной шатии,
Не сторожа они родному брату,
Талантливы, но как творцы апатии,
В губернии спустив по Понтию Пилату.
Я не могу принять шлебеев запах,
Ремней рогож, мешков, брезента
Свою судьбу в сторонних лапах,
Непрошенность защиты как презента.
Я не могу простить холопства дух,
Покорность, перемешанную с дурью
Сентиментальности и мыслей вслух
О будущем со сталинским прищуром.

*

Среди многих других старинных особнячков, были два более или менее таинственных. Один из них стоял на углу Маловласьевского и Гагаринского.

Некую загадочность ему придавал высокий каменный забор, на вид довольно обшарпанный, но крепкий, вот пророй ров перед ним, перекинь подъемный мостик и точно — средневековый замок!

Поговаривали, что это заезжий дом для гостей Патриарха, резиденция которого находилась совсем недалеко, в Чистом переулке. Заезжий или нет, но из ворот довольно часто выезжали машины, в которых сидели люди в рясах, и мы, мальчишки, которым с первого класса вбивали в головы, что религия — опиум для народа, а священники бездельники, паразитирующие на народе, с некоторым страхом и любопытством наблюдали за ними — все, что запрещено, очень интересно!

В другом удалось побывать, правда, в далеком детстве.

В Старокоштоенном переулке, прямо напротив школы №59 им. Н.В. Гоголя, стоит красивейший особняк, выстроенный по проекту архитектора Н. Казакова. Много лет там располагается посольство Канады.

Школа по сию пору занимает удивительное здание, оно было построено в начале XX века на деньги, пожертвованные семьей купцов Медведниковых, архитектором И. Кузнецовым в стиле «Северный модерн». Покажите мне еще одну школу в Москве, построенную по специальному, а не типовому проекту, да еще в определенном стиле! Учились в ней люди известные — писатель Борис Полевой, академик, математик Владимир Арнольд, всемирно известный ученый-биолог Анатолий Жаботинский, гроссмейстер Юрий Авербах, поэт и математик Илья Иослович, артист Владислав Шалевич, поэт Виктор Генкин, математик, художник, переводчик японской литературы Максим Дубах, писатель, знаменитый исследователь античной литературы, культуролог академик Сергей Аверинцев, наконец, «кандидат» в Президенты, "хулиган" Владимир Буковский! И я, ученик ниже среднего! Попробуй быть хорошим среди них! А ведь за исключением Бориса Полевого и Юрия Авербаха — все остальные мои ровесники!

Интерьеры школы сплошные шедевры: гигантский актовый зал с лепными потолками; огромный спортивный зал с многочисленными рядами и баскетбольной площадкой; классы с высоченными потолками, кабинеты физики, химии, ботаники и зоологии — учиись, да и только! Но тогда я этого не понимал, для меня школа была скорее клубом, где я встречался со своими друзьями и недругами, чем учебным заведением.

В тогдашней школе действительно не было «социального расслоения». Спецшкол, в том смысле, в каком мы сейчас воспринимаем этот термин, помоему, не было, были спецшколы для трудных подростков и ремесленные училища, в которые направлялись еще более нерадивые ученики, чем я.

Все ходили в форме, все выглядели одинаково, все выстрижены наголо до восьмого класса. В моей школе учились и дети работников ЦК, и дети портного Гильштейна, их, гильштента, было так много — семеро, и бегали они и резвились по тем же коридорам и классам также бойко, как и дети высокопоставленных сотрудников.

С посольством Канады меня связывает «приключение», чуть не кончившееся исключением из школы.

1949 год, пятый класс. Окна аудитории выходят как раз на канадское посольство. Большая перемена — время для игры в футбол, две парты друг перед другом, одна у дверей, другая у окна — они ворота команд, в роли мяча туго связанная грязная тряпка, ею стирали мел с доски, к тому же собравшая во время игры всю грязь с пола — можно представить этот образец чистоты!

От моего неловкого удара тряпка ловко вылетела в открытую форточку окна и ...прямо на ветровое стекло посольской машины!

Ученическое счастье! В ней находился не кто иной, как Посол Канады, как я позже узнал и запомнил на всю жизнь, г-н Лестер Пирсон!

Разгневанный безобразной «политической акцией», г-н Посол буквально ворвался в школу, вместе с директором определили, из какого окна вылетела тряпка, поднялись к нам, поставили нас около парт, и директор, шипящим от злости голосом, задал вопрос: кто?

Я понял — сопротивление смерти подобно, поднял руку и сказал — я! Таким же шипящим голосом директор объявил — на месяц исключается из школы! Это при традиционном недельном исключении! Что будет дома!

На вопрос Посла, почему я это сделал, ответил правдой: случайно! Сражались в футбол, мяча не было, играли тряпкой, и я попал в окно. Видимо, в предвкушении домашней расплаты, голос мой был голосом кающегося грешника, и, тронутый моим искренним раскаянием, Посол попросил честно признавшегося и раскаявшегося мальчика из школы не исключать и не наказывать. Меня действительно не исключили, но за то, что г-н Посол подарил школе три футбольных мяча, поставили за четверть тройку по поведению. Ну, может быть не только за это, а все-таки лучше, если бы он подарил пять.

Кажется, в сорок седьмом году, вышел фильм "Падение Берлина" — патетическая ода вождю всех народов. Фильм — вранье несусветное! Сталин никогда не прилетал в послевоенный Берлин на самолете, а уж о встрече на аэродроме с освобожденными из концлагерей и говорить наприходиться, но... Верили!

Фильм крутили одновременно по всем кинотеатрам с утра до позднего вечера, а в школе, где я учился, был устроен торжественный комсомольско-пионерский сбор с просмотром ленты.

На сбор кем-то, наверняка по согласованию, было решено пригласить генерал-лейтенанта авиации Василия Сталина. Вот тогда и узнали, что в скромном, сереньком особнячке на Гоголевском бульваре и живет

сын вождя. В группу приглашающих попал и я, третьеклассник, тогда ещё вполне хороший ученик. Гримасы судьбы!

Нас нарядили. Темно-синие брючки из какого-то странного материала, больше похожего на плотную бумагу, белые рубашки с шелковыми галстуками, курточки и шапки, сильно напоминавшие пилютки испанских борцов с франкистским фашизмом. И привели в особняк.

Подавленные размером комнаты, тяжёлой мебелью и необычностью ситуации, мы молча сидели в большой комнате, боясь лишней раз пошевелиться. Потом, став взрослее, я понял, что никакой пышности там не было, скорее скудоумие хозотдела, без всякого намёка на уют и на вызывающую роскошь.

Примерно через час вошел военный, полковник, это мы понимали — дети войны — и сказал, что Василий Иосифович сейчас занят, его нет в Москве, на сбор он придти не может, но благодарит за приглашение, ему как бывшему пионеру это особенно приятно, и обязательно, как только выдастся свободное время, придет к ним в гости. Всей делегации вручили подарки — каждому по коробке настоящих шоколадных конфет!

Только тот, кто пережил в детстве войну, кто по дороге домой жадно съедал довесок при покупке хлеба в булочной, для кого праздником был кусок хлеба с маслом, посыпанный сахарным песком, кто в школе на большой перемене получал баранку с невысказанной роскошью — конфетой "подушечка", только тот может понять, что такое коробка шоколадных конфет!

Дальше интересно.

Передо мной встал вопрос, на который до сих пор не могу ответить. На следующий день принёс коробку в класс, а на большой перемене был бит одноклассниками! За что? За глупость! Никакие отговорки не принимались — почему, дурак, не выпросил две коробки, чего одна коробка на тридцать восемь одноклассников! Я долго не мог решить, что же было лучше, принести коробку в школу, или с узким кругом друзей дома чай попить?

Увы! Благие намерения ведут только в одно место!

Зачем приносил?

*

Я вспоминаю арбатских старичков и старушек своего детства и юности. Какие же они были милые, прелестные, эти сохранившиеся осколки после «окаянных дней»!

Тихие, спокойные. Многие одеты в ещё дореволюционные платья, штопанные и перелицованные, с белыми, туго накрахмаленными, уже давно тронутыми желтизной от многочисленных стирок, воротничками, предельно аккуратные, подтянутые, тщательно причесанные, иногда в шляпках с вуалями.

Они молча, всем своим видом, говорили — мы ещё живы, значит, не всё потеряно!

По моим наблюдениям старушки с Большого Афанасьевского отличались от старушек со Староконошленного.

«Староконошленные» почему-то всегда были получше одеты, поновее.

Бабушки же с Афанасьевского казались значительнее. Они ходили строго подтянутыми, строгими, в длинных, сантиметров десять-пятнадцать до тротуара, тёмных платьях, а если надевали кокетливые фетровые шляпки, Бог знает, когда приобретенные, и пенсне, то напоминали вдове вождя Надежду Константиновну.

Старушки, обитавшие на Гагаринском, смотрелись как-то подворянистей, на лицах многих из них, мне казалось, было четко написано — мы из дворян! Наверное, потому, что бояре истари предпочитали селиться на Гагаринском, Пречистенке или Остоженке, а не в Филипповском или Лёвшинском. Может быть, поэтому в Гагаринском больше сохранилось старинных особняков, бывших дворянских усадеб.

В знаменитом на всю Москву "Диетическом", что на Арбате угол Плотникова, старушки и старички покупали свежую любительскую колбаску, необычайно вкусную ветчину, настоящее вологодское масло. Кто брал килограмм, на того смотрели с недоумением: "Свадьба?" "Юбилей?", или с иронией — «К войне запасается!».

Аристотель: порядочный человек тот, кто довольствуется меньшим того, на что имеет законное право! Умение стареть — пик мудрости человеческой, умение сохранить достоинство — благо, дарованное мудростью!

Старушки вежливо просили взвесить сто грамм сыра, сто грамм колбаски, пятьдесят масла, одно яблочко, вызывая иногда взрыв возмущения очереди, неизвестно куда опаздывающей — "чего, старая, тудыть твою мать, время отнимаешь, очередь задерживаешь...", но старушки никогда не опускались до магазинно-уличных скандалов, на неприкрытое хамство толпы отвечали недоуменными взглядами с высоко вскинутыми бровями. Мне, читавшему в то время классику XIX века, казалось — вот-вот достанут из сумочки лорнет и с изумлением начнут разглядывать дурно воспитанную девицу или мало приятную, опухшую физиономию в кепке с мятым козырьком! Никакого презрения, высокомерия, только любопытство!

Если ты вырос в хамстве, ничто не бесит тебя так, как чужая вежливость. Но разве хам виноват, что рос среди хамов?

Они часто ходили в гости друг к другу, летом сидели на скамеечке возле парадного, сколоченной для них сердобольным дворником, и щебетали, щебетали... О чем? Часами!

А холодной осенью и зимой, пили чай у кого-нибудь дома, и я, увы!, как и другие мальчишки, заглядывал в окна. Как правило, старушки жили в старых двух-одноэтажных домиках, как правило, на первых этажах. Они сидели за небольшими квадратными столиками под удивительно уютными абажурами, почему-то у всех красновато-оранжевых оттенков, и только у

одной, с Большого Афанасьевского, абажур был мягкого зеленого цвета. Штор ни у кого не было, и нам, приподнявшись, легко было подглядывать через занавески.

От этих картинок становилось так удивительно трогательно, тепло и хорошо, что мы, двенадцати-четырнадцатилетние мальчишки, переставали на какое-то время ссориться и ругаться матом.

Мне казалось, что старушки ужасно одиноки, что у старушек никогда не было детей, но оказался неправ — к нескольким приезжали в гости сыновья или дочери с внуками или внучками.

К одной из них, жившей на Большом Афанасьевском в маленьком, но симпатичном одноэтажном доме, явно принадлежавшем в прошлом одной дворянской семье, теперь коммуналке, у кого одна, у кого две комнаты — это максимум, две комнатухи были и у старушки Веры Захаровны, довольно часто приезжали дочь с внучкой, красивой девочкой, в которую я издали был влюблен, и с которой так и не решился познакомиться.

Вера Захаровна работала у нас в школе в канцелярии, и была весьма заметной фигурой: высокая, статная, всегда в темной юбке и белоснежных кофточках, в неизменном пенсне на длинном шнурке. На ней просто было написано: меня надо уважать! И даже известные школьные хулиганы относились к ней с почтением.

Я часто бегал на Большой Афанасьевский, чтобы издали полюбоваться предметом увлечения, почти всегда угадывая, когда она должна была приехать к бабушке. Через много лет, во время премьеры какого-то фестивального фильма, мы случайно встретились и — узнали друг друга! Я рассказал ей о детской влюбленности, о своей нерешительности, а она — я видела, как невдалеке крутится мальчик, нравится мне, даже у бабушки спрашивала, кто он, злилась, что не хочет со мной познакомиться. Мы оба посмеялись, разошлись, а я потом долго думал, может, мы оба пропустили что-то? Жизнь человеческая делится на всю сумму упущенных возможностей, но математически это еще никто не подсчитал!

*

В этих переулках сохранились живые осколки минувшего — они принадлежали только Арбату и никакой другой улице! Они были странными, непривычными, не современными, потому их боялись, сторонились даже подростки, жестокие и безжалостные к старости, детская интуиция подсказывала — не надо!

Самая известная из них — тоненькая, стройная старушка, ходили слухи, якобы княгиня Гагарина! Где она жила — в особняке, что в Гагаринском, второй дом от Староконюшенного в сторону Гоголевского, или нет, ответить никто не мог, да и не задавали — кому какое дело.

Она возникала как бы ниоткуда, и растворялась в никуда! Зимой и летом ходила в странной фетровой шляпке, с двумя вздымающимися вверх ушками, за что получила прозвище "Рогатая"!

Трудно было определить, сколько ей было лет, вопрос — княгиня или княжна, называли и так, и этак, но всегда заглаза, да и какая разница? Иногда казалось — ей шестьдесят, иногда девяносто. Всегда густо напудрена, старческие губы подкрашены ярким кармином, по ведьменски подведены глаза — они напоминали глаза Врублевского Демона! Такой она и ходила по переулкам, вселяя некий мистический страх не только в нас, мальчишек.

Когда сообразили, что почти уже год, как её никто не видел, не очень удивились — исчезла тень прошлого! Никто с ней не был знаком, не здоровались, но стало жалко, все вдруг поняли, что нет уже на редкость кроткого, безвредного существа, ушла часть собственной жизни. "Померла, небось" — тоскливо сказала дворничиха тетя Катя, а кое-кто перекрестился.

Когда я, проходя по своему переулку, вспомнил о "Рогатой", Ольга, моя подруга, задумалась, потом прочитала Максимилиана Волошина:

Я вся — тона жемчужной акварели,
Я бледный стебель ландыша лесного,
Я легкость стройная обвисшей мягкой ели,
Я изморозь зари, мерцанья дна морского.
Там, где фиалки и бледное золото
Скованы в зори ударами молота,
В старых церквях, где полет тишины
Полон сухим ароматом сосны -
Я жидкий блеск икон в дрожащих струйках дыма,
Я шелест старины, скользкий мимо,
Я струйки белые угаснувшей метели
Я бледные тона жемчужной акварели".

*

Так же, как и "Рогатую", вся округа знала "Генерала". Маленький старичок, в сапогах и галифе с лампасами, в кителе без погон, никогда не застегнутым на верхние крючки, без привычных для всех генералов наград — ни орденов, ни медалей!

Несмотря на яркие лампасы он производил впечатление серого, бесцветного человечка: худенький, маленький, весь сгорбленный — плечи, казалось, беспомощно обвисали чуть вперед так же, как и усы, когда-то гуталиновочерные, а сейчас посеребренные сединой.

Поздней осенью, где-то в конце октября, он надевал потрепанную шинель, тоже без погон, без шарфика, и так до наступления тепла. Ходил он быстро, походкой бегущей трясогузки, потряхивая с каждым шагом маленькой головой, сосредоточенно смотрел вниз, под ноги, отчего казался сердитым, недоступным.

Да был ли он генералом, или нет, кто ведал! И если какой мальчишка шутя, гордо поглядывая на товарищей — какой я смелый, здоровался, то он обязательно останавливался, молча кивал головой и продолжал путь, никогда не интересуясь, знаком ли ему здоровающийся с ним, или нет, но это было очень редко, в спектакль не переходило, что-то останавливало. Он тоже исчез как-то незаметно, перестал трусить по переулкам и всё.

К таким же странным типажам можно было отнести высокого, сдобного, вальяжного старика с пышными, седыми бакенбардами, переходящими у подбородка в усы, то ли чеховский Фирс из МХАТовского спектакля, то ли генерал-адъютант с картины "Заседание Государственного совета".

Часа в три-четыре он всегда гулял по переулку Островского, не выходя за его пределы, и, независимо, кто с ним здоровался, величественно кланялся, прикладывая пальцы к странной формы фуражке — честь отдавал. Чудаковатость заключалась еще и в том, что он всегда летом надевал пальник, осенью-весной демисезонное пальто такого размера, что, несмотря на кажущуюся огромность его фигуры, спокойно поместилось бы еще несколько человек. Зимой — военную длиннополую доху с генеральскими погонами, но без звезд и потому не известно было, кто он — генерал-майор или генерал армии, кто как хотел, так и называл! Однако всегда из-под верхней одежды виднелись пижамные штаны, и только очень жарким летом он надевал серовато-белые штаны, короткие, они едва доставали до щиколоток, открывая невероятного размера сандалии на босу ногу, и необъятную толстовку черного цвета!

Иногда рядом, нет, все-таки по-восточному, чуть позади, семенила старушка с низко опущенной вниз головой, словно чувствуя себя из-за него чуть-чуть неловко. Время от времени, старик величаво оборачивался к ней, и, если она далеко отставала, дожидался ее подхода. И все молча.

Монументальный, я бы сказал, величественный вид избавлял его от возможных шуток встречных прохожих, он как бы сразу ставил себя выше всех. Судьба не случайность, в нем, несомненно, чувствовался генерал не-советской армии, сохранивший манеры, но не мундир.

Старички с Малого Власьевского — типичные бухгалтера на пенсии! В стареньких добротных, черных, хотя от времени уже посеревших, двубортных костюмах с лоснящимися локтями, с вздутыми на коленях от вечного сидения брюками, дешёвых ковбойках, в круглых очках с толстыми линзами, производили впечатление не ответственных, но очень усидчивых трудяг. Это не означает, что так ходили все, но они запомнились.

Старички с Большого Афанасьевского летом ходили обычно в парусиновых брюках и сандалиях. Тех самых, с дырочками и перепонками, та-

ких уж давно нет. Зимой в валенках с галошами, в ватных полушубках, в народе "полуперденчики"! Конечно, форма одежды не была принудительной, но так складывалось, по-соседски.

И те, и другие целыми днями, зимой и летом, играли в домино на куске фанеры, засунутой в спинку лавочки на Гоголевском бульваре, осуждая друг друга за неудачный ход веселым, безобидным матерком, изредка балуясь четвертинкой водочки и захваченным тайком из дома соленым огурчиком: «Костя Иваныч, ты этого, того, не стесняйся, огурчики сватья сама засолила, из деревни привезла...», «Тебе, Васька (а Ваське лет семьдесят), сегодня не положено, ты вчера с петушком-то не орал, а три раза должен был...», «ты чего, Лексей, на баб засматриваешься, а тут не видишь, это ж я на пятерке повис, мать твою, а ты тройку бьешь, стервец ты этакий...»!

Наиболее «богатые» играли на деньги, копеек по двадцать-тридцать, но в общую копилку, потом «молодого» посылали за водочкой и закуской.

Своим поведением старички подтверждали мысль, что жизнь не есть скаковая лошадь, она может быть медленной и размеренной, если доставляет удовольствие. Участковый относился к ним снисходительно, они никогда не хулиганили, да у него и заботы были другие — блатных и шпаны хватало.

На том же Гоголевском, ближе к станции метро "Дворец Советов", располагались шахматисты. Дворца-то, собственно, и не было, а был забор омерзительно грязного цвета, нечто среднее между сизым и серым. Его к каждому празднику обновляли, а дыры закрывали портретами членов политбюро.

Эти старики выглядели гораздо вальяжней, дородней доминошников, со статями отставных подполковников и полковников, да и одеты были поприличней. Попивали они коньяк из плоских карманных фляжек, сделанных на заказ, с удовольствием, с шутками-прибавками угощали проигравшего, а закусывали конфетами.

В ожидании очереди на игру солидно рассуждали об американском империализме, вскормившем реваншиста Аденауэра; о достойнейшем лидере арабов Гамаль Абдель Насере, о том, что, несмотря на поражение от этих самых..., за спиной которых стояли американские и английские "эти самые"... , народ его любит и уважает; об этом, как его, "сере", закладывая всю мощь своей иронии в слово "сер", "Антоне" Идене (и «...И шел бы он куда-нибудь...») который притворяется англичанином, а сам из «этих самых...», как и "Чембурбулен" много лет назад, опять сдаёт немцам Европу, и «пора бы америкашкам сбросить на голову атомную бомбочку, как они япошкам, да как бы самим не получить»

Почти каждый день на Гоголевский бульвар приходил прекрасно одетый, я бы даже сказал — элегантно одетый, не могу сказать старик, но очень пожилой человек.

Он выходил с Сивцев-Вражка, поднимался по ступенькам на бульвар, шел до памятника Гоголю, поворачивал обратно — и до метро Дворец Советов. И так несколько раз, время от времени останавливаясь около шахматистов, наблюдая за ходом какой-нибудь партии, но не комментируя, как все остальные зрители. Только один раз, стоя с ним рядом, я услышал, как он в сердцах бросил: «Ну, надо же, такую позицию ухитриться проиграть!» Помолчал, и добавил: «Не прозевать, а проиграть! Сделать подряд четыре глупых хода! Игра — не бремя, навязанное тебе, а радость творчества, а если она завершается проигрышем более слабому противнику, то становится бременем». И отошел! Предупреждаю, цитирую по памяти, возможно, не дословно, но по смыслу — точно.

Конечно, он в своих светло-серых, идеально выглаженных брюках, красивой полосатой рубашке и летнем хлопчатобумажном голубом пиджаке, выглядел белой вороной среди дефилирующей и играющей публики, но все поглядывали на него с оттенком уважения, без зависти. Кто-то распространил слух, что он был еще сотрудником Литвинова еще в НКВДе, много лет отсидел, но не сломался — так у него появилась кличка «дипломат», но только за глаза, впрямую он ни с кем никогда не заговаривал, а к нему никто и не обращался.

Возможно, это и правда, хотелось бы верить, но вот случай, свидетелем которого я стал: я шел позади Дипломата по Сивцев Вражку на бульвар, и, когда мы подошли, сверху стал спускаться В.М. Молотов, собственной отставной персоной! Я видел, как они с Дипломатом почтительно друг с другом раскланялись и разошлись!

Хотя это ничего не значило: через месяца два-три мы с моим приятелем Димой Донским поднимались по тем же ступенькам и также столкнулись с бывшим вождем. У нас у обоих вырвалось — «Здравствуйте, Вячеслав Михайлович!» Молотов с вежливой улыбкой ответил — «Здравствуйте, товарищи!»

Мы с Димкой переглянулись — непроизвольно вырвалось у нас, ни он, ни я даже не думали об эпатаже!

Я вспомнил, как мне мой дядя, вернее, муж моей родной тетки, рассказывал, в тот период он был замнаркома, как ему в кабинет позвонил Молотов, и он поймал себя на том, что он разговаривал с ним стоя! По телефону!

В крови у нас у всех сидит, что ли, это проклятое, веками вдавненное, чинопочитание! А ведь еще великий пролетарский писатель М. Горький сказал — самый великий чин на земле, это человек!

Интересно, что те, кто жил в Чистом переулке, Левшинском и далее туда, ближе к Зубовской, существовали будто в другом мире, и ни о каком тотальном знакомстве с ними не могло быть и речи — они были не арбатские, они были зубовские.

*

Арбатские переулочные хулиганы были особой частью нашей жизни.

Шпана с Большого Власьевского отличалась солидностью, она не разменивалась на мелочи, так, изредка развлекалась в подворотнях кинотеатра "Арс" — зона их влияния, но "трудилась" в других районах, в основном, Сталинском, потом Измайловском, теперь даже не знаю каком.

В иерархии районных блатных они стояли выше других: двухчасовая перестрелка во дворе дома номер семь, когда брали Ваську Силая, как потом выяснилось, известного бандита в Москве, подняла авторитет власьевских на небывалую высоту. Жили они в основном в доме четырнадцать, с коллегами из других дворов почти не конфликтовали, но попадать к ним опасались, и, несмотря на то, что двор их был удобным проходным, ходить всё же предпочитали улицей.

Блатные с Филипповского отличались дуростью и жестокостью, изгилялись, как правило, над слабыми. Они ходили почти в форме — все в коротких полупальто, несуразно сшитых, с обязательными четырьмя карманами — два горизонтальных и два косых, в одном из которых лежала сломанная вдоль безопасная бритва. "Оружие", в случае обострения ситуации, зажималась между указательным и средним пальцами с угрозой "пописАть" противника. Оружие опасное, подлое, но дальше испорченных пальто или костюмов дело не шло.

Соседи филипповских, урки с Большого Афанасьевского, считали унижительным для себя обращать внимание на эту мелочь. Среди афанасьевских, несмотря на молодость, были уже отбывшие срока по разным статьям, некоторые имели высылку за сто первый километр и проживали нелегально, хоть и открыто. Участковый, старший лейтенант Козлов, мужик лет сорока пяти, за спиной для всех Козёл, то ли не знал, то ли делал вид, что не знает этого, но и те в ответ безобразничали в других районах, сохраняя в своём относительное спокойствие — ранний симбиоз уголовников и власти!

Самым известным среди них был красивый, роскошно одетый парень — бежевые брюки, светло-коричневый пиджак, иногда внакидку на плечи, двухцветные туфли, кепи. Сильно напоминал пижона 20-30-х годов, но фамилию вслух боялись произнести — Ульянов!

Афанасьевские урки были районными аристократами — в черных пальто с обязательным белым шелковым кашне и кепками "Спорт" с разрезом посередине, офицерские сапоги, с папиросой "Беломор" в углу рта и неизменной золотой коронкой — фиксой. Они скромно ходили по переулку, не ввязываясь в мелкие дразги. Им подражала молодежь, но во рту у них, "молодняка", было не золото, а стертая до микронной толщины копейная монета, не дай бог заговорить на эту тему!

Были свои пьяницы. Их было много. Некоторые пользовались известностью не только на своей улице, но и в соседних переулках, например, дядя Миша, живший в подвале дома семь по Большому Власьевскому.

Тихий, спокойный человек, с удовольствием и без всякой платы ремонтирующий старые велосипеды и игрушки детей всего переулка, но четыре дня в месяц — в аванс и получку, жена убегала из дому, спасаясь от зверских побоев. Не найдя её, воя от злости и матерясь во весь голос, он уходил в Гагаринский переулок, где недалеко от пивной стоял полуразрушенный каменный забор, под которым он и засыпал до утра, положив под голову пару кирпичей, вынутых из забора, а утром старательно вставлял их обратно. Это было его место и его кирпичи, и не дай бог, если кто-либо в эти дни вмешивался в его жизнь.

Мнение, что исход девушек в проститутки — результат социальных неурядиц не стопроцентно верен — над сараями, в те времена имевшимися в каждом дворе, спокойно можно вешать красные фонари! И ни Тонька, ни Любка, ни Верка не скрывали свой промысел, хотя перед ними, что называется, были открыты все дороги жизни!

Арбатские парадные были местом ребячьих азартных, на деньги, игр. Главные игры происходили в подъезде дома на Арбате, в том самом доме, где был известный в Москве рыбный магазин.

В огромной витрине магазина красовался выложенный из коробок консервов, в народе "Снатка", макет Спасской башни с частью кремлевской стены, а над ним красовался призыв "Покупайте крабы" — кто знал, что очень скоро членистоногие станут огромным дефицитом и переместятся с Арбата в правительственные распределители!

В другой витрине располагался огромный аквариум с плавающими карасями, карпами и другой рыбой. Такие аквариумы, только поменьше, были и у прилавков — "...вот эту, не, не эту, а ту...", и к концу дня продавцы зверели, а покупатели чаще требовали не рыбу, а жалобную книгу.

Фимка Купер, мой одноклассник, все удивлялся, почему не выложили Мавзолей, но кто-то, то ли в шутку, то ли всерьез, объяснил ему, что ответственность за политические деяния и речи начинаются с двенадцати лет, а ему уже четырнадцать — самое время, и он примолк.

Для арбатских мальчишек подъезд был удобен тем, что ещё до революции был выложен кафелем так, словно знали, что О нужно будет мальчишкам сороковых годов для игры в "казну" и "пристеночку". Выигравшего, бывало, били, но умением играть заработанные деньги не отнимали. Надо понимать, что в этом возрасте страсть к играм была не пороком, а желанием сходить в кино, съесть мороженое, купить хорошее перо и ручку, у многих родителей не было денег, на жалкие зарплаты было трудно содержать семью, многие не могли обеспечить детей желанными развлечениями.

Чем хорош был тот, любимый нами Арбат? Ну, по какой еще улице мог проехать вождь, да так, что окружающие об этом знали заранее?

Мы, мальчишки, давно догадались, что если в подъезд заходит мрачный человек в темно-синем, с каракулевым воротником пальто, зимней кожаной шапкой, отороченной тем же каракулем, в белых бурках вместо сапог или ботинок, и выгоняет на улицу, то это означает только одну — по Арбату проедет Сталин!

Была еще одна игра. Догадливые дети, по-тихому пересчитывая таких же, одинаково одетых "серых воротников", стоящих вдоль тротуара, играли на них в "чет-нечет" — сколько их стоит на отрезке от Большого Афанасьевского до Староконюшенного, споря, кого из них уже видели, и любовались стремительно несущимся кортежем из пяти-семи "ЗИС-110"-ых, а в каком сидит вождь, никто и не знал.

Прямо напротив школы, в Староконюшенном переулке, находилось канадское посольство, так вот, когда из посольства выезжала машина, через несколько домов, ближе к Арбату, выскакивала «Победа» и стремительно неслась вслед за посольской. Спорили между собой — сколько секунд-минут пройдет прежде, чем вылетит из поворота машина слежения. То ли мы были умными, то ли МГБ топорно работало.

Было ещё одно развлечение. Специально ради этого феерического зрелища бегали на Смоленскую площадь, но редко кто мог похвастаться, что ему повезло — никто не знал, когда это произойдет, но я, однажды случайно, а второй раз в компании двух одноклассников, Левки Тарасова и Гешки Фингиктикова, всё-таки дождался удивительного спектакля: при полностью перекрытом движении на Смоленской, снизу, с Дорогомиловки, вылетали ЗИСы, пять-шесть понеслись в сторону Зубовской, пять-шесть в сторону площади Восстания, и столько же по Арбату, в какой находился вождь — поди догадайся!

Гуляя по переулкам, я всегда навещаю уголок Гагаринского и Староконюшенного переулков, где стоял знаменитый среди активных «пивунов» и любителей пропустить с «устатку» рюмку водки с бутербродиком и кружкой пива, поговорить за жизнь, пивной ларек. Именно там, шутил отец, был разработан первый «комплексный обед»: подавали стопку водки, кружку жидкого пива и бутерброд, тот самый, который называли «Эди-ков», почему не знаю! Видимо, в честь первого заказавшего — кусок черного хлеба с маслом, кружочек крутого яичка и кильки! «Обед» стоил в пределах червонца, деньгах до 1961 года — знаменитой денежной реформы Никиты Хрущева, когда ошалевший от власти лидер брякнул: «...я научу народ поднимать копейку...»

Ларек был своеобразным клубом для любителей пропустить стопку водки, кружечку пивка и потрепаться. Там собирались представители рабочих и трудовой интеллигенции, почти все были знакомы друг с другом, поговорить за жизнь, но чаще пожаловаться на неё и на жен, на хулиганистых, не желающих нормально учиться, детей, поспорить о футболе, причем вся очередь была разделена на три «масонские» ложи: спартачи (большельщики Спартака), динамщики (Динамо) и конюшня (ЦСКА)!

Там царствовали свои законы. Так, например, никто и никогда не лез без очереди, только со всеобщего дозволения, если были изложены уважительные причины, но просто так, по знакомству - «Вася, возьми мне тоже...» — ни-ни! Серьёзные конфликты никогда не разрешались на месте, для них была масса дворов, и никто из участников «собраний» возле «разливочной», так она неофициально звалась, не видел ни драк, ни пьяных до безобразия мужиков.

Именно там, у ларька, потрясенные от неожиданности Володька Надинский и я, встретили моего отца, спокойно попивавшего пиво в "приятном обществе" — это через неделю после выхода из больницы! Это после страшного инсульта с потерей речи и параличем правой стороны тела! И речь вернулась, и движение — и вот нате вам! Тогда я первый раз поднял голос на отца! Но был тут же предупрежден — последний! А Вовка целую неделю ходил, сокрушенно покачивая головой и громко восхищаясь!



Галина Гампер
СТИХИ ПОСЛЕДНЕГО ГОДА
ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

Предисловие и публикация Гриты Шальман

С Галиной Гампер и её стихами я познакомилась в 1972-м году, и с тех пор мы уже не расставались. Каждому творческому человеку нужна поддержка, а иногда и помощь близких, доверенных людей. Гале такая поддержка была нужна вдвойне и не только из-за ограниченных физических возможностей. На момент встречи с Галей я была очень далека от литературных и поэтических кругов, и она открыла для меня этот удивительный мир. На протяжении 43-х лет я была первым человеком, которому Галя показывала свои новые стихи и переводы. Постепенно я также стала заниматься первичной корректурой Галиных рукописей, а последние годы, когда ей стало тяжело держать ручку, я записывала её новые стихи под диктовку. Поэтому каждый Галин стих для меня является, по сути, живым существом, родившимся на моих глазах и при моём непосредственном участии.



Представляемая вашему вниманию подборка — это стихи последнего года, на мой взгляд — печальные и, может быть, даже прощальные, но не последние. Эти стихи подготавливала к печати сама Галя. Но, глядя в её черновые тетради, я вижу, сколько ещё стихов не превратились в печатный текст и ждут своего часа, который обязательно настанет.

Грита Шальман

Ты, задуманный дубом,
рожден человеком, и вот
Есть такие дубы —
в них все молнии, ты — под обстрелом.
Весь собравшись в комок —
про себя: «ничего, заживет,
Зарастет», и упорно
своим занимаешься делом.
Значит цель и сильнее,
и глубже удара проймет,
И сильнее ослепит
даже самой неистойой вспышки.
Ну, а дело твоё —
по надземным пустотам полет —
Поиск слова — а он
в жизнь длиною и без передышки.

Из черноты в холодный блеск впадая,
Напоминала мне начало мая
Нева в своем октябрьском развороте.
В стихии слов, как будто бы в полете
Жила, теряя годы как мгновенье,
Так без прощанья — вдруг исчезновенье.

Тело чуть теплится, только дунь —
И душу взовьют ветра.
Я легче пера, я бела, как лунь,
Луна — ты моя сестра,
Протиснешься в форточку надо мной,
Линзой просверкнешь.
Последнее лето, последний зной,
Последний озноб и дрожь.
Я — знак лунатика, свой карниз
Пройду, как последний путь.
Ввысь возносясь, я презрею низ —
Болотную нашу муть.

В прощальной новогодней мишуре
Светилось, как в волшебном фонаре,
Неведомое нам еще начало
И ничего пока не означало.

По ярмарочным я спешу рядам,
Где светятся шары и тлеют блески,
И я минут последних не отдам,
Пружинисты шаги и взгляды жестки.

Седого серебра порхает нить,
Ее я прочь отодвигаю тайно.
С любимыми не расставаться — быть,
Сквозь «не могу» и через «нереально».

Поди не девятый, но все-таки вал,
И морось, и серость, и снулость...
Я шла, и с волны меня ветер сдувал,
Я в вечности только очнулась.

Там ангелы пели, поземка мела,
Цвела в новогоднюю стужу,
Сама я в себе лабиринтом была,
И мне не хотелось наружу.

Где стрелки нам свыше укажут — пора,
Где им, будто душам, внимают.
Где суетность, праздничность — все мишура,
Где любят, но не понимают.

Пусть забыли нас, пусть обидели,
Пусть шуршит под берегом спелый лед.
В храме снег идет, вы же видели,
В храме медленно снег идет.

Хлопья виснут здесь, как зачатые,
А иконы в инее, как в гробу.

Души маются незачатые,
Хоть какую бы да судьбу

Каждой жаждущей воплощения
На неведомом ей пути.
В храме — снежное опустение,
Нас за это, Господь, прости.

Пусть тюремно — больничная
Неизбывна надсада.
Горе — дело обычное,
И трагедий не надо.

Чувство было да убыло,
Оглянувшись уныло.
Горе нас приголубило,
Пустоту заменило.

И скукожив растения,
Осень ставила точку.
Горе — наше спасение —
Дарит смерти отсрочку.

С годами я стала искать —
Сама б не поверила — юность...
Ее я все яростней жду,
Чем ближе ко мне моя смерть.
Я помню, что юность была,
Но так неотчетливо, мигом.
Не вовсе пуста, но прозрачна,
Не воздух — единый глоток.
А может — стрела, но не в цель,
А лишь по касательной мимо.
И все еще точка касанья
Свербит, завершения ждет,
Желает закончиться звуком
Устойчивым, смерти под стать.

Звезда лишь потому она звезда,
что любим.
Нет — так вдребезги и к черту.
Меж нами
волн дремучие стада,
К любви всегда торопимся,
как к порту.
Спешим,
идем по линии беды
И тяжело дышим
в воздухе распятом.
Хитра система
атомов звезды,
В которой гениален
каждый атом.

Когда придешь,
простерший длань Свою
Над крышами,
что нас беречь устали,
На старте я, готова, на краю —
лишь выдерни в сплошные вертикали.
Ну да, боюсь
и кутаюсь в халат,
И про себя читаю
Символ Веры.
Не граду мир,
но и не миру град...
Томлюсь своей игрою
в полумеры,
Томлюсь в своих усилиях по уму
И знаю, что усилия однобоки.
Простерший длань,
Он знает что к чему:
Какие знаки и какие строки.

Гадание о нас — оно в былом.
А в будущем — о нас преданье живо.
Сегодня ограничено столом,
Над коим я склоняюсь терпеливо.

В размах локтей, упершихся в края,
В напряг души, готовой наизнанку,
Пока мое сновидческое «я»
Еще хранит поэзии делянку.

Бессонницей жизнь меня вечно куражит,
У борта волну за волною круша.
То бродит душа, пока тело приляжет,
То тело привстанет, приляжет душа.

Ловлю маяка ненадежные очи,
Я качку терплю, охраняя жилье,
И даже когда ни надежды, ни мѳчи,
Терпение — главное дело мое.

Терпеньем жива как небесною манной,
И, кажется, им я возвышена впрок.
Мне жизнь без него представляется странной,
Как отполированный детский мирок.

Над нами марево небес
Качалось пьяно.
Фонтанный дом, фонтанный лес,
Река фонтанна.
Все воедино завитки
Барочной лепки
Скрепляли отсветы реки,
Ограды, ветки.
Был град, как мир и мир, как град,
В размахе зала,
И уж который день подряд
Сирень рыдала.

Напльвом слёз смягчало зной
Начала лета.
И чайки силуэт резной
Был полон света.

Жизнь моя то в разворот, то нитью,
То черна, то призрачно бела.
Путь прошла вслепую, по наитью,
Зрячею на вред ли бы прошла.

Удержала б в равновесье тело,
Не сбивалась, двигаясь в строю,
Только под конец пути прозрела,
Зрячесть проклинять не устаю.

Вкось улыбки, трижды вкось морщины
И в глазах таящаяся гнусь,
Я в столбняк вхожу от бесовщины,
Мелко нескончаемо крещусь.



Анатолий Добрович

ИЗ РАННИХ СТИХОВ

ВЕСНА, БУКОВИНА

Такая одинокая весна!
Душа в садах блуждает,
в небе где-то.
И в помыслы дождя углублена.
И эта капля, - может быть, она:
вон, по ветвям бежит полуодетым.
И что ни делаю, и что ни слышу - сон.
А наяву:
плыву
сквозь крыши, тучи.
Листком нераспустившимся закручен.
Пушинкой в лужу занесён.

В предчувствии вечерней синевы
гляжу, как за тынами, за садами
заныли окна желтыми шмелями
и влагу пьют из молодой листвы.

А дождь бродил, шумел и ненароком
уснул, как цапля, на одной ноге.
Остался лепет капли в бочаге
и за город скатился грома рокот.

И пауза со вкусом вишни пьяной -
как пауза в сонате фортепьянной:
звук не растаял полностью,
завис
и каплею
вот-вот сорвется вниз...

1957

ВОРОЖБА

Дождь. Темно. Тишина.
В водосточных трубах
струи колотятся.
Я один, и гляжу в окно, как со дна
колодца.

Жду тебя с сумеречной поры.
С вечера.
Деревьев сомкнутые шары
зыблются и просвечивают.

Трубки дневного света слепят,
над проводами подвешены.
Их лунный свет у листвы нарасхват;
струится асфальт
голубым потоком,
и желтые пятна к воде (от окон)
подмешаны.

Перекресток. Я взглядом к нему пригвожден.
И сквозь дым водяной, что над ним -
как торец пластового стекла,
появляешься ты: в одиночку, в обнимку,
и с треском зонтов купола
раскрываешь. И брызжут цвета. Обрастают тени дождём.

Все равно ты придешь. Ты сама.
Больше нет ничего: только дождь,
как танцующий, руки раскинул.
Только окна в ресницах. И как лошади, сбились дома,
уложив свои головы на ночь друг другу на спины.

Только я. Только яма, в которой тепло.
И глаза в этой яме:
мир проходит сквозь них,
словно лунного света пятно,
расплываясь краями.

1958

ЛЕТО, ЛЬВОВЩИНА

Старик в зеленой шляпе старомодной
(ей не хватает белого пера
за узелком плетёного шнура) —
старик в зеленой шляпе старомодной
слоняется с утра
под окнами по стёжке огородной.

Глядят подсолнухи, ощерясь.

Кочны капустные сопят.

*По грядке ходит красный перец
и задирает всех подряд.*

*Под сводом неба колоссальным
у тучи сжались кулаки.
и не своими голосами
кликшествуют индюки.*

Он как-то криво произрос:
одна лопатка у него горбата,
другая вмята,
и подбородку кланяется нос.
Смешной старик. Я вспомнил: это он
в буфет является к обеду
и чинно отдает поклон
случайному соседу
(а тот, сглотив бульон,
оторопело кланяется деду).
Путейский шут. Из венгров, говорят.
Как видно, смене сдал шлагбаум
и предаётся выходным забавам
на стариковский лад.

*Здесь кухня. Кухонные девки
весь день к помойке - и назад.
И хохот, визг и сочный мат
сопровождает их проделки:
щипки, тяжелые шлепки,
бесстыдные дурные игры ...
Дрожат под кофтами соски.
Мелькают розовые икры.*

Он наблюдает, бровью поводя,
нездешний гном в зеленой шляпе,
не замечая первых редких капель
дождя...

И вдруг — петух! Он растерзал лопух,
продрался с треском через стебли
и выступил: взъерошен пух,
и красный перец в гребне.
Клюёт!.. Удар в ладоши: хлоп!
Теперь пинка: чтоб долго помнил! —
Старик сражается взахлёб.
По грядкам разлетелись комья.

*Ударил гром. Но брови тучи рваной
задумались на несколько минут —
вот пауза меж вескими словами
которых ждет листва, тугие тыквы ждут ...*

*Но снова гром! Забились ветки,
и дождь, обрушась, захлестал.*

*(Дырявый толь пристройки ветхой
накрыт заплатой из холста).*

Кивая горбиком и шляпой,
старик во весь несется дух!
И взбалмошно кидая лапы,
в другую сторону — петух...
1958

РАННИЕ ПОЕЗДА

Я ими всеми побежден...
Б.П.

Забито снегом Переделкино. Плечом не высадишь калитку.
И как на плёнке передержанной, поселок слеп и недовыткан.
Крутым яйцом и чаем наскоро дымятся губы на морозе.
В мозгу бело, и рифмы заспаны и сдвоены, как след полозьев.

Вбирать рассвет бровями в инее. Идти, белея в негативе,
и коченеть до самой линии в демисезонном на ватине.
И хлопать валенком о валенок, взобравшись на перрон из досок...
Но вот, из-за лесов заваленных - сирены хриплый отголосок.

Вокруг, мерцающая папиросками, с молвой житейскою, мирскою,
идет мостками, как подмостками, закутанное Подмосковье.
Зятями, снохами и свёкрами переполняется платформа.
И тянет пряниками, свёклою, овчиной, варевом для корма...

Вагон. Глазищами бездонными попугчиков окинув мельком,
вслед за мешками и бидонами он пробирается к скамейкам.

Ему твердят, что в дни великие повесток, митингов, развёрсток
в домах осыпались религии, как ёлки в "дождиках" и звёздах.
Что связи вечные разрушены пятой железной и бетонной.
И нет душе иной отдушины, помимо бездны отворённой!
Но детский плач. И вёдер лызганье. И спор о ценах за спиную.
И говор акающий, ласковый. И смеха молоко парное!

У окон спят. В углу раскашлялись. В дверях мешки берут на плечи.
Вагоны катятся раскачливо, подобно акающей речи.
Все реже стук; уже передние заходят за угол вокзала.
И солнце в белом оперении седые окна продышало!

1961

БЕТХОВЕН

По площадям в огне реклам. По улочкам, где дух жаровен.
Сквозь толчею пальто-реглан. Среди борделей и диковин.
Среди процессий и костров, автомобильных катастроф,
ссутившись, идет Бетховен.

Пригнувши голову, как бык, он подагрически ступает.
Его высокий воротник листва и перхоть посыпает.
Он гладко выбрит и скуласт. И на пути встречаясь с нами,
он побивает нас камнями
тяжёлых глаз.

Он глух. Не слыша ничего,
пытается упорным взглядом
постичь: какое торжество
опять отмечено парадом?
Зачем дрожат колокола? И запрокинуты фанфары?
С чего бы вновь на праздник старый
его Европа позвала?

Глухого обмануть легко. Не раз, не два к нему зывали,
когда трухлявое древко
во флаги новые вдевали.
Его тащили на балкон
вслед за ораторами в хаки.
Его вели перед полком. И в руку вкладывали факел!

Его никто не проведёт. И на пути встречаясь с нами,
он замкнуто сжимает рот
и побивает нас камнями.

1961



Юлиан Фрумкин-Рыбаков
ПОЗВОНОЧНИК АЛФАВИТА
Подборка 2015/3

ALFAVIT

Позвоночник алфавита,
Мёртвых мыслей позвонки.
Жизнь, как текст, где даже твиттер
С красной пишется строки.

Текст, как жизнь. На самом деле
Нас язык, берёт в полон.
Всех, кто вырос из шинели,
Возит за бугор Харон.

Мор и пря. Страна родная,
От сумы, как от тюрьмы...
В двух шагах от ада с раем
Сохнут лучшие умы.

Позвоночник алфавита,
Литер, стёртых, *позвонки*...
Смотрит прошлое, небрито,
С гуттенберговской доски.

А в кофейной гуще быта,
Где варилась Лиля Брик,
Беспардонно, *Nova Vita*,
Ходит, высунув язык...

ВОЛОГОДЧИНА

Языка под хреном квота.
Чистый спирт в огранке стопки.
Запятая поворота
Вынесла мозги за скобки.

Врубелевский куст сирени.
Мостика дефис над речкой.
В праздник — всенощные бденья
Двух сверчков за русской печкой.

Истово и молчаливо
Набухают, как предтечи
Вологодского разлива,
Коренные файлы речи...

Ъ

Вставало солнце на носки.
Оно, спросонья, потянулось.
Его небесные мазки
Легли на край стола и стула,
На кучевые облака,
И небо стало как-то выше,
В тумане утреннем река
Ещё спала. Петух на крыше
«Ку-ка- ре-ку!» своё кричал,
Как будто видел в новом свете
Глагол, начало всех начал...
А дятел на сосне стучал
Тире и точки междометий...

Ъ

что может быть реальнее, чем сон?
куда не кинешь взор, со всех сторон
глаза ветхозаветные и лица,
в земле обетованной снег идет,
сосуд колодца пуст, вода струи не льёт,
и в море мертвое ныряют пиццы,
а в небесах стада летучих рыб,
в них ангелы забрасывают сети
под скрип ключин, шелест или всхлип
летающих рыб в неверном лунном свете
дичок любви и дня не проживёт,
поскольку времени улистка
медлительна... ведь время не течет,
а взад-вперед качается, как зыбка

его баюкать не достанет слов,
горят огни пастушеских костров,
как маятник на нити, мир подвешен,
он движется из будущего вспять,
сквозь рыб, сквозь пастухов, сквозь благодать
на жертвенной любви, в слезах, замешен...

Ь

погрузив лицо в ладони
я иду сквозь этот свет
на закат где солнце тонет
и плывёт велосипед
нет нелепицы нелепей
солнце тонет вел. плывёт
на меня садится слепень
присосался и ...сосёт
время мне выносит мозги
отворяет время кровь
слепень путин слепень познер
слепень первая любовь
на закат где солнце тонет
и плывёт велосипед
погрузив лицо в ладони
я иду сквозь этот свет...

Ь

Ольховой стружки завиточки.
Дым над коптильней сам не свой.
Родишься в маминой сорочке
И будешь... вечно молодой.

Есть много мест, в которых не был,
И койко-мест не занимал.
Но здесь, копил лещей и небо,
И семя по ветру пускал.

О, эта музыка расплыла!
Мужская сила естества
Мир подняла и сохранила
В кофейной гуще вещества:

В предлогах, в суффиксах, в приставках,
В корнях, в наречьях, в позвонках
Державной речи, в страхах Кафки,
С коленной чашечкой в руках.

Вхожу под свод страстей Господних,
В крестово-позвоночный быт,
Где за грехи людей, сегодня,
Я к Слову дубелем прибит...

ЗУРБАГАН

Светлой памяти Александра Грина

Голеностопкювета стрижен.
А виноградник, в виде гранок,
Верстался, скажем, под Парижем,
Чтоб стать вином под Зурбаганом.

Ха, в Зурбагане трижды правы,
Пуская галок из тетрадок
В ночь, что навалится на травы,
А утром выпадет в осадок...

Затем, чтоб жить — не нужно квоты
Ни иудею и ни греку.
В ночь на кошерную субботу
Войдёшь ты в память, будто в реку.

Мальки шарахнутся беспечно,
Блеснув серебряно боками,
А сом замрёт, как первый встречный,
И будет шевелить усами...

Кипр 96

Вот и мы дожили,
Добрались до галечных пляжей,
До шагреновой кожи,
До красавиц, с которыми спать не ляжешь.

И босыми ступнями касаясь пены,
Из которой Афродита вышла,

Вдруг, ощущаешь в себе перемены
И уже не думаешь о том, как бы чего не вышло,
А думаешь о том, что вышло,
Что вошло с дыханием ветра
В поры твои на медной жиле Кипра,
Где почва, как старое ретро
Вся в трещинках,
Где чью-то шляпу, из белого фетра,
Косо, как чайку, уносит в вечность.

Где на камне Афродиты туристы,
Где галечный пляж уходит в бесконечность,
Там перевёрнутая лодка
Глянцевито блестит, как туша кита.

После того, как Афродита
вышла из морской пены
Здесь не происходит уже ни черта.
И только шляпа из белого фетра,
Летит и летит по ветру
В вечность, в застывшее время,
В котором отсутствует суэта...

Осень

впадающая в спячку муха,
вода, подёрнутая салом...
уже не достигает слуха
гладь над пустующим каналом
Бумажным из Екатерингофки
до Таракановки, при этом
взгляд загибается за бровку,
за парапет весны и лета,
за Болдинскую, скажем, озимь
и, бобылём, уходит в зиму
мы наше всё с собою носим
когда же вывернем корзины,
желаний, плача, смеха, боли —
не соберём и половины,
но лишь дизель и бемоли...



Яков Лотовский

ТАТЭ И ПЕЧЁНЫЙ ГУСЬ

Рассказ

Историю эту рассказал мне киевский приятель. В нашем кругу его называли Старым Фимой. Чтобы не путать с младшим его тёзкой — Фимой, который назывался у нас Фимой Молодым. Замечу, что теперь никакой уже путаницы нет: младший уехал в Америку, в город Атланту. Возрастные эпитеты вполне можно снимать с их прозвищ. Фиму, однако, по-прежнему именуют в нашем кругу Старым. Впрочем, какой там круг! Круга-то самого, почитай, уж нет — раз-два и обчёлся. Разлетелись соколы. Да и сам я давно уже в Штатах.

Я слышал эту историю от него не однажды. А ссылки на неё — и того более. Она стала для Старого Фимы чем-то вроде универсальной притчи, поскольку мораль из неё он умеет извлечь всякий раз иную, вроде как и не вытекающую из ее содержания. Так что, история эта для него даже не притча, а нечто более всеохватное, чуть ли ни миф. Да, да, именно — миф об Отце.

Вот она, эта история.

Когда в сентябре сорок первого Киев напряженно затих в ожидании новой власти, отец Старого Фимы — будем называть его здесь *татэ*, поскольку речь идёт об еврейском отце с присущим ему чадолюбием, — так вот, *татэ* не стал подобно множеству соплеменников, оставшихся в городе, ожидать своей участи, а, движимый дурными предчувствиями, наскоро собрал кой-какие *бебехи*, бросил в тачку и двинул с семьёй прочь из города на восток, по следам отступавшей Красной Армии, в которую призван не был из-за того, что в левой его глазнице взамен живого глаза сидел вставной глаз, каковой, между прочим, совсем не совпадал по цвету с глазом живым, — видно, подобран был медициной без тщания — сойдет, не велика пища.

Решению бежать из Киева способствовали некоторые свойства натуры *татэ*. Человек он был тревожный, лёгкий на подъём и скорый на ногу. Ему, например, затруднительно было долго работать в одном месте. Ему больше нравилось добывать средства для семьи там и сям. Предвоенные распоряжения ЦК и Совнаркома вынудили его томиться, будучи привязанным под страхом тюрьмы к рабочему месту. Уход советской власти из Киева как бы развязал ему застоявшиеся ноги, а угроза новой кабалы принудила к бегству. Тем более что особого добра они с женою не нажили, а сидеть при том, что имелось, не было смысла. Нехитрый семейный скарб вполне уместился на первом же подвернувшемся транспортном средстве:

на тачке. Конечно, будь у него тележка, не говоря уже о повозке, катить было бы куда как легче. Но вот оказалась под рукой одноколёсная тачка, воспетая народом, подконвойной его половиною — *тачка ОСО — две ручки, одно колесо*. (К слову, могу предложить для обихода и свою прибаутку о широко бытовавшей во времена первого президента Кравчука так называемой «тачке-кравчучке»: *тачка-кравчучка — два колеса, одна ручка*. Впрочем, время ушло и моя прибаутка запоздала).

Среди нехитрого барахла, впопыхах брошенного в тачку, оказался, представьте себе, печёный гусь. А вот хлеба, между прочим, какие-то крохи. То ли второпях не успели купить, то ли в магазинах не оказалось на тот час, поскольку в брошенном городе многое разладилось. Словом, пустились в путь, почитай, без хлеба, надеясь разжиться им по дороге.

Зато вот имелся, как это ни странно, целый гусь. При том что, *татэ* никак не походил страстного любителя гусей Паниковского, коему они доставались неправым путём. И уж совсемничего общего не было у него с лесковским благодушным едоком, говорившим: «Нескладная эта птица гусь: одного съешь мало, а двоих — много», то есть попрекавшего не себя за грех чревоугодия, а неповинную птицу, что не сообразна его утробе. О существовании этих гусеедов *татэ* знать не мог, из-за отсутствия навыка к чтению книг, а и знал бы — никак не одобрил бы такого отношения, будучи человеком трудовым и правильным. Обёрнутый в газету гусь, лежавший поверх всяких *бебехов*, был гусём праздничным. Раскармливался он для праздника Ханука, чтобы курочному часу предстать в испеченном виде пред очи и уста всей семьи от мала до велика. Вторжение немецких войск в Киев не дало дожить гусю до праздничного кануна. Он был скоропостижно зарезан, ошпан и тут же целиком испечен. Не оставлять же врагу!

Шли они долго и всё пешим ходом. Когда кто-нибудь из детворы сильно утомлялся, *татэ* сажал его в тачку поверх барахла и ещё сильнее налегал на рукояти, будучи бессменной тягловой силой. Жена по болезненности своей и слабосирию и сама была непрочь взгромоздиться, кабы не детвора. Изредка им удавалось прикупить у селян кое-какой харчишки, точнее, обменять на что-нибудь из своего барахла, так как деньги брали неохотно. В хлебе же почему-то отказывали вовсе, некий не совсем для *татэ* внятный здравый смысл стоял за этим. Тачка всё больше пустела. Но гусь по-прежнему оставался в ней, всё больше промасливая свёрток. Не мог допустить *татэ* праздного, без хлеба поедания гуся. Всё в нём против этого восставало. Вот добудут хлеба, доберутся до более-менее спокойного места и совершат трапезу не наспех.

Так и лежал увесистый, благоуханный гусь на виду у семьи и был средоточием голодных взглядов. Своей целокупностью и румяным видом он произвёл на Фиму сильное, пожизненное впечатление. Как самый младшенький он чаще других оказывался в тачке рядом с вожделенным свёртком и имел возможность видеть сквозь раздавшуюся щель в промасленной газете золотисто-коричневый его бок. Пожизненное впечатление осталось

закрепленным отцовым запретом. Никто не смел ни прикоснуться к гусю, ни даже полюбоваться на него. О том, чтобы отщипнуть кусочек, не могло быть и речи. Строгий *татэ* не спускал с гуся своего единственного глаза, хоть голодени измучен был бессменным толканием тачки куда более всех. Пот тёк по его лицу в три ручья, окропляя битый украинский *шлях*.

В результате гусь из блага превращался в муку. Не лежи он на виду, голод не воспринимался бы так остро. Так нет, мозолит всем глаза — и не прикоснись к нему! Не раз и не два ругнуло про себя семейство главу своего, самодура, который раздражённым криком пресекал любые поползновения к скорой расправе над птицей и всякое голодное нытьё. Ну не мог он, не мог позволить баловство с серьёзным таким яством! Может, и неуместна здесь *некошерная* поговорка *дурнэ сало бэз хлеба*, но именно она как нельзя лучше исчерпывает мотивы поведения *татэ*. Употреблять гуся (и вообще что-либо) без хлеба — дело дурное, пустое и даже нечестивое, считал *татэ*. Каждому проглоченному куску хлеб должен быть компаньоном. И не только оттого, что так сытнее — так честнее. Он был в этом убеждён и относился как к священной заповеди: сам соблюдал и никому не давал нарушить. Вот раздобудут хлебушка, тогда — пожалуйста: садись и законно ешь на здоровье, хоть всего целиком. «Целиком?» — недоверчиво переспрашивали чада и сглатывали слюну. «Целиком», — обещал *татэ*, который представляется мне то Колумбом, имевшим дело с маловерием корабельной команды, то начпродом Цюрупой, доставившим, как известно из советских апокрифов, эшелон с продовольствием в голодную Москву (не то в Питер, не помню), а доставивши, упал в голодном обмороке.

Но однажды, когда *татэ* убежал в придорожные кусты *до витру* и покуда справлял там нужду, мать, не вынеся усилившегося Фиминого голодного нытья, который к тому моменту снова сидел в тачке рядом с гусём, украдкой развернула газету, выворотила скоренько крыльце табуированного гуся и вложила его в жадную детскую ручонку, облизнув затем свои пальцы. Фима тут же впился зубами в сочное мясо и вмиг обглодал крылышко. Это был бунт материнского сердца. А что нарушила запрет — Бог простит. Он и свои Божьи заповеди, если кто нарушит, простить может. Тем более что ему за дело до чьих-то самодельных заповедей.

Бог-то простит, а вот *татэ*?.. Когда он появился из зарослей, где, как на грех, мочился долго, как лошадь, когда выбрался он оттуда, на ходу застёгивая *мотню*, он остолбенел от увиденного непотребства и возопил грубым голосом: *нашеры!* — и прибавил крепкие русские обороты, не смущаясь тем, что ради сомнительной своей заповеди об обязательности хлеба нарушает заповедь истинную — о сквернословии. Он обрушил на головы семейства свой праведный гнев, усугубленный проголодью, бесприютностью, войной. Так и не застегнув до конца свою прореху, он схватил повреждённую пищу, обернул её поверх какой-то *кацавейкой* и упрятал на самое дно тачки ОСО.

Он долго ещё чертыхался, раздражённо налегая на рукояти и с сердцем всё повторял слово *нашеры*, к которому непросто отыскать русское соответствие — что-то среднее между обжорами и сладёнами. Затем утих и в угрюмом молчании всё толкал тачку с упорством Сизифа, всё далее на восток, понимая, что только там сегодня спасение для чад своих, для сени своего.

В душе его, конечно, происходили некие подвижки в сторону неизбежного употребления гуся помимо хлеба. Но вообразить себе этого он пока не умел — чтоб вот так просто? без хлеба? всеу?..

С хлебом же не везло им прямо-таки роковым образом. Впрочем, дело, скорее всего, было не в невезении. Время суровело на глазах, неприязнь к евреям уже начала электризовать воздух, снова призывая вековые предвзятости, которые, видать, мешали селянину поделиться хлебом с евреем, тем более, с какой-то странной его кочевой разновидностью. В покинутом же семейством Киеве настаивал и вовсе неслыханно трагический оборот событий.

И всё же мир не без добрых людей. Настал час, когда в одной хате удалось *татэ* разжиться половиной житного каравая. Повезло им где-то аж под Гадячем.

Эх, как приналёг он на свою тачечку! Как весело покатил её по пыли да ухабам! Как воодушевлённо устремилось за ним всё семейство к ближайшему *затышному* местечку, к видневшейся недалеко рощице *по-над ставком*, чтоб сотворить желанный, можно сказать, праздничный привал.

Татэ пришёл в такое прекрасное расположение духа, что не прекращая толкать тачку, сбивая себе дыхание, потешил всех старым анекдотом о гусе и тупом Мойше, ученике местечкового *хедера*. Выпучив глаз, *татэ* даже изобразил этого тупицу, который на простой вопрос: *шо мы маем с гуся?* — твердит одно: *шкварки*. Ещё не договорив анекдота, *татэ* сам же принимается хохотать. Анекдот все хорошо знают, но охотно заливаются смехом вместе с ним. А *татэ*, окончательно сбив дыхание, совсем задохшись, раздражается надрывным кашлем. Он так сильно сотрясается от кашля, что вставной его глаз переворачивается беззрачковой изнанкой наружу. «*Глах ойс дем ойг*», — делает ему замечание супруга, то есть «поправь глаз». Но он мотает головой — дело, мол, потерпит, полторы-две сотни метров — и устремляет тачку к рощице.

Они расположились у ставка на ещё зелёной траве, осыпанной палой листвой. Священнодействуя, *татэ* прежде всего нарезал ломтями выстраданный хлеб и вручил каждому, как мандат на законное едение гуся.

Он развернул кацавейку, где хоронился свёрток с вожделенной птицей и, обедая всех торжественным взором, снял последний покров — жиром пропитанную газету. И в трепещущие от нетерпенья ноздри едоков... ударил затхлый, порченный дух. Увы, дорогие друзья, увы и ах! Гусь протух — весь как был.

Нужно ли описывать огорчение оголодалой семьи? Тем более — отчаяние самого *татэ*? Он сидел, горестным взглядом вперясь в пространство, стыдясь глядеть на своих чад. Бедный *татэ* был так убит горькой своей виной, что когда жена, пожалев его, протянула ему краюху хлеба, он локтем отвел в сторону её руку. Он был бледен, как мел, как белый мрамор, и опрокинутый его беззрачковый глаз, который он второпях так и не вернул в правильное положение, теперь и в самом деле придавал его застывшему лицу сходство с бельмастыми античными мраморными бюстами.

Такое вот огорчение вышло. Так и остался лежать у ставка под Гадячем кормлённый для Хануки гусь с оторванным крылышком, которое успел отведать один лишь Старый Фима, успел вкусить от праздника.

Мораль, которую теперь он способен извлечь из этой притчи, повторяю, многообразна и порой неожиданна. Застольный её вариант я слышал таким: «Но разве это беда — испорченный гусь? Бабий Яр был в Киеве в эти дни. Бабий Яр! Так давайте выпьем за то, — провозгласил он, поднимая рюмку водки, — чтобы никогда сильно не огорчаться. Потому что наши неприятности — пустяк по сравнению с теми, что могли бы с нами случиться. Или с теми, что, возможно, нас ожидают. *Лехаим!*»



Моше Гончарок

МАКРАМЕ

Рассказы

Белое солнце пустыни

Опять наступило это лето, от которого никуда не спрятаться, от которого плавится асфальт на дорогах, от которого круглосуточно болит голова, от которого жить не хочется. До поздней осени на небе не будет ни облачка, одна лазурная синь, как говорят поэты, и я ненавижу эту синь и этих поэтов. Ночью сплю абсолютно голый, без подушки и без покрывала, и всё равно снятся кошмары: в Тивериадском озере высохла вся вода, и я брожу по дну, по тине, и выковыриваю из-под камней подыхающих придонных рыб с безумными, выпученными, глупыми глазами, с возвращенных сирийцам холмов Голан меня обстреливают пулеметы, я спотыкаюсь, но продолжаю собирать рыб, потому что все равно жрать надо.

Почти сто десять лет назад был популярен "проект Уганда": вместо Палестины собрать и поселить всех желающих в центральной Африке. Не знаю, что было бы, если бы победили сторонники этого проекта, но знаю точно, что в таком случае меня бы в Уганде не было. Здесь — сорок в тени, но это образное выражение, ибо тени нет, зато нет и влажности; а в Уганде — все пятьдесят плюс почти стопроцентная влажность джунглей.

Мне рассказывал приятель, степенный желтобородый хасид, последователь Вижницкого ребе, любитель покурить, выпить и закусить, что в Бразилии летом может быть и все пятьдесят пять. Хасида зовут Клапольдс (я до сих пор не знаю, имя это, фамилия или кличка); много лет подряд он ездит в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу посланником своего ребе, и проводит там по полгода. Не знаю, что нужно его ребе в Бразилии, но знаю, что Клапольдс — несчастный человек. Там в лесах много диких обезьян? — спросил я его как-то, когда в сорокаградусную жару мы пили водку, закусывали бананами и ежеминутно ходили к железной бочке с водой окунать в нее голову. Вода в бочке нагрелась, не освежала, и я, закрывая глаза, воображал, что купаюсь в Амазонке, среди пираний. Это придавало особую пикантность водке, которая тоже степлилась и почти кипела. Обезьян там много, это верно, согласился он, но я, представляешь, скорее предпочел бы иметь дело с ними, чем с тамошним климатом. Нет, не представляю, ответил я; не представляю, что может связывать вижницкого хасида с бразильскими обезьянами — ты им проповедуешь слово Божье, что ли?.. Я вообще никому его не проповедую, — мрачно сказал он, — я там сижу, потому что мой ребе так хочет... Какой у тебя ребе садист, пробормотал я и, раздевшись, полез в бочку. Я сидел в ней, как Железный Дрово-

сек в бочке с маслом в сырых чертогах сумрачной страны семи Подземных королей. Да, сказал он, завистливо глядя на меня, то есть нет. Ребе велик. Он великий мудрец. Тогда снимай лапсердак и лезь ко мне, предложил я, — посидим, как японцы в самурайской бане. Клапольдс не мог раздеваться прилюдно, ему это запахло. Он может раздеваться только в микве или перед женой, и то без света. Он жевал губами и смотрел на меня с укоризной. Ну, так как там, в Рио-де-Жанейро, сказал я из бочки. Там по субботам нужно идти в синагогу через весь город пешком, скорбно ответил он. Там пятьдесят пять в тени небоскребов, и дорога берет часа два с половиной, а я в традиционной одежде, ты понимаешь. Я смотрел на него из бочки. Традиционная субботняя одежда появилась в средневековых гетто, и включает теплые стеганные кафтаны и шерстяной талес, который нельзя снимать, если ты идешь молиться. И меховой штраймл на голове. Краков пятнадцатого века и понятия не имел о стране, где в лесах живет много диких обезьян. Америго Веспуччи еще не открыл Бразилию. Я почесал ухо и губами, как на гармонике, изобразил мелодию из "Генералов песчаных карьеров". Ты знаешь, что Америго Веспуччи был итальянец, спросил я Клапольдса. Да? — удивился он, обмахиваясь черной бархатной шляпой, — что ты говоришь? И понятия не имею... Там в синагогу люди приходят в трусах и майках. Нормальные люди, не мне чета, добавил он грустно, я так не могу. Моряк, покрепче вяжи узлы, гулко закричал я из бочки, ты же хасид, ты не имеешь права грустить, ты должен разрывать смехом завесу бытия. Немедленно начинай разрывать смехом. А-а-ха-ха!.. — нагужно закричал он, закидывая к ослепительному солнцу острый кадык и стекленея глазами. Проходившие мимо девицы интеллигентного вида шаркнулись в сторону, бормоча одна другой — "и этот с утра нажрался..."

Я привстал в бочке, потянулся к деревянной полочке, не дотянулся и щелкнул пальцами. Клапольдс, шаркая по песку зимними ботинками, уныло дотасился до меня с бутылкой в одной руке и с гроздью бананов в другой. Он сел рядом, воровато огляделся по сторонам, вдруг решился: мгновенно стащил с себя лапсердак и кинулся в бочку, как был — одетый в белую рубаху со спущенными рукавами и черные штаны до колен, из-под которых выглядывали шерстяные чулки. На голове его сидел забытый котелок. Запахло мокрой шерстью. На поверхности, под самым моим носом, как лодочки плавали ботинки со старомодными пряжками. Я вспомнил безразмерные башмачки с серебряными пряжками, которые в стране Гудвина сперва носила Гингема, потом — Элли, и которые после, по слухам, попали в кратковременное пользование к отвратительной, дурно пахнущей Бастинде, пятьсот лет не мывшейся и не чистившей зубов.

Покрутившись, мы уселись в тесной бочке и блаженно уставились друг на друга. *Пока несут сакэ*, — запел я, и он подхватил псалмом Давида. Мы чокнулись рюмками и закусили бананом, одним на двоих. Я воображал, что это — соленый огурец. Что воображал Клапольдс, я не знаю. По улице проезжали автомобили, грузовики и автобусы, водители притормаживали и завистливо глазели на странную пару в бочке. Один седебородый водитель остано-

вил машину и вывел с собой юную жену. Они подошли к нам и устались. Над водой торчали две головы и две бороды — одна желтая, другая черная. Присоединяйтесь, барон, сказал я. Водитель, как будто ожидавший приглашения, с готовностью стал раздеваться. Нет, — сказал заплетающимся голосом посланник вижницкого ребе, выжимая мокрые пейсы, — мы имели в виду не тебя, а твою жену, с тобой будет совсем тесно...

Бородатый засопел, схватил жену за руку и потащил обратно к машине. Жена украдкой оглядывалась на нас. Итак, — сказал я, глотнув из рюмки, — в стране, где в лесах очень много диких обезьян, в синагогу ходят в трусах. Интересно, в чем ходят в тамошние католические храмы? Не знаю, я не католик, я к ним не хожу, — сказал он.

Сзади к нам подошел и остановился Рэмбо Джонсон по кличке Смелый Лев, черный гигант из Иллинойса, в шестьдесят пятом по недоразумению принявший иудаизм и прибывший в Израиль на законных основаниях. Он положил мне на голое плечо ласковую тяжелую лапу. Тебя зовут жена, прогудел он с английским акцентом, она сказала, если ты снова сядишь в бочке и пьешь, чтобы я опрокинул нахрен эту бочку, можно даже с тобой вместе... Как печальна жизнь, сказал хасид, чьей обязанностью в этом мире было разрывать смехом завесу бытия. Рэмбо, бей в барабан бессмертия посредитьмы этого мира, — пробормотала слова Будды, — у тебя есть с собой выпить? — *Бей в барабан и не бойся беды*, — подхватил Рэмбо, расстегивая ремень на брюках. — *И маркитантку целуй вольней*, — добавил хасид, обнаруживая некоторое знакомство с творчеством великого выкреста. — Слушай, Лев, что там будет с вашими выборами-то, — спросил я, — что там с этим черным парнем? Он что, действительно будет президентом? — Аллах не попустит, проворчал гигант, снимая брюки и оставшись в пятнистых, леопардовых плавающих. — Интересно, что у него в голове, и хорошо ли это для нас, — задумчиво сказал Клапольдс. — Ничего хорошего в голове у него нет, у него между ушей — камень, — возразил негр, расстегивая цветастую рубашку и играя ослепительными мускулами на яростном солнце, — я так полагаю, что нам здесь скоро будет конец, вот что я полагаю. — Да, я не сомневаюсь, сказал я, — но все же откуда ты знаешь, что у него между ушей камень?.. — Мне ли не знать моего троюродного брата, — ответил гигант, кряхтя забираясь в бочку и осторожно усаживаясь между нами.

Три знакомца

В связи с прочтением случайно подвернувшейся энциклопедической статьи о гигантских песчаных комарах/червяках (это звучит почти как "олгой-хорхой"), водящихся на Севере, я вспомнил о трёх людях, переживших (вернее, не переживших) индивидуальный опыт близкого контакта с аналогичными тварями Божьими. Присущая мне неуправляемость ассоциаций вывела меня по кривой совсем на другую тему.

Один мой знакомый был заключенным лагеря в Восточной Сибири. В результате некоего конфликта он был раздет, привязан к сосне, обмазан кровью, выжатой из его собственных запястий, и оставлен умирать от гнуса в тайге. Через три часа он был уже почти мертв, но в последний момент снят с места казни двумя угрюмыми бородастыми мужиками из оказавшейся неподалеку глухой деревни. Имен этих мужиков он так никогда и не узнал. В деревню его не пустили. Он вернулся обратно в лагерь, и там первые сутки его никто не мог признать. Теперь он один из самых известных и уважаемых в России воров в законе старого закала, а также доктор философии.

Другой мой знакомый — бывший профессиональный революционер и террорист в Аргентине времен президента Перона. Правительственные командос окружили базу в сельве на севере, которой он командовал, и после штурма взяли его живым. После допроса его раздели, обмазали диким медом, привязали к пальме и оставили умирать на лесной тропинке, ведущей к жилищам маленьких черных муравьев-кровососов. Такие муравьи обычно оставляют от тела голый скелет за полтора-два часа. Муравьи успели съесть его ноги до колен, когда он был снят с места казни двумя угрюмыми индейцами-контрабандистами, перешедшими недалеко бразильскую границу и оказавшимися в сельве в надежде пожить тем, что осталось несгоревшим в разгромленном партизанском лагере. Он пересек границу на плечах контрабандистов, и в маленьком бразильском городке местный врач-мулат сделал ему без наркоза ампутацию костей ног — все равно мяса на этих костях не оставалось, и ходить на них он не смог бы. Теперь он живет в Иерусалиме при католической миссии, в двух шагах от Церкви гроба господня, и ходит туда на протезах. Он стал пацифистом и глубоко верующим человеком. Я зову его — Мересьев.

Я знаком с семьей бывшего потомственного неонациста из Шварцвальда, по неофициальному приглашению проходившего в семидесятых годах практику на территории тренировочного лагеря в южноафриканской пустыне Намиб. В виде боевой подготовки к грядущей расовой войне местными товарищами по партии и движению по борьбе с черным засильем был изловлен негр, принадлежавший зулусскому движению по борьбе с белым засильем "Умконто ве-сизве" — "Копье нации". Негра сожгли живьем, привязанным к термитнику. Через двое суток, ночью, на тренировочный лагерь напали друзья негра, тоже негры, которыми командовала белая женщина. Зулусы захватили в плен немца и хотели расстрелять его, но белокурая женщина с глазами василькового цвета воспротивилась этому: в виде воздаяния за общие грехи расы, к которой по недоразумению принадлежала сама, она предложила сжечь белую падаль привязанной к тому самому термитнику, где накануне был сожжен негр. Пока шли препирания о судьбе туриста из Германии, с небес снизошли ангелы в форме десантников южноафриканского спецназа. Они расстреляли большинство храбрых зулусов, а также прямым попаданием пули в лоб навсегда прекратили страдания женщины, вынужденной по иронии судьбы всю жизнь ходить в бе-

лой шкуре. Снятый живым с термитника немецкий неонацист был выслан из страны гордых буров в двадцать четыре часа, и вернулся в Шварцвальд просветленным. Произошедшее так подействовало на него, что он публично объявил об отходе от былых принципов, совершил обрезание и стал евреем. Он приехал в Израиль, назвался Ханмом и поменял фамилию. Он женился на местной уроженке, которая родила ему двоих детей, пошел служить в боевые части и погиб во время ливанской кампании восемьдесят второго года, вытаскивая товарищей из горящего танка. Ни жена, ни дети ничего не знали о его прошлом; жена была просвещена только на похоронах, — прилетевшими из Шварцвальда родителями покойного, — а дети белокурой бестии не знают этого до сих пор.

У троих этих людей нет ничего общего, кроме того, что в воспаленном моем сознании Норны причудливо связали гигантскими червяками между собой нити их жизни.

Тётя Уля

Жара немного спала, приходили родители, сидели в нашем дворике. Вспоминал с ними тётю Улю, нашу дальнюю родственницу, одну из 3-х ахматовских подруг, заучивавших куски свеженанписанного "Реквиема" наизусть ввиду отсутствия черновиков, которых не было ввиду опасения ареста — вы помните эту историю. Я пытался выяснить подробности её жизни по просьбе бременского архива истории диссидентского движения, но родители уже ни фига не помнят, я с детства и то больше помню. Роза Глебовна Вержбицкая-Шейн. Она была двоюродной сестрой бабушки Киры и племянницей моего расстрелянного в 1938-м прадеда. Помню старуху в чёрном платье и с клюкой, громко проклинавшую по-французски советскую власть. Именовала она её с идишским корнем — махтунья. Власть она ненавидела просто безбожно. "*А сранэ мелиха, зол зи пэйгерн, омэйн*". При всём при этом она неодобрительно отзывалась о моём слушанье "Радио Свободы" и "Свободной Европы". Надо слушать Би-Би-Си, американцев, или, в крайнем случае, "Немецкую волну", они куда объективнее, вполголоса, со значением говорила она, оглушительно стуча палкой по полу. И, сбиваясь с французского на родной язык, добавляла свою вечную мантру: "*зол ундзэр фаркактэ махтунья пэйгерн*". Хорошо, послушно говорил я. Мне было десять лет, или двенадцать, или семнадцать, когда она приходила в наш дом. Я трепетал её. Она была для меня осколком великой эпохи. Собственно, таковой она и являлась. Она была для меня, скажем так, авторитетом. Когда вьюжным вечером 15 декабря 77-го по завывающей от глушилок "Спидоле" Би-Би-Си передало, что в Париже скоропостижно умер Галич, первым человеком, которому я позвонил, была тётя Уля.

С неодобрением она отзывалась не только о советской власти и "Радио Свободы", но и о манере моего партийного деда слушать на ночь "Голос Изра-

иля". Она говорила так: "Все передачи этого голоса заканчиваются каждый вечер одинаково: сегодня температура воды в Иордане — двадцать градусов. Или двадцать пять. Или двадцать три. Советы вперлись в Афганистан, в Восточном Тиморе прогрессивные силы втихомолку вырезали семьдесят тысяч гражданских, но эти, понимаете, не чешутся, им трава не расти, их больше всего волнует, какая температура воды в Иордане". Ещё она не выносила песню Окуджавы "Моцарт на старенькой скрипке играет..." Она рычала, что это — пошлость, и колотила палкой по соседнему стулу. Родители боялись с ней спорить. Я — тем более. Она не желала забывать французский и для того покупала в киосках "Союзпечати" "Юманите". У тёти Ули был врождённый вывих бедра, стоять в очередях ей было мучительно больно, но выписывать газету официально, с доставкой на дом, она отказывалась: *"дозикэ засранэ махтунья может подумать, что я поддерживаю фэ-кэ-пэ, зол алэ ундзэрэ ун зэйерэ комунистн пэйгерн. Все сволочи, все до единого. Омейн. Не сдохну, если в очереди постою. Там, цвиши ди пролетариес, бывает забавно, это ещё Аннушка отмечала. Нох а мол омейн"*.

Когда я собрался жениться на моей первой жене ввиду её незапланированной беременности, то поставил тётю Улю в известность одной из первых. Мне казалось (только теперь я это понимаю), что я видел в ней... ну, скажем, первую фрейлину и наперсницу детских игр императрицы. Да, как-то так. Мне было девятнадцать лет. Величественная дама в чёрном платье выслушала меня, сидя в кресле, после чего вполголоса выругалась по-французски (французского я не знал, но в сути произнесённого сомневаться не приходилось) и оглушительно стукнула палкой по покорябанным половицам крохотной комнаты коммунальной квартиры. "Тебя учили быть порядочным человеком, и ты, с божьей помощью, стал им, — но ты идиот". И вдруг всплакнула: "Боже, что сказала бы Аннушка... Хотя..." Я не стал вдумываться в предположения, что сказала бы Аннушка.

Да, тётя Уля, я идиот. Мы общались с вами, когда мне было десять лет, и пятнадцать, и двадцать, и у нас была великая эпоха, и за все эти годы я не записал за Вами ни единого слова. И не только я, но и мои родители, которые куда старше и опытнее меня, но винить которых в идиотизме я не могу по определению — ведь это мои родители. Я люблю Вас. Я любил Вас, Роза Глебовна, будьте бдительны. Я идиот ещё раз.

Доказательство

Мой сотрудник Итай, сорокапятилетний увалень и зануда весом полтора центнера, после долгой безмятежной жизни под крылышком мамы, решил, наконец, жениться. Месяц он ходит и морочит голову всем, согласным его слушать, относительно свадьбы и справок, которые обязан представить по требованию раввината. Справки — на любой вкус: что он еврей, что он холостяк, что он не осёл. Мне так надоело его выслушивать,

что я сказал, что еврейство своё ему будет доказать труднее всего, и никакие справки ему не помогут. Он возмутился: я родился тут, у меня папа с мамой приехали из Югославии! — Ну и что? Я тоже из России приехал. — Ну как что? У меня хрен обрезан! — Ну и что? У меня тоже. А может, ты мусульманин из Боснии. И папа с мамой обманом проникли на Св. землю. Докажи, что нет. — Да нет, я и вправду обрезан! — Ну и что? Мусульмане все обрезанные. А ты докажи. — Ну хочешь, я тебе покажу? Смотри, какой он у меня... — Нет, не хочу. Спрячь. В раввинате показывать будешь. И не забудь приготовить настоящее доказательство, а не этот... свой. Без бу-мажки ты букашка. — Он испугался, набрал дрожащими пальцами телефон мамы и стал разговаривать с ней плаксивым голосом.

Из деликатности я отошёл в сторонку и вспомнил, как много лет назад мы женили нашего сына Димку сиречь Давида. Мы тоже пошли в раввинат, и тоже принесли кучу справок, и старцы в лапсердаках, тряся седыми пейсами, сказали, что это — не доказательство. А вот ты докажи. После какого-то часаругани, криков и препирательств я был уже готов, как персонаж известной песни Юлия Кима, вынуть аргумент свой единственный и на них положить. — Мля, так вот же вам справки! — Не, милейший, такие справки, как и всякую контрабанду, делают на Малой Арнаутской улице в Одессе. А вот ты докажи. — От бешенства я стал расстёгивать штаны, но тут старцы вдруг вспомнили, что тут ещё и моя жена присутствует, и отвлеклись на неё. — Докажи, дочь Израилева, что ты не дочь Эдомская. — Так вот же справочка... — Дочь, за справочки мы всё уже сказали. А вот ты докажи. — Так я не муж, у меня нету хрена, чтоб я доказала! — И хрен тоже не доказательство. А ты докажи. — Как я вам докажу?! — на грани истерики завизжала она. — Хм. Действительно, сложный галахический вопрос. — Старцы стали озабоченно совещаться. — А, вот! Ты это, типа, на идиш с нами поговори. Последний шанс тебе даётся. — Какое счастье, что благоверная знает идиш, по нынешним временам сие — большая редкость. И она стала говорить на своём местечковом украинском диалекте, который я лично и в рот взять не могу, у меня от её идиша колёса останавливаются, там ведь вместо бойх — бух, а вместо бух — бих, а вместо бих — вообще чёрт знает что. Полчаса она говорила на идиш. О чём она говорила? Обо всём. Это было сочинение на вольную тему. О том, что у неё дома на идиш только и разговаривали, и что *а зейде у неё от геганген ин шил*, и что *бобеле от гемахт цимес*, и что она сама лично *а утке ун а гусь готовит нор мит а хрен*, и ещё всякую ересь. Старцы скорбно глядели на неё. К концу её монолога я было облегчённо перевёл дух, заправил рубашку в штаны и приободрился. Старцы молчали. Она решила, что *а утке ун а гусь мит а хрен* недостаточны, и поднажала: рассказала, что *эйнер фун ди ундзере кройвим от гезец ин дер тюръме, дерфар из эр гевен а ганев* (тут я испугался, но старцы молчали), и что *вос ан олтэр зейде от геслушал Кол Исроэл ин дер подпол*; и что *ире мишпухе от геат сойне а советише махтунье*, пусть она горит огнём, и даже что *алэ идн*

зейнен бридер — в общем, совершенную хрень она несла, не задерживаясь на поворотах, как её троюродная тётушка в двадцатые годы, актриса, с вашего позволения, тётя Рейзл ин дер провинциалэр домарошинэр театр. Старцы трясли черными шелковыми ермолками и молчали. Она выдохлась и искательно посмотрела на них, но они только вздыхали и немного чесались (было жарко). Тогда она немножечко разозлилась и стала ругаться, пока ещё вполголоса — тоже на мамэ-лошн, естественно. Они не реагировали. Она пошла красными пятнами и ещё три, пять, десять минут проклинала их, возвышая тембр — и чтобы их холера ясна забрала, и чтоб их внуки росли, как луковки, но головками вниз, и чтобы *зол зэй пейгерн*, и чтобы *зол зэй гейн ин дрерд афн ахцн клафтерн*, и даже чтобы *сколько было дырочек во всей маце, испечённой со дня исхода из Египта и до последней Пасхи включительно* — столько болячек им в бок. Но они молчали. Она тоже замолчала и в звенящей тишине с минуту смотрела на них с ненавистью. Тогда один из старцев сунул тощий палец в нос, осторожно там покопался и, вытащив козявку на свет Божий, стал сурово её разглядывать. Не иначе как на предмет вынесения галахического постановления, — промелькнуло у меня в голове, но я промолчал. Тогда она сказала: — почему вы мне не отвечаете? вы велели мне говорить аф идыш, и я с вами аф идыш и поговорила, и я даже проклинала вас; а шо было б, если б я не знала аф идыш? и почему вы мне не отвечаете, да?

— Потому что мы не знаем идиш, — скорбно ответил один из старцев.

Объяснительная

Был у нас директор — беженец из гитлеровской Германии. Это было ещё до моего рождения. Его папаша был известным профессором лингвистики в Дюссельдорфе. Когда профессор приехал сюда, то устроился поденщиком на дорожные каменноукладочные работы в зачуханном районе трехэтажного Тель-Авива (там теперь высятся небоскребы). Стоял в цепи на трассе в прекрасном коричневом костюме с искрой (который вывез из фатерланда и в котором выступал во время оно на кафедре перед студентами), чихал от белой каменной пыли и по одному передавал с поклоном бульжники такому же бедолаге, как он, — доктору философии из Гейдельберга:

— Bitte, Herr Professor...

— Danke, Herr Professor...

Был у нас директор — поселенец из северной Самарии, бывший командир взвода десантников, хороший, веселый, разбитной мужик с вязаной кипой на голове, любитель выпить, закусить и подмигнуть секретарше. Его папаша приехал из Вены, где руководил социал-демократическим шуцбундом и дрался с нацистами на уличных демонстрациях, а мамаша — из Львова, где сидела в гетто, а потом воевала в лесу у польских партизан.

Сын их, выросший здесь, не знал уже ни немецкого, ни польского; когда его назначили директором, он очень радовался, устроил для всех стол, за которым мы с ним славно выпили и закусили, а потом целый час подмигивал секретарше, и ещё с этим подмигиванием сел в машину и поехал к себе домой в северную Самарию, и по дороге его расстреляли в упор, и директором нашим он больше не был.

Был у нас директор — бывший комсомольский активист из Варшавы, обещавший по партийной линии пойти далеко, но тут пришел Гомулка, и всех активистов, бывших инвалидами по пятой графе, быстренько выслали, — и он приехал сюда, злой на весь мир, в том числе и на страну, которая его приняла. Его жена, родом из Вильнюса, доктор арабистики — тоже почему-то была на всех обижена, и по этому поводу ездила по субботам в Хеврон, где на добровольных началах вела в школе для девочек предмет "личная гигиена", а также агитировала арабов — родителей девочек — побыстрее разделиться с евреями, поселившимися в двух домах в районе старого рынка. Она так здорово научила девочек личной гигиене, что их родители в конце концов застрелили пятерых не то семерых из окопавшихся в тех двух домах — ничуть не менее профессионально, чем ещё в двадцать девятом их собственные родители перерезали родителей тех, кого они зарезали сейчас; в конце концов жену нашего директора арестовали за агитацию и пропаганду, отчего они оба, и она и муж, естественно, не стали обижаться на эту страну меньше, чем раньше, тем более что директор после этого случая директором быть перестал.

Был у нас директор — негр-беженец из Эфиопии, расхаживавший в боевой раскраске по этажам, потрясавший перед посетителями assegам, и время от времени издававший пронзительные вопли, побуждавшие сотрудников, как он полагал, к более активной трудовой деятельности. Он был активистом новой, пришедшей к власти партии, — потому, собственно, его директором и назначили, — но тут партия, в которой его официально держали за прирученного барана, потерпела фиаско в Ливане, и негра уволили без выходного пособия. Его никто не пожалел, кроме меня, и я втихую налил ему стакан бренди из бутылки, которая всегда хранится у меня в кабинете, а он, уходя, подарил мне какую-то тряпку, о которой сказал, что это — скальп покойного Луиса Чомбе, но моя жена во время пятничной уборки нашла этот скальп, и тоже сочла за тряпку, и вымыла волосами конголезского диктатора всю квартиру, после чего выбросила — и я рвал на себе волосы, но бегать к мусорному баку на улицу было бесполезно, потому что мусор уже увезли.

И вот сегодня к нам пришел новый директор, о котором, может быть, я тоже ещё скажу, что он у нас уже был. Его дедушка приехал сюда из Бердичева, где в дореволюционное время служил николаевским солдатом, а бабушка — из священного города Бенареса, что в Индии. Эта чудная помесь геннов — солдатской косточки и сакральных тайн Востока — дала в третьем поколении генерала армии, который, по слухам, набил морду министру обороны, и потому был отправлен на повышение — в наш архив. Нас представили друг

другу, и он сказал мне, что он человек прямой и честный, и что владеет обоими языками своих предков, хотя об этом его вовсе не спрашивал. Он немедленно привел пример — он крикнул протяжно *трахтебяврот*, и объяснил, что другие фразы русского языка слишком трудны для его простой солдатской натуры, но зато он владеет ещё и санскритом, потому что знает, что такое Кама-сутра — и тогда я понял, что он просто хвастун, и вспомнил, как говорила бабушка: дураки растут там, где их сеют.

И он развел кипучую деятельность, и ораторствовал на научном совете, и призывал всех к успешному развитию новых проектов и новых технологий, и к расширению новых рубежей, и выражал уверенность в завтрашнем дне, и я смотрел на него пригорюнясь. И мне поручили разработку нового проекта, рассчитанного лет на пятьдесят, и долго пожимали и трясли руку, которая от этого взмокла, и я некстати спросил — уверен ли он, что у нас — у него, у меня и у страны в целом — ещё будут эти пятьдесят лет, и меня освистали как пораженца и злокачественного пессимиста, но я ответил, что пессимист — это не более чем хорошо информированный оптимист.

И я ушел с научного совета, заперся в своем кабинете и, глядя в окно на безмятежные белые облака над далеким Галаадом, вспомнил Куприна: как в камеру к приговоренному к смерти, который как раз одевается на казнь, приходит начальник тюрьмы, и начинает поправлять ему ворот рубашки, застегивать пуговицы и просить завязать шнурки на ботинках. И начальник суется, и упорно повторяет — завяжите шнурки; а приговоренный смотрит на него и в раздумье спрашивает: а стоит ли? всё равно ведь развязывать не придется.

25 мая 1977

Когда я перешел в восьмой класс, родители, по совету классной руководительницы Александры Алексеевны, которую я боялся и ненавидел всем сердцем (впрочем, это другая история) взяли мне репетитора Фаину Павловну. Фаина Павловна была заслуженной учительницей РСФСР и обладательницей чудовищно громкого голоса. Я учился у нее математике, ибо в классе по математике был отстающим. Точнее, я вообще ничего в математике не понимал (и до сих пор не понимаю). Дважды в неделю я приходил к Фаине Павловне домой, и там урока математики уже дожидалась Рита, девочка из такой же как у меня интеллигентной семьи, и тоже отстающая. Если бы она не была отстающей, то с чего бы ей ходить к Фаине Павловне, верно? Сперва мы пили чай с бубликами на кухне, потом садились за стол в гостиной, и начинался урок. Мы с Ритой сидели друг напротив друга, а Фаина Павловна — сбоку. Мы учились и ничего не понимали. Рита мне ужасно нравилась. Были моменты, когда она, чуточку, так мило прикартавливая, отвечала на вопросы нашей учительницы, — несла в ответ сущую ахинею, сказать по правде, — что я чувствовал, что

она нравится мне даже больше Наташки, в которую я был безответно влюблен с третьего класса. Рита была страшно милая и все время краснела — то ли от осознания собственной математической глупости, то ли потому, что чувствовала, что она мне небезразлична. Отношения наши развивались стремительно — уже к зимним каникулам я осмеливался, сидя на стуле, поднимать вытянутые ноги и гладить ими Риту, сидевшую за столом напротив. То есть Ритины ноги, я хочу сказать. Фаина Павловна страшно злилась, потому что, сидя с другой стороны стола, она не понимала, что происходит, но инстинктивно ощущала, что до математики нам с Ритой в эти моменты не было уже решительно никакого дела, и на задаваемые по ходу урока вопросы мы не отвечали. Мы вообще их не слышали.

В самый последний учебный день, когда мы закончили последний урок математики для отстающих, Рита решила. Мы вышли в прихожую, сняли домашние тапки и стали надевать уличную обувь. Фаина Павловна вышла за нами, чтобы проводить. Она поглаживала нас по рукам, плечам и по головам, куда придется, и растроганно приговаривала командирским голосом: "ах вы мои дорогие двоечники..." Я нагнулся, чтобы взять портфель, и Рита сказала:

— Миша, проводи меня до дома...

Она сказала это очень тихо, но мы с Фаиной Павловной услышали. Я был влюблен в Риту, но рядом была Фаина Павловна. Я мгновенно взмок, я покрылся испариной. И я поступил так: я противно загоготал и сказал громко — *вот щё, делать мне нечево, што я дурак, што ли?* И довольно гордо покосился при этом на Фаину Павловну, как бы призывая ее в свидетели. И если Ритину реакцию я еще мог с грехом пополам предугадать (она схватила свой портфель и выбежала из квартиры, стукнув дверью и не прощаясь), то реакция Фаины Павловны меня ошеломила. Заслуженный учитель РСФСР с перманентно оглушительным командным голосом, она сдвинула очки на лоб и сказала мне очень тихо:

— Миша, я думала, что ты просто дурак, но ты еще и *идиот*.

Последнее слово она выделила каким-то специальным, неуловимо педагогическим тоном.

Вы знаете, это произошло день в день ровно тридцать три года назад, но я до сих пор помню тот майский вечер очень ярко, можно сказать — шизофренически отточенно, во всех его теплых весенних оттенках, в тончайших нюансах запахов и красок. Вечер этот всегда со мной.

Рекомендация

Когда я учился на третьем курсе института, ко мне подошла партгор курса Аня Деркач и сказала:

— Мы тут посоветались и решили дать тебе рекомендацию в партию. Пиши заявление.

Я, естественно, отказался, чем необычайно поразил её. Отказав, я полчаса очень гордился собой. Разыскав в курилке Игоря, я, лопаясь от гордости, рассказал ему о их предложении и моём отказе. Он посмотрел на меня с отвращением и сказал:

— К нормальному, порядочному человеку с такими предложениями не подходят вовсе. Значит, с тобой уже что-то не ладно, раз они вообще к тебе подошли. Нужно с тобой поосторожнее...

И он держался со мной поосторожнее до окончания учёбы в институте.

Очерк истории хасидизма

В 88-м году я закончил рукопись — "Очерк истории хасидизма". Ну, сами понимаете, издать такую книжку в советское время было неммыслимо; а был у меня знакомый писатель-достоевсковед, Сергей Владимирович. Он по книжке в год выпускал, такой был активный... Это были научно-популярные книжки, некоторые из которых рекомендовались ГОРОНО к внеклассному чтению для школьников. Сергей Владимирович часто приводил нас, молодежь, в ресторан при ленинградском отделении СП — выпить, закусить, на зубров акул пера полюбоваться. И однажды там я познакомился с Юрием Рытхэу. Мы подошли и сели за его столик, и Сергей Владимирович нас представил. Мы выпили за знакомство и помолчали. Я не знал, о чём разговаривать с великим писателем — так, чтобы ему стало интересно, и рассказал о своей рукописи. А Рытхэу, как известно, был единственным в СП СССР литературным представителем чукотского нацменьшинства, и в пьяном виде сочувственно относился ко всем другим нацменьшинствам. И он сказал — "но проблем". Давай сюда свою рукопись, говорит. Я её переведу на чукотский; а цензоров на чукотском языке, говорит, у нас все равно нет, кроме одного; и этот один — я. Вот он я, смотрите.

Мы посмотрели. Уважительно посмотрели, потому что перед нами сидели официальные писатель и цензор в одном лице, это по совокупности редко наблюдать можно.

В общем, издадим, говорит, за милую душу и за счет нашего родного СП, каким хошь тиражом.

Ы-ы-ы, говорю я, — так а если в ЦК нащупают?! Религиозный дурман, сионистская пропаганда, десять лет без права переписки, век свободы не видать... И автора, и переводчика...

— Ха, — говорит советский писатель Рытхэу, — да кто там щупать будет?! На нашем языке только чукчи читают, да и то, говоря по правде, они не читают...

Нет, говорю я, — спасибо Вам большое, конечно, но мне как-то совсем неинтересно издавать книжку для чукчей, которые, вдобавок, ещё, оказывается, и не читают... Я, говорю, хочу как раз, чтобы её читали, причем, желательно, на каком-нибудь человеческом языке.

Про человеческий язык я сказал зря, конечно. Рыгтхэу обиделся и больше со мной не разговаривал. И вообще он больше в тот вечер ни с кем не разговаривал, потому что упился в дрезину. И меня при встречах он больше подчеркнуто не узнавал. Или неподчеркнуто. Просто не узнавал — и всё. Не повернув головы качан.

...Кончилась эта история тем, что тот, первый экземпляр рукописи про хасидизм мои приятели просто размножили фотоспособом и пустили в старый добрый Самиздат.

Случай в архиве

Все свои слова нужно обдумывать, говорил Жванецкий.

Витя-фотограф из Харькова, Реуен из Сербии и я. Сидим втроем в моем кабинете, культурно выпиваем. Именно что культурно — памятуя о давлении, без излишеств. Даже не курим. Реуен рассказывает на языке оригинала хорватский анекдот времен войны с немцами. Открывается дверь, входит директриса, за ней какая-то блондинистая баба двухметрового роста: вот, госпожа Трампампачуне, это — М., это В., это — Р. Наши научные, так сказать, сотрудники. Бутылку под стол, я сказала, шипит директриса, сохраняя на лице приятную улыбку. Это что за мымра, спрашивает Витя по-русски, неторопливо убирая бутылку и жуя бутерброд с печеночным паштетом. Страшная-то какая, подхватывает Реуен — на сербском, но мы понимаем. Я молчу и ем куриную ножку. Мымра стоит и смотрит на нас, улыбаясь. Встать, охломонь, шипит директриса, что за хамство. Я встаю неспешно, поддвигаю мымре стул. Она садится. Смотрите, ребята, она на стол смотрит, она жрать хочет, говорит Витя, — естественно, по-русски. Директриса объявляет, что я должен провести для госпожи Трампамп... и так далее небольшую лекцию по истории фондов нашего архива, — и выходит. Больно много чести — лекции им читать, бормочет Витя с набитым ртом, доставая бутылку; пушай в Сорбонну едут. Лекции им... Ребята, говорит Реуен озадаченно, да она не только кушать, она еще и выпить хочет, вы посмотрите... Мымра не отводит глаз от стола. Вот вздохнула и почесала ногу. У нас самих мало — сварливо, голосом старой девы говорит Витя, — ненавижу, когда садятся на хвост. Я, матюгаясь негромко — дама всё-таки — достаю чистый стакан, наливаю доверху, достаю куриную ножку, делаю бутерброд с паштетом, и поддвигаю все это гостье. Бля, говорит Реуен с акцентом по-русски, а на каком языке с этой дурой разговаривать? Иврита же она не понимает... Вот ты и объяснись с ней по-англицки, говорит Витя, — ну, бываем здоровы! Как сказано у классика — *желаю, чтобы все*. И выпивает. Прозит, говорит мымра, и тоже выпивает, и смачно занюхивает в рукав, и начинает жадно жевать бутерброд, и вцепляется белоснежными, острыми как у хорька зубами в куриную ножку. Это первое слово, которое мы от нее слышим. Голос мелодичный, низкий, чуть хриловатый. Мы смотрим на нее. Она истово жует, опустив глаза. Мы тоже выпиваем.

ваем. Да кто она такая, бормочет по-русски наш серб. Во — присоседилась... Сейчас всё выпьет. Смотри, как косится... Точно — дама начинает коситься на бутылку. Скрипнув зубами, я доливаю ей остатков в полупротянутый стакан. Заррррраза, говорит, приятно улыбаясь, Реувен, встает, идет в свой кабинет, приносит полупустую бутылку спирта, воду, смешивает и разливает. Мы обмениваемся нелестными замечаниями о прожорливости нежданной гостьи, сохраняя на лицах чичиковскую улыбку. Мы совершенно забыли просьбу директрисы. Мы умеренно пьяны, нам хорошо, но нас беспокоит, что гостья не выказывает никаких намерений встать из-за стола. Европейка какая-то, бормочет Витя, блондинка... дура, наверное. И гораздо же на халяву, ты смотри, а? Шведка, что ли? Финны тоже пьют хорошо, говорит Реувен. Смотри, как жрет, мне аж завидно, говорит Витя, что у них там, в Дании — блокада, что ли?... Глаза у Вити зловеще косят. Гостья, улыбаясь нам всем по очереди, допивает третий стакан, со стуком ставит его на стол, аккуратно подбирает крошки горстью и ссыпает их в рот. Достает из кармана курточки зубочистку и, цыкая, начинает орудовать ею во рту.

— Во дает... — растерянно говорит Реувен. Мы смотрим на нее. Хрен знает, что такое, злобно говорит Витя, навалившись грудью на стол и сверля глазами гостью. Лицо у него побагровело. — Хоть бы спасибо сказала. Явилась, на хвост села, всё выжрала, даже спирт вылакала, — а у меня еще ни в одном глазу... У меня недопой, ясно тебе, дура еловая? Хоть бы спасибо сказала...

— Спасибо, мальчики, — голосом поющей флейты, совершенно неожиданно произносит гостья на чистом русском языке с неуправляемым акцентом и улыбается во весь рот. — Вы не представляете, как я вам благодарна. На всех приемах — одно шампанское, а у меня от него кислотность поднимается, тьфу — кислотина; в первый раз так душевно посидела, честное слово. Большое спасибо.

Мы прирастаем к стульям. Не знаю, как Витя, а у меня первая мысль — сколько раз себе говорил — следи за языком. Господи, как неудобно-то... Впрочем — видно, она не обиделась. Баба, кажется, хорошая. А пьет!..

— А... Вы кто? — спрашиваю я виновато — естественно, по-русски. — Вы гостья нашей директрисы? Подруга? Ребята не знали, что вы по-русски говорите, извините, пожалуйста, нам страшно неудобно...

— Ничего, я понимаю, — приветливо говорит гостья с тем же неуправляемым акцентом. — Я не обиделась. Я села на хвост. Я очень душевно посидела, и я вам очень благодарна. Я всего только неделю в должности, я еще не привыкла, я не знала, что у вас в стране так душевно посидеть можно. Можно, я еще как-нибудь приду? Со своей бутылкой, вы не беспокойтесь, пожалуйста... Будем знакомы. — Она церемонно протянула ладонь лодочкой. — Я — Кристина... Я новый посол Литвы.



Игорь Гельбах

МАРЦИЯ

Римская комедия с голосами

Действующие лица:

ГАЙ ЮЛИЙ, молодой патриций.

СЦИПИОН, его чернокожий раб.

КАПИТАН.

ЯСОН, предводитель пиратов.

МАРЦИЯ, его дочь.

МАРК, сподвижник Ясона.

КОМЕНДАНТ римского гарнизона в Милете.

Место и время действия:

Средиземноморье, 81 г. до н.э., вскоре после того как молодой римский патриций Гай Юлий был изгнан из Рима диктатором Суллой.

Сцена первая

Открытое море. На палубе парусника

Гай Юлий и Капитан.

ГАЙ ЮЛИЙ. Эти мерзавцы нас догоняют, готов биться об заклад.

КАПИТАН. Сципион, поднять запасной парус! И пусть гребцы налягут на весла.

ГАЙ ЮЛИЙ. Клянусь Юпитером, они уже совсем близко...

КАПИТАН. Сципион, живее, ветра и так почти нет...

ГАЙ ЮЛИЙ. Да и парус дырявый...

Вбегают Сципион.

СЦИПИОН. В трюме вода.

КАПИТАН. Она всегда там была.

СЦИПИОН. Она прибывает.

КАПИТАН. Тихий ход, Сципион, спускай запасной парус...

Сципион убегает.

Лучше попасть в плен, чем на дно, Гай Юлий — сила на их стороне.

ГАЙ ЮЛИЙ. И скорость тоже... Гребцы — лентяи, парус дырявый, в трюме вода, о, Рим!

КАПИТАН. Рим — далеко, пираты — близко. Они уже цепляют крючья. Пора набросить китель и начать переговоры...

Вбегает Сципион.

СЦИПИОН. Твои спутники, Гай Юлий...

ГАЙ ЮЛИЙ. Я умываю руки.

Усаживается и возобновляет чтение книги.

На палубе появляются глава пиратов Ясон и его сподвижник, молодой пират Марк.

ЯСОН. Я, Ясон, капитан «Калиопы», приветствую вас в наших территориальных водах...

КАПИТАН. Это открытое море...

МАРК. Оно и есть наши территориальные воды.

ЯСОН. Ха-ха! Отлично сказано, Марк. Ну, капитан, рассказывай...

КАПИТАН. Бриг «Прекрасная Марция» следует из Остии на Родос. Груз — бочки, зерно и конские сбруи, на борту имеются пассажиры...

МАРК. И команда, которая к нам охотно присоединится...

(К Сципиону). Не так ли, харя?

СЦИПИОН. Ну да...

ЯСОН. Ну, так ступай и скажи своим товарищам, что они теперь не рабы, а свободные люди.

СЦИПИОН. Слушаюсь.

Ухмыляется и исчезает.

ЯСОН. Значит, «Прекрасная Марция» — точь-в-точь как моя дочь... Хорошо быть грамотным, назовешь это неповоротливое создание «Прекрасная Марция» — и оно вроде краше, а?

КАПИТАН. Я проплавал на этом бриге много лет.

ЯСОН. И когда-то любил женщину по имени Марция?

КАПИТАН. Может быть и так.

ЯСОН. Марк — мой будущий зять... Ну, ну... Так что, капитан, придется платить выкуп за себя и за свой бриг...

КАПИТАН. Выкуп?

ЯСОН. Разве ты ничего не заработал за свою жизнь? Или в Риме нет людей, что не пожалеют за твою жизнь и свободу денег? Или ты можешь предложить что-нибудь взамен?

МАРК. А кто этот человек?

ЯСОН. Да, кто он?

Обходит вокруг продолжающего читать Гая Юлия.

МАРК. Эй, кто ты?

Гай Юлий продолжает молчать.

ЯСОН. Ты что, онемел?

КАПИТАН. Его имя Гай Юлий. Он принадлежит к одному из самых знатных семейств Рима.

ЯСОН. Зачем ты едешь на Родос?

ГАЙ ЮЛИЙ. Диктатор Сулла изгнал меня из Рима. Очевидно, я представляю опасность для его режима. Я еду на Родос к Аполлонию, учителю риторики.

ЯСОН. Красноречие... Этого мне всегда не хватало... Но мой кулак достаточно красноречив... Ты понял?

ГАЙ ЮЛИЙ. Чего ты хочешь?

ЯСОН. Я мог бы убить тебя за то, что ты так по-хамски молчишь, но так и быть, будем считать, что тебя не обучили красноречию... Мне нужен выкуп, деньги дороже, чем твоя жизнь.

ГАЙ ЮЛИЙ. Ты просто не знаешь настоящей цены жизни...

МАРК. А если ты знаешь, то наверняка заплатишь...

ЯСОН. Смотри-ка, он разговорился. Ну, капитан, сколько он может стоить? Отвечай откровенно — мы сделаем тебе скидку...

КАПИТАН. Отпрыск самого знатного семейства в Риме? Я полагаю...

МАРК. Пять талантов!

ЯСОН. Пять талантов? За этого молокососа? Надо просить двадцать. И ни шагу назад... (*смотрит на Гая Юлия*). Послушай, кого-то он мне напоминает. Нет, ты посмотри.

КАПИТАН. Да он же словно младший брат Марка.

ЯСОН. А мы тут сидим почти что голодные...

ГАЙ ЮЛИЙ. Пятьдесят. На меньшую сумму я не согласен.

ЯСОН. Пятьдесят? Пятьдесят талантов?

КАПИТАН. Пятьдесят — это огромная сумма. Они могут и не собрать столько.

ГАЙ ЮЛИЙ. Сулла доплатит. На то он и диктатор.

ЯСОН. Славный мальчик. Он мне нравится. Пусть так и будет. Деньги доставить к наместнику в Милет.

ГАЙ ЮЛИЙ. Отправьте в Рим Сципиона, я напишу письмо.

ЯСОН. Ну а теперь вам придется воспользоваться нашим гостеприимством... Здесь, в гавани мы и живем. Народ мы простой, без затей, живем в хижинах, питаемся мидиями, пасем коз. Есть у вас на бриге вино?

КАПИТАН. Фалернское.

ЯСОН. Марк, проводи их на берег. Ты, Гай Юлий, можешь взять с собой книги.

ГАЙ ЮЛИЙ. Спасибо, я запомню это.

МАРК. Пошли.

Марк, Гай Юлий и Капитан уходят.

ЯСОН. Пятьдесят талантов! Клянусь Зевсом, никогда не слышал ничего более красноречивого, чем эти слова...

Марк возвращается.

Сдается мне, в чем-то этот молодчик прав — человеческая жизнь — ценная штука...

МАРК. То-то ты столько рыб накормил ужином.

ЯСОН. Никогда не думал, что за одного молодчика можно выручить столько талантов.

МАРК. Сначала их нужно получить, Ясон, а уж потом делить...

ЯСОН. В этом-то все и дело — доход с любой добычи приходится делить с перекупщиками, с береговой охраной, с наместниками, иначе нам не сбыть это добро, а человеческая жизнь — какая же это бесценная штука — мы отдаем его, и сразу, ни с кем не делясь, получаем огромную сумму...

МАРК. Если получим...

Появляется Марция.

Привет тебе, Марция...

ЯСОН. Отчего ты так жаден?

МАРК. Я трезв...

ЯСОН. Только жадные люди не верят в удачу...

МАРК. Ты гоняешься за ней всю жизнь... А посмотри на свою дочь, она бродит в лохмотьях, да венчик из полевых цветов на лбу...

МАРЦИЯ. Так ходят все женщины на острове...

МАРК. К источнику и обратно.

ЯСОН. Но зато мы свободны, дети мои.

МАРК. Свобода, по-твоему, тоже ценная штука?

ЯСОН. Но за нее ведь платят.

МАРЦИЯ. Мы наконец разбогатеем, отец?

ЯСОН. Может быть, мы даже бросим это ремесло и вернемся к земледелию. Я буду пасти овец и присматривать за внуками, когда состарюсь... Мы будем веселиться на сельских праздниках и ездить на ярмарки.

МАРК. Выращивать и продавать маслины. Нам потребуется много бочек...

МАРЦИЯ. О, Зевс, неужели нам, наконец, повезло?

ЯСОН. Конечно, повезло! Ты только подумай, бриг называется «Прекрасная Марция» — сколько раз, когда нам, казалось, изменяла и я говорил себе: «Зевс — свидетель, я все делаю ради дочери!» — и Фортуна снова поворачивалась ко мне своей роскошной грудью... Нам повезло, да еще как... Ты, Марк, доставишь Сципиона в Рим, а затем отправишься в Милет, где будешь ждать его прибытия, а уж потом добро пожаловать сюда с вестью о выкупе, да смотри, чтоб тебя не выследили...

МАРК. Понял, Ясон, понял, ну а как с моей долей — вы-то ведь не будете сидеть сложа руки...

МАРЦИЯ. Пойду-ка я взгляну на пленных. Прощай, Марк. Прощай, отец.

МАРК. Прощай.

ЯСОН. Ступай, дочь, любопытство свойственно женщине.

Марция уходит.

Видел ты когда-нибудь женщину, ожидающую ребенка, Марк? Она гуляет, глазает на все и ест, и ничто не в силах ускорить рождения ребенка... Вот так же поведем себя и мы, слишком уж велика добыча, чтоб рисковать дальше... Дождемся выкупа и кончаем с этим делом навсегда! Довольно нищенствовать... Хватит всю жизнь гоняться за удачей — она пришла...

МАРК. Твоя дочь даже не смотрит на меня...

ЯСОН. Поверь, у нее в голове свадебный наряд и наше поместье, она и тебя видит уже совсем другим...

МАРК. Другим?

ЯСОН. Ну да, другим, молодым, красивым...

МАРК. А разве это возможно?

ЯСОН. Теперь — да, только не мешкай. Фортуна ждет тебя, прощай...

МАРК. Прощай.

Сцена вторая

На острове.

Гай Юлий дописывает письмо в Рим, появляется Марк.

МАРК. Твое письмо?

ГАЙ ЮЛИЙ. Оно готово.

МАРК. А где твой раб, где эта харя, Сципион?

ГАЙ ЮЛИЙ. Ты дал ему свободу, ему и рабам, что сидели на веслах.

МАРК. Что из того? Он должен где-то быть.

ГАЙ ЮЛИЙ. Теперь он раб своей свободы. Ищи его пьяным в канаве, с девкой под забором, или спящим под деревом на солнцепеке.

МАРК. Отчего ж он будет добираться до Рима?

ГАЙ ЮЛИЙ. Страх доведет его. Свободен он только здесь.

МАРК. Что ж, пойду разыскивать свободного раба.

ГАЙ ЮЛИЙ. С острова не убежишь, к вечеру он появится. К вечеру овцы сбиваются в кучи... А ты и в самом деле похож на меня. Матушка твоя бывала в Риме?

МАРК. Мать? Не бывала. А отец вот служил у вас при дворе конюшенным.

Марк смеётся и уходит. Из своего укрытия появляется Сципион.

СЦИПИОН. Он ушел?

ГАЙ ЮЛИЙ. Отчего ты прятался?

СЦИПИОН. Слишком уж неожиданно было столкнуться с ним нос к носу... после...

ГАЙ ЮЛИЙ. Я слушаю, говори.

СЦИПИОН. Нас заставили перетащить грузы с «Марции» на пиратские суденышки, потом накормили похлебкой, гребцы остались пить вино, а я, пьяный обещанной мне свободой, отправился бродить по острову...

ГАЙ ЮЛИЙ. И обнаружил, что свобода эта ограничена морским прибоем...

СЦИПИОН. Вспоминая свою далекую родину, я добрел до рощи и уснул под деревом...

ГАЙ ЮЛИЙ. Продолжай...

СЦИПИОН. Приснилось мне, как бродил я по этому острову, забрел в рощу и заснул, и вот во сне уже вижу, что под деревом я не один, а с женщиной, уроженкой этих мест... Она гладит мою курчавую голову, смеется и шепчет ласковые слова... На солнце стало жарко и я потерял сознание... Когда же я проснулся...

ГАЙ ЮЛИЙ. Это в каком же сне?

СЦИПИОН. Проснулся на самом деле... я обнаружил, что как будто так оно и было...

ГАЙ ЮЛИЙ. Что было?

СЦИПИОН. Была женщина, настоящая.

ГАЙ ЮЛИЙ. Поздравляю, Сципион, может быть это богиня свободы?

СЦИПИОН. Это... я боюсь, Гай Юлий.

ГАЙ ЮЛИЙ. Говори, я беру тебя под защиту.

СЦИПИОН. Марция, дочь Ясона. Я узнал её среди толпы, когда возвращался из рощи на берег.

Хохочет, потом задумывается.

ГАЙ ЮЛИЙ. Отчего ж ты прятался от Марка?

СЦИПИОН. Он вроде как муж ей.

ГАЙ ЮЛИЙ. Он твой попутчик до Апеннин. Ты вернешься в Рим.

СЦИПИОН. Попутчик? В Рим?

ГАЙ ЮЛИЙ. Как по-твоему, какая свобода лучше, полученная от пиратов или из рук твоего хозяина?

СЦИПИОН. У меня нет сомнений, мой господин...

ГАЙ ЮЛИЙ. Письмо о выкупе завершается словами о тебе. С момента прибытия в Рим ты становишься моим вольноотпущенником и получаешь небольшой пансион. Дальше можешь жить по своему разумению.

СЦИПИОН. Вольноотпущенником?

ГАЙ ЮЛИЙ. Вот письмо. Поразмыслишь обо всем по дороге.

Гай Юлий уходит.

СЦИПИОН. Вольноотпущенником? А потом, со временем, когда Гай Юлий станет... (*оглядывается*), я, быть может, стану гражданином Рима... Да благословят боги моего хозяина и морских пиратов... И все в один день... Марция, богиня...

Появляется Марк.

МАРК. Письмо у тебя? Ну, харя, следуй за мной...

Марк и Сципион уходят, Гай Юлий остается один. Вскоре появляется Ясон.

ЯСОН. Они отчалили, Гай Юлий, дело, можно сказать, пошло. Ну а как ты устроился, а? Поверь, я сам живу не лучше... Тяжелая жизнь. Надежды и разочарования, и малютка Марция на руках. То женщины ревнуют меня к Марции, то Марция к женщинам, впрочем, я старался привить ей современные взгляды, нищета — лучший учитель, ведь мы все делим поровну, более или менее, ну вот все и небогаты... Но ты, ты, Гай Юлий, я хочу, чтобы ты чувствовал себя как дома, спокойно, непринужденно, — отдых на греческих островах, да и вообще, ты ведь хочешь стать полити-

ческим деятелем, так я слышал — пообщайся с народом... Вы грабите колонии, мы — путешественников...

ГАЙ ЮЛИЙ. Да у тебя просто ораторский дар.

ЯСОН. Я здесь пропадаю. Жаль, что я не стал общественным деятелем... Но в ту пору, когда я был молод, все хоть на что-то годные ребята шли в море... Мы были сильны тогда и нападали даже на города... Марция, принеси нам вина...

Появляется Капитан.

КАПИТАН. Послушай, Ясон, твои люди сняли паруса и унесли весла с «Прекрасной Марции».

ЯСОН. Само собой разумеется.

КАПИТАН. Не хотел бы я, чтобы паруса и снасть сгнили.

Появляется Марция с вином.

ЯСОН. Мы сохраним их в самом сухом месте острова, в сторожевой башне. Не желашь ли промочить горло... Сприбытим! Марция, сыграй нам...

ГАЙ ЮЛИЙ. Привет тебе, хозяин.

МАРЦИЯ. Сейчас, отец

Напевает, аккомпанируя себе на цитре.

ЯСОН. А теперь за гостей, да принесете вы счастье в мой дом!

ГАЙ ЮЛИЙ. Счастья тебе.

КАПИТАН. И удачи.

ЯСОН. Вот-вот, а удачу в то время, казалось, можно было хлебать чашами. Мы заходили в чужой порт ночью, с обмотанными веслами, тихо скользили к берегу... Скот, домашняя и храмовая утварь, золото, украшения из серебра, юноши, девушки — все это дорого стоило когда-то... Мы грабили даже Остию... Вы в Риме дрались за власть, а мы перепродавали две трети египетского зерна... Так выпьем же!

КАПИТАН. Помпей разгромил вас за три месяца... Я был у него капитаном.

ЯСОН. И все-таки вы у меня в гостях... Думаю, попади я к вам, не стали бы вы поить меня вином, тяжело бы пришлось твоему отцу, дочка...

МАРЦИЯ. Наверное гости устали, отец.

ЯСОН. Но они хорошо воспитаны, не то, что этот бродяга Марк. Заработать любой ценой — вот его девиз, послушал бы лучше старших...

ГАЙ ЮЛИЙ. Благодарим тебя, хозяин.

ЯСОН. Всегда рад вас видеть, вы мои гости.

Гай Юлий и Капитан уходят.

Ну, Марция, как они тебе?

МАРЦИЯ. Мне нравится Гай Юлий. Уж очень он хорош собой...

ЯСОН. А мне больше по душе Капитан — немногословен, умеет выпить, да и моряк как видно неплохой, заботится о парусах, с такими людьми всегда можно договориться, выпью-ка я еще, а... ну и вино, до чего же хорошее вино, давно я уже не пил приличного вина, ну до чего же нам все-таки повезло, Марция...

МАРЦИЯ. Ложись спать, отец.

ЯСОН. Смотри, поздно не бегай, воспитанные люди я говорю, до чего же приятно иметь дело с воспитанными людьми...

Марция уходит, Ясон укладывается спать.

Сцена третья

Берег моря.

После утреннего купания на берегу появляется Гай Юлий. Он обтирается, затем принимается за упражнения. Вскоре на берегу появляется подвыпивший Капитан.

КАПИТАН. Ну-ка, еще раз, и еще раз, и еще раз...

ГАЙ ЮЛИЙ. Ну, вот и все...

КАПИТАН. Bravo, Гай Юлий, пусть все видят, что такое римлянин.

ГАЙ ЮЛИЙ. А сам-то ты кто?

КАПИТАН. Я человек конченный, Гай Юлий. Выкуп не придет, «Прекрасную Марцию» разберут на дрова и сожгут в зимние вечера, а нас прирежут, когда им надоест ждать выкупа...

ГАЙ ЮЛИЙ. Оттого ты и пьешь с ними с утра до вечера?

КАПИТАН. Я ясно вижу конец...

ГАЙ ЮЛИЙ. Конец своего красного носа...

КАПИТАН. Мне поздно волочиться, возраст не тот, вот и пьешь понемногу, но я тебе благодарен, не соври ты насчет пятидесяти талантов, нас бы держали впроголодь... Ты надеешься бежать?

ГАЙ ЮЛИЙ. Похож я на безумца? Нет? Так пей побольше — вино кончится быстрее и ты протрезвеешь. Я никому не лгал. Я жду выкупа. Я вообще не лгу.

КАПИТАН. И хочешь стать политиком?

ГАЙ ЮЛИЙ. Я не хочу, чтобы люди считали меня еще одним политиканом. Они погрязли во лжи и коррупции.

КАПИТАН. Ты думаешь, это можно изменить?

ГАЙ ЮЛИЙ. Это не простая задача, но решить ее можно.

КАПИТАН. Хочешь стать диктатором? Как Сулла? Новые казни? Новые реквизиции?

ГАЙ ЮЛИЙ. Сулла выслал меня из Рима. Мне не по душе диктатура. Рим должен убедиться в том, что цель моей жизни — процветание республики. Я хочу обратиться к гражданам Рима...

КАПИТАН. Сюда идет Марция. Я пожалуй пойду.

Капитан встает и собирается уйти...

ГАЙ ЮЛИЙ. Вернись, Капитан! Садись на корягу и слушай!

КАПИТАН. Что ты хочешь сказать, Гай Юлий?

ГАЙ ЮЛИЙ. Вот послушай:

Досточтимый сенат и граждане Рима, наша свобода в опасности до тех пор, пока язва пиратства...

Не уходи, Капитан, я попробую еще раз...

КАПИТАН. Может быть, тебе лучше прекратить морские ванны — это похоже на мозговое заикание... От такого холода мозг, я думаю, замерзает, становится прозрачным как медуза и мысли в нем бегают по кругу... Пойду-ка я согрею свой мозг вином.

ГАЙ ЮЛИЙ. Не оставляй меня, Капитан. Она меня преследует.

КАПИТАН. Так вот отчего ты запинаялся... Хватит с меня и моей прекрасной Марции...

ГАЙ ЮЛИЙ. Ты о бригае?

КАПИТАН. Нет, о жене...

Уходит.

ГАЙ ЮЛИЙ. Неужели мне снова придется лезть в море?

Скидывает с себя облачение и идет к воде.

На берегу появляется Марция и, в ожидании Гая Юлия, усаживается на корягу.

Появляется Гай Юлий.

ГАЙ ЮЛИЙ. Привет тебе, Марция.

МАРЦИЯ. Привет, милый, ты чудесно плаваешь, лучше чем любой наш пират...

ГАЙ ЮЛИЙ. Да? Ты уверена?

Пытается согреться гимнастическими упражнениями.

МАРЦИЯ. Ты замерз? Дай-ка, я оботру тебя... Кожа вся гусиная... Я разведу костер... Вот наберу хворост...

Начинает собирать коряги.

Хотя нет... Костер привлечет внимание, все сбегутся сюда и застанут нас вдвоем...

ГАЙ ЮЛИЙ. Раз, два, три, раз, два, три... Мне уже тепло...

МАРЦИЯ. Горе мне, ты заплыл слишком далеко, в холодной воде члены теряют чувствительность... Наши пираты — грубый народ, а меня всегда тянуло куда-то вдаль, может быть в Рим... Мы — родственные души, Гай Юлий, только ты не заплывай так далеко... Ну, подойди ко мне...

ГАЙ ЮЛИЙ. Вспомни о Марке.

МАРЦИЯ. Марка интересует то, что за меня можно получить — мы жених и невеста уже десять лет...

ГАЙ ЮЛИЙ. Десять лет?

МАРЦИЯ. Отец говорит, что последние годы нам не везло, мы должны буквально всем во всех портах и еле выплачиваем проценты, и вот ты, Гай Юлий, свалился с небес и одним ударом решаешь все наши проблемы... Ты наш спаситель, Гай Юлий, мы расплатимся с долгами и начнем новую жизнь где-нибудь в Малой Азии...

ГАЙ ЮЛИЙ. Но почему в Малой Азии?

МАРЦИЯ. Там не спрашивают, откуда у тебя деньги. Ты, Гай Юлий, моя новая жизнь...

ГАЙ ЮЛИЙ. Вот так пусть все и останется.

МАРЦИЯ. Но я хочу ребенка, хочу сына от тебя, Гай Юлий, тогда Фортуна будет милостива ко мне всю жизнь, ведь род ваш ведет начало от самого Громовержца...

ГАЙ ЮЛИЙ. Меня это не спасло от плена...

МАРЦИЯ. Не было еще случая, чтобы пленный просил увеличить выкуп. Иди ко мне...

ГАЙ ЮЛИЙ. Да... Марция... иду!

Покачиваясь, идет по направлению к Марции, но внезапно спотыкается и падает.

МАРЦИЯ. Что с тобой?

ГАЙ ЮЛИЙ. Какая-то немочь... Закружилась голова и я подвернул ногу...

МАРЦИЯ. Бедняжка! Мой римлянин подвернул ногу... Вот, обопришь на эту палку, так,

«О-оо» — стонет Гай Юлий.

и обними меня крепче свободной рукой...

Повторный стон.

Не все так просто в этой жизни, милый. Это у вас в Риме говорят: «Пришел, увидел, победил», а в жизни — раз и ногу подвернул... Не так ли, мой римлянин? ...Пойдем в рощу... Пойдем со мной...

Уходят.

Сцена четвертая

*Берег моря. Опираясь на палку и глядя в морскую даль,
Гай Юлий слагает стихи.*

ГАЙ ЮЛИЙ. Снова как прежде стою
Одинокий на бреге пустынном...
Ветер, когда же ты весть,
Благую, до нас донесешь?

Снова и снова гляжу
Я в пустынную даль до заката...
Парус надеюсь узреть,
Зря напрягаю глаза...
Появляется Ясон.

ЯСОН. Ха, ха, ха, ох и развеселил же ты меня, что это, объясни мне малограмотному, что это?

ГАЙ ЮЛИЙ. Стихи.

ЯСОН. Чьи? Неужели твои?

ГАЙ ЮЛИЙ. Мои.

ЯСОН. Парус надеюсь узреть,
Зря напрягаю глаза...

Ну и поэзия... Не знал бы я, что ты вывихнул ногу, подумал бы, что ты вовсе свихнулся... А где Марция, моя дочь?

ГАЙ ЮЛИЙ. Бродит неподалеку, собирает мидии.

ЯСОН. Послушай, Гай Юлий, ты уж не обижайся, я мало что в поэзии понимаю, но кое-что мне даже понравилось, ну это вот... Э...

Снова и снова гляжу
Я в пустынную даль до заката...

Так и вижу... Глядит человек и глядит в пустынную даль до заката, но уж в конце-то — зря напрягаешь глаза, да еще напрягаясь на палку, то есть, опираясь, нет, уж тут не удержишься от смеха... Да зачем он тебе, эти стихи?

ГАЙ ЮЛИЙ. Мне не чуждо стремление к совершенству.

ЯСОН. Вот-вот, Гай Юлий, тема это очень серьезная, и тут нам следует поговорить... Ведь теперь мы все объединены одной общей целью, ждем одного и того же — обретения свободы...

ГАЙ ЮЛИЙ. Тебе место в сенате, Ясон.

ЯСОН. Да если б не мой несчастный брак, кто знает, где б я был теперь...

ГАЙ ЮЛИЙ. И ты, Ясон?

Появляется Марция с корзиной.

МАРЦИЯ. Начало лета, а мидии уже жирные...

ЯСОН. Поди, дочь, погуляй еще, у нас здесь разговор...

МАРЦИЯ. Я оставлю корзину здесь, ты дождешься меня, Гай Юлий?

ГАЙ ЮЛИЙ. Еще бы, сегодня мне нужно сочинить еще «Оду к морю», не буду же я выдумывать её в берлоге...

МАРЦИЯ. А, может быть, ты сочинишь «Оду к роще»?

ГАЙ ЮЛИЙ. Я подумаю.

Марция уходит.

Боги, когда это кончится?

ЯСОН. Мы должны ждать, терпеливо ждать, счастье приходит только раз в жизни...

На берегу неподалеку появляется Капитан после морского купания.

Поверишь ли, Гай Юлий, за это время я к тебе привык.

ГАЙ ЮЛИЙ. Чего же ты хочешь?

ЯСОН. Единственно откровенности. Отчего ты заломил за себя такую цену? Дня не проходит, чтоб я не ломал над этим голову.

ГАЙ ЮЛИЙ. И до чего ты додумался?

ЯСОН. Здесь есть какой-то подвох, не для нас же ты старался... Скажи, Капитан, должен ли Гай Юлий заботиться о благосостоянии пиратов?

КАПИТАН. Пожалуй, нет. Вода уже теплая. Я вот не думал о воде, пока было вино, а теперь с каждым днем замечаю, что она становится все теплее. Давно я уже так не отдыхал. До чего ж у вас здоровая и привольная жизнь на этом острове.

ГАЙ ЮЛИЙ. Чего-то она да стоит.

ЯСОН. Но не пятидесяти же талантов? Это слишком много.

ГАЙ ЮЛИЙ. А во сколько бы ты оценил свою жизнь?

ЯСОН. Собери все, что я награбил, оцени жизни тех, что ушли к рыбам на ужин — так, я полагаю, будет справедливо. Но все это меньше того, что назвал ты.

ГАЙ ЮЛИЙ. Ты смотришь назад.

Ясон оглядывается.

ЯСОН. Назад?

ГАЙ ЮЛИЙ. В прошлое.

ЯСОН. А ты, стало быть, в будущее и оттого так себя ценишь?

ГАЙ ЮЛИЙ. Ты все сказал.

КАПИТАН. А не пора ли обедать?

ЯСОН. А где оно, это будущее? Мы и так уже ждем слишком долго.

ГАЙ ЮЛИЙ. Будущее держит тебя в руках.

ЯСОН. Это я держу вас в руках, тебя и Капитана, да еще и кормлю вас.

ГАЙ ЮЛИЙ. Настанет день, когда вы все попадете в мои руки и тогда вы расплатитесь со мной как за ваши злодеяния, так и за ваше тупоумие. Запомни, что я сказал, и знай, что я всегда держу свое слово.

ЯСОН. Но сперва ты со мной рассчитаешься, (*пауза*) верно?

ГАЙ ЮЛИЙ. В этом можешь не сомневаться.

Расходятся.

Сцена пятая

Берег моря. Появляется Марция.

МАРЦИЯ. Хороши же они, ушли, а корзину с мидиями оставили мне. Тащи, Марция! Нечего ждать помощи от мужчин. То они пьяны и полагают, что все случилось во сне, а то и вовсе подвернут ногу... Эге, да это вроде парус, никак мой муж-жених возвращается... Э-эй...

Появляется Сципион.

СЦИПИОН. Я здесь, Марция, я вернулся.

МАРЦИЯ. А где же Марк, где мой муж-жених?

СЦИПИОН. Буря нас настигла вблизи Остии. Внезапно налетел шквал, суденышко наше перевернулось, Марк утонул, я же с письмом за пазухой еле выплыл.

МАРЦИЯ. Значит, Марк утонул?

СЦИПИОН. Нашел приют в морской пучине.

МАРЦИЯ. Что ж теперь будет со мною?
Осталась теперь я одна
На пустынном морском берегу...

СЦИПИОН. Эге, Марция, да ты никак заговорила стихами...

МАРЦИЯ. Твой Гай Юлий прожужжал нам стихами все уши...

СЦИПИОН. Не говори мне о своих ушах, я сам не свой становлюсь.

МАРЦИЯ. Что ж плохого в моих ушах, мне так они очень нравятся.
А тебе?

СЦИПИОН. Они мне снились много раз в лодке, когда мы плыли в Остию.

МАРЦИЯ. Оттого ты и вернулся? Или ты вернулся к своему хозяину?

СЦИПИОН. Сюда идут. Поговорим позднее.

МАРЦИЯ. В роще, под большим деревом.

СЦИПИОН. Я согласен.

МАРЦИЯ. Тогда прощай.

СЦИПИОН. Прощай.

Марция подхватывает корзину с мидиями и убегает. Появляются Ясон, Гай Юлий и Капитан.

Какая, однако, красавица, ты поступил правильно, Сципион.

ЯСОН. Откуда ты?

СЦИПИОН. Из Милета. Выкуп у наместника. Он будет доставлен на борт «Прекрасной Марции», когда она появится на рейде в сопровождении нашей «Калиопы». Далее мы обменяем Гая Юлия на таланты с «Прекрасной Марции». Все пойдет по предложенному тобой плану. Галеры наместника будут предварительно отведены в другую гавань

ЯСОН. А где же Марк?

СЦИПИОН. Буря настигла нас вблизи Остии. Внезапно налетел шквал, суденышко наше перевернулось, Марк утонул, я же с письмом за пазухой еле выплыл.

ГОЛОСА. Он врет! Смерть ему! И остальным! Тебя обманывают, Ясон!

ЯСОН. Ты слышишь?

СЦИПИОН. Слышу.

ЯСОН. Что скажешь?

СЦИПИОН. Поручой моя жизнь, я готов остаться здесь до вашего возвращения.

КАПИТАН. Однако...

ЯСОН. Чего стоит твоя жизнь?

СЦИПИОН. У меня нет ничего, кроме моего тела и моей жизни. Когда ты вернешься, я обрету полную свободу. Я — вольноотпущенник Гая Юлия.

ЯСОН. Ты подтверждаешь это, Гай Юлий?

ГАЙ ЮЛИЙ. Он говорит правду.

ЯСОН. Я верю тебе. Пятьдесят талантов наши. Отныне мы все свободны и богаты. Готовимся к отплытию. Ты, что кричал громче всех, отпавишься в Милет и отведешь их галеры в известное нам место, откуда подашь условленный сигнал. Мы проследуем мимо с пленниками на рейд Милета. Ты, Сципион, останешься с нами — если Гай Юлий оценивает свою жизнь в пятьдесят талантов, он не допустит, чтоб за нее расплатились жизнью, что стоит лишь нескольких грошей. Я прав, Гай Юлий?

ГАЙ ЮЛИЙ. Ты хитрая bestия, Ясон.

ЯСОН. Мы уже потеряли одного товарища...

Ясон уходит.

ГАЙ ЮЛИЙ. Что в Риме, Сципион?

СЦИПИОН. Рим только и говорит, что о тебе и пятидесяти талантах. Поступок, достойный внука великого Мария.

ГАЙ ЮЛИЙ. Значит, выкуп доставлен?

СЦИПИОН. Выкуп в Милете.

КАПИТАН. Значит, сегодня будет знатный обед. Ты привез вина?

СЦИПИОН. Привез пару амфор милетского. И кое-какую провизию.

КАПИТАН. Отлично. Пойду-ка я искупаюсь. Сегодня жарко. Хвала тебе, Гай Юлий. Выходит, ты действительно не врешь. Приглашаю и тебя поплавать.

ГАЙ ЮЛИЙ. Чуть позже, Капитан.

Капитан уходит.

Итак, ты готов рискнуть своей жизнью ради меня?

СЦИПИОН. Как видно боги этого хотят.

ГАЙ ЮЛИЙ. А мне сдается, ты хотел сюда вернуться.

СЦИПИОН. Мне подобает быть рядом с тобой в час испытаний.

ГАЙ ЮЛИЙ. Тогда раздевайся, пойдешь со мной плавать... Видишь, я с костылем хожу...

СЦИПИОН. Но я...

ГАЙ ЮЛИЙ. Знаю, ты не умеешь плавать. Что же ты сделал с Марком?

СЦИПИОН. Я выбросил его за борт во время бури в виду Остии.

ГАЙ ЮЛИЙ. Выходит, став свободным, ты тут же убил человека?

СЦИПИОН. Пирата, Гай Юлий.

ГАЙ ЮЛИЙ. Того, что со своей стороны обещал тебе свободу.

СЦИПИОН. Свобода, дарованная тобой, дороже.

ГАЙ ЮЛИЙ. Не ради этого ты его убил. Все дело в Марции?

СЦИПИОН. Не знаю, может быть. Это решение пришло ко мне внезапно.

ГАЙ ЮЛИЙ. Говоря попросту, подвернулся случай.

СЦИПИОН. Разве свободный человек не должен воспользоваться случаем?

ГАЙ ЮЛИЙ. Должен. Ты, верно, прикинул, какой куш достанется Марку?

СЦИПИОН. Я люблю Марцию.

ГАЙ ЮЛИЙ. Тогда я могу выбросить свой костыль...

Появляется Капитан.

Ты свободен, Сципион, можешь идти куда пожелаешь...

СЦИПИОН. Я пойду в рощу, она ждет меня под большим деревом...

Сципион уходит.

КАПИТАН. Я отлично искупался, не пора ли нам пообедать, как ты полагаешь? Дым доносит вкусные запахи и возбуждает мой аппетит. К тому же Сципион привез вина из Милета. Сколько раз я его пил... Вино, что может быть лучше вина? Все остальное изменчиво и ненадежно как море, поверь старому морскому волку, Гай Юлий. В конце концов, мы здесь неплохо отдохнули. Когда вино закончилось, я был даже рад, надо иногда подумать и о здоровье. В конце концов, у меня есть семья... Плаваешь, мотаешься по морям,

зарабатываешь крохи, а эти убийцы, гляди, и заработали славный куш... Отчего ты пожелал заплатить им такую сумму, Гай Юлий?

ГАЙ ЮЛИЙ. Я полагаю, что стою того.

КАПИТАН. Тебе придется доказать это, иначе ты здорово повеселишь Рим.

ГАЙ ЮЛИЙ. Я попробую.

КАПИТАН. Я знаю, ты не врешь. Удачи тебе. Обед, по-моему, подгорает.

ГАЙ ЮЛИЙ. Я догоню тебя.

Капитан уходит.

Рубикон перейден, Сципион прав, свободный человек должен воспользоваться случаем...

Что посулишь мне теперь,
Ты, винноцветное море?
Выйду на берег чужой
В рубище? Нищий? Нагой?

В ответ звучат голоса Ясона и других...

ЯСОН. Слава, слава Гаю Юлию! Ну, кричите, слава!

КРИКИ. Слава! Хвала Гаю Юлию!

ЯСОН. Ну же, хвала Гаю Юлию, пожелавшему заплатить самый большой выкуп в истории!

Сцена шестая

На берегу моря появляется Марк.

МАРК. Э-эй, э-эй...

Появляется Марция.

МАРЦИЯ. Марк? Откуда ты? Ты жив?

МАРК. Как видишь.

МАРЦИЯ. Откуда ты? Я уж оплакала тебя...

МАРК. Вместе с этой харей? Сципионом? Принеси мне лучше воды.

МАРЦИЯ. Сейчас. Вот вода. Так ты спасся?

МАРК. Как видишь. Славно ты с ним спелась...

МАРЦИЯ. Я?

МАРК. "Ушки твои, ушки, Марция" — бормотал он во сне, а откуда ему знать? Еще воды... А где все остальные?

МАРЦИЯ. Вчера вернулся Сципион, деньги уже в Милете, вот все и перепились. А начали с того, что помянули тебя...

МАРК. Так он здесь?

МАРЦИЯ. А где ж ему быть?

Появляется Сципион.

МАРК. Пойди-ка сюда, любезнейший.

СЦИПИОН. Марк?

МАРК. Отчего это руль выскочил у тебя из рук?

СЦИПИОН. Случайно, Марк, поверь, я ведь не мореход.

МАРК. А когда я вылетел за борт, отчего не пытался спасти меня?

СЦИПИОН. Я потерял тебя из виду, пытаюсь совладать с рулем и парусами.

МАРК. Так. И что же, добрался ты до берега?

СЦИПИОН. Да, Марк.

МАРЦИЯ. Вот вода, Марк.

МАРК. погоди. И выполнил поручение хозяина?

СЦИПИОН. Выполнил. Деньги уже в Милете.

МАРК. Так ведь ты свободен? Отчего ж ты сюда вернулся?

СЦИПИОН. Что ж мне было делать, по-твоему?

МАРК. Нож у тебя есть? Нет? Держи, у меня их два...

В ходе короткой схватки Марк убивает Сципиона.

МАРЦИЯ. О! За что ты его?

МАРК. Чересчур он был прыток.

МАРЦИЯ. Но что ты скажешь Гаю Юлию?

МАРК. Ах ты, вертлюжка, при чем здесь Гай Юлий? Ведь он уже был свободным. Так кто он Гаю Юлию? Никто. Смотри-ка, он меня оцарапал... Он сам вернулся сюда... Сбегай за отцом. Пусть прихватит две кирки и лопаты, его надо схоронить и поживее...

МАРЦИЯ. Да, да...

Марция уходит.

МАРК. Так вот, дружище Сципион, сейчас мы тебя оттащим, прикроем чем-нибудь, да и лежи себе спокойно, а я, пожалуй, чуть передохну... Принесут лопаты, выкопаем яму и делу конец. То, что начато, следует довести до конца, да, устал я...

Ложится. На берегу появляется Капитан.

КАПИТАН. Великий Зевс, сколько же вчера было выпито, пожалуй, надо искупаться. Ба, Марк, ты ли это, или мне чудится?

МАРК. Я.

КАПИТАН. Ты из Ада?

МАРК. Там я еще не бывал.

КАПИТАН. Так ведь ты утонул.

МАРК. Не до конца.

КАПИТАН. Ничего не пойму. Выходит, ты спасся?

МАРК. Стало быть, так. Я выплыл и нанялся матросом на одну старую посудину до Милета. А уж оттуда сюда на дырявой лодке.

КАПИТАН. Тебя видно любят боги. Вон идет Гай Юлий. Опять будет говорить, что я не достоин быть римлянином. Пойду искупаюсь.

ГАЙ ЮЛИЙ. Куда ты, Капитан?

КАПИТАН. Хочу окунуться, сегодня отпываем.

ГАЙ ЮЛИЙ. Будь поосторожней с медузами. Береги глаза.

КАПИТАН. А ты?

ГАЙ ЮЛИЙ. Я догоню тебя, Капитан. Не мешкай.

Замечает Марка.

МАРК. Привет тебе, Гай Юлий, братец.

ГАЙ ЮЛИЙ. И тебе привет, неудачник.

Марк вскакивает.

МАРК. Отчего это ты меня так называешь?

ГАЙ ЮЛИЙ. Тебе не повезло, я полагал, ты утонул...

МАРК. А о себе ты подумал, братец?

ГАЙ ЮЛИЙ. Я прихватил с собой нож. Начинай...

Дерутся. Марк убит.

Самое время искупаться.

Появляется Ясон с лопатами.

Э-эй, да это Ясон... Ты принес лопаты?

ЯСОН. Ну да...

ГАЙ ЮЛИЙ. Вот они-то нам и нужны.

ЯСОН. Но какого черта?

ГАЙ ЮЛИЙ. По-моему, он давно уже всем надоел. Я полагаю, этого достаточно. Вчера вы пили за упокой его души, теперь пора его похоронить. В твоих же интересах поспешить, Ясон. Тебе же больше достанется.

ЯСОН. Помогите мне его оттащить.

Оттаскивают тело Марка.

ГАЙ ЮЛИЙ. Капитан вылезет из воды и поможет тебе. Колай одну могилу, братскую.

ЯСОН. Ты ведешь себя как хозяин.

ГАЙ ЮЛИЙ. Так ведь я плачу деньги, и немалые. А я пойду, искупаюсь. Я вспотел и весь в грязи.

ЯСОН. Будь ты проклят.

ГАЙ ЮЛИЙ. Деньги так просто не даются, пора б тебе знать это.

ЯСОН. Оставляешь мне всю грязную работу?

ГАЙ ЮЛИЙ. Со своей частью я уже покончил.

ЯСОН. А Марция, что с ней будет?

ГАЙ ЮЛИЙ. Я о ней позабочусь.

Гай Юлий уходит к морю, Ясон копает могилу, а на берегу появляется Марция, растягивает веревку и развешивает свои наряды.

МАРЦИЯ. Ну как?

ЯСОН. Копаю, как видишь.

МАРЦИЯ. Бедняги, зачем только они сюда вернулись...

ЯСОН. Да, не повезло им. *(Вздыхает.)* Как тяжела жизнь...

Появляется Капитан. Смотрит на трупы.

КАПИТАН. Ну что ж, на земле для них все окончено. А в Элизиуме, кто знает?.. Ну а мы сегодня отплываем, паруса в полном порядке, все утро я провел на борту «Прекрасной Марции», до чего же славный бриг, я по нему соскучился...

МАРЦИЯ. Вот бы и нам, отец, уплыть отсюда...

ЯСОН. Кое-кто останется здесь навсегда... Уф, я устал...

МАРЦИЯ. Уехать отсюда навсегда...

ЯСОН. Скоро уже...

КАПИТАН. Скоро уже, Марция... Постой, откуда у тебя это платье...

МАРЦИЯ. От матери досталось... Я и не носила его... Проветрю его, постираю, просушу, да и складываю снова... Некуда их одевать, эти платья.

КАПИТАН. А как её звали?

МАРЦИЯ. Марция, как и меня... Она ведь умерла, когда я родилась...

ЯСОН. Помоги-ка мне, Капитан.

Перетаскивают трупы в могилу и закапывают их.

КАПИТАН. Ну, все...

ЯСОН. Давно это было, Капитан... Я молод был тогда, силен, дерзок. Мы тогда грабили Остию... Юношей и девушек уводили в плен и везли на Восток, на невольничьи рынки... Мать её до того мне понравилась, что я разрешил ей взять с собой платья и украшения... Товарищи кричали мне: «Скорей, Ясон! Время не ждет!» — а я стоял и ждал, пока она соберется... Клянусь богами, она сразу меня полюбила... Много времени прошло с тех пор...

КАПИТАН. Так ты, выходит, дочь латинянки?

МАРЦИЯ. Да, Капитан. Я тебе нравлюсь?

Капитан внимательно смотрит на Марцию.

КАПИТАН. Нам, Марция, пора уже в путь. Видишь, сколько парусов в гавани?

ЯСОН. Мы отплываем с вечерним бризом...

КАПИТАН. Так что прощай, Марция, желаю тебе счастья...

МАРЦИЯ. Прощай, Капитан.

ЯСОН. Будь умницей, дочь, я скоро вернусь...

Капитан и Ясон уходят. Марция смотрит им вслед, оглядывает платья под набирающим силу ветром, чертит на песке хворостиной, замечает рисунок ступней и вспоминает стихи Гая Юлия.

МАРЦИЯ. Что ты теперь мне сулишь,
О винноцветное море?
Волны, шепните мне весть,
Перед тем как в песке утонуть...

Сцена седьмая

Остерия на набережной в Милете.

Вечер. Подвыпивший Капитан и голоса собутельников.

ГОЛОСА. А я верю! Говори, Капитан! Рассказывай! Ну, дальше, дальше... Выпей еще и рассказывай...

КАПИТАН. Так вот, говорю я вам, так я ему и сказал, смотри, посмеется над тобой Рим, Гай Юлий. Он усмехнулся. Этот парень пойдет далеко, это я вам говорю, а я кое-что повидал...

ГОЛОС. Ну и что дальше?

КАПИТАН. Они получили свои пятьдесят талантов...

ГОЛОСА. Ну и деньги! Бывает же такое...

КАПИТАН. Но уже к вечеру наместник предоставил в распоряжение Гая Юлия галеры и солдат, и мы вновь поплыли на остров...

ГОЛОС. Ищи ветра в поле. Выпьем, Капитан!

КАПИТАН. За вас, друзья, как же я рад снова очутиться на этой набережной, хотя, по правде сказать, я недурно отдохнул на острове... Итак, ваше здоровье!

ГОЛОСА. Твое здоровье, Капитан!

КАПИТАН. Все были пьяны. Не успели они шевельнуться, как их связали и распихали по трюмам, вот и всё.

ГОЛОС. А пятьдесят талантов?

КАПИТАН. В целости и сохранности лежат у наместника. Все как один, до последней сестерции... Вот так.

ГОЛОС. Бедняги... Да уж, случай из ряда вон...

КАПИТАН. Да уж поверьте, всё было именно так. Хвала Гаю Юлию...

ГОЛОС. Значит, всё до последней сестерции?

КАПИТАН. И все сидят в тюрьме, в городской тюрьме. Честно говоря, они к нам неплохо отнеслись...

ГОЛОСА. Да, чего не бывает... Время позднее, пора расходиться... Ты куда, Капитан?

КАПИТАН. К полуночи за мной придет лодка с "Прекрасной Марции", она на рейде... Утром снимаемся, пора и честь знать...

ГОЛОС. И куда?

КАПИТАН. Снова в Остию, груз уже на борту...

ГОЛОСА. Прощай, Капитан, попутного тебе ветра...

КАПИТАН. Прощайте, друзья... О, да я шатаюсь... Посижу-ка я лучше здесь.

ГОЛОСА. До встречи, прощай...

Капитан устраивается поудобней и засыпает, положив голову на стол. Несколько спустя на берегу появляется Гай Юлий. Он усаживается рядом с Капитаном и прислушивается к мелодии, доносящейся из мглы летней ночи. Капитан просыпается.

КАПИТАН. А, это ты, герой?

ГАЙ ЮЛИЙ. Отчего ты не пошел на прием к наместнику?

КАПИТАН. Прием был в твою честь... Я тут посидел с друзьями. Люблю Милет. Слышишь эту песню? Её пела Марция, там, на острове...

ГАЙ ЮЛИЙ. Да, здесь неплохо. Наконец-то принял ванну со всеми удобствами. Здесь, на Востоке, любят пожить в свое удовольствие.

КАПИТАН. А что еще остается? Все проходит. Сегодня ты наверху, а завтра тебя прикончат твои же союзники. Так не лучше ли брать от жизни то, что можно?

Пауза

Становится прохладно...

ГАЙ ЮЛИЙ. Так ты скоро отплываешь?

КАПИТАН. Да. Я расскажу обо всем в Риме. О тебе будут говорить на каждом углу. Везде, на Форуме и в харчевнях. Ты доволен?

ГАЙ ЮЛИЙ. Не совсем. Я обещал Ясону распять его.

КАПИТАН. И что же?

ГАЙ ЮЛИЙ. Я должен выполнить свое обещание.

КАПИТАН. Ты с блеском выпутался из этой истории, зачем это тебе?

ГАЙ ЮЛИЙ. Я не бросаю слов на ветер.

КАПИТАН. Начинается вечерний бриз. Скоро за мной придет лодка. Ну а ты, по-моему, просто хочешь доказать Риму, чего ты стоишь.

ГАЙ ЮЛИЙ. Наместник против казни.

КАПИТАН. Еще бы...

ГОЛОС. Не вижу, дорогой Гай Юлий, никакой необходимости изменять в данном случае столь суровые меры. Купцы моей провинции выплачивают пиратам дань, и те никогда не нападают на их корабли. Вам просто не повезло.

ГАЙ ЮЛИЙ. Но ведь это сговор с преступниками.

ГОЛОС. Да, это так. Но война с ними стоила бы намного дороже. Да и после всякой войны разоренные жители снова идут в пираты.

ГАЙ ЮЛИЙ. Тогда скажи мне, как быть с достоинством государства?

ГОЛОС. Для сохранения мира и всеобщего благосостояния государство может без ущерба для своего достоинства улаживать свои споры дипломатическим путем... Сегодня вечером я уезжаю, а как приеду, пущу в ход законную процедуру...

ГАЙ ЮЛИЙ. Вот и все, что он мне сказал...

Капитан встает и потягивается.

КАПИТАН. Ну что ж, все это достаточно разумно.

ГАЙ ЮЛИЙ. Бьюсь об заклад, их распнут утром следующего дня.

КАПИТАН. С тобой опасно спорить, Гай Юлий, но я готов остаться здесь на денек-другой посмотреть, что из этого выйдет. Если ты проигра-

ешь, оплатишь мне стоимость простоя и жалованья команде за эти дни. Согласен?

ГАЙ ЮЛИЙ. Принимаю твои условия.

КАПИТАН. Тогда по рукам.

ГАЙ ЮЛИЙ. По рукам.

Появляется Марция.

МАРЦИЯ. Вы что же, прощаетесь?

КАПИТАН. Да ты никак в своем лучшем платье, Марция.

ГАЙ ЮЛИЙ. И ты здесь, Марция?

МАРЦИЯ. Меня привезли рыбаки. А ты навеселе, Капитан?

КАПИТАН. Я римлянин, хозяин мира, могу и выпить.

ГАЙ ЮЛИЙ. Чего ты здесь ищешь, Марция?

МАРЦИЯ. Все пошло прахом, Гай Юлий. Жены, дети, старики — все кто остались на острове, смотрят на меня как волки. Все проклинают моего отца и тебя, Гай Юлий. Что мне там делать? Я собрала свои тряпки и бросилась сюда, должна же быть на свете какая-нибудь справедливость. Я хочу увидеть отца, Гай Юлий. Помогите мне.

ГАЙ ЮЛИЙ. Завтра после полудня приходи к тюрьме. Прощайте.

Гай Юлий уходит.

МАРЦИЯ. Что их ждет, Капитан?

КАПИТАН. Думаю, ничего хорошего.

МАРЦИЯ. Не хочешь говорить?

КАПИТАН. Пока я не могу сказать ничего точно, но речь Гая Юлия о борьбе с морским разбоем на приеме у наместника имела успех.

МАРЦИЯ. О боги, да он всем на острове надоел своими речами.

КАПИТАН. Он не из тех, кто на этом останавливается. Помнишь, Сципион хвастал, что разделался с Марком, ну а этот парень, Гай Юлий, не бросает слов на ветер.

ГОЛОС. Капитан, шляпка подана.

КАПИТАН. Отправляйтесь на корабль, мы задерживаемся еще на сутки. Завтра вечером в это же время я буду здесь.

ГОЛОС. Хорошо, Капитан.

МАРЦИЯ. Так ты уезжаешь?

КАПИТАН. Если завтра начнут сколачивать кресты на горе, то я уеду. Домой, в Остию. У меня там старуха-мать. Хороший винный погреб в доме. Друзья во всех портовых кабаках, кое-какие подружки, похожие на тебя, Марция.

МАРЦИЯ. Кресты на горе?

КАПИТАН. Да, кресты.

МАРЦИЯ. Но ведь раньше...

КАПИТАН. Новые времена, Марция... Вернее, все это когда-то уже было, но теперь все может начаться сначала.

МАРЦИЯ. А мы думали о бочках для маслин.

КАПИТАН. Время позднее. Пойдем, дочка, попробуем отыскать себе ночлег. Тебе ведь после полудня надо придти к тюрьме.

МАРЦИЯ. Я убью его.

КАПИТАН. Пойдем-ка спать. Доживем до завтра... пойдем, Марция, пойдем... И обещай, что не наделаешь глупостей... Обещаешь?

МАРЦИЯ. Хорошо, Капитан...

Уходят.

Сцена восьмая

В канцелярии тюрьмы. Гай Юлий и однорукый Комендант.

КОМЕНДАНТ. Привет тебе, Гай Юлий.

ГАЙ ЮЛИЙ. Рад видеть настоящего римлянина в этих краях. Отчего ты не был вчера у наместника?

КОМЕНДАНТ. Я потерял одну руку в сражениях, но сохранил ясную голову, а здесь, на Востоке, это не всем по вкусу.

ГАЙ ЮЛИЙ. Ты сражался под знаменами Помпея?

КОМЕНДАНТ. Я был его правой рукой.

ГАЙ ЮЛИЙ. Так ты Комендант?

КОМЕНДАНТ. Он самый.

ГАЙ ЮЛИЙ. Старая гвардия, опора Рима.

КОМЕНДАНТ. Теперь сторожу заключенных.

ГАЙ ЮЛИЙ. К завтрашнему дню их число должно поубавиться. Плотники в крепости есть?

КОМЕНДАНТ. Имеются.

ГАЙ ЮЛИЙ. Надо сколотить кресты по числу пиратов и распять их.

КОМЕНДАНТ. Всех?

ГАЙ ЮЛИЙ. Всех.

КОМЕНДАНТ. Распорядиться о смертной казни должен наместник.

ГАЙ ЮЛИЙ. Я получил на это полномочия от Суллы.

КОМЕНДАНТ. У тебя есть подписанные бумаги?

ГАЙ ЮЛИЙ. Мне пришлось их уничтожить, когда нас брали на abordаж. Пусть приведут сюда Ясона.

КОМЕНДАНТ. Введите Ясона.

Появляется Ясон.

ГАЙ ЮЛИЙ. Как поживаешь, Ясон?

Ясон молчит.

Хорошо. Можешь ты, Ясон, припомнить, что я сказал в твоём присутствии, когда речь зашла о пятидесяти талантах? «Пятьдесят — это огромная сумма», — сказал Капитан, — «их могут не собрать, а это опасно». «Тогда пусть Сулла доплатит», — ответил я. Ты помнишь?

ЯСОН. Так и было, будь ты проклят.

ГАЙ ЮЛИЙ. Далее, помнишь ты речь о язве морского пиратства, что начиналась словами: «Достоchtigый сенат и граждане Рима...»

ЯСОН. Тебя удушить следовало, а не слушать твои бездарные речи...

ГАЙ ЮЛИЙ. Ты вдоволь посмеялся над ними. Говорил я тебе, что будущее держит тебя в руках?

ЯСОН. Это я держал тебя в руках, да еще и кормил.

ГАЙ ЮЛИЙ. Верно, так ты и ответил. Тогда же я сказал тебе следующее: «Настанет день, когда вы все попадете в мои руки и тогда вы расплатитесь со мной как за ваши злодеяния, так и за ваше тупоумие. Запомни, что я сказал, и знай, что я всегда держу свое слово».

ЯСОН. Мне следовало придушить тебя.

ГАЙ ЮЛИЙ. Пусть его... уведут.

КОМЕНДАНТ. Выведите его.

Ясон уходит.

ГАЙ ЮЛИЙ. Полагаю, Комендант, что тебе как солдату, чья воля служит основой государству, вполне достаточно того, что ты увидел. Я не собираюсь перекладывать ответственность на чьи-либо плечи.

КОМЕНДАНТ. Твоя совесть тому порукой, Гай Юлий?

ГАЙ ЮЛИЙ. Я всегда выполняю свои обещания, Комендант.

КОМЕНДАНТ. Что ж, я отдам распоряжение плотникам. Солдаты и стража в твоём распоряжении.

ГАЙ ЮЛИЙ. Прощу тебя об одном. Разреши Ясону свидание с дочерью. Она ждет у тюрмы.

КОМЕНДАНТ. Не возражаю. Приведите Ясона.

Появляется Ясон.

ГАЙ ЮЛИЙ. Завтра ты и твои товарищи будете распяты. Но я решил быть снисходительным по отношению к вам за то, что вы хорошо обращались со мной, пока я был в неволе. Мне было бы неприятно думать, что, умирая, вы сочтете меня жестоким. Я всего лишь исполняю свой долг.

Я прикажу, чтоб вам всем перерезали вены, как только вы окажетесь на кресте... А сейчас ты увидишься со своей дочерью. Марция здесь.

ЯСОН. Своей смертью ты не умрешь. Тебя зарежут как собаку.

Ударом ноги в живот Комендант заставляет Ясона замолчать.

ГАЙ ЮЛИЙ. До завтра, Комендант.

Гай Юлий уходит.

КОМЕНДАНТ. Жди здесь. Сейчас приведут твою дочь.

Комендант уходит.

Сцена девятая

Остерия на набережной в Милете.

Капитан и Гай Юлий.

КАПИТАН. Что ж, ты выиграл, не спору, весь город знает, что во дворе тюрьмы сколачивают кресты. Надеюсь, ты не откажешься выпить со мной. Я угощаю, как проигравший. С вечерним брызгом я снимаюсь с якоря. Так ты выпьешь?

ГАЙ ЮЛИЙ. Охотно. Ты говорил, здесь отличные устрицы?

КАПИТАН. Сейчас их принесут. Славное местечко. Его называют «Пьяная устрица». Твое здоровье.

ГАЙ ЮЛИЙ. Твое здоровье, Капитан. Когда все кончится, я отплыву на Родос. Там живет Аполлоний, лучший учитель риторики.

КАПИТАН. Риторика? За красное словцо!

ГАЙ ЮЛИЙ. Будь здоров!

КАПИТАН. Говорят, ты сослался на полномочия, полученные от Суллы.

ГАЙ ЮЛИЙ. Славное вино, Капитан, да и устрицы хороши. Свежие и жирные. А разве свободный человек не вправе воспользоваться случаем? Так мне сказал однажды мой раб Сципион. Но он часто путал действительность и сны. Мне жаль его, он был мне предан.

КАПИТАН. Действительность и сны? А как ты их различаешь? Бывают ведь и вещие сны.

ГАЙ ЮЛИЙ. Никогда об этом не думал. Я их различаю, вот и все. Успешного тебе плаванья...

Прислушивается к песне, звучащей где-то вдали.

Слышишь, Капитан?

Между тем в остерии появляется Марция. Гай Юлий встает с чашей в руке.

Каждый раз, когда я услышу эту песню, я буду вспоминать наше путешествие и наш плен. Подними голову от стола, Капитан, разве не стоит выпить за это морское приключение?

Марция подходит к Гаю Юлию сзади и бьет его ножом. Нож натывается на кольчугу и вылетает из рук Марции.

КАПИТАН. Марция...

ГАЙ ЮЛИЙ. Марция? *(Смеется.)* Сегодня я одел кольчугу под одежду, меня ведь уже не защищают пятьдесят талантов.

МАРЦИЯ. Несчастливая я... Ну что может сделать слабая женщина?

Опускается на пол.

Горе мне, горе...

КАПИТАН. Сядь, Марция, выпей вина...

ГАЙ ЮЛИЙ. Я обещал твоему отцу позаботиться о тебе. Вот документ, я подготовил его сегодня утром. Ты будешь получать пенсию из моих средств, такую, как если бы ты потеряла трех моряков, находившихся на службе у Рима.

Передает документ Марции.

МАРЦИЯ. А остальные?

ГАЙ ЮЛИЙ. Я всего лишь частное лицо. Прощай, Марция. Прощай, Капитан.

Уходит.

КАПИТАН. Прощай. Зачем ты это сделала? Ты ведь обещала мне...

МАРЦИЯ. Я хотела убить его, должна же я была что-то сделать.

КАПИТАН. Тебе надо уехать отсюда...

МАРЦИЯ. Куда? Завтра здесь убьют моего отца. Я должна похоронить его.

КАПИТАН. Что ж, я могу задержаться еще на день. Скоро сюда придет лодка, и я могу отправить её обратно... «Прекрасная Марция» ждет меня на рейде.

МАРЦИЯ. С какой стати? На что я тебе сдалась?

КАПИТАН. Когда-то в молодости я любил в Остии девушку, её звали Марция, как тебя, потом она исчезла... а я в то время воевал в Египте... Сдается мне, она была твоей матерью...

МАРЦИЯ. Моряки умеют красиво врать...

КАПИТАН. Схожу-ка я лучше за вином. У меня чаша пустая. А ты подумай...

Капитан уходит за вином. Марция тянется к своей чаше, покачивается, глядя в неё, отпивает вино и оттирает слезы.

Издали доносится прежняя мелодия, наступает вечер...

Капитан с кувшином вина не торопится возвращаться.

Он отходит в сторону, отпивает вино и что-то бормочет, потом говорит громче...

Ну и дела...

ГОЛОС. Да, история забавная...

КАПИТАН. Ты здесь, Гай Юлий?

ГАЙ ЮЛИЙ. Да. Сижу и думаю.

КАПИТАН. О чем, разве тебе не все ясно в этой жизни?

Появляется Комендант.

КОМЕНДАНТ. Ты здесь, Гай Юлий? Привет тебе.

ГАЙ ЮЛИЙ. Привет, Комендант.

КОМЕНДАНТ. Пришлось все закончить без тебя, Гай Юлий. Дело сделано.

КАПИТАН. Какое?

КОМЕНДАНТ. Родственники заключенных обратились к наместнику и он решил немедленно вернуться в Милет. Я не стал дожидаться его возвращения и решил довести дело до конца. Я солдат и не люблю разводить дипломатию. Мои солдаты выводили их по одному во двор тюрьмы... Сейчас они копают могилы на кладбище. Много работы, до завтра все нужно закончить. Дай вина.

Отхлебывает вино из кувшина.

Мне надо возвращаться. А тебе, Гай Юлий, лучше исчезнуть. Пока, на время. Поезжай в другую провинцию. Ты ведь собирался учиться риторике. И можешь всегда рассчитывать на мою поддержку. Ты достоин своих великих предков. Прощайте.

Комендант уходит.

ГАЙ ЮЛИЙ. Прощай, Комендант.

КАПИТАН. Трупы. Много трупов...

ГАЙ ЮЛИЙ. Это трупы преступников. Поверь, Капитан, мне жаль их. Как людей. Каждый из них был отцом семейства или чьим-то сыном. Они к нам неплохо относились. Мне жаль их. Но они проиграли. Я должен был сделать это. Наше будущее держит нас в руках. И я тоже поставил свою жизнь на карту.

КАПИТАН. Ради чего?

ГАЙ ЮЛИЙ. Ради будущего. Это честная игра.

КАПИТАН. Попробуй объяснить это Марции. И остальным...

ГАЙ ЮЛИЙ. Нет времени, Капитан. Мне надо исчезнуть. Временно. Отвези меня на Родос.

КАПИТАН. К учителю риторики?

ГОЛОС. Капитан, шлюпка подана.

КАПИТАН. Завтра я отшываю в Остию. Я дал слово. Кому, не имеет значения. Но мои матросы могут вывезти тебя на рейд. Если ты посулишь хорошие деньги, кто-нибудь отвезет тебя на Родос.

ГАЙ ЮЛИЙ. Я предпочел бы поплыть с тобой.

КАПИТАН. Я дал слово. Ты доплывешь до шлюпки?

ГАЙ ЮЛИЙ. Да. Прощай, Капитан.

ГОЛОС. Капитан, шлюпка подана!

Гай Юлий уходит.

КАПИТАН. Прощай. *(Кричит.)* Эй, на шлюпке!

ГОЛОС. Да, Капитан!

КАПИТАН. Примете на шлюпку человека. Он уже плывет к вам. Это Гай Юлий. Он скажет вам, что делать. Все поняли?

ГОЛОС. Да, Капитан.

КАПИТАН. Так... *(отхлебывает вино.)* Вина у нас вдоволь. Дело сделано. Дело сделано... Послушай, Марция, давай-ка я налью тебе вина. Дай твою чашу. Хорошее вино, Марция. Здесь очень хорошее вино. Тридцать лет я плавал по морям, видел и плохое и хорошее. И штиты, и штормы, и кораблекрушения, и голод, и поножовщину. И мало ли что еще, но поверь мне: ни разу не видел я, чтобы добродетель приносила человеку хоть какую-нибудь пользу. Прав тот, кто ударит первый. Мертвые не кусаются. Вот и вся моя вера. Выпей вина. Оно всегда помогает. Будь здорова.

МАРЦИЯ. Будь здоров, Капитан.

КАПИТАН. Да, вино отличное. Я отказал Гаю Юлию. Я отказался вести его на Родос. А ты, что ты надумала, Марция?

МАРЦИЯ. Что я надумала? Я всего лишь женщина. Я — женщина...

КАПИТАН. Завтра отплываем. В море. Там, на рейде наша «Марция»...

МАРЦИЯ. Она угльывает, Капитан.

КАПИТАН. Угльывает? Моя «Марция»... Постой-ка, погоди...

Смотрит в море.

Ты права, «Марция» уходит...

МАРЦИЯ. Как же ты увезешь меня?

КАПИТАН. Он угнал мой бриг, Марция. Теперь я капитан без корабля. Самое время выпить, но я что-нибудь придумаю...

МАРЦИЯ. Моряки умеют красиво врать...

КАПИТАН. Но я действительно отказался везти его. Ты не веришь мне?

МАРЦИЯ. Откуда я знаю, чего ты хочешь на самом деле? Может быть, тебя прельстили деньги Гая Юлия? Или ты решил спасти его, потому что вы оба римляне? Или ты поверил в то, что он в конце концов добьется своего? Откуда мне знать? Может быть, ты когда-нибудь и любил... не знаю... Прощай, Капитан.

Марция уходит.

КАПИТАН. Прощай, Марция, я буду здесь. Запомни, остерия «Пьяная устрица»...

Капитан садится, отпивает вина и продолжает...

Зря, зря ты ушла... «Прекрасная Марция» вернется сюда, вернется и станет на рейде как раз против этой остерии...

Запомни, Марция, остерия «Пьяная устрица»...

Капитан засыпает, навалившись на стол, издали доносится прежняя мелодия, постепенно гаснут огни, на остерию опускается ночь.

КОНЕЦ

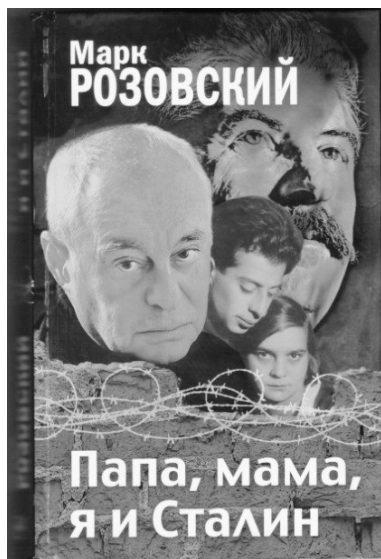


Михаил Юдсон

ПРИГЛАШЕНИЕ НА МАЛИНУ

**(Марк Розовский. Папа, мама, я и Сталин —
М.: Зебра Е, 2013 — 768 с.)**

По-разному эту книгу можно назвать: роман-пьеса, драма в письмах; но я бы сказал попросту, без затей, с грубой прямоотой старого рецензента — поразительная проза Розовского! Когда-то меня солженицынский «Иван Денисович» зачаровал нескончаемым морозным днем подневольных каменщиков, гематрией номеров: Щ-854 — оруэлловский 84-й в колонну по пять... Потом обрушились «Колымские рассказы» Шаламова («К.Р.» — как лагерная отметка контрика) — бездна отчаяния, ледяная безнадега. Позже «Прогулки вокруг барака» Губермана провели кругами бытового ада: там вергилиевы вериги уже не звенели кандално, а порой вызывали малиново про веру-надежду-любовь...



И вот недавно мне судьба послала (дотопал, видно, поэтапно) том Марка Розовского — знаменитого режиссера и, как оказалось, замечательного писателя. На обложке со стилизованной колючей проволокой, которая как детские рисунки, каракули человечков, сжато выражено содержание: «История любви и история разрыва. Человеческие судьбы, погружен-

ные в самое страшное время в истории человечества, эпицентр катаклизмов эпохи, несшей распад и гибель всему живому. Быть может, одна история из сотен тысяч. Одна из миллионов. И всегда единственная. Тщательно задокументированная и кошмарная в своей странной, внезапной неотвратимости. И пронзительно человеческая. Рассказанная автором подробно и предельно откровенно. Ибо всё, что кажется нам теперь далеко за пределами здравого смысла, за зыбкой гранью Добра и Зла, случилось с папой автора, его мамой и самим автором в то время, когда на вершине громадной горы под названием СССР величественно возвышался жестокий отец всех и вся — И.В. Сталин».

А потом я эту книгу прочитал, проглотил без малого восемьсот страниц («подлинность включает длину», замечает Розовский) — пресветлая печаль, благая весть от Марка! Не зря гласит подзаголовок: «Документальное повествование». Многолетняя переписка отца и матери — послания из лагеря и письма из дома, выбранные места из следственного дела отца (добыто автором в архиве органов) — шито, конечно, суровыми белыми нитками, по обычаю того времени. И все это в книге скреплено, соединено мостками детских воспоминаний Марка. Не того Марка Григорьевича Розовского, которого все мы знаем (это уже от отчима), а маленького Марика — Марка Семеновича Шлиндмана.

История вечной любви и разлуки молодых инженеров Семена Шлиндмана и Лидии Котопуло, комсомольцев-добровольцев, окончивших строительный институт в Москве и с энтузиазмом ринувшихся в Петропавловск-Камчатский, строить судоремонтный социализм вблизи огнедышащей сопки Ключевская. Третьего апреля 1937 года у счастливых родителей появился сын Марк, а третьего декабря того же дивного года отца арестовали. По бредовому, разнорядочно-привычному обвинению: «Будучи начальником планового отдела треста «Камчатстрой», как участник контрреволюционной право-троцкистской организации активно проводил подрывную работу, направленную на срыв строительства». Ну, чтоб прекратить запирательство и получить правдивые показания, развязать, так сказать, язык — сразу зубы выбили...

Кстати, о языке. Алексей Толстой утверждал, что язык его «Петра Первого» (воистину, великий-могучий-прекрасный) — это из «Пытошных записей» тогдашней Руси: живой, матерный, великорусский! А вот читаешь «Дело Шлиндмана» — и наваливается невероятная, запредельная тоска, абсурдно-серая камчатско-кафкианская канцелярщина, убогий слог протоколов допросов — вот откуда весь соцреализм вылутился! И лаконичное мужество главного персонажа дела: «Нет, не подтверждаю ни в коей мере»; «Категорически отрицаю»; «Этого никогда не было». Поток несознания, уход в несознанку — смелое противоборство с кошмарами обвинений, ночными демонами НКВД. Обломал он им малину, не сдался, не подвел себя под вышку...

Вчитываясь в Розовского, начинаешь всматриваться его глазами — и складывается пазл зла, возникает огромная страна без закона и заповедей, зона нравственной мерзлоты с колючкой по периметру, стахановски пахущая за кашу с баландой, оболваненный стан Пахана, кремлевская «малина», окруженная сплошными врагами народа, которых давно пора под нготь, дабы «не мешали строить социализм в одной, отдельно взятой за жопу стране».

Может, у меня излишне свободное прочтение, но почудилось, что у романа Розовского есть две ипостаси, пара параллельных измерений — свет и тьма. Свет — это любовь, папа и мама, их трогательные «достоевские» письма — бедные советские люди! Маточка моя!.. Тихие письма, объясняет Розовский, «потому что личные, а значит, сокровенные, в них все припрятано, таится и светится, светится и таится...»

Временами прорывающаяся ревность, слезы одиночества, наравне с регулярными просьбами прислать портянки, нитки, сухари «и, если можно, жиры и сахар». Выживание отца в сибирском лагере и бедствия матери, перебравшейся с Камчатки в московский подвал — это отдельная баллада, нескончаемый сериал. Тридцать одна копейка полагалась в день на заключенного: мол, вот вам, иуды, ваши сребреники с плюсом! И мама, хорошая девочка Лида, выбивалась из сил, рвалась изо всех своих жил — только бы любимый муж жил! Только бы вернулся к ней!

Увы, быть не сделалась сказкой — после долгих-долгих лет лагерей и ссылки Семен вернулся, но уже не к ней. «Та любовь, высокая и нежная, которую, был бы я поэтом, можно было бы воспеть... Эта любовь рано или поздно не могла не задрожать и не дрогнуть. Все, что чувственно, — не из железа и не из железобетона», — элегически вздыхает автор. Но на фотографии с обложки книги родители рядом — красивые и молодые, теперь уже навсегда. Это были светлые люди в темное время — почитайте их письма, всем советую, и вы полюбите Семена с Лидой, с их жадною жаждой радостного и доброго, и они оживут и будут обитать в вашей душе — и увидите вы, что это хорошо.

«Работаю крепко и много, очень устаю и перемерзаю. Но хорошо, что возвращаюсь с работы и попадаю в теплое светлое общежитие — оштукатуренный барак, нары вагонной системы, чисто и тепло». Эх, жисть-жестянка, разлюли-малина, сон золотой, советское кино! «Такое в Каннах не приснится, что снилось моему отцу в Канске!.. — пишет Розовский. — Реальность отступает — а это ведь только и нужно узнику». Красноярский край, кругом тайга да вохра — Краслаг. Не красна страна углами, а красна лагерями... А в Москве «мама вкальвала — брала на ночь какие-то чертежи и горбилась, переводя их в копии на огромных ватманах», зарабатывать на посылку мужу, ютятся по адресу: Петровка, 26, кв. 50. Хорошая квартира!

Марк Розовский, говоря о переписке родителей, отмечает скромно: «Конечно, это не литература». Еще какая!.. Давно я подобного не читал,

чтоб у меня, эмоционального скупца, среди страниц слезу вышибало! Мда, шибко трудно про эту книгу отзываться — тянет неустанно дифирамбы расточать, а ведь надо читателям и суть осветить. Придется на манер зошченковского монтера: «Пушай одной рукой поет, а другой свет зажигает!» В общем, пока не забыл, всем эту книгу рекомендую — очень очистительно для извилин, полезно для спасения организма.

Нельзя также забывать и об иосифо-виссарионычье, змей-горынычье, мрачной половине текста — шевели усищами, из щели эпохи выползает сам товарищ Сталин. Марк Розовский жанр своего романа определяет как «ненаписанная пьеса». А там, глядишь, и говорящая коробочка подоспеет!.. Что ж, книга-пьеса покамест соткалась потрясающая — копьём под сердце колет: «Проклинай игемона!» Для Розовского Сталин — абсолютное зло, библейских масштабов: «Если бы всю пролитую Сталиным и его прихвостнями кровь собрать вместе и спустить в Тихий океан, он вышел бы из берегов. Никогда в мировой истории человечества не было ничего подобного. Отныне Сталин становится титаном тирании, в сравнении с которой все инквизиции, все самые гигантские преступления против человечности меркнут как жалкие дилетантские попытки насилия». Да уж, известное дело — что ни казнь у него, то малина! Тома малины этой колочей закручены и завалены в погреба архивов — не разгребешь! Больно цифры большие, жуткие... Так и живем потихоньку, по Достоевскому: «Ко всему то человек привыкает!»

И вообще тяжко тащить бадью былого из колодца времени, как отменно описано Розовским: «Что-то гроыхнуло там, в отдалении, в глубине шваркнуло, грюкнуло, стукнуло чем-то обо что-то, зачерпнуло со всасывающим чмоком — и бадья медленно, натужно и напряженно полезла наружу, со скрипом, с лентой, но все-таки преодолевая собственную тяжесть, плеща излишки в разные стороны». Имплицитная цель моего, однако, множественного цитирования — показать вам замечательные особенности стиля Розовского, крепкий наст звукописи (поэт он, и хорей ему не чужд!), хотя, честно говоря, его текст сложно привычно тестировать (кисло-сладко-горько), ибо данная книга не выпечена из сдобного литературного теста, но явно вылеплена из глины жизни и судьбы.

Тьма окутывает нас при чтении многих и многих ее страниц, охватывают сомненья и грусть — может, именно такова Русь, природа вещей? И вечный зов — с вещами на выход? Безымянная яма Мандельштама, закатанный в общий ров Бабель, стигматичный гвоздь Цветаевой — нет Спасу, схарчило, съелабужило чудище обло! Какая там севрюжина с хреном и конституцией — куды!.. Тут обычные люди пьют чай, сидят и классически пьют чай со страхом — сорт называется «чефир». И всю дорогу смотрят киношку с рвущейся лентой, сплевывают шелуху, матерят непруху и с надеждой орут в будку: «Сапожник!..»

Это как в древнем анекдоте: « — Печень у вас здоровая... — Спасибо, доктор! — Да нет, в смысле размера... » Вот и Россия — страна здо-

ровая, в принципе, но государство-левиафан издревле гниет с головы. Сталин лишь стал персонификацией тоталитаризма, усатым тотемом. Эх, боюсь сэкклизиастить, но не будет, не будет ничего нового... И грядущий Джамбул так же примется брэнчать «Стих об Иосифе Прекрасном»: «Кому повем печаль мою? Ково призову ко рыданию?»

Набоков когда-то предложил методу истребления тиранов — смехом их, смехом! Марк Розовский признаётся, что его оторопь берет, когда он изучает упертую переписку отца с органами (вёрсты бумаг!) — чтобы ему вернули пропавшие при аресте одеяло шерстяное — 1 шт. и манную крупу. А мне очень понравилось — тут Кафка, тут как тут! Тянет одеяло на себя! Подполковник госбезопасности рапортует в конце концов, что одеяло будет возвращено, а вот крупа, увы... Ну, крысы же!

Напослед еще одно послание от Розовского: «Дело, конечно, не в Сталине, а в сталинщине... Сталинщина — та самая сатанинская сила зла, сделавшая людей послушным стадом баранов, не желающих знать правду о себе и продолжающих эту правду или скрывать, или атаковать». Кто-то скажет — а, тоже мне откровение, с баранами это он перегнул, сегодня мы чаще жуем мягкую жвачку про «эффективного менеджера» и мычаще тоскуем по Благодетелю, уставясь на новые ворота телятника — спасибище за сводку погоды и свежую связку бананов! Но кто-то, я надеюсь, прочитав эту книгу, обрящет новый взгляд на людей и идиолов, на страну и историю.



Виктор Каган

ПЕРЬЯ БЕЛОГО ВОРОНА

Стихоживопись

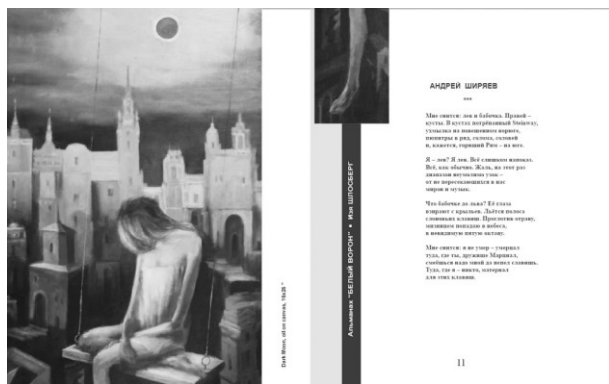
Об истоках традиции объединения изображения и поэзии можно лишь догадываться. Вероятнее всего, она постепенно кристаллизовалась из синкретического действия древности, следы которого находим в наскальной живописи с растаявшими во времени словами, музыкой, танцем. Выделившись из этого, обретя самостоятельность, поэзия и изображение потянулись друг к другу. Придуманное Гийомом Аполлинером слово каллиграмма (от каллиграфия и идеограмма) описывает известную с III в. до н.э. стихографику — запись стихотворения в виде выражающего его идею рисунка. В 1918 г. он выпустил сборник выполненных таким образом стихотворений. В русской поэзии каллиграмме отдавали дань Симеон Полоцкий, некоторые поэты Серебряного века, С. Кирсанов, А. Вознесенский и др. Встречи поэзии и изображения это и рисунки в рукописях, и иллюстрации художников к стихам того или иного поэта, и стихи поэтов на тему тех или иных изображений.

Только что вышедшая книга „Перья белого ворона“¹ не просто продолжает, но и развивает традицию соединения поэзии и изображения.



Это авторский проект Изи Шлосберга, в рамках которого уже выходили поэтические книги, в частности и авторов „Семи искусств“ и др. Книга — результат его содружества с альманахом „Белый ворон“². Изи Шлосберг — художник, прозаик и поэт, рассказ о котором я не могу себе позволить комкать в несколько строк и предлагаю читателям познакомиться с ним самим³. Сергей Слепухин — екатеринбургский врач, худож-

ник, поэт, стихи которого публиковались, в частности, в „Семи искусствах“⁴ — создатель и главный редактор выходящего с 2011 г. альманаха „Белый ворон“⁵. „Ничто в мире не происходит по случайности или чьей-то глупости“ — заметил А. Эйнштейн, и знаменательна уже сама по себе встреча этих двух людей, о каждом из которых можно сказать словами Владимира Соколова: „Художник знает музыку и цвет, он никогда не бог и не безбожник, он только мастер, сеятель, поэт. На двух ногах стоит его треножник“. То, что оба они выражают себя и своё видение мира словом и кистью, один из секретов книги, выходящей далеко за пределы просто иллюстрирования стихов или сочинения стихов к картинам. В ней собраны стихи пятидесяти шести поэтов — по одному от автора, которые печатались в „Белом вороне“ на протяжении времени существования альманаха. Своего рода антология? Да. Но это больше, чем просто антология, это иное. Переворачиваешь страницу и перед тобой картина и стихотворение — живой диалог, образующий динамичное пространство для восприятия, которое больше стихотворения и картины по отдельности. Взяв в руки книгу, я по старой привычке попробовал её на зубок — полистать, открывая наугад, чтобы почувствовать как целое. Не получилось. И не потому, что она, якобы, не целостна — как раз напротив. Просто дуэт художника и поэта на каждой странице затягивал в себя и не отпускал, открывая всё новые и новые грани картины, стихотворения, их диалога — переклички, своего рода разыгрывающейся в восприятии читателя Jam-session, свободных живописных ассоциаций художника в ответ на стихи и свободных ассоциаций читателя в ответ на диалог поэта и художника.

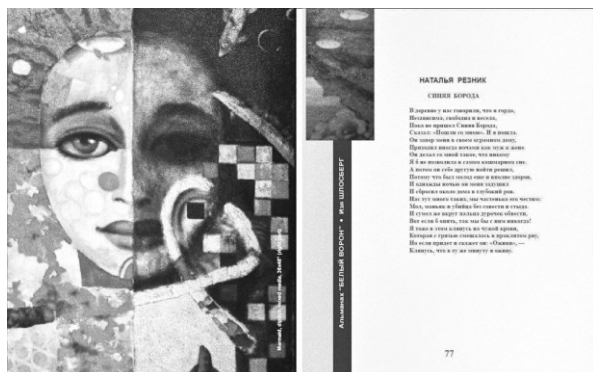


Стихотворение Андрея Ширяева — кстати, автора прекрасной графики к своим стихам⁶ — написано 13 июля 2013 г. за несколько месяцев до его добровольного ухода из жизни⁷. Как раз с этого стихотворения и началось, когда я ещё не мог знать о будущем, моё знакомство с его поэзией. Помню ощущение одновременно дохнувшего со страницы залетейского холодка и пульсирующего тепла, всемирности и вселенности, звуча-

ние натянутой струны времени, печали и высокого смирения — не покорности и смиренности, но медитирующего бытия с миром. Казалось бы, при чём тут, какое отношение к стихотворению имеет эта понурая с бессильно упавшими руками на странных подвешенных к небу качелях над городом в отсветах тёмной луны девичья фигурка? Тяжась между слов и строк стихотворения душа? Воплощение её андрогинности? В чертах города проступают «слоновьи клавиши» и их тёмно-красные переходящие в тьму отзвуки на теле и в небе. Бытие между свободой быть и свободой не быть, когда быть остаётся так мало. И нужно усилие, чтобы увидеть стихотворение и картину по отдельности, но сделать это усилие уже невозможно.



Прошлое предшествует настоящему и несёт в себе его причины, но существует синхронно с ним и причиняет ему себя, так что сюрреальности настоящего любой сюрреалист позавидует: Маркс-Энгельс с „Декамероном“ подмышкой, аккуратист-педант в засаленном халате и закапанными шоколадом бриджами под ним, всплывающий из глубины тьмы по сигналу сверенных часов волшебный Китеж кителя, обрушивающийся на Звезду... счастье... клиника... В стихотворении Владимира Строчкова аллюзии — „Вынесем всё... Товарищ, верь! Взойдёт она... звезда пленительного счастья... И вечный бой...“ — отсылают к безошибочно определяемым месту времени. Картина Изи Шлосберга — сюрреалистическое расширение. Хозяин ночи — „Он знает наизусть всю эту кухню тёмную“ — в шляпе, тёмных очках слепца с вороной на плече, в тяжёлом пальто с выступающими воротничком рубашки под бабочку и белыми манжетами, в белых перчатках, с палочкой... и коньки на торчащих из-под пальто голых ногах, под которыми маленькая — 4-5 шагов вдоль и поперёк — льдина-островок, и никого-ничего вокруг. Островок видимости в тёмном зале жизни под лучом незримого софита. Пыгающаяся держать спину потерянность и безнадежность под лучиком не верящей в себя надежды. Глухое экзистенциальное одиночество.



Слово поэтесса не принимаю не только по отношению к А. Ахматовой и М. Цветаевой — оно о женской по половому признаку поэзии, которая существует только в патриархальном воображении. Но об этом стихотворении поэта Натальи Резник хочу сказать женское. Интонационно оно ассоциируется у меня с песнями Вероники Долиной, а по содержанию — с её стихотворением:

*Она над водой — клубами, она по воде — кругами,
Но я знала тех, кто руками её доставал со дна.
Любая любовь — любая, любая любовь — любая,
Любая любовь — любая, и только она одна.
Немилосердно скупая, немом — глухо — слепая,
Кровавая, голубая, холодная, как луна,
Любая любовь — любая, любая любовь — любая.
Любая любовь — любая, учу её имена
И верю в неё, как в рифму, и верю в неё, как в бритву,
Как верят в Будду и в Кришну, и в старые письмена.
Любая любовь — любая, любая любовь — любая.
Любая любовь — любая, и только она одна.*

Оно сама женская любовь. Не безрассудная, а надрассудная — «С ума схожу или восхожу к высокой степени безумства»; не эмоция, а бездонное переживание; не завоевание, а побеждающее всё принятие; не слабая жертвенность, а восстающая из праха сила... не любовь за что-то и для чего-то, а просто любовь — любовь для любви, чреватая смертью жизнь для жизни.

Противоречиво-многозначная русалка, сирена (символ плодородия, способный утопить дух, душа неестественной смертью погибшей молодой женщины, утащенная водяника, девушка, проклятая женщина, безудержная стихийность с божественным голосом и т.д.) — казалось бы, никак не относящийся к стихотворению образ — на картине Изи Шлосберга поэтому не только не случайна, но выражает самую суть, будучи ассоциацией не текстовой, а контекстовой. Вместе со стихотворением они образуют целостное полотно переживания.

да тишь». На картине под лунным диском мальчик с розовым фламинго — символом исполнения желаний и самоотверженной любви. Старая легенда рассказывает, что когда-то фламинго были белыми, но однажды, прилетев к месту, где от страшной засухи умирали люди, стали выщипывать из себя кусочки и кормить маленьких детей, становясь красными от своей крови, а когда они через год прилетели снова, их перья были уже навсегда розовыми. Жёлтые листья звёзд с неба опадают на грудь птицы и мальчика нашитыми магендавидами. Недетская мимика печали на лице не теряющего обречённую надежду ребёнка ...

Это моё видение, мои ассоциации при первой встрече с книгой. При следующих встречах они могут оказаться иными. У читателя они будут своими. Но в этом как раз и привлекательность книги, позволяющей возвращаться не только к одному стихотворению или одной картине, каждый раз открывая в них что-то новое, а к их расширяющему горизонты восприятия дуэту. А мне остаётся лишь поблагодарить Изю Шлосберга за издательское воплощение его идеи и пожелать ему, авторам и читателям многих продолжений этого проекта.

white raven feathers
(Poetry, Art)

Poetry association "The White Raven" & Izya Shlosberg

Copyright © 2015 by
Izya Shlosberg – paintings, Poetry association "White Raven"
All rights reserved

Book design by Izya Shlosberg
Gen. Editor: Sergey Slepukhin
Preface: Maria Ogarkova
Logo: Evdokia Slepukhina

ISBN-13: 978-1518716690

ISBN-10: 1518716695

Library of Congress Control Number: 2015917586



ПЕРЬЯ БЕЛОГО ВОРОНА

СТИХОЖИВОПИСЬ

Примечания:

- 1 — www.amazon.com/s?ie=UTF8&page=1&rh=n%3A283155%2Cp_27%3AIzya%20Shlosberg
- 2 — <http://www.promegalit.ru/magazines/be-lyj-voron.html>
- 3 — <http://www.shlosberg.com/#>
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шлосберг,_Изя_Мовшавич
- 4 — <http://7iskusstv.com/2011/Nomer12/Slepuhin1.php>
- 5 — <http://www.promegalit.ru/magazines/be-lyj-voron.html#8>
- 6 — <http://www.shiryaev.com/category/book-art/>

7 — Его предсмертная записка: «Мне пора. Последняя книга дописана, вёрстка передана в добрые руки. Алина, Гиви, Вадим, дорогие мои, спасибо. И спасибо всем, кого я люблю и любил — это было самое прекрасное в жизни. Просить прощения не стану; всегда считал: быть или не быть — личный выбор каждого. Чтобы не оставлять места для домыслов, коротко объясню. В последнее время два инфаркта и инсульт на фоне диабета подарили мне массу неприятных ощущений. Из-за частичного паралича ходить, думать и работать становится труднее с каждым днём. Грядущее растительное существование — оно как-то совсем уж не по мне. Так что, действительно, пора (улыбается). Заодно проверю, что там, по другую сторону пепла. Может, и увидимся» — <http://www.vesti.ru/doc.html?id=1143425&cid=520>

8 — Публ. В „Семи искусствах“ — <http://7iskusstv.com/Avtory/Kolcova.php>

9 — Публ. В „Семи искусствах“ — <http://7iskusstv.com/Avtory/Judin.php>



Игорь Ефимов
ЗАКАТ АМЕРИКИ
САРКОМА БЛАГИХ НАМЕРЕНИЙ

(продолжение. Начало в №1/2015 и сл.)

Часть вторая
К Т О

12. ЖУРНАЛИСТ

Уж лучше на погост,
Чем в гнойный лазарет
Чесателей корост,
Читателей газет.

Марина Цветаева

Создавая государственную структуру США, отцы-основатели, следуя образцу Древне-римской республики, разделили верховную власть на три ветви: исполнительную, законодательную и судебную. Но они не учли одной детали: древние римляне не имели печатного станка. К концу 18-го века изобретение Гуттенберга сделалось важным участником государственной жизни во всех цивилизованных странах. Борьбу за принятие федеральной конституции Александр Гамильтон и Джеймс Мэдисон уже вели при помощи типографских прессов, публикуя десятки статей в газетах и журналах. Они вошли в американскую историю под названием «Заметки федералиста». ¹ И с первых же лет пресса стала практически четвертой ветвью власти.

Те, кто сегодня осуждает скандальный тон газетных нападок на избранных народа, наверное, забыли или просто не представляют, что вытворяли злые перья при первых президентах. Пошады не было никому.

О Вашингтоне:

«Вы игнорировали глас народа и опустили до роли партийного лидера. Теперь никто не будет видеть в вас святого с непогрешимыми суждениями. Такое поведение позволяет нам сбросить повязку с глаз и увидеть, что перед нами не отец нации, а человек, претендующий на роль хозяина. Если был когда-нибудь политик, изменивший своим обязанностям перед страной и народом, то это безусловно Джордж Вашингтон». ²

О Джоне Адамсе:

«Величайший лицемер, отталкивающий педант, непревзойдённый глупец... Странное сочетание невежества и свирепости, лживости и слабости... Характер гермафродита, в котором нет ни мужской твёрдости и решительности, ни женской мягкости и чувствительности. В управлении страной ему следует оставить лишь формальные функции: произносить речи перед Конгрессом раз в году, подписывать принимаемые законы, появляться перед иностранными послами. За такую работу вполне хватило бы жалованья в тысячу долларов в год.»³

Друг друга журналисты тоже не щадили:

«Подрывные силы в нашей стране используют в качестве инструмента прищельца по имени Джеймс Кэллендер. Во имя чести и справедливости, как долго мы будем терпеть, чтобы такая гнида, воплощение партийной грязи и коррупции, принявшее облик человеческого, продолжала оперировать безнаказанно? Не пришло ли время, чтобы он и ему подобные боялись поносить нашу страну и правительство, выражать презрение ко всему американскому народу, призывать наших врагов презирать нас и поливать ядом клеветы наши власти, учреждённые конституцией? Виселицу он уже заслужил.»⁴

В 1798 году Конгресс даже принял закон, по которому очернение представителей власти в стране каралось штрафом и тюремным заключением. Джефферсон, заняв президентское кресло в 1801, отменил этот закон. Тут же выпущенные им из тюрем борзописцы яростно и изобретательно накинулись на него самого. Видимо, скандал и брань уже и тогда были лучшей гарантией финансового успеха в этой «второй древнейшей профессии».

Меня невозможно заподозрить в какой-то предвзятости к миру журналистики. Мои книжные полки заставлены сборниками статей блистательных американских журналистов, заслуженно получавших свои Пулицеровские и прочие премии. Трое членов моей семьи вот уже много лет талантливо трудятся на этой ниве. Я сам за 50 лет опубликовал в газетах и журналах десятки статей, много раз выступал по радио и телевиденью. Половина авторов «Эрмигажа» были журналистами, так что у меня была возможность близко ознакомиться с трудными условиями их работы. Но также я не мог не заметить глубоких и важных перемен, происходивших в американской прессе за последние полвека.

Впервые мне довелось вчитываться внимательно в газетные отчёты в начале 1980-х, когда я увлёкся расследованием убийства президента Кеннеди. Меня поразило, как дружно ведущие органы печати накинулись

на критиков официальной версии, представленной в отчёте Комиссии Уоррена. Знаменитый телеведущий, Уолтер Кронкайт, выразил возмущение тем, что продажа книг, отвергающих выводы комиссии, намного превосходит продажу самого отчёта. Другой телекомментатор, Эрик Северид, объяснял этот факт «заговорщической ментальностью американцев», которым де нравится мусолить байки, будто Гитлер жив и где-то прячется, а Рузвельт заранее знал о нападении японцев на Перл-Харбор. «Вообразать, что Комиссия сознательно исказила какие-то факты — это чистый идиотизм», объявил он.⁵

Мне хотелось напомнить сердитому журналисту, что никто ведь не пытался отыскать заговор в поведении двух психопатов, стрелявших в президента Форда, или в покушении на Рональда Рейгана, или в убийстве певца Джона Леннона. Также мне стало понятно, что в течение десяти месяцев американская пресса могла получать сведения о расследовании сенсационного убийства только из рук следователей официальной Комиссии. Выдавая эти сведения малыми порциями, комиссия могла прекратить общение с журналистами, которые посмели бы проявить въедливый скептицизм. Произошло некое постепенное приручение: тем, кто положительно комментировал процесс расследования, трудно было потом отказаться от своих слов и восстать против окончательных выводов.

В идеале все будут согласны с тем, что обязанность журналиста — объективно отражать факты, не приукрашивать их и не искажать. Но никакой живой человек не может в своей деятельности отстраниться от собственных пристрастий, верований, убеждений, фобий, надежд. А статистические опросы показали, что по своим политическим убеждениям, американская пресса, как и американская профессура, в подавляющем большинстве выбирает защиту «порыва к справедливости», то есть голосует за партию демократов.

Особенно ярко этот перекокс проявился в том, как пресса освещала Вьетнамскую войну.

История, рассказанная мне ветераном Кеном Н., никогда не могла бы появиться на страницах крупных американских газет и журналов. Зверства, творимые вьетконговцами и красными кхмерами, замалчивались, игнорировались, интерпретировались как отдельные вспышки справедливого гнева. Когда коммунистам удалось в 1968 году провести серию синхронизированных атак на Южно-Вьетнамские города, получившую название «Наступление Тет», тот факт, что они были блистательно отбиты американцами, с огромными потерями для нападавших, замалчивался, но педальровался тезис: «Войну выиграть невозможно».⁶

Знаменитый северо-вьетнамский генерал Во Нгуэн Гиап (Vo Nguyen Giap) так описал военную ситуацию много лет спустя:

«Наши потери были громадными, мы не ожидали таких... Бои 1968 года почти уничтожили наши силы на юге... Победить полу-

миллионную американскую армию мы не могли, но это и не было нашей целью. Мы стремились сломить волю американского правительства продолжать войну... Если бы мы рассчитывали только на военное противоборство, нас бы разгромили в два часа... В боевых действиях мы потеряли почти миллион солдат.»⁷

В интервью с другим видным офицером северных вьетнамцев журналист спросил в 1995 году: «Сыграло ли американское антивоенное движение свою роль в победе Ханоя?» — «Ключевую, — ответил офицер. — Наше руководство слушало американские новости, сообщавшие о протестах, каждое утро. Визиты в Ханой таких фигур, как актриса Джейн Фонда и бывший генеральный прокурор Рэмси Кларк, давали нам уверенность в том, что следует продолжать борьбу, несмотря на военные неудачи... Эти люди представляли совесть Америки. Американская демократия допускала протесты и несогласие, которые ослабляли волю к победе.»⁸

Параллельно с Вьетнамской войной в США протекало бурное противоборство вокруг межрасовых проблем. В большинстве своём, журналисты были на стороне противников сегрегации, выступали за расширение прав чёрных, с готовностью подхватывали обвинения против белых, не утруждая себя проверкой их справедливости. Инерция такого отношения к расовым конфликтам только укреплялась с годами и производила бури возмущения по поводу «преступлений», которые на поверку оказывались выдуманными от начала до конца.

В 1987 году много шума наделала история негритянской девушки Таваны Броули (Tawana Brawley). Ей досталась нелёгкая судьба. Мать вышла замуж за человека, который отсидел срок за зверское убийство своей предыдущей жены. Падчерицу он избивал по любому поводу, однажды попытался начать избиение прямо в полицейском участке, куда четырнадцатилетнюю Тавану привели за кражу в магазине. В пятнадцать лет у девочки уже был бойфренд, оказавшийся за решёткой. В ноябре она пропустила школу, чтобы навестить его в тюрьме, оттуда отправилась на одну вечеринку, потом на другую, и протрезвела только три дня спустя. За такое долгое отсутствие возмездие от рук отчима должно было быть свирепым.

Что оставалось бедной Таване?

В её кругу верили всему плохому, что говорилось о белых. Поэтому она сочинила замысловатую историю, которой должны были поверить, по крайней мере, все чёрные: будто трое белых мужчин похитили её, утащили в лес, держали там на морозе три дня, насилуя и издеваясь. Реквизит «улик», продуманный ею, свидетельствовал о богатой фантазии: обгоревшая одежда, разрезанные туфли, большой пластиковый мешок, в котором её нашли на свалке, с телом, измазанным экскрементами и покрытым расистскими надписями.

Неизвестно, сколько чёрных оказалось среди шестнадцати членов Большого жюри, но большинство отказалось верить её рассказу. Во-пер-

вых, проведённое медицинское обследование исключило акт изнасилования. На теле не было обнаружено ни ожогов, ни порезов, ни следов обморожения. Эскременты оказались собачьими. Расистские надписи были сделаны вверх ногами. Появились свидетели, признавшие, что видели Тавану в дни её исчезновения веселящейся.

Зато американская пресса раздувала и смаковала историю в течение двух лет. С экранов телевизоров Джесси Джексон, Эл Шарптон, актёр Билл Косби и другие защитники прав чернокожих слали проклятья безжалостным расистам и американскому правосудию, которое пытается защищать преступников. Названные ими подозреваемые даже осмелились подать иски за клевету, в результате которых Эла Шарптона присудили уплатить 345 тысяч долларов, а саму Тавану, которая приняла ислам и работала медсестрой в Вирджинии, — к уплате 185 тысяч.²

В 1996 году пресса подняла шум по поводу растущего числа поджогов церквей, посещаемых чёрными. Снова проклинались белые расисты, тот же Джесси Джексон говорил о «заговоре» против культуры чёрных, журнал «Тайм» писал, что речи республиканских политиков вдохновляют поджигателей, газета *USA Today* — что «это попытки убить дух чёрной Америки». Проведённое расследование показало, что число пожаров чёрных церквей только снижалось за последние 15 лет, что церкви белых загорались с такой же частотой, а там, где можно было подозревать поджог, треть подозреваемых были чёрными.¹⁰ Но кто станет читать скучную правду статистических данных?

Зато эти данные подвергаются строгому контролю в средствах массовой информации. Независимая организация проанализировала, как люди, больные СПИДом, представлены в вечерних новостях на разных каналах телевиденья. Выяснилось, что среди показанных на экране больных только 6% были гомосексуалистами. В реальной жизни гомосексуалисты составляют 58%. На экранах 16% были чёрными или латиноамериканцами. В реальной жизни их 46%. Только 2% показанных признали, что они вкалывают наркотики. В реальной жизни таких 23%.¹¹

Кроме футбола, гольфа, бейзбола, баскетбола, есть в Америке и мало известная игра, заимствованная, по слухам, у ирокезов, под названием «лакросс». Она немного напоминает травяной хоккей, но в ней игроки орудуют не клюшками, а палками, на конце которых прикреплены сетки в форме чайного ситечка. Спортсмен ловит мяч в эту сетку, бежит с ней, пасует другому, тот пытается забросить в ворота противника. Есть у этого вида спорта и свои болельщики, и свои чемпионы, и свои легенды.

Весной 2006 года команда игроков в лакросс университета Дьюк (Дарем, Северная Каролина) решила устроить вечеринку в доме своего капитана. Для полноты веселья заказали в местном эскорт-клубе двух экзотических танцовщиц и были разочарованы, когда им прислали не белых, как они просили, а чёрных.

«Ах так, вам не нравятся чёрные?! Ну, вы у меня попляшете!», — решила одна. И обратилась в полицию с жалобой на изнасилование.

На этот раз не только пресса кинулась раздувать скандал. Местный прокурор тоже решил использовать ситуацию для улучшения своей довольно шаткой репутации. Администрация университета остановила игры, уволила тренера, огласила имена обвиняемых студентов. Ядерные испытания в Северной Корее, войны на Ближнем востоке, напряжённость между Китаем и Японией — всё поблекло, уступило место в новостях мельчайшим интимным деталям очередной сенсационной судебной распри.¹²

Увы, как и в случае с Таваной Броули, враньё «пострадавшей» оказалось смётанным на живую нитку, концы не сходились с концами. Например, из показанных ей фотографий подозреваемых она выбрала на роль «насильников» как раз тех двух студентов, которые покинули вечеринку в начале, и увёзший их таксист подтвердил это. Прокурор так усердствовал, подтасовывая улики, что штатная коллегия адвокатов лишила его лицензии. Генеральный прокурор штата прекратил дело за отсутствием состава преступления. Однако дело о клевете не было возбуждено, так что будущим «борцам с сексуальным насилием» горит зелёный свет.¹³

В пантеоне славы американской журналистики два имени занимают прочное место: Карл Бернстайн и Боб Вудвард. Эти два молодых сотрудника газеты «Вашингтон пост» смело кинулись раскапывать и разоблачать секретные дела администрации Никсона, раздули бурю Уотергейтского скандала, который после двух лет упорного сопротивления привёл к вынужденной отставке американского президента. Юный Давид против великана Голиафа — такое сравнение всплывало не раз в описаниях этой драмы. Она стала темой знаменитого голливудского фильма «Вся президентская рать», где роли журналистов исполнили прославленные актёры Дастин Хоффман и Роберт Редфорд. Актёр Хэл Холлбрук сыграл менее заметную, но ключевую фигуру, представленную на экране не под именем, а под кличкой «Глубокое горло». Тридцать лет Вудвард хранил обещание, данное им своему тайному осведомителю, открывавшему ему секреты Белого дома, и огласил его фамилию, только когда тот умер.

Его звали Марк Фелт. Он был многолетним и преданным сотрудником ФБР. Гувер поднял его до поста директора внутренней полиции организации. В иерархии он занимал третье место, а после внезапного увольнения Билла Салливана осенью 1971 года перешёл на второе. Весной Гувер умер, и Фелт ждал, что пост директора достанется ему. Он даже заготовил биографическую справку о себе с фотографией, которую собирался представить репортёрам. Но президент решил иначе: сделал директором ФБР сотрудника министерства юстиции, Патрика Грея, бывшего капитана подводной лодки. В разведке он никогда не служил, зато был верным сторонником Никсона в течение четверти века.¹⁴ Мог ли президент предвидеть, что это назначение окажется роковой ошибкой, которая погубит его карьеру?

Неизвестные ночные посетители, арестованные в отеле Уотергейт ночью 17-го июня, имели при себе подслушивающие устройства, которые они явно намеревались установить в номерах, намеченных для участников готовившейся конвенции демократической партии. Полиция известила о случившемся ФБР, и те, как водится, завели специальное дело. Позднее в тот же день раздался звонок из Белого дома, и Джон Эрлихман, от имени президента, приказал остановить расследование. Дежурный агент отказался, несмотря на угрозы звонившего, и доложил обо всём Марку Фелту. Таким образом тот с самого начала знал, что ночные грабители были посланы Белым домом.¹⁵

Что двигало им, когда он начал тайно передавать взрывную информацию своему старинному знакомому, журналисту Бобу Вудварду? Чувство мести тщеславного чиновника, обойдённого постом? Надежда, что скандал помешает Никсону победить на предстоящих выборах и новый президент назначит его директором ФБР? Или всё же запоздалое осознание того, что устанавливая подслушки нехорошо и незаконно?

Для нашего расследования важно другое. История Уотергейта бросает свет на характер взаимоотношений прессы с остальными ветвями власти. Журналист часто выступает не самостоятельной силой, а опасным и эффективным оружием в чьих-то руках. Статьи в «Вашингтон пост» привлекли внимание крупных фигур демократической партии, открыли перед ними соблазнительную перспективу: атаковать республиканского президента, победившего на выборах 1972 года с большим перевесом. Уже в феврале 1973 сенатор-демократ Сэм Эрвин пригласил Вудварда в свой кабинет и сказал, что он создаёт сенатский комитет для расследования и будет признателен за любую информацию.

Это в корне меняло расклад сил.

Теперь любой человек, упомянутый в статьях журналистов, даже сотрудник Белого дома или ЦРУ, мог быть вызван в Сенатский комитет и обязан давать показания под присягой. Именно таким приёмом одно за другим возбуждались уголовные дела против сотрудников Никсона, показания которых и послужили базой для возбуждения процесса импичмента президента.¹⁶

Американская пресса, так же, как и американская профессура, в своих политических пристрастиях тяготеет к партии демократов. Думается ни Боб Вудвард, ни Карл Бернстайн, ни их начальница, Кэтрин Грэм, ни редакторы других газет и журналов не проявили бы такого упорства и незаурядной смелости, если бы объектом их разоблачений был политик-демократ, а не республиканец.

Четырнадцать лет спустя соединённые силы демократов и журналистов повели аналогичную атаку на республиканского президента Рональда Рейгана. Его ближайшие сотрудники, адмирал Пойндекстер и подполковник Оливер Норт в 1986-1987 годах стали объектами специального расследования совершённых ими тайных продаж вооружений Ирану, воевав-

шему тогда с Ираком. Выручка от этих продаж переправлялась антикоммунистическим повстанцам в Никарагуа, что было запрещено специальным постановлением Конгресса. До импичмента дело не дошло, но Пойндекстер и Норт должны были несколько лет отбиваться в судах от обвинений в лжесвидетельствах, и их адвокатам удалось добиться оправдания только на стадии апелляции.¹⁷

«Всё это была чистая политика, — писал в своих воспоминаниях Оливер Норт. — В исторической перспективе слушанья в Конгрессе были ещё одним сражением в двухсотлетней войне между законодательной и исполнительной ветвями власти за контроль над иностранной политикой Америки. К лету 1987 года Белый дом готов был пожертвовать исполнителями своих приказов, чтобы удержаться у власти. Разрешив криминализировать действия тех, кто выполнял её распоряжения, администрация президента дала возможность обойти глубинные причины конфликта. Конгресс это устроило, а пресса получила подарок».¹⁸

Возникает вопрос: почему республиканская партия не может применить такую же тактику в противоборстве с президентами-демократами? Для меня ответ ясен: потому что она никогда не сможет получить в качестве союзника четвёртую ветвь власти — американскую прессу. Даже Клинтон, окружённый судебными исками и расследованиями, смог избежать импичмента и удержаться в президентском кресле.

О других и говорить нечего.

Кеннеди и Джонсон были замешаны в покушениях на жизнь иностранных лидеров — пресса практически обошла молчанием эти разоблачения, когда они были сделаны при президенте-республиканце Форде.

При Картере коммунистическая экспансия захватывала страну за страной по всему миру, палестинские и прочие террористы наносили свои удары по свободному миру чуть не каждую неделю, попытка выволить заложников, захваченных в американском посольстве в Тегеране, кончилась позорным провалом, но всё это никогда не подносилось как результат мягкотелости президента.

Сегодня президент-демократ Обама проталкивает свою кошмарную медицинскую реформу, которая взвалит замаскированный новый налог на самую бедную часть населения, но большинство журналистов, кажется, не замечает оксюморонной нелепости словосочетания «запретим не покупать страховку». Зато сам президент прекрасно отдаёт себе отчёт в могуществе четвёртой ветви власти и уже в первый год своего правления пригласил в Белый дом Боба Вудварда и дал ему длинное интервью, лёгшее потом в очередной бестселлер знаменитого журналиста под названием «Война Обамы».¹⁹

Четвёртая ветвь власти отличается от трёх другим тем, что в ней оперируют люди, которых мы не выбираем.

«Как это не выбираете? — возразят мне. — Покупая газету, подписываясь на журнал, включая тот канал телевизора, а не этот, вы голосуете самым убедительным образом: вашим кровным долларом.»

Если бы доллар был эквивалентен избирательному бюллетеню, на вершине власти оказались бы таблоиды с их миллионными тиражами. Серьёзная пресса воздействует на умы более тонкими методами. Владея даром красноречия, журналисты легко отбрасывают любые критические отзывы о своей работе. «Если их упрекнут в негативном освещении событий, они заявят, что таков реальный мир. Обвинят в лево-либеральном уклоне, редакторы скажут, что их чаще упрекают за перекося вправо, а также за предвзятость к чёрным или к анти-чёрным, к бизнесу или к защитникам окружающей среды. Если упреки сыпятся со всех сторон, это лишь свидетельствует о сбалансированном подходе, не так ли? Если скажут, что новости подаются слишком поверхностно и в сенсационалистском ключе, репортёры скажут, что это именно то, чего требует читающая публика.»²⁰

В античной цивилизации заметную роль играла фигура софиста. Изначально они учили людей искусству красноречия, которое было необходимо для участия в политической и судебной деятельности. Но постепенно это переродилось в искусство словесного трюкачества и демагогии, использовавшихся для того, чтобы в публичных диспутах исказить реальную картину происходящего до неузнаваемости. Существует анекдот: Фемистокла, изгнанного из Афин, спросили, кто сильнее в спортивной борьбе: он или его соперник Перикл? «Не знаю, нам не доводилось бороться, — ответил Фемистокл. — Но если бы случилось и я бы победил, Перикл начал бы говорить, и через пять минут все зрители поверили бы, что победил он».

Современную софистику Томас Суэлли обозначил термином *verbal virtuosity* — «словесная виртуозность». Без неё в сегодняшней Америке не может обойтись ни политик, ни адвокат, ни профессор, ни, конечно, журналист.

В предыдущих главах мы рассмотрели, как мелочное регулирование тормозит или парализует деятельность учителей, инженеров, полицейских, строителей, судей, финансистов. Ну, а что можно сказать о журналистах? Неужели за ними нет никакого присмотра? Изредка доводится слышать о предъявлении иска газете за клевету или очернение, но они случаются редко и часто заканчиваются публикацией извинения и символической выплатой потерпевшему одного доллара.

Нет, в общенациональной кампании за тотальное регламентирование всех сторон нашей жизни прессе досталась не роль *контролируемых*, а роль *контролёров*. В последние пять десятилетий журналисты сделали *контролёрами политиков*, и предаются этому занятию с несоразмерной страстью и убеждённостью.

В 1973 году перед избранным на второй срок Никсоном стояли судьбоносные для страны проблемы: выход из Вьетнамской войны, развязан-

ной его предшественниками-демократами, ослабление напряжённости в отношениях с двумя термоядерными сверхдержавами — СССР и Китаем, очередной пожар на Ближнем Востоке в связи с начавшейся в октябре Войной Судного дня. Но в глазах Боба Вудварда, Карла Бернштейна, их начальницы, Кэтрин Грэм и всех остальных «борцов с Уотергейтом» это было в сто раз менее важно, чем вопрос «знал президент или не знал, что его подчинённые занимались незаконным подслушиванием?»

Остаётся загадкой, откуда ещё берутся в Америке смельчаки, согласные вступать на политическое поприще. Быть готовым к тому, что всё твоё прошлое, день за днём и минута за минутой, будет вынесено под свет вьедливого и часто враждебного разбирательства — нужно быть безгрешным святым, чтобы решиться на такое. Сколько достойных, прозорливых, знающих, нужных стране людей остаются за бортом политической жизни из опасения быть забрызганными газетной грязью!

Причём, нам ведь известны только те истории, которые были раздуты до уровня скандала. Судья Кларенс Томас не испугался шумихи, поднятой Анитой Хилл, обвинявшей его в сексуальных домогательствах (1991), не снял свою кандидатуру и был утверждён на посту члена Верховного суда. Но, например, в 1993 году Министерство юстиции несколько месяцев оставалось обезглавленным, потому что у кандидаток на пост Генерального прокурора обнаружились «тёные пятна»: у обеих в какое-то время в доме в качестве нянь служили незаконные иммигрантки. Таких Белый дом даже не решился предложить для утверждения Конгрессом.

Если бы удалось создать комитет из ведущих журналистов и попросить их составить список необходимых свойств и правил поведения, которым должен следовать кандидат на политическую должность в США, что вошло бы туда в первую очередь? Честный, непьющий, хороший семьянин, исправный плательщик налогов, блюдущий в своих речах все заветы «политической корректности», чтущий принципы демократии, защитник окружающей среды, борец с расизмом и религиозной нетерпимостью, и так далее, и так далее, и так далее, вплоть до светящегося нимба над головой.

Но я не уверен, что в этот список попало бы то, что мы договорились обозначать словами «кажда свободы» и «кажда справедливости». Такие иррациональные понятия у современной американской прессы не в ходу.

Исследователь Джеймс Феллоус пишет в своей книге «Сообщая новости»:

«Роль журналиста наделяет человека огромной властью. Недаром прессу называют четвёртой ветвью правительства. Вы можете публично очернить человека, и у него нет возможности адекватно ответить вам. В позитивном плане вы можете расширить понимание публикой реальных проблем. Но слишком часто пресса сводит общественные вопросы к описанию противоборства между различными политиками, к каждому из которых следует относиться с

подозрением. Как правило, сегодняшний журналист не подходит к выполнению своих задач с достаточным чувством ответственности, соизмеримым с доставшейся ему властью. И вред от этого распространяется гораздо дальше, чем он способен разглядеть».²¹

(продолжение следует)

Примечания:

1. *Federalist Papers*. New York: MetroBooks, 2002.
2. Durey, Michael. "With the Hammer of Truth" (Charlottesville: University of Virginia Press, 1990), p. 95.
3. Ibid., p. 107.
4. Ibid., p. 108.
5. Moscovit, Andrei. *Did Castro Kill Kennedy?* (Washington: Cuban American National Foundation, 1996) p. 24.
6. Sowell, Thomas. *Dismantling America* (New York: Basic Books, 2010), p. 267.
7. Sowell, Thomas. *Intellectuals and Society* (New York: Basic Books, 2009), p. 249, 248.
8. Там же.
9. Wikipedia, Tawana Brawley.
10. Sowell, Thomas. *Intellectuals*, op. cit., p. 128.
11. Ibid., p. 121.
12. Sowell, *Dismantling*, op. cit., p. 306.
13. Wikipedia, Duke University Case.
14. Weiner, Tim. *Enemies: a History of the FBI* (New York: Random House, 2012), p. 307.
15. Там же, стр. 309.
16. Woodward, Bob. *The Secret Man. The Story of Watergate's Deep Throat* (New York: Simon & Schuster, 2005), p. 93-94.
17. Wikipedia, Oliver North.
18. North, Oliver. *Under Fire. An American Story* (New York: Harper Collins, 1991), p. 353.
19. Woodward, Bob. *Obama's Wars*. New York: Simon & Schuster, 2010.
20. Fallows, James. *Breaking the News. How the Media Undermine American Democracy* (New York: Pantheon Books, 1996), p. 5.
21. Ibid., pp. 7, 9.



Журнал «Семь искусств» № 11 (68)/2015 — Ганновер:
Семь искусств. 2015. — 369 с., 19,3 а.л.

© Евгений Беркович (составление и редактирование)
Компьютерная верстка: Марина Жукова



Семь искусств
Ганновер 2015

Семь свободных искусств - основа воспитания, которое надлежит давать не для практической пользы, но потому, что оно достойно свободнорожденного человека и само по себе прекрасно.

Аристотель. "Политика"



9 781291 723168